

©

А. БУШКОВ



А.С. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

СУПЕР © СЕРИЯ

А.С.
СЕКРЕТНАЯ
МИССИЯ





Достоверно известно, что у А. С. Пушкина был золотой перстень с сердоликом. Поэт считал этот перстень своим талисманом, о чем написал несколько стихотворений, в том числе знаменитое «Храни меня, мой талисман». Александр Сергеевич не расставался с перстнем, запечатывал им письма. На камне была надпись на древнееврейском языке. После смерти Пушкина перстень пропал бесследно.

На известном прижизненном портрете работы В. А. Тропинина Пушкин изображен с двумя перстнями. На большом пальце — сердолик.

©
А. БУШКОВ



А.С.
СЕКРЕТНАЯ
МИССИЯ

ОЛМА
литература

А. БУШКОВ



А.С.
СЕКРЕТНАЯ
МИССИЯ

СУПЕР



СЕРИЯ

ОЛМА
МЕДИАГРУПП

А ♦ БУШКОВ

**А.С.
СЕКРЕТНАЯ
МИССИЯ**

МОСКВА
ОЛМА Медиа Групп
2006

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Б 948

Оформление переплета *О. Петров*

Бушков А.
Б 948 А. С. Секретная миссия: Роман. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. — 608 с. — (Супер-серия).

ISBN 5-373-00652-1

Александр Бушков снимает гриф секретности с архивных дел Особой экспедиции. Эта глубоко законспирированная служба III Отделения собственной его Императорского Величества Николая I канцелярии занималась исследованием странных, удивительных и необъяснимых происшествий. Но что самое пикантное в новом романе — главное действующее лицо — Александр Пушкин. Поэт выступает в роли агента «Союза трех черных орлов», тайного сообщества, поставившего себе целью противодействие черной магии, нечистой силе и бесовству.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 5-373-00652-1

© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», издание
и оформление, 2006

О, тяжело
пожать каменной его десницы!

А.С. Пушкин. «Каменный гость»

Часть первая

ТРИ ЧЕРНЫХ ОРЛА

Глава первая

ТРОЕ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ

Господин Фалькенгаузен был невысок, лысоват и, следует откровенно добавить истины ради, никак не мог похвастать стройностью талии. Он стоял, сложив руки на выдающемся животе, с кроткой улыбкой многое повидавшего в этой жизни человека. Зато молодой человек, потрясавший перед ним кулаком, представлял собой забавную смесь наглости и боязливости, будто дворовая собака, подозревающая, что проникший на подворье бродяга прячет за спиной палку. Чем сильнее он волновался, тем яснее становилось понимающему человеку, что выговор у него саксонский.

— Что вы хотите этим сказать, черт побери?

— Ровно столько, сколько и было сказано, — смиренно, даже кротко ответил Фалькенгаузен. — Что эти штучки, которые вашей милости отчего-то угодно именовать талерами австрийской чеканки, мне не нравятся. Чрезвычайно, я бы уточнил, не нравятся.

Молодой человек в синем сюртуке передернулся, словно нечаянно коснулся лейденской банки и получил чувствительный удар электрической силой. Он спросил с грозно-визгливой интонацией:

— Вы соображаете, черт вас побери, что разговариваете с дворянином?

Господин Фалькенгаузен терпеливо взирал на него снизу вверх с той грустной философичностью, что свойственна всякому многолетнему содержателю постоянного двора, пусть даже в соответствии с прогрессивными веяниями времени и называемого теперь «отелем».

— О да, разумеется, — сказал он с неким подобием поклона. — Вас это, быть может, и обескуражит, молодой человек, но мне, скромному держателю отеля, не раз приходилось разговаривать с дворянами, поскольку отель наш безупречен по репутации и охотно посещается благородной публикой. Мне приходилось, к примеру, говорить с английским лордом, с русским князем и даже, хотя вы вправе и не верить, с путешествовавшим инкогнито наследным принцем одного из германских владетельных домов. Дотошности ради можно добавить, что в прошлом году мне пришлось беседовать даже с персидским дворянином. Его титул, скажу вам по совести, звучал для европейского уха непривычно и причудливо, но его светлость, никаких сомнений, был самым что ни на есть доподлинным дворянином... и, скрупулезности ради, позвольте уж упомянуть, что его деньги, несмотря на диковинный вид и совершенно неудобочитаемые надписи, мне, тем не менее, понра-

вились чрезвычайно... Не найдется ли и у вас каких-нибудь других денег, которые мне понравятся гораздо больше тех, что вы только что попытались заплатить?

Он смотрел скучающе, говорил лениво, чуть ли не равнодушно — и это, должно быть, взбесило молодого человека еще больше.

— Ну хорошо же, горе-трактирщик! — воскликнул он, делая шаг вперед и грозно кривя лицо. — Я вам покажу, как оскорблять безнаказанно...

— Господин Готлиб, — не меняя ни тона, ни выражения лица, произнес хозяин отеля «У золотой русалки», устремив взгляд в пространство за спиной синего сюртука.

На плечо молодому человеку тут же легла тяжелая рука. Инстинктивно он посмотрел через плечо — но тут же ему пришлось не то что поднять глаза выше, а еще и задрать голову. Господин Готлиб возвышался над ним, как крепостная башня над хлипким молодым дубочком. Казалось, его макушка касается почерневших стропил, перекрещенных высоко под потолком. Совершенно непонятным осталось, как человеку столь высокого роста и устрашающей комплекции удалось подойти со спины совершенно бесшумно.

Какое-то время царило напряженное молчание, нарушаемое лишь стуком колес только что подъехавшей почтовой кареты и кудахтаньем кур на заднем дворе. Господин Фалькенгаузен терпеливо ждал с кротостью христианского мученика, ввергнутого во львиный ров. Чуть позже он едва заметно улыбнулся, проницательным взором знатока человеческой

природы усмотрев миг, когда молодой человек, несомненно, дрогнул.

И, подняв руку со сверкающим талером на уровне глаз молодого саксонца, заговорил с неприкрытой скукой:

— Вы меня безмерно удручаете, молодой человек. Вынужден вам напомнить, что здесь не Ганновер... вы ведь из Ганновера изволили к нам прибыть? Судя по ширине лацканов вашего новехонького сюртука, оттенку сукна и пуговицам, мы имеем дело с производением славных ганноверских портных, и не перечесть. Так вот... Во-первых, вы, сдастся мне, в юности читали слишком много плутовских романов. Это в них любой трактирщик или владелец постоянного двора — персонаж в первую очередь комический и не приспособленный к реальной жизни. В действительности же представитель означенной человеческой разновидности гораздо умудрен житейским опытом и прекрасно знаком с теневыми сторонами бытия... Право же, мой дорогой! В тысяча восемьсот двадцать седьмом году от Рождества Христова следовало бы подсовывать владельцу отеля что-нибудь более искусно сработанное. Тысяча извинений, но то, что вы именуете талерами... фи! Во-вторых, обращаю ваше внимание на то, что вы имеете честь находиться в Праге. — Он значительно поднял палец. — Не где-нибудь, а именно в Праге!

Слегка пошатываясь под тяжестью могучей десницы безмолвного, смотревшего сурово господина Готлиба, молодой саксонец в сюртуке ганноверского пошива прямо-таки взвизгнул:

— Ну и что?

Господин Фалькенгаузен поднял брови:

— Вы, в самом деле, не понимаете специфики места?! Я, коренной пражский обыватель, удручен и уязвлен в самое сердце... Да будет вам известно, что древний город наш примечателен во многих отношениях. Так уж сложилось, что в граде нашем испокон веков обитали весьма примечательные алхимики, колдуны и прочие мастера преудивительных искусств. Не счесть таких, которые именно под пражскими крышами превращали свинец в золото посредством философского камня, изобретали удивительные механизмы и приспособления, превращали металлы, как бы это выразиться...

— Из первоначальных в совершенно иные, — густым басом подсказал господин Готлиб.

— Совершенно верно! — воскликнул Фалькенгаузен. — Отлично сказано! Вот именно что — из первоначальных в совершенно иные! Вы прямо-таки поэт, господин Готлиб, это в вас удивительным образом сочетается с умением одним ударом кулака проламывать дубовую дверь... Вы поняли мою мысль, господин из Ганновера? В нашем городе, издавна славившемся всевозможными кунштюками, придумками и отточенным мастерством буквально во всем, прямо-таки стыдно вынимать из кармана столь примитивные подделки да еще дерзко именовать их талерами чеканки монетного двора нашего светлого императора... — Он спросил уже другим тоном, холодным и резким: — Прикажете послать за полицией, чтобы она по своему разумению рассудила наш

спор? Или предоставим господину Готлибу право решить вопрос домашними средствами?

На молодого человека в синем сюртуке невозможно было смотреть без сострадания. Он пытался что-то пролепетать, но не находил слов.

— Господин Готлиб, — произнес Фалькенгаузен по-прежнему кротко, — как бы вы истолковали невнятные звуки, издаваемые данным человеком? С вашей поэтической проницательностью...

Господин Готлиб, не особенно и раздумывая, прогудел:

— Думается мне, он пытается нас уверить, что впервые в жизни допустил столь прискорбную ошибку, ужасно раскаивается и обещает никогда более не повторять столь прискорбных балаганных номеров...

— Какое совпадение! — живо воскликнул Фалькенгаузен. — У меня сложилось, ей-же-ей, то же самое впечатление! Эти слезы, ползущие по его румяным щекам, эти содрогания и телодвижения... — Он ласково похлопал по плечу всхлипывающего юнца. — Ну полноте, не стоит, мы же не звери и умеем отличить юношескую шалость от преступного деяния, караемого имперским судом без всякой милости... Отдайте мне то, что с вас причитается за ночлег и стол — и можете продолжать странствия. Не может же у вас не оказаться настоящих денег? Ага... Вот эта монета меня полностью устраивает. И эта. И эта... Нет-нет, эту не то что не показывайте, но и монетой не именуйте, иначе мы рассердимся... Так... Ну вот, счет сошелся, и даже более того — я остался вам

должен сорок два крейцера. Соблаговолите подождать, пока я отсчитаю...

Но молодой человек в синем, едва ощутив, что его плечо свободно от каменной тяжести десницы господина Готлиба, крутнулся волчком, опрометью бросился в дверь и моментально исчез с глаз. Судя по грохоту шагов на лестнице, он старался покинуть отель со всей возможной прытью.

— Положительно, нынешняя молодежь — моты и ветреники, — произнес Фалькенгаузен, когда производимый бегущим топот утих. — В его годы сорок два крейцера для меня были астрономической суммой, не стыжусь признаться. А этот вертопрах о них и не вспомнил...

— О да, — сказал господин Готлиб с подобающей случаю укоризной. — Невозможная молодежь. Нимало не заботятся о достоверности и прочих таких вещах. Не моргнув глазом, предлагать пожилым людям вроде нас «ганноверские пуговицы»... Быть может, следовало все же послать за полицией? Или вас, хозяин, на склоне лет стала обуревать совершенно неуместная в подобных случаях доброта?

— Готлиб, я попросил бы вас! — сварливо огрызнулся Фалькенгаузен. — Я убедительно попросил бы вас не употреблять это дурацкое выражение! «На склоне лет», скажете тоже! Я не отрицаю, что мой возраст никак не назовешь юношеским, но и употреблять столь фраппирующие определения, знаете ли... Между прочим, я моложе вас на три с половиной года, вы не забыли? — Он вздохнул. — Я с превеликим удовольствием кликнул бы полицию, Гот-

либ. Еще и оттого, что терпеть не могу, когда меня пытаются надуть так примитивно. Но его светлость категорически приказал избегать малейших инцидентов и делать все, чтобы сохранялось спокойствие...

— Ах, да...

— Кстати, где его светлость?

— Уже в задней гостиной, как и было оговорено.

— Ну что ж, — со вздохом сказал Фалькенгаузен. — Пусть этот юный прощелыга так и полагает, что сумел меня растрогать... И довольно о нем. Указания доведены до всех слуг, надеюсь?

— Ну разумеется, — с некоторой обидой произнес Готлиб.

— Готлиб, Готлиб... Не смотрите так. Я не сомневаюсь в вашей распорядительности. Я просто нервничаю, признаюсь вам по совести, и оттого могу показаться въедливым и несправедливым.

— Разве у вас есть основания нервничать?

— Ни малейших, — сказал Фалькенгаузен. — Если рассуждать логично. Но подобные события далеки от логики, милейший Готлиб... — Он помолчал и с вовсе уж тяжким вздохом продолжал: — Согласитесь, старина, всякому будет неуютно, когда в его заведении станет заниматься какими-то своими загадочными делами тайная полиция. Но когда она вдобавок представлена прибывшим из самой Вены господином графом... Такое неспроста. И даже если к тебе самому оно не имеет никакого отношения, начинаешь нервничать. Подобные загадки, Готлиб, совершенно не подходят людям нашего возраста и общественного положения — они пристали уж скорее искателям

приключений, юным авантюристам. Нет на свете, по-моему, существа, более всего ценящего покой и размеренное течение жизни, нежели содержатель постоянного двора, как этот двор ни именуется...

— Но ничего не поделать.

— Удивительно точное замечание, — сказал с печальным вздохом Фалькенгаузен. — Ничего не поделать... Пойдемте? По-моему, подкатила берлинская почтовая карета, я узнаю по звукам...

Они спустились вниз неторопливо и степенно, словно бы даже откровенно медля в нежелании соприкоснуться с чужими загадками. Проходя мимо приотворенной двери задней гостиной, Фалькенгаузен все же бросил туда быстрый взгляд. И ничего интересного, конечно же, не увидел, как и следовало ожидать. У камина, не разожженного ввиду теплого времени года, сидел в непринужденной позе господин средних лет, в жемчужно-сером сюртуке, с первого взгляда выдававшим опытному человеку работу лучших венских мастеров. Его виски были тронуты легкой сединой, а энергичное лицо с прямым носом и плотно сжатыми губами выдавало персону, привыкшую не просто отдавать приказы, а ждать их моментального и точного исполнения. На столике перед ним стояла раскрытая табакерка, и на ее белой эмалированной крышке, обращенной к двери, четко различалось изображение трех черных орлов. Фалькенгаузен поймал себя на том, что, проходя мимо приоткрытой двери, невольно ступал на цыпочках. И мысленно еще раз тяжело вздохнул, поминая нелегкую долю хозяина отеля.

Как и предполагалось, это оказалась именно берлинская карета. Во дворе и в зале царила обычная нескладная суeta, свойственная прибытию новых гостей: лакеи таскали багаж, новоприбывшие с любопытством озирались, иные выглядели истомленными долгим путешествием, иные держались бодро.

Молодой человек лет двадцати пяти, помахивая длинной толстой тростью, безусловно, относился ко вторым, поскольку выглядел не просто бодро, а даже браво. В противоположность многим своим спутникам по долгому путешествию, его, казалось, вовсе не заботила судьба багажа. Не оборачиваясь в сторону двора, он озирался с пытливостью человека, имеющего некую ясную и конкретную цель. Сероглазый, с пышными короткими усами и кудрявыми русыми волосами, курносый, словно покойный русский незадачливый император Павел, он производил впечатление человека, прямо-таки брызжущего жизненной энергией.

Завидев Фалькенгаузена, молодой человек наморщил лоб — весьма невысокий, следует отметить, — с таким видом, словно решал сложную математическую задачу. Потом, не колеблясь, быстрыми шагами подошел к хозяину и, сделав тростью неопиcуемый жест, непринужденно произнес с рокоchущим прусским выговором:

— Эй, вы и будете хозяин? Фолкье, Фульке...

— Фалькенгаузен, — с поклоном сообщил хозяин.

— Ну да, я и говорю, что-то этакое... — Молодой человек нагнулся к уху хозяина и театральным шепотом сообщил: — Я из Берлина, старина, вам дол-

жно быть известно... Короче сказать, мне необходим господин из Вены. Господин граф.

Мысленно вздохнув (от всех вместе взятых новых впечатлений, нарушавших нормальное течение жизни), Фалькенгаузен отвечал кратко:

— Я осведомлен, а как же... Но вы, мой господин, должны, сдается, предъявить некую вещь...

— Ну, с этим без вопросов! — бодро сказал молодой человек в дорогом, но крайне скверно на нем сидящем светло-синем сюртуке с черными пуговицами.

Запустив три пальца в жилетный карман, достал часы на массивной цепочке и, подняв их перед глазами Фалькенгаузена, щелкнул кнопкой. Внутренняя сторона прикрывавшей циферблат крышки была покрыта белоснежной эмалью, на которой красовалось изображение трех черных орлов.

— Подходит? — сказал молодой человек, нетерпеливо переминаясь.

— Разумеется, — сказал Фалькенгаузен. — Вас сейчас же проводят.. Но ваш багаж?

— Гром и молния, нашли о чем думать! — пожал плечами молодой человек. — О нем, я думаю, позаботятся. Там суетятся какие-то бездельники... У вас приличное заведение? Часы не пропадают и все такое?

— Можете быть уверены...

— А то смотрите у меня! Уши отрежу!

И он, помахивая тростью, направился следом за господином Готлибом, чьи внушительные размеры не произвели на визитера никакого впечатления. Походка у него, отметил Фалькенгаузен, была примечатель-

ная — левую руку молодой человек упорно держал у бедра, словно прижимал к боку тяжелую офицерскую саблю, а ноги ставил носками внутрь, как это делают записные кавалеристы, привыкшие большей частью расхаживать со шпорами на сапогах и сохраняющие это обыкновение во все прочее время.

Господин Фалькенгаузен, прекрасно помнивший полученные инструкции, знал, что это еще не конец — а потому, степенно спустившись с крыльца, набил кнастером короткую трубочку и, неспешно попыхивая, занял удобное местечко в углу двора, откуда мог видеть решительно все.

Его терпение было вознаграждено примерно через четверть часа. Во двор вкатила прусская почтовая коляска — совсем не походившая на коляску, а имевшая вид длинной крытой фуры без рессор и ремней, образца, не менявшегося пару десятилетий.

Первым выскочил ширмейстер, сопровождавший казенные грузы, встал у заднего колеса и с уморительной гримасой принялся делать нелепые движения, разминая уставшие члены.

Гораздо степеннее вылез тучный господин в унылого цвета фраке, протянул руку, помогая сойти столь же тучной даме в дорожном платье того же унылого цвета. Было в них что-то неуловимо схожее, позволявшее с первого взгляда определить супружескую чету, прожившую вместе не один десяток лет, однако они вряд ли могли оказаться теми, кого ожидал Фалькенгаузен с прусской почтовой коляской...

Последним со ступеньки ловко спрыгнул молодой человек не старше тридцати лет, невысокий ростом,

худощавый, но телосложения крепкого и соразмерного. Нельзя сказать, чтобы он был красив, но лицо его отличала крайняя выразительность и одушевленность, особо проявлявшаяся в голубых глазах. Господин Фалькенгаузен и сам не мог бы объяснить, что он имеет в виду, но столь удивительных глаз, выразивших бездну дум и ощущений, он не видел за всю свою не столь уж короткую жизнь. Молодой человек был шатен, с сильно выющимися волосами и бакенбардами. Ногти у него на пальцах, оказались предлинные, и он, сразу видно, был необыкновенно подвижен.

Он огляделся с видом человека, обладающего способностью накрепко и навсегда запечатлевать в мыслях все увиденное, превращая его в некое подобие живописного полотна. Легкая улыбка тронула его губы.

«А где, братец, здесь нужник?» — вспомнилось приезжему в простом черном сюртуке, с короткой тростью в руке.

В следующий миг молодой человек, не обращая внимания на суету вокруг, порывисто направился прямо к Фалькенгаузену, поклонился и спросил, быстро и четко выговаривая слова:

— Вы хозяин здесь, я не ошибаюсь?

Вынув трубочку изо рта, Фалькенгаузен поклонился и спросил без особого удивления:

— Как вы догадались, сударь?

— Такой уж у вас вид... Основательный, я бы разился.

И он рассмеялся громко, чуточку, казалось, простодушно. У молодого человека, подметил Фалькен-

гаузен, была интересная особенность: когда он не улыбался, казался угрюмым.

— Вы совершенно правы, — сказал Фалькенгаузен, испытывая нешуточное облегчение оттого, что четвертого приезжего ждать, слава богу, не приходилось. — Я и есть хозяин этого заведения, быть может, не самого лучшего в Праге, но, безусловно, добропорядочного...

— Не остановились ли у вас господа из Вены и Берлина? Тот, что из Вены, выглядит — да и является, полагаю — нешуточным вельможей, а господин из Берлина чрезвычайно курнос?

— Они вас интересуют?

— И весьма.

— Есть некий предмет...

— Ах да, я и запомнил! — сверкнув белоснежными зубами, сказал со слегка удрученным видом молодой человек.

Он проворно достал из кармана сюртука круглую табакерку и показал ее Фалькенгаузену. На выпуклой крышке, покрытой белоснежной эмалью, чернели три орла в той же композиции: один вверху и два внизу. Фалькенгаузен давным-давно подметил, что все три орла — чуточку разные, два двуглавых и одноглавый. Причем у каждого из трех навязанных ему постояльцев наверху был иной орел, у каждого свой. Не было особой загадки в их геральдическом предназначении: прусский, австрийский и русский.

Однако владелец отеля не строил по этому поводу догадок, не пытался доискаться до каких-то ответов, вообще не забивал себе голову излишними раз-

мышлениями по поводу гостей — не хотелось ему этого, и все тут. Хотелось как раз противоположного — чтобы вся эта история, нарушившая его отлаженную жизнь, побыстрее миновала и исчезла в забвении...

— Пойдемте, сударь, — сказал он просто.

Приведя приезжего к двери, все еще остававшейся приоткрытой, Фалькенгаузен поклонился и с превеликим облегчением покинул коридор, опасаясь, что будет вовлечен в дальнейшие загадочные дела. Приезжий после недолгого раздумья вошел. Он был замечен не сразу: курносый молодой человек стоял посреди комнаты и, растопырив руки со скрюченными наподобие когтей пальцами, с несказанным энтузиазмом повествовал:

— ...и тут эта скотина поперла прямо на меня, и стало ясно, что речи быть не может про какого-нибудь безумца, возомнившего себя волком, — натуральный оборотень, говорю я вам, пасть смердит, как нечищенный хлев, шерсть длиной в локоть, клычищи щелкают, как калитка в преисподней, а уж глазищи... Расстояния между нами, собственно, не оставалось никакого, оба моих унтера кинулись прочь, верещат, как зайцы, уже издалека... Выхватываю я пистолет и вдруг вспоминаю, что серебряной-то пулей мне зарядили только один, а для второго ее не нашлось, и там обычный свинец. Взвожу это я курок на два щелчка, успеваю подумать: ежели пистолет не тот, то выпадет мне сомнительная и совершенно нежеланная честь закончить своей незадачливой персоною генеалогическое древо... а до чего, признаться, жаль этого

древа, очень уж внушительное... Вот попробуйте догадаться, который пистолет у меня оказался в руке?

Его собеседник тонко улыбнулся:

— Ну, поскольку вы стоите здесь целый и невредимый, осмелюсь предположить, что пистолет вы все-таки выхватили надлежащий... Однако у нас гость. А поскольку я вижу у него в руке табакерку с должной эмблемой... Не будете ли вы так любезны притворить за собой дверь поплотнее?

Вошедший тщательно прикрыл дверь и, повинувшись приглашающему жесту, опустился на кресло. Курносый молодой человек, опустив без малейшего смущения воздетые руки, воскликнул:

— Ну, наконец-то! Я уж беспокоиться начал, не случилось ли чего.

— Обычные дорожные затруднения, — сказал вошедший последним. — Неполадки с коляской, пьянство почтальона, которого приходилось всем вместе извлекать из каждой корчмы...

— Не перейти ли нам к делу, господа? — предложил тот, кого владелец отеля именовал его светлостью. — Вы позволите мне взять инициативу? Как по праву старшего годами, так и по праву хозяина? Прекрасно... Итак, разрешите представиться: граф Эдвард фон Тарловски, заместитель начальника «серого кабинета» — департамента тайной полиции, коего, как легко догадаться, формально и не существует вовсе, словно и не бывало никогда...

— Ничего необычного, — сказал молодой человек с бакенбардами, вновь мгновенно став из угрюмого веселым. — У нас имеет честь быть в точности то же

самое... Александр Пушкин, из Особой экспедиции Третьего отделения собственной Его Величества канцелярии. Нас, господа, если судить формально, тоже словно бы не существует...

— Призраки, одним словом, а? — весело сказал курносый. — Ля ревенантс, как выражаются французы. Что до меня, господа, то у нас в Пруссии и в самом деле ничего такого не существует — что формально, что фактически. У нас, знаете ли, свои порядки. Даже тайной полиции нет. У нас, надобно вам знать, испокон веков считается, что с любым деликатным поручением справятся гвардейские офицеры... Вот мне, соответственно, и поручено представлять Прусское королевство в «Трех черных орлах». Можете не беспокоиться, некоторый опыт имеется: оборотня взять хотя бы, я как раз про него рассказывал господину графу... Короче говоря, я в этих играх не посторонний. Видывали виды, а как же... Вот взять хотя бы ту историю в...

— Когда-нибудь мы ее обязательно послушаем, — мягко сказал граф фон Тарловски. — Но сейчас, увы, нет времени. Значит, вы — офицер гвардии...

— А как же! — молодой человек с неожиданной сноровкой звонко пристукнул каблуками. — Лейтенант гусарского полка фон Циттена. Барон Алоизиус фон Шталенгессе унд цу Штральбах фон Кольбиц. Скажу вам по совести, господа: Шталенгессе пришел в совершеннейшее запустение и был заброшен еще в середине пятнадцатого века, поскольку, так уж сложилось, представлял собою не более чем небольшой замок на вершине горы в крайне труд-

нодоступном месте. Там неподалеку, знаете ли, пролежала большая дорога, вот мои пращуры поблизости замок Шталенгессе и построили по причинам удобства для... некоторых насущных надобностей, связанных как раз с сей дорогой. Вот, а потом ярмарку перенесли, дорога пришла в запустение, и пришлось перебираться в другое место. Штральбах, опять-таки размерами не блиставший, пострадал от землетрясения шестьсот тридцать четвертого года, когда обломки рухнувшей скалы покрыли его совершенно — хорошо еще, что тогдашний его владелец пребывал на значительном отдалении и остался жив, за что он потом искренне благодарил тюремное начальство... я хотел сказать, промысел Божий. Кольбиц, к моей искренней радости, решительно переломил эту печальную фамильную традицию и находится сейчас в относительно процветающем состоянии, хотя, скажу честно, похвастать протяженностью он не может, и потому, в частности, мне никак не удастся попрактиковаться там в стрельбе из пистолета — в какую сторону ни целься, пуля все равно залетает к ближайшим соседям, и эти тупые бюргеры начинают таскаться по властям... Но, обращаю ваше внимание, с точки зрения Геральдической коллегии, все три поместья по-прежнему считаются владетельными, дающими право именоваться по их названию... Ох, простите, я, кажется, заговорился! Знаю за собой этот грешок, но ничего не могу поделать, встретившись с приятными собеседниками, особенно если они принадлежат к тому же славному сообществу охотников за нечистой силой...

— Мы у себя в Вене не употребляем столь пышные названия, — сказал граф с величайшим терпением. — Но суть, думается мне, именно такова.

— Да, пожалуй, — сказал Пушкин.

Граф повернулся к нему:

— Справедливо будет предоставить слово вам, мне думается... Ведь это Петербург был инициатором встречи. У вас случилось... нечто, требующее соединенных усилий?

— Да, именно, — сказал Пушкин, больше уже не улыбавшийся. — Рассказ выйдет долгим, но тут уж ничего не поделаешь... Жил-был до недавнего времени в Петербурге один человек по имени Степан Николаевич Ключарев — происхождения самого благородного, хотя и не титулован, принят в лучших домах, обладатель немалого состояния, благодаря чему не вступал ни в военную, ни в статскую службу. Репутация незапятнанная, не картежник, не мот... Правда, имел в свое время некоторое прикосновение к печальным событиям четырнадцатого декабря, но, во-первых, доказать ничего не удалось, а во-вторых, очень уж многих можно назвать прикосновенными... — На его лицо набежала тень, но продолжалось это один миг. — Безупречный человек, одним словом, душа общества, завидный жених... Но случилось так, что два месяца назад насильственной смертью скончался его дядюшка, единственным наследником коего был господин Ключарев. Дело для городской полиции казалось ясным: камердинер покойного, то ли из алчности, то ли из иных причин ночью нанес смертельную рану свое-

му барину чем-то вроде тонкого стилета. В свое оправдание изобличенный злодей рассказал вовсе уж невероятную историю, якобы на его глазах ночью удар в сердце барину нанесла бронзовая статуэтка, изображавшая античного воина с мечом в руке, стоявшая у изголовья дивана. Тонкой работы статуэтка, высотой примерно в аршин...

— Простите? — поднял бровь граф.

Пушкин для наглядности поднял над полом руку с растопыренной ладонью, наглядно демонстрируя расстояние, равное аршину, потом продолжал:

— Как легко догадаться, господа, презренному злодею никто не поверил, посчитав его слова то ли неуклюжей попыткой направить розыск по ложному пути, то ли помутнением рассудка после убийства. Однако так уж повернулось, что в непосредственной близости к этому делу пребывал смысленный и толковый агент Особой экспедиции, тут же сопоставивший этот случай с событиями трехлетней давности. Князь прислушался к его аргументам и приказал провести негласное расследование, уже по нашей линии. Выяснились преинтересные вещи. Начнем с того, что статуэтка и з м е н и л а с ь.

— Это в каком смысле? — спросил барон, заморожено слушавший.

— За две недели до гибели бедняга заказал художнику картину с изображением гостиной. Диван, на котором все и произошло, статуэтка — все было выписано предельно тщательно, с несомненной похожестью на оригинал. Но в том-то и дело, что позы, в которых пребывал античный воин на полотне и в ре-

альности, несколько отличались — достаточно, чтобы усмотреть различие. Привлеченный нами доктор, человек старательный и надежный, заверил, что «стилет», которым якобы была нанесена смертельная рана — и который, кстати, так и не был отыскан — вполне мог оказаться тем бронзовым мечом, что как раз и держал в руке античный воин.

— А что с этим воином? — жадно спросил барон, подавшись вперед. — Он там у вас ничего такого не выкидывал?

— Увы, барон, — с грустной улыбкой ответил Пушкин. — Он давно уже стоит в одном из помещений Особой экспедиции, но за все это время никаких сюрпризов не продемонстрировал. Ведет себя так, как и подобает бездушному истукану, отлитому в прозаической литейной мастерской... Дело в другом. Наш агент, как он признавался впоследствии, по какому-то наитию вспомнил именно это событие трехлетней давности. Три года назад при абсолютно схожих обстоятельствах расстался с жизнью дальний родственник господина Ключарева, опять-таки других наследников, кроме Ключарева, не имевший. Тогда произошло то же самое, вплоть до мелочей: покойный — кстати, еще не старый, изрядного здоровья мужчина — расстался с жизнью, будучи злодейски зарезан ночью своим камердинером. Именно таков вердикт полицейских. Что еще могла подумать полиция, когда выяснилось, что владелец дома был найден с колотой раной в комнате, куда не имел ночью доступа никто, кроме камердинера? Беднягу сослали в каторгу, мы отправили за ним людей, но

пройдет немало времени, прежде чем они вернутся из Сибири...

— А статуи там не было? — выпалил барон. — В том, первом случае?

— Господин барон, вы мне испортили сценический эффект... — усмехнулся Пушкин. — Представьте себе, и в первом случае статуя, как вы изволили выразиться, была. Вот такого примерно роста бронзовый крестоносец с мечом наго́ло, стоявший на сей раз, правда, не в изголовье дивана, а на некотором отдалении, в углу комнаты... Мне сказать, кем была подарена и эта статуя, или вы догадаетесь сами?

— Кровь и молния! — воскликнул барон. — Неужели снова?

— Совершенно верно, — сказал Пушкин. — У господина Ключарева обнаружилась похвальная на первый взгляд привычка: делать довольно дорогие подарки людям, единственным наследником которых он числился. Вот только в обоих случаях последствия оказывались самыми трагическими... Мы оказались в сложнейшем положении, господа. Особая экспедиция за годы своего существования сталкивалась с вещами даже гораздо более страшными и удивительными — но никогда не имела возможности нарушить тайну. Кто-то, а вы-то можете представить, как мы выглядели бы, явись князь или господин Бенкендорф в уголовную палату и потребуй привлечь к суду человека, совершившего два убийства с помощью оживающих бронзовых статуэток...

— Да уж! — с чувством сказал барон. — Я про своего оборотня и заикнуться не могу, пока не окажется

среди людей понимающих. На смех подымут, а то и к докторам запрут... — Он вдруг яростно хлопнул себя кулаком по ладони: — Тысяча чертей, а ведь мне ваша история кое-что напоминает...

Граф осведомился с непроницаемым лицом:

— Надо ли понимать вас так, что виновник оказался вне вашей досягаемости?

— Именно, — сказал Пушкин. — Не было причин ему препятствовать, весь остальной мир пребывал в неведении, и он, преспокойно исхлопотав паспорт, выехал за границу. В его доме мы нашли огромную кучу пепла в камине, конечно, не установить уже, что за бумаги он жег, — но библиотека этой участи избежала. Странная библиотека для молодого человека из высшего общества. Почти целиком состоящая из всевозможных печатных изданий на трех языках, касающихся чернокнижия, колдовства и тому подобных вещей. Сами по себе эти книги, каждая в отдельности, совершенно безобидны — изданы в Европе законным образом и не таят каких бы то ни было ужасных откровений... но круг интересов господина Ключарева обозначился чрезвычайно ярко. В сочетании с двумя упомянутыми случаями крайне многозначительная получается комбинация...

— А он не в Пруссию ли сбежать изволил, ваш Ключарев? — со странной, недоброй ухмылкой поинтересовался барон.

Пушкин молча поклонился.

— Ну то-то же и оно! — с ликующим видом выкрикнул молодой барон. — Теперь-то я понимаю, начинаю сопоставлять... Совсем недавно у нас, в Гоге-

нау, произошло чрезвычайно загадочное убийство... чертовски напоминающее, господин Пушкин, ваши трагедии. Некий господин был найден мертвым в запертой на ключ комнате, пораженный в самое сердце неким подобием стилета... который, как и в вашем случае, не найден. Как и у вас, за неимением лучшего арестовали слугу, этакого доверенного, имевшего второй ключ от барской двери. Сочли, он соблазнился только что поступившими деньгами — убитый господин этот был банкиром не из мелких, не брезговал ростовщицеством, иные особо ценныеклады держал в шкафу в своей спальне...

— Наследники были? — с величайшим хладнокровием осведомился граф.

— Один-единственный, — отозвался барон. — Племянничек, некий молодой вертопрах... в ту ночь находившийся в соседнем городке, что и могла подтвердить добрая дюжина свидетелей. Вне всяких подозрений. Вот только... Нашелся припозднившийся субъект, категорически утверждавший и клявшийся, будто собственными глазами видел, как из окна банкира вылезло и проворно спустилось по водосточной трубе нечто, слишком мелкое для человека. Вот только нализался он в ту ночь как сапожник, и шел-то из кабака в кабак, так что веры ему никто не дал. Но случился поблизости агент, человек пряткий, он эту историю вставил в недельное обозрение странностей... ну, вы знаете, у вас, как я понимаю, такие же составляются... А вот, кстати, у вашего Ключарева не было ли в приятелях итальянца-кукольника?

— Откуда вы знаете?

— Ха! А потому что в то время в Гогенау как раз пребывала парочка иностранцев: некий русский барин, истинный аристократ, по отзывам, и персона совсем другого пошиба, итальянец с куклами-марионетками. Очень уж они не сочетались, потому их и заметили, недоумевали, что столь разные субъекты путешествуют вместе, и водой их не разольешь...

— Действительно, — тихо сказал Пушкин. — Был такой итальянец, синьор Джакопо, зарабатывавший на жизнь в Петербурге театром марионеток. Прислуга Ключарева наперебой уверяла, что этот Джакопо частенько навещал барина, без всяких марионеток, и они подолгу сидели, запершись... Слуг это удивляло не менее, чем, надо полагать, ваших добрых бюргеров из Гогенау: совершенно непонятно, что могло связывать столь разных людей... Да, они уезжали в Пруссию. И после вашего рассказа я уже не сомневаюсь, что и там они занялись чем-то предосудительным... Интересно, у вашего банкира в комнате не было какой-нибудь статуи?

— Да никто не выяснял! — с сердцем сказал барон. — Я просто вспомнил страничку из очередного обозрения, вот и все. Никакого розыска не происходило. Хотя, теперь-то...

— Простите, барон, вы не можете припомнить точнее? — сказал граф. — В каких именно выражениях ваш пьянчуга характеризовал то, что видел в ту ночь?

Барон старательно наморщил лоб, завел глаза к потолку и сидел с такой гримасой достаточно продолжительное время. Потом сказал вразяжку:

— Ну... «Маленькое, чертовски проворное существо, то ли на кошку похожее, то ли на чертенка». И все.

— Значит, не статуя. Хотя... Что мы знаем о том, как себя ведет приведенная в движение какими-то магическими практиками статуя?

— Статуя осталась бы на месте, — сказал Пушкин. — Простите за невольный каламбур, притворившись статуей... Но, с другой стороны... Вы правы: что мы о них знаем? Кстати, бронзовая статуэтка, если она достаточно тонкой работы, была бы неплохим закладом, господа ростовщики падки на все, что угодно, лишь бы представляло ценность. И вот что еще, господа... Вы, наверное, и так уже догадываетесь, почему мы попросили съехаться непременно в Праге, но на всякий случай позвольте уточнить: в Дрездене один из знакомых Ключарева по Петербургу видел его устраивавшимся в пражской почтовой карете. Я отстал от него всего на несколько дней...

— Тысяча чертей со всеми архангелами! — воскликнул барон. — Так он запросто может тут околачиваться! Взять мерзавца за глотку...

— И далее? — с невозмутимым видом поинтересовался граф. — Какое обвинение прикажете предъявить? Как убедить судью в его виновности?

Барон со сконфуженным видом уставился на носки своих покрытых дорожной пылью башмаков. Сказал, пожимая плечами:

— Да, об этом я как-то не подумал... Но ясно же, что все это неспроста! Какие, к дьяволу, совпадения?

Когда такое вот начинается, нет никаких совпадений, а есть наш законный клиент...

— Полностью с вами согласен, — сказал граф. — Но советую, дорогой барон, почаще вспоминать, что все остальное человечество никакого представления не имеет о созданном в восемьсот пятнадцатом году союзе «Трех черных орлов». О действующих в глубочайшей тайне департаментах, занимающихся тем, что наш просвещенный век свысока именует мистикой и чертовщиной. Господи, да мы сами не знаем в точности, как обстоит с э т и м в других державах. Имеются сильные подозрения по поводу Франции, Англии и, как ни странно, Голландии, но точных сведений нет. Как нет их и о некоем крайне интересном ответвлении папской канцелярии... Нас мало, мы врозь, мы сплошь и рядом бродим во мраке — а тот самый просвещенный век, о котором я только что упоминал, к сожалению, уверился, что в наше время нет и не может быть ничего сверхъестественного. Ну какое может быть сверхъестественное во времена электричества, пара и рассуждений, отрицающих историчность библейских книг?

— Но ведь нужно же что-то делать? — с запальной обидой воскликнул барон.

— Ну разумеется, — кивнул граф. — С величайшей осторожностью и ювелирным тщанием. — Он задумчиво потер высокий лоб. — Вообще-то, если смотреть ретроспективно, во всем этом нет ничего нового. Оживающие ночью статуи — предмет жутких рассказов, насчитывающих несколько сот лет. Я не

большой знаток вопроса, но кое-что приходилось слышать... сугубо частным образом.

— Точно, — поддакнул барон. — Мне тоже доводилось слышать. Вот железную руку Геца фон Берлихингена хотя бы взять, которая сама по себе ночами слонялась и людей душила. Да мало ли... А вы?

— У нас в России, барон, со статуями обстояло несколько иначе, — сказал Пушкин. — Их, собственно говоря, не имелось вовсе — не в наших традициях было заниматься скульптурой. Оттого и страшных рассказней быть не могло. Сто тридцать лет назад появились у нас статуи — но пока что, слава богу, обходилось. А впрочем... На юге России мне приходилось слышать о тамошних каменных истуканах немало поразительного и жуткого. Древние изваяния, по убеждению некоторых, в некие ночи имеют привычку прогуливаться окрест — к несчастью для невезучего путника. Сейчас мне над этими рассказами смеяться не хочется.

Граф сказал негромко:

— Сдается, господа, наша служба решительно отвращает от насмешек над любой странностью — потому что, выясняется, ничего заранее не известно... Позвольте подвести некоторые итоги? Все говорит за то, что мы имеем дело с людьми, овладевшими искусством управления неодушевленными статуями. Господа эти, никаких сомнений, используют свое умение во зло... и, чрезвычайно похоже, сделали его источником дохода. Сомневаюсь, барон, что смерть вашего банкира в Гогенау последовала исключительно оттого, что он ненароком поссорился на улице с

нашими странниками. Вероятнее всего, и там во главе угла лежали деньги, благодарность счастливого наследника. Ну что же... Для того наши департаменты в первую очередь и созданы, чтобы втихомолку выявлять и изобличать подобных субъектов... Я немедленно отдам распоряжения. Вашего итальянца начнут искать уже через полчаса... И, разумеется, Ключарева тоже. Но отправить их к уголовному судье мы, как вы сами понимаете, не сможем... Строго говоря, мы не в состоянии даже подвергнуть их допросу по всем правилам. Можно заранее предсказать: они, обладая, без сомнения, изрядной долей наглости и цинизма, будут смеяться нам в лицо, прекрасно понимая, что любой непосвященный человек сочтет нас сумасшедшими...

— Тысяча дьяволов! — не выдержал барон. — Что ж нам вообще делать?

Граф усмехнулся:

— Мы, в «сером кабинете», применяем рискованный, но единственно возможный способ. Даем человеку понять, что знаем о нем все... или почти все. У большинства не находится достаточно хладнокровия, чтобы держаться так, словно ничего не произошло. Сплошь и рядом они начинают действовать — в первую очередь против тех, кто явился их изобличать. Порой это бывает достаточно опасно... чрезвычайно рискованно, не буду скрывать. Но, с другой стороны, не остается никаких недомолвок и неясностей, возникают прямые и убедительные доказательства, позволяющие применить... внесудебные меры.

Пушкин пытливо посмотрел ему в глаза:

— Рискну предположить, без потерь среди охотников при такой практике не обойтись?

— Увы, — ответил граф, не моргнув глазом. — Но это единственный верный способ вывести наших клиентов на чистую воду. У вас есть возражения?

— Никаких.

— А у меня тем более, — сказал барон, улыбаясь одними углами рта. — Все как на войне, разведка боем... Дело понятное. Считайте, что я ваш. Уж я ему выскажу прямо в лицо все, что думаю о таком способе заколачивать денежки...

— Господин Пушкин, — сказал граф, — не составили ли вы список книг? Я имею в виду каталог библиотеки вашего предприимчивого петербуржца?

— Ну разумеется. Он у меня в чемодане. На всякий случай.

— Прекрасно, — сказал граф. — Нынче же он нам понадобится, есть человек, знающий толк в таких делах...

Глава вторая

ЧЕЛОВЕК С МАРИОНЕТКАМИ

— Черт побери, что там такого интересного? — воскликнул барон, небрежно опершись на каменные перила украшенного статуями Карлова моста. — Вы, друг мой, уже четверть часа таращитесь в ту сторону, словно там бог весть какое чудо из чудес...

— Чрезвычайно живописные дома.

— Да что в них такого живописного? Дома как дома. К живописи я, должен вам сказать, отношусь со всем почтением... но ведь живопись — это батальное полотно. Кони несутся, разметаив гривы и оскалив зубы, блещут сабли, знамена развеваются... А все остальное — это уже не живопись, а так, забавы...

— Вам трудно понять, барон, — сказал Пушкин, не отводявший взгляда от высоких домов на том берегу, с узкими окнами и черепичными крышами. — У вас в Германии...

— В Пруссии!

— Прощу прощения. Конечно же, в Пруссии... У вас в Пруссии никого не удивит количеством и многообразием старинных каменных домов. В России обстоит несколько иначе. Предки наши строили главным образом из дерева, и такая красота была чертовски недолговечной, учитывая все войны...

— Ну, ваше дело... — сказал барон, покручивая усы с видом величайшего нетерпения. — Не видели

вы настоящей красоты, — когда на королевском смотре гусарские полки выстраиваются в одну линию, звучит команда, и сотни клинков одновременно блистают в солнечных лучах. Вы ведь, как я понимаю, из статской службы пришли?

— Я вообще не служил, барон.

— Ах, вот в чем дело... Счастливец, завидую! У вас, должно быть, состояние немаленькое?

— Увы, увы... Единственная деревенька.

— Ага! Как и я, стало быть, на жалованье существуете?

— Не совсем. До того, как попасть в Особую экспедицию, на жизнь зарабатывал стихами.

— Ах, во-от оно что! — воскликнул барон с живейшим энтузиазмом. — То-то я смотрю, вид у вас какой-то такой... этакий... — Он неопределенно помахал тростью в воздухе. — Вдохновенный, я бы выразился... Кровь и гром, ну вы меня удивили! Я, знаете ли, чужд наук, как и всякой такой изящной словесности, сколько ни пытались в меня вбивать науки и словесность, они от меня отчего-то отскакивают, как горох от стенки... Совершенно невосприимчив я к наукам и словесности! — признался барон с гордостью. — А вот поэзия — другое дело. Тут я преисполнен уважения и стараюсь соответствовать. Почитаваю иногда всякое такое рифмованное... — Он помолчал, потом признался решительно. — Принужден к тому обстоятельствами, понимаете ли. — Он постарался придать своей простецкой физиономии выражение крайне загадочное. — Дамы, мой друг, дамы! Барышни и тому подобное... Черт их знает почему, этих особ прекрасно-

го пола, но им отчего-то категорически не хочется слушать о кампаниях Фридриха Великого и тонкостях выездки эскадронных коней первой линии. Им как раз и подавай что-нибудь этакое, с рифмой и чувствами. А если ты насчет этого неотесан, успеха и ждать нечего. И признаюсь вам по совести: до сего дня в толк не возьму, как же это так надо уметь, чтобы каждую строчку писать в рифму... А ведь целые пьесы имеются! Три часа говорят — и все в рифму! Довелось мне как-то сопровождать в театр одну милую барышню. Первый час я еще ждал, когда актеры заговорят прозой, как все нормальные люди. Не дождался. А впрочем, пьеска была небезынтересная, там частенько дрались на мечах, и довольно умело. Трагическая такая история. Один юнец по имени Ромео — фехтовальщик, между нами говоря, никакой, но язык здорово подвешен — влюбился в девушку по имени Джульетта, а она, соответственно, в него. Только из-за того, что родители враждовали, им в конце концов пришлось отравиться и зарезаться... То есть, он отравился, а она зарезалась, или наоборот, я забывал, право... Так вот, они там все три часа изъяснялись сплошными рифмами, да так гладко, ни разу на прозу не сбились... Это, часом, не вы написали? Что вы улыбаетесь? Я угадал?

— Увы, наоборот...

— Ну все равно. Производило впечатление... Особенно на барышню, но чуточку и на меня. О нас, пруссаках, вечно разносят всякие гнусности: тупые солдафоны, мол, равнодушные к прекрасному... Это они зря. Вот меня хотя бы взять: я — человек дос-

таточно широких взглядов. Признаюсь вам по чести, испытываю прямо-таки суеверное почтение к людям, умеющим то, чего я сам не умею. Вот смотрю я на вас и втихомолку поражаюсь: с виду обыкновенный человек, а вы, оказывается, рифмами пишете... Эй, эй! Что с вами?

Он, перехватив трость поудобнее, подался вперед, готовясь заслонить спутника от какой-то неведомой напасти, но вокруг не было ничего, подходившего бы под это определение, только пронесся совсем рядом крупной рысью белый скакун, на котором сидела дама в синей амазонке, едва не задевшая обоих разведывавшимся шлейфом.

— Все в порядке, барон, — сказал Пушкин, принужденно улыбаясь. — Не всегда могу сдержаться... В свое время предсказала мне гадалка, что следует беречься белой лошади, белой головы и белого человека. Более точных подробностей, как это за ними водится, не соизволила привести... но два ее предсказания уже сбылись, так что следует относиться со всей серьезностью...

— Да, пожалуй что, — подумав, кивнул барон. — Предсказания — это серьезно, хотя и шарлатанов полно. А вы не пробовали как-то истолковывать? С учетом приобретенного на службе опыта? Ведь оно по-всякому может обернуться, знаете ли, с этими гадалками всегда так. Скажем, белая лошадь имелась в виду вовсе не живая, а скажем намалеванная на вывеске трактира. Вот и выходит, что беречься вам следует вовсе не живой лошади, а этой самой вывески? А?

— В этом, пожалуй, есть резон. Но слишком много получалось бы и истолкований...

— Тоже верно. Да, а про какого такого Гулема толковал нам граф, прежде чем исчезнуть на два часа вместо одного?

— Не Гулем, а Голем, — сказал Пушкин. — Это местная легенда. Считается, что именно здесь, в Праге, древние чернокнижники создали глиняного истукана, которого могли оживлять по желанию. Он и звался Големом.

— Ах, вот оно что, — сказал барон. — То-то лицо графа при этом было не веселое, как если бы речь шла о новом каламбуре, не успевшем еще до нас дойти, а озабоченное... После ваших рассказов... и того, что приключилось у нас в Гогенау, на такие сказки начинаешь смотреть совершенно иначе: этак, чего доброго, и правда в них выищется.

— Не хотелось бы думать.

— Да уж... — проворчал барон, озабоченно глядя на тесно стоящие старинные дома с черепичными крышами. — А как там у них с этим Големом все было устроено, неизвестно?

— Говорят, что в рот ему вкладывали шарик с каким-то заклинанием, — и он оживал. А потом шарик вынимали, и он вновь становился истуканом.

— А вот это уже полегче! — оживился барон. — Это, значит, нужно исхитриться и двинуть ему по роже так, чтобы шарик вылетел... При известной сноровке — ничего хитрого... С оборотнем, я вам скажу, пришлось потруднее...

— Вам приходилось заниматься... чем-нибудь еще? Кроме оборотня?

— А как же! — усмехнулся барон. — Не считите за похвальбу, но не кто иной, как ваш покорный слуга, вывел на чистую воду прохвоста Баумбаха. Вы можете не верить, герр Александр, но этот подлец умел взглядом двигать игральные кости, чем и пользовался, как легко догадаться, к вящей для себя выгоде. Выбросит из стаканчика, и, пока они еще катятся — зырк! Еще раз — зырк! Они и легли, как ему удобнее. И ладно бы, каналья такая, не зарывался, сшибал денежку по маленькой — но он, креста на нем нет, начал людей разорять дочиста, обдирать буквально. Ну, поначалу никто ничего такого за ним не подозревал, даже в мошенничестве трудно было обвинить: он ведь не своими какими-то игральными костями пользовался, а чужими, да впоследствии специально себе стеклянные заказал, чтобы сразу видно было: это он просто такой везунчик, глядите, люди добрые, кости ведь прозрачные, никаким свинцом не залиты... Ну, зацепили мы его в конце концов, убедились, навалились, уличили...

— И что же?

— А ничего. Сидит себе смирнехонько. Кандалы, как доподлинно выяснилось, он взглядом расклепать никак не в состоянии, да и решетки перепиливать не может, как ни паялся... А вы?

— Для меня это тоже не первый розыск, — сказал Пушкин, задумчиво глядя на далекие крыши. — Случилась однажды в Новороссии очень грустная и, пожалуй, мерзкая история: почтенное семейство про-

винциальных помещиков, хлебосольный дом, балагур папенька, очаровательные дочки... Это — в н е ш н е, Алоизиус. А на самом деле очаровательное семейство было, пожалуй что, и не людьми вовсе. Простите, мне об этом не особенно нравится рассказывать. Тяжелая история. Так уж случилось, что я там оказался не сторонним свидетелем, а одним из участников драмы... Ну, а потом появилась Особая экспедиция. И мне было сделано некое предложение. И, поразмыслив над ним, я вдруг неожиданно для себя самого пришел к выводу, что оно соответствует моей натуре... особенно когда выяснилось, что иные мои добрые знакомые вовсе не те, кем я их привык считать, что у них есть еще и другая жизнь, увлекательная, полная приключений и опасностей... Очень тяжело отказаться, Алоизиус, когда тебе делают предложение, как нельзя лучше отвечающее твоей натуре.

— Уж это точно, — с воодушевлением признался барон. — Когда мне рассказали кое о чем, я ни минуты не колебался. Я себе сказал: «Ба, Алоизиус, где ты еще в условиях гнуснейшего мирного времени найдешь столь отличную возможность рисковать своей шкурой?!» Вы не представляете, дружище Александр, как скучна, свинцово, непроходимо скучна жизнь гусара в мирное время! Господин Ланн, маршал великого Наполеона, любил говаривать: «Гусар, который дожил до тридцати, не гусар, а дрянь». В точку! Сам он, правда, жизнь окончил в сорок, но он ведь, во-первых, был не гусаром, а маршалом, а во-вторых, все же погиб на поле боя, посреди грохота пушек, сверкания сабель и бешеной гонки ка-

валерии... Вот я и подумал: гром и молния, мне-то до тридцати остается несчастных шесть лет, которые просвистят быстрехонько, и что потом? А войны, как назло, не предвидится. Наше поколение, прах его раздери, опоздало к наполеоновским кампаниям — такая жалость. Порой мне даже приходило в голову... О, вот и граф!

В самом деле, к ним быстрой, решительной походкой приближался граф Тарловски, с невозмутимым и беспечным видом праздного гуляки.

— Прошу прощения, господа, — сказал он без тени удрученности. — Все отняло гораздо больше времени, чем ожидалось. Но кое-какие результаты есть... Никаких следов господина Ключарева отыскать пока что не удалось. Человек с таким именем в списке пассажиров дрезденских почтовых карет никогда не значился. Это, конечно, ни о чем еще не говорит. Поскольку его все же видели в дрезденской карете, он, скорее всего, воспользовался фальшивым паспортом или подорожной на чужое имя. Если так, то полиция потратит уйму времени, отыскивая его по приметам, и успех вовсе не гарантирован, есть ведь немало способов изменения внешности... Не унывайте, господа, что же вы опустили носы? — Граф улыбнулся с видом заговорщика. — Синьора кукольника здешние сыщики все же отыскали без особого труда. Он как раз прибыл под собственным именем: господин Джакопо Руджиери, подданный великого герцогства Тосканского, кукольных дел мастер и владелец театра марионеток, последние два года гастролировал в Санкт-Петербурге,

откуда недавно легальным образом выехал, следуя через Пруссию... Вот уже несколько дней снимает квартиру в районе, именуемом Мала Страна. — Он указал тростью на те самые черепичные крыши. — Домохозяин о нем ничего плохого сказать не может: постоялец тихий, благопристойный, заплатил вперед... Между прочим, он явно не собирается здесь зарабатывать на жизнь привычным ремеслом: всех кукол, декорации, помощников, жену он отправил в Тоскану, ну еще из Петербурга... А сам отчего-то изволит путешествовать в одиночку, неведомо для чего...

— Так чего же мы стоим? — воскликнул барон, нетерпеливо притопывая на месте. — Хватаем прохвоста за шиворот, волочем...

— Куда? — спросил граф.

Барон немного увял:

— Простите, увлекся. Некуда его волочь, обормота. Даже у нас в Пруссии пришлось бы действовать по-тихому, объяснить же нельзя, да и мало кто поверит... Но нужно же что-то делать? Вы же сами говорили про разведку боем...

— Мы нанесем ему визит, — кивнул граф. — Но убедительно прошу... особенно вас, барон, — давайте сохранять сугубую деликатность и потаенность, как будто речь идет о чести какой-нибудь юной наследницы знатного семейства, сбежавшей с камердинером. Местная полиция всецело в моем распоряжении, но мы не вправе привлекать к себе внимание какими бы то ни было шумными выходками. Никто здесь не знает, чем мы занимаемся... В конце-то концов, о нас

с вами не знают даже наши монархи... или в ваших державах, господа, обстоит иначе?

— Наш император ни о чем не подозревает.

— И наш король тоже, — добавил барон.

— И это, по моему разумению, совершенно правильно, господа, — сказал граф. — Задача тайной полиции в том и состоит, чтобы ограждать монарха от всевозможных неприятных событий... и известий. А что может быть неприятнее для монарха, нежели известие о том, что в его державе существует, выразимся так, не что, с которым его величество не в состоянии ничего поделать? Оборотень, скажем... или статуи, способные убивать?

— Тут есть оборотная сторона, как у всякой медали, — сказал Пушкин, нахмурясь. — Мы никому не можем ничего объяснить, не имеем права ничего рассказать...

— Ну разумеется, — сказал граф с мимолетной грустной улыбкой. — Нас словно бы вообще не существует, господа. Нас нет. Мы — не более чем тени. Но всякий прекрасно знал, на что идет... Пойдемте? Вы совершенно правы, барон, касаясь того, что имеется разведкой боем. Упускать этого субъекта нельзя... Но, умоляю вас, не забывайте, что он в любой момент может кликнуть полицию и обвинить нас черт-те в чем, а нам придется оправдываться...

— Не учите, — сердито сказал барон. — Того же оборотня взять, сколько я потом натерпелся... Нашелся один болван в чине главного королевского лесничего, вздумал меня привлечь к ответственности — решил, что я браконьерничать явился в те

леса... Ну что я ему мог сказать? Дурачком прикидывался, молотл всякую чепуху, а у самого из-под кровати два штуцера торчало. Ну, ему ж не объяснишь, что они на оборотня были снаряжены серебряной картечью...

— Тем лучше, — сказал граф. — Коли уж вы не новичок, должны понимать некоторые тонкости ремесла...

— Ну ясно, — сказал барон. — Хотя шкуру с поганца дери, лишь бы за дверь ни писка не вырвалось...

Граф тонко усмехнулся:

— Алоизиус, друг мой, вы употребляете несколько вульгарные обороты, но мысль, в общем, верна... Клинком у горла и ласковым словом можно добиться гораздо большего, чем просто ласковым словом. Мир наш несовершенен, и приходится это учитывать в нашем неблагодарном ремесле... Предлагаю простой способ, друзья мои. Вы с Александром будете злыми — станете угрожать, грубить, вообще вести себя как законченные подлецы. Я же буду с укором во взоре вас урезонивать и напирать на мирные способы решения споров. Иногда это действует. Что вы вздыхаете, Алоизиус? Вам что-то не нравится в моем плане?

— Да нет, план как план, — сказал барон. — Вполне одобряю. Мне просто этот чертов мост надоел, когда он кончится? — Он покосился на очередную статую, мимо которой они проходили. — Истуканов понатыкали... Гром и кровь, да тут целая миля будет!

— Немного меньше, — сказал граф. — Если считать в метрах, чуть более пятисот. Самое пикантное, барон, что вы, не зная того, очень верно определили суть Карлова моста. Дату его основания пятьсот лет назад специально выбирали с учетом числовой магии. Ходят старые легенды, что строить его помогал черт, который взамен попросил первое живое существо, которое пройдет по мосту. Но хитрец-архитектор пустил первым петуха... Говорят еще, что с наступлением сумерек на мосту можно встретить привидения. Нам сюда, направо. В эту улочку. Собственно, мы уже почти пришли...

Они прошли по узенькой средневековой улочке с тесно прильнувшими друг к другу домами, над которыми виднелась лишь узенькая полоска голубого неба. Граф показал тростью на низкую дверь с полукруглым верхом, судя по виду, предназначенную в старину для того, чтобы с успехом выдерживать натиск целой банды ландскнехтов с топорами и таранами. Сказал задумчиво:

— Странное дело: у меня прямо-таки занозой сидит в голове эта фамилия, Руджиери. Сдается мне, я ее уже где-то слышал раньше, и при достаточно серьезных обстоятельствах, но вспомнить никак не могу... Сам я, во всяком случае, никогда не сталкивался с человеком с такой фамилией, и тем не менее...

Не поворачивая головы, он бросил зоркий взгляд через левое плечо и, подойдя к двери, решительно ее распахнул не без некоторых усилий, очень уж массивна была, окована железом в незапамятные времена.

За дверью обнаружилось нечто вроде крохотной прихожей. Узкая крутая лестница, закручиваясь штопором, уходила вверх, слабо освещенная проникавшим через высокие окна шириной с ладонь, с пыленными стеклами, дневным светом. Они поднимались в совершеннейшей тишине, нарушаемой лишь звуками их собственных шагов. Вокруг куда ни глянь было старинное, добротное, массивное дерево — лестничные перила, более подходявшие толщиной балясин и шириной перил для сказочных великанов, стенные панели с грубым выпуклым узором, выступавшие посреди штукатурки балки потолка. Пахло кошками и затхлостью.

— Седая старина... — сказал Пушкин. — Нимало не удивлюсь, если перед нами внезапно объявится чей-то грешный дух. В таких декорациях ему самое место.

— Не накаркайте, Александр, я вас душевно умоляю, — пропыхтел барон. — Тысяча чертей, когда-нибудь эта верхотура кончится?

Они оказались перед единственной на крохотной лестничной площадке дверью, столь же массивной, с огромным железным кольцом вместо ручки. Стучать не пришлось — когда они, тяжело дыша, встали на расстоянии двух шагов от двери, она распахнулась с натужным скрипом, из нее появился человек в черной пелерине и черном цилиндре, с бледным лицом, обрамленным черными кудрями, и прошел мимо с видом замкнутым и нелюдимым, бросив навстречу лишь один цепкий взгляд.

Пушкин посмотрел ему вслед с некоторой оторопью, замеченной его спутниками, но не было време-

ни на посторонние разговоры, дверь все еще оставалась приоткрытой, граф решительно взялся за кольцо, рванул его на себя, они все трое бесцеремонно ввалились в обширную, скудно обставленную прихожую, оттеснив на ее середину оторопевшего хозяина.

Барон по-хозяйски притворил дверь и, поразмыслив секунду, задвинул с жутким лязгом широкий старинный засов, опять-таки рассчитанный на героев саг или мифологических персонажей. Приосанился, подкрутил усы и рявкнул вместо приветствия:

— Ну вот, старина, вы нас не ждали, а мы все равно пришли! Замашки у нас такие, что поделаешь. Ни лоска, ни воспитания... Что глаза таращишь, раб божий? Не ты ли будешь Джакопо Руджиери?

Отступивший на середину прихожей человек, к сожалению, взирал на них без особого страха. Это был довольно высокий мужчина с растрепанными черными волосами и окладистой бородой (то и другое украшено было первыми проблесками седины), расхаживавший по-домашнему, в мятых панталонах и расстегнутой рубашке не первой свежести, позволявшей с первого взгляда определить, что грех чревоугодия ему, безусловно, не был чужд. Толстые сильные пальцы его были прямо-таки унижены многочисленными перстнями дутого золота с самоцветными камнями поразительных размеров, вызывавших сильное подозрение в том, что они были не творением природы, а изделием стеклодувов.

— Чем могу служить, господа? — спросил он с видом совершенно благонадежного человека, удивленного столь бесцеремонным вторжением. — Дей-

ствительно, я и есть Джакопо Руджиери, не вижу оснований этого скрывать — имя мое ничем не запятнано...

Граф сказал холодно, резко:

— Разговор у нас будет долгим. Может быть, пройдем в комнаты?

— О, разумеется! — с лучезарной улыбкой произнес итальянец. — Сделайте такое одолжение. Мы люди честные, и скрывать нам нечего. Правда, должен сразу предупредить: комнаты мои в совершеннейшем беспорядке... творческом, я бы выразился. Предаюсь на досуге излюбленному своему занятию. Домохозяин не возражает, а полиция тем более не может иметь претензий. Вы, часом, не из полиции, господа мои? Есть в вас что-то неистребимо полицейское... Спеша предупредить все возможные вопросы, сообщаю, что паспорт у меня в порядке.

Барон, услышав столь нелестную для себя характеристику, начал было наливать кровью, но граф, быстрым движением стиснув на миг его локоть, выступил вперед и сказал тем же холодным тоном:

— В чем-то вы попали в самую точку, любезный, мы — из тайной полиции.

— Вот теперь я в совершеннейшем недоумении, господа! — воскликнул итальянец. — Ума не приложу, чем вас могла заинтересовать моя скромная персона? Тайная полиция, насколько известно мне, профану, занимается заговорщиками, политикой и прочими малоаппетитными делами, к которым я, клянусь, никогда не имел ни малейшего отношения. Отроду не состоял в карбонариях, господа. Меня

прямо-таки удручают эти распространившиеся в последнее время предрассудки: считается, что если ты итальянец, то непременно карбонарий... Могу вас заверить, ничего подобного. Перед вами — скромный труженик, кукольных дел мастер, на жизнь зарабатываю честно... Прошу, проходите! К превеликому моему сожалению, не могу предложить вам сесть — стул один-единственный, если угодно, можете бросить жребий, кому сидеть...

Его речь звучала так непринужденно, а взгляд был таким безмятежным и по-детски наивным, что не оставалось никаких сомнений: прохвост над ними потешался самым откровенным образом. Впрочем, в первую минуту они не почувствовали злости и оглядывались с неподдельным любопытством.

Огромная комната с высоким потолком, под которым перекрещивались потемневшие от времени балки, больше всего напоминала мастерскую столяра: пол ее был завален аккуратными, ровно напиленными чурбаками, горами светло-желтой, приятно пахнувшей стружки, повсюду лежали разнообразные инструменты, а у стены рядом стояли шесть деревянных изваянных птиц с распростертыми крыльями, больше всего напоминавших орлов. Вот только головы у них были скорее змеиные, крайне неприятные, вместо клювов снабженные пастями со множеством искусно выточенных зубов. Удивительным образом мастеру удалось передать в повороте голов, осанке, порывистом, незаконченном движении свирепость и злобу, свойственные скорее не птице, а дикому зверю из таинственных африканских чащ.

Барон первым выразил общее мнение:

— Что это они у вас такие омерзительные? Не поймешь даже что, но весьма пакостное...

Руджиери, не моргнув глазом, объяснил:

— Это, изволите ли видеть, плоды моей фантазии...

— Фантазия у вас, надо сказать... — покрутил головой барон. — Болезненная какая-то...

— Ну что поделать, — с поклоном сказал итальянец. — Каждый имеет право на фантазию, если это не нарушает законов... Не правда ли? Неужели, пока я просидел тут затворником два дня, снаружи произошли некие изменения? И изготовление деревянных птичек теперь приравнивается к политическому преступлению? Быть не может...

Он ухмылялся уже с нескрываемой издевкой, наглый и уверенный в себе. Покосившись на закипавшего барона, Пушкин перевел взгляд на графа. Тот с непроницаемым выражением лица опустил веки. Воспрянувший барон сделал шаг вперед, встал прямо напротив итальянца и рявкнул:

— Как стоишь перед прусским королевским гусаром, каналья ты этакая? — и, обернувшись, громко сообщил таким тоном, словно никакого кукольника тут не было вовсе. — Черт знает до чего распустились эти шпаки... Извольте полюбоваться: колени не сдвинуты, локти не прижаты, торчит как соломенное чучелко на заборе...

— Совершенно верно, барон, — сказал Пушкин. — Торчит кукишем похабным...

Он извлек из-под полы сюртука длинный кухенрейтеровский пистолет, изящный, с рукоятью темно-

вишневого цвета, поднял его дулом вверх и, не отводя глаз от итальянца, звонко взвел курок на один щелчок.

— Кровь и гром, это по-нашему! — захохотал барон.

И в свою очередь что-то сделал со своей тростью, кажется, нажал некую потайную кнопчку, встряхнул, и стало ясно, что трость представляла собой футляр, со стуком упавший на усыпанный стружками пол, а в руке у барона остался длинный четырехгранный клинок, сверкающее лезвие, неувовимо-хищно сужавшееся к концу, мелькнуло перед лицом итальянца, который невольно отпрянул к стене и уже с неподдельным испугом возопил:

— Да что вы такое творите, синьоры? Эччеленца¹, умоляю, уймите этих буянов!

Сверкающий клинок взлетел, порхая, у самого его носа, а с другой стороны надвигался на него господин Пушкин, улыбающийся без всякого дружелюбия, с большим пальцем на курке, готовый в любой момент отвести его на второй щелчок.

— Вы несколько погорячились, Александр, друг мой, — деловито сказал барон. — Выстрел привлечет лишнее внимание, зато сталь действует бесшумно...

— Стены толщиной в человеческий рост, — сказал Пушкин. — Сдается мне, снаружи если что и услышат, так только пушечный выстрел, а кухенрейтер бьет не так уж и звучно...

¹ Эччеленца — ваша светлость (*итал.*).

— Эччеленца, это же натуральный разбой! — воззвал кукольник.

Граф, стоя со скрещенными на груди руками, сказал без тени улыбки, с некоторой грустью:

— Что я могу поделать, любезный, эти господа не солдаты, а я им не капрал... Должен признать, к сожалению, что манеры этих молодых людей и впрямь оставляют желать лучшего. Уж не посетуйте, они воспитывались в провинции, вдали от блистающих столиц... Но вы ведь сами виноваты отчасти. Очень уж дерзко и вызывающе себя ведете.

— Я?! Помилуйте! Ведь это вы ворвались ко мне в дом...

— А что прикажете делать, если к вам накопилось немало серьезных вопросов?

— Ко мне? Синьоры, я простой кукольник...

— Вы жили в Петербурге... — сказал Пушкин.

— Но это же не преступление, синьор? Ну да, разумеется, глупо было бы отрицать. Я там прожил несколько лет, о чем остались у меня наилучшие впечатления — ваша столица прекрасна и уступает разве что моей родной Флоренции... Петербургская публика, должен вам сказать, прекрасно принимает итальянское искусство, даже чуточку простонародное, такое, как марионетки, не идущие ни в какое сравнение с оперой и балетом... У меня сердце кровью обливается оттого, что пришлось покинуть столь великолепный город, но меня обуяла нешуточная тоска по родине... В этом опять-таки нет ничего преступного, верно? Бумаги мои в порядке...

— Вы знали в Петербурге Ивана Пантелеевича Ключарева?

— Минуту... Ах да, разумеется. Исключительно благородный и светский господин. Я имел честь давать его милости уроки итальянского, и продолжалось это довольно долго. Не хвастаясь, хочу сказать, что свои деньги я отработал сполна, синьор Ключарев довольно сносно овладел наречием великого Данте...

— Вот как? — сказал Пушкин. — И вы настолько сблизились, что стали вместе путешествовать?

— Я? Вы что-то путаете...

— А в Гогенау кто болтался вместе? — спросил барон. — Что вы там устроили, мошенники? Я имею в виду загадочную смерть банкира Коллерштайна?

— О чем вы?

— Вы оба были в Гогенау...

— Опять-таки, это не преступление, — сказал итальянец. — Ну да, я ненадолго останавливался в Гогенау проездом в Прагу... Но синьора Ключарева я после Петербурга не видел более, мы никогда не путешествовали вместе...

— Извольте говорить правду! — прикрикнул барон. — Ваши имена вписаны в книгу приезжающих в гостинице «Герб Гогенау», я своими глазами видел...

Синьор Джакопо, следя глазами за порхающим в опасной близости от его груди кончиком золингеновского клинка, пожал плечами:

— Вполне возможно, синьор Ключарев тоже посещал Гогенау, но я его там не видел, я его вообще не видел после Петербурга. Одно дело — давать уро-

ки языка богатому русскому барину, и совсем другое — набиваться ему в спутники и компаньоны для путешествия. Я скромный человек, синьоры, и знаю свое место... Что нас могло связывать?

Пушкин усмехнулся:

— Ну, например, участие в кое-каких совместных проказах с оживающими статуями. В проказах, которые заканчивались очень скверно, несколькими смертями...

— Статуи? Оживающие? — итальянец прямо-таки вытаращил глаза. — Вы серьезно? Господа, я поверить не могу, что вы явились ко мне незваными и вооруженными, чтобы рассказывать сказки про оживающие статуи... Вы, насколько я могу судить, давно вышли из детского возраста, когда только и верят в такие глупости...

Незваные гости переглянулись с некоторой беспомощностью — стоявший перед ними человек откровенно выскальзывал из рук, словно угорь у неосторожного рыбака, и уличить его не было никакой возможности. На некоторое время воцарилось неловкое молчание, барон даже опустил шпагу.

— Синьор Руджиери, — сказал граф холодно, — интуиция мне подсказывает, что вы — человек с богатым жизненным опытом. Вам никогда не доводилось слышать, что иные департаменты тайной полиции как раз и созданы, чтобы заниматься такими, как вы? Если вы этого и в самом деле не знали, теперь знаете. У нас нет убедительных доказательств, у нас ничего нет... кроме твердого убеждения, что вы с Ключаревым причастны к нескольким убий-

ствам, совершенным с помощью средств, о которых непосвященный человек даже не подозревает, что они возможны. Но мы-то, мы как раз и занимаемся тем, что лежит за порогом здравого смысла и обыденности. Мы в этом приобрели известный навык, ничему уже не удивляемся... Вы на крючке, понятно вам? Можете сколько угодно прикидываться невинным ягненком, но вы — на крючке. И более от вас не отстанем. Сплошь и рядом мы себя не утруждаем обращением к суду, ну подумайте сами, какой суд примет к рассмотрению обвинение против двух убийц, использующих в качестве орудия оживающие статуи... и, быть может, марионетки? Мы используем другие способы, еще более эффективные и надежные. Вы, может быть, отроду об этом не слышали, но в уголовном праве некоторых держав с недавних пор есть тайные параграфы, касающиеся таких, как вы, подобных вам... Советую помнить, что вы все еще пребываете в пределах владений австрийского императорского дома. Вряд ли из-за вашей персоны великое герцогство Тосканское затеет войну с Австрией... Надеюсь, я понятно изъясняюсь и ясно обрисовываю ситуацию?

— Сдохнешь в кандалах, прощелыга, — зловеще пообещал барон. — Бьюсь об заклад на что угодно, куколки твои разлюбозные решетку не перепилят и из тюрьмы тебя не вытащат... Кишка тонка!

Он стоял перед итальянцем, ухмыляясь с хищным и упрямым видом охотничьей собаки, загнавшей наконец зайчишку и твердо намеренной его не упустить. Наблюдавшему за ними Пушкину не без осно-

ваний показалось, что кукольных дел мастер далеко не так спокоен, как старается представить: на лбу у него посверкивали многочисленные бисеринки пота, взгляд так и рыскал по комнате, а движения приобрели определенную нервность.

— Вас ведь могут и вернуть в Петербург, — сказал Пушкин, опустив пистолет. — Вы там прожили достаточно, чтобы ознакомиться с такой достопримечательностью Северной Пальмиры, как Петропавловская крепость... а ведь есть еще и Сибирь, где птицы на лету замерзают...

— Да и в Пруссии найдется о чем потолковать, — подхватил барон. — А прусская каторга, да будет вам известно, мало похожа на веселый дом с девицами и шампанским... Вовсе даже наоборот.

— Позвольте подытожить результаты нашей милой беседы, — вмешался граф. — Вы ввязались в скверную историю, любезный. Насколько мне представляется, в известных событиях вы все же играли второстепенную роль, а главным действующим лицом был как раз д р у г о й... Или я ошибаюсь, и первую скрипку играете все же вы?

— Помилуйте, эччеленца! — сказал Руджиери с вымученной улыбкой. — Ну какую такую первую скрипку может играть бедный кукольник? Простонародью, вроде меня, вечно достается роль подчиненная...

— Ну, тогда ваше упорство мне тем более непонятно. Запомните вот что, — граф наставительно поднял указательный палец. — М а л е н ь к о м у человечку как раз крайне опасно ввязываться в серьезные дела,

потому что он обязательно сломит шею там, где субъект поблагороднее может и выскользнуть... И лучше бы вам быть с нами откровенным. — Он оглянулся на своих спутников, все еще стоявших с оружием в руках, усмехнулся: — Не подумайте, что мы собрались использовать исключительно сталь. Есть и другие металлы...

Оглянувшись, он сделал шаг вправо, небрежно смел ладонью с уголка стола невесомую горку стружек и достал кошелек. Принялся выкладывать на потемневшую от времени столешницу золотые дукаты с профилем императора Франца I на одной стороне и двуглавым австрийским орлом на другой — медленно, звучно, сначала ставя каждую монету на ребро, а потом звонко прищелкивая ею. Кукольник следил за ним, не в силах унять загоревшуюся в глазах искорку алчности.

— Это, если хотите, наглядная демонстрация, — сказал граф, когда вдоль края столешницы протянулся рядок из примерно дюжины сверкающих золотых кружочков. — Чтобы напомнить вам, как выглядит доброе австрийское золото. Признаюсь вам по чести, я с превеликим удовольствием устроил бы вам допрос по всей форме где-нибудь в подземелье... но готов и заплатить за искренность. Скажите сами, какая сумма вас устроит. Триста дукатов, пятьсот? Для человека вроде вас — целое состояние, позволившее бы вам до конца дней прожить в достатке. Не правда ли, это ж гораздо предпочтительнее, нежели браться за убийства с нешуточным риском попасть однажды под действие т а й н ы х у го-

ловных параграфов? Слово дворянина, я не пожалею золота...

Руджиери с видимым усилием оторвал взор от золотых дукатов. Он стиснул пальцы в кулаки, словно придавая себе этим бодрости и решимости, выпрямился и уверенно сказал:

— Господа, я вас убедительно прошу удалиться. В противном случае я возьму стул, выбью окно, устрою скандал на весь квартал... Даже у маленького человека есть кое-какие права, если он ничем не запятнан... Поверьте, я твердо намерен!

Вновь на какое-то время воцарилось молчание. Потом граф, печально усмехнувшись, сказал:

— Пойдемте, друзья мои. Синьор Руджиери проявил глупое упрямство... а значит, добровольно возлагает на себя ответственность за возможные последствия. Уберите оружие. Я вас прошу.

Металлические нотки в его голосе были таковы, что барон с горестным кряхтением довольно быстро спрятал клинок в трость, вновь обретшую мирный вид, а Пушкин, осторожно спустив курок, убрал пистолет под сюртук. Они вышли первыми. Граф задержался в дверях и, небрежно полуобернувшись, сказал с расстановкой:

— Очень глупо, Руджиери. У вас был великолепный случай избежать серьезных неприятностей да вдобавок получить приличные деньги. Зарубите себе на носу: мы прекрасно знаем, кто вы такой и чем занимаетесь. Рано или поздно придется отвечать... искренне надеюсь, скорее рано, чем поздно. Если вы не окончательный болван, подумайте как следует,

пока не поздно. Додумаетесь до чего-нибудь здорового, спросите в отеле «У золотой русалки» графа Тарловски, или господина Пушкина, или барона. Подумайте...

— Вы забыли золото, эччеленца, — сладким голоском произнес кукольник. — Мы люди бедные, но честные, нам чужого не надо...

Граф ледяным тоном ответил:

— Можете забрать себе. Австрийский дворянин не возвращает в кошелек денег, валявшихся черт-те где... Честь имею!

Они спускались по лестнице в угрюмом молчании — и сохраняли его, шагая по узенькой средневековой улочке, где двум встречным прохожим приходилось едва ли не прижиматься к стене боком, чтобы разойтись. В конце концов барон горестно вздохнул:

— Я б ему с удовольствием обломал бока его же собственным рубанком...

Граф улыбнулся ничуть не принужденно:

— Оставьте, Алоизиус. В конце концов, мы и не ставили себе целью добиться от него истины при первой же беседе. Цель, как вы помните, была более прозаична: поднять зверя с лежки. Кажется, мы этого добились, потрогали черта за хвост, и осталось теперь ждать последствий. Он знает, кто мы, где нас искать... а значит, наверняка это будет знать и кто-то еще. Посмотрим... Интересно, на что они способны?

— А если он кинется в бега? — спросил барон.

— Не сомневайтесь, найдется кому за ним проследить. Но не думаю, что он сбежит. Зачем-то же обо-

сновался в Праге, вовсе не спеша к родным пенатам? Кстати, что вы думаете о его поведении? Ручаться могу, он и в самом деле мелок, а первую скрипку играет кто-то другой. И тем не менее он, не моргнув глазом, отказался от золота, хотя глаза у него от жадности готовы были выскочить из орбит, а пальцы непроизвольно скрючивались на манер граблей, его неудержимо подмывало стрести дукаты в карман, и все же он отказался после долгой внутренней борьбы... Почему, как по-вашему?

— Есть кто-то, кого он боится сильнее нас, — сказал Пушкин, почти не замедлив.

— В точку, Александр, — задумчиво сказал граф. — В самую точку. Никакого благородства или бессребренничества — у субъектов такого рода подобных высоких движений души не сыщешь. Кто-то пугает его сильнее, чем исходящие от нас угрозы. Хотел бы я полюбоваться на этого господина... Александр, вот кстати. Вы смотрели на того незнакомца, что вышел из квартиры, как на привидение. Такое у меня создалось впечатление. Он вас чем-то напугал? Но у вас ведь нет ни единого знакомого в Праге, если не считать затаившегося где-то Ключарева...

— Не в страхе дело. Я просто удивился.

— Чему?

— Он невероятно похож на лорда Байрона. Вылитый портрет. Но лорд Байрон не так давно скончался в Греции от лихорадки...

— Дурно говорить такое о покойниках, но я бы рискнул сказать, что это был не самый лучший исход...

— Граф! — Пушкин даже остановился. — Это был великий поэт...

— Не спору, — сказал граф. — Вот только, о чем значительно менее известно, этот молодой человек, будучи на Балканах, поддерживал связи как раз с теми тайными обществами, которые мы с вами безоговорочно числим среди наших клиентов. Еще с Британских островов за ним тянулся неприятный шлейф — сатанистические интересы, подозрительные ритуалы в уединенных поместьях и многое другое... Я вас огорчил, мой друг? Огорчил, я же вижу...

— Он был великим поэтом, — грустно повторил Пушкин.

— Помилуйте, кто же спорит? — мягко произнес граф. — Но это, друг мой, еще не означает, что человек такой исполнен моральных достоинств и может считаться благородным... Поверьте, о нем известно много такого, что с его поэтическими талантами не имеет ничего общего. Вам это покажется странным, но он был объектом пристального внимания турок. У турок, представьте себе, в глубокой тайне действует некий аналог нашего департамента. Вы у себя не знали? И тем не менее. Во время греческого восстания мне приходилось встречаться на южной границе с крайне любопытным человеком из Стамбула, занимавшимся примерно тем же, чем мы сейчас. Я вам когда-нибудь расскажу, если выдастся время... Значит, незнакомец ваш как две капли воды похож на Байрона... Что ж, двойники на этом свете встречаются. Барон?

— Мне только сейчас в голову пришло! — хлопнул себя ладонью по лбу барон. — Нужно же было за ним проследить! Все знакомства этого прохвоста Джакопо, сдаются мне, для нас небезынтересны...

— Алоизиус... — с мягким укором усмехнулся граф. — Неужели вы меня считаете настолько не-распорядительным? Дом остается под постоянным наблюдением... не вертите головой, я вас прошу! Во-первых, вы обращаете на себя внимание не привыкших к столь бурным проявлениям чувств простых пражан, а во-вторых, мои люди не отираются на улице, они достаточно ловки... За вашим незнакомцем, без сомнения, уже двинулся агент, так что мы вскоре будем знать, куда он направился и что собой представляет...

Глава третья

НОЧЬ В ГОСТИНИЦЕ

Свеча догорела до половины. Тени по углам стояли ровно, не колыхаясь, — потому что никакое дуновение воздуха не тревожило высокого желтого пламени.

Господин Пушкин, Александр Сергеевич, поэт и сотрудник департамента, которого словно бы не существовало на свете вовсе, сидел у стола совершенно неподвижно, временами поглядывая на свечу и в который раз повторяя про себя привязавшуюся банальную сентенцию: темнее всего, как всякий может убедиться, именно под самым пламенем свечи. Поза вполне соответствовала поэтическим раздумьям, но мысли были предельно далеки от поэтических. Он был недоволен собой. Что-то ускользало — некая догадка, так и не оформлявшаяся в четкую мысль. Что-то было подмечено в окружающем, но не понято рассудком — быть может, оттого, что представлялось слишком необычным. В конце концов, он всего лишь второй год жил этой странной, укрытой от посторонних жизнью и свыкнуться с ее неприятными тайнами, тягостными чудесами еще, пожалуй, не успел.

Следовало вспомнить, но никак не удавалось. К недовольству собой примешивалась горечь — как

всегда в подобные минуты, казалось, что он в свое время сделал большую ошибку, согласившись на нынешнюю службу. Стихи, по крайней мере, были каторгой тягостной, но привычной, не сулившей поражений — а теперь собственная беспомощность перед очередной загадкой делала слабым и никчемным.

Умом он понимал, что нельзя так падать духом из-за некоей смутной догадки, никак не дававшейся в руки, но вот излишняя впечатлительность, старый грех, который он знал за собой...

Тени по углам явственно колыхнулись. Пламя свечи трепетало, как листва на ветру. Прохладное дуновение неприятно погладило затылок.

Он обернулся. Высокие створки выходившего на тихую улочку окна неспешно, бесшумно распахивались, и оттуда, с улицы, проникало зыбкое, неяркое сияние. Этому не полагалось быть, и все же...

Сияние становилось ярче. Отметив, что не чувствует ни малейшего страха, Пушкин порывисто вскочил и подошел к окну. Остановился как замороженный.

Там, снаружи, уже не было тихой по ночному времени улочки, вымощенной брусчаткой мостовой, высоких узких домов, куда-то подевались уличные фонари, тумбы, вывески. Вместо привычной картины простиралось зеленое поле, покрытое высокой, неестественно яркой травой, окаймленное с боков темными стенами толстых деревьев, освещенное словно бы призрачным лунным светом. Дальний конец поля скрывался в белесоватом тумане, медленными клубами подползавшем ближе и ближе. Туман внезапно

остановился, колыхаясь, завиваясь прихотливыми струями.

Послышался размеренный глухой топот. Что-то мелькнуло в тумане — и на поляну коротким галопом вылетела белая лошадь. Белая как снег, с длинной развевавшейся гривой, она резко свернула, взрывая копытами землю, взметая траву, описала короткую дугу — и снова метнулась к окну, распахнутому настежь. Пушкин невольно отшатнулся от подоконника, а лошадь взмыла на дыбы с коротким ржанием, чрезвычайно похожим на злорадный хохот. В лицо ударил запах свежесорванной травы и лошадиного пота, до ужаса реальный.

Пальцы чувствовали твердое дерево подоконника. Это был не сон. Он всегда отличал сон от яви. В сердце поневоле закрадывался страх, не меньший, чем тогда, в Новороссии, когда к нему в лунном свете медленно приближались те, кто уже не был людьми. Правда, тогда у него не было при себе оружия... но чем оружие могло помочь?

Голова оставалась ясной. Он стоял, не в силах сдвинуться с места либо предпринять что-то, — что в такой ситуации можно предпринять? — а белая лошадь, глухо, тяжело дыша, испуская нечто похожее на злой хохот, стояла прямо перед распахнутым окном, так что их разделяло расстояние не длиннее протянутой руки. Он видел свое отражение в огромных выпуклых глазах, но шевельнуться все еще не мог. Чертово животное уставилось прямо в глаза...

И вдруг прынуло в сторону, шумно ударив копытами оземь. Лошадь остановилась у деревьев справа,

замерев, будто статуя. В слабо колышущейся стене тумана вновь обозначилось движение, темный силуэт понемногу оформился в человеческую фигуру, приближавшуюся медленным, церемонным шагом. Ее полностью скрывал плащ, достигавший травы, а лицо скрывалось под низко надвинутой шляпой-баливаром. Фигура остановилась примерно на середине расстояния меж стеной тумана и окном. Послышался вкрадчивый голос, странно шелестящий и звучащий словно бы не в ушах, а в голове:

— Любезный Александр Сергеевич, вы удручаете меня, право. Променять славу первого пера России на сомнительное ремесло сыщика, преследующего некие смутные образы, в которые большинство людей просвещенного века все равно не верит... Нельзя же так варварски обращаться со своим талантом, который является не только вашим собственным достоянием, но и достоянием общества тоже... Я вам не враг, поверьте, я всего лишь искренне пытаюсь направить вас на верный путь... Великий поэт неизмеримо ценнее для человечества, нежели вульгарный тайный агент, гоняющийся за миражами. Поверьте искреннему другу...

Этот бестелесный голос завораживал и дурманил, окружающее, полное впечатление, стало подергиваться дымкой, ощущавшейся физически, как липкий тяжелый дым. Сердце ударило в груди необычно резко, а потом словно бы остановилось.

Он отчаянно боролся, делая движения руками, словно всплывал на поверхность. Темная фигура придвинулась, бормоча что-то убаюкивающее, зата-

гивая в некий омут, где не было ни движения, ни жизни; где человеческие чувства спали мертвым сном, а любые стремления казались смешными и неуместными...

— Прочь, нечисть! — отчаянно вскрикнул он, нечеловеческим усилием дотянувшись до вычурной медной ручки и рванув на себя створку.

Ухватил вторую и рванул на себя. Створки сомкнулись с громким, явственно различимым, реальным стуком — и наваждение схлынуло, словно налетевшая на берег высокая волна.

Пушкин стоял у подоконника, ощущая, как бешено колотится сердце, утопая в холодном поту. За окном уже не было ничего необычного, там тускло светил квадратный фонарь на высоком столбе, вырывая из ночной темноты кусочек мощеной мостовой и стену дома с высокими узкими окнами, за которыми не горело ни огонька — мирные горожане почи-вали безмятежно.

Он повернулся к столу. И едва не отпрыгнул.

Напротив того стула, на котором он только что сидел, располагался человек в белой рубахе, с распахнутым воротом и голой шеей, опустивший голову на руки, так что Пушкин видел только его курчавый затылок.

Потом незванный гость медленно поднял голову, и Пушкин увидел собственное лицо, мертвенно-бледное, неподвижное, напоминавшее скорее алебастровую маску, — глаза были совершенно тусклые, казавшиеся скорее черными провалами, за которыми не было жизни.

На сей раз страха не было. Только нешуточная злость. Он, не глядя, протянул руку вправо, схватил что-то твердое с ночного прикроватного столика — табакерка, кажется, — и запустил в своего двойника. Табакерка пролетела сквозь него, словно он был создан из того самого белесого тумана, — и странный гость моментально исчез, как будто не бывало.

Мир вокруг был реальным, т в е р д ы м, нисколько не зыбким. Опустив руку на столик, где, как обычно, лежала пара пистолетов, Пушкин коснулся кончиками пальцев граненого прохладного ствола, выгнутого курка, и это придало уверенности, крепче привязывая к миру без видений и наваждений.

— Вы меня так просто не возьмете, господа бесы, — произнес он отчетливо. — Здесь вам не Новороссия, и я уже не тот... Я имею честь за вами охотиться, как за зайцами по свежей пороше...

Он не знал, слышит его кто-нибудь или нет, но это было неважно — насмешливый тон, несколько не дрожащий голос прибавляли уверенности и холодного, рассудочного охотничьего пыла. Вопреки его же собственным строфам, служенье муз требовало порой и обыкновенной человеческой суеты, потому что без этого не обойтись...

Он поднял ладони и с радостью убедился, что пальцы не дрожат. Вокруг стояла тишина, голова сохраняла спокойную ясность, и сна не было ни в одном глазу. Подумав, он достал из гардероба сюртук, накинул его, тщательно застегнул и, не утруждаясь завязываньем галстука, вышел в коридор. Почти на ощупь добрался до лестницы, спустился в гостиную.

Обширное помещение почти полностью тонуло во мраке, только на камине в конце зала догорали полдюжины свечей в двух подсвечниках. Взяв со стола канделябр, Пушкин тщательно зажег все его шесть свечей от подсвечника справа, примостил канделябр на широкую каминную доску. Сразу стало светлее. Тихонько распахнув дверцы высокого пузатого буфета, он уверенно снял с полки высокий круглый кофейник, чувствуя по весу, что он полон, — господин Фалькенгаузен предусмотрительно заботился о капризах постояльцев, среди которых попадались и любители одиноких ночных бдений. Наполнил чашку из тонкого фарфора до краев, присел за стол. Холодный кофий казался необыкновенно вкусным, простывшей горечью еще крепче привязывая к реальности.

— Вы позволите войти? — послышался от двери мелодичный женский голос.

Пушкин повернулся в ту сторону, гордясь собой за то, что воспринял все совершенно спокойно. В дверях, насколько он мог разглядеть в полумраке, стояла женская фигура в светлом платье, четко вырисовывавшаяся на фоне темного коридора. В женском голосе не было и тени той шелестящей бестелесности, которой отличались слова загадочной тени из тумана. Приятный был голос, чуть низковатый, словно бы исполненный кокетливой насмешливости.

— Разумеется, сударыня, — сказал он, торопливо встав. — Я здесь не хозяин, и дерзостью с моей стороны было бы распоряжаться гостиней единолично...

Женщина, не колеблясь, направилась к столу. Сказала с той же милой насмешкой:

— Я, признаться, боялась, что вы примете меня за привидение, не хотела вас пугать...

— Полноте, — сказал Пушкин, вновь обретая легкий светский тон, оказавшись в привычной для себя атмосфере. — В наш просвещенный век никто уже не верит в сверхъестественное...

Незнакомка приблизилась, и он увидел очаровательное юное личико, обрамленное безупречно завитыми светлыми локонами, с озорными синими глазами, нисколько не напоминавшее белую застывшую маску, что была вместо физиономии у его двойника. Привычным взглядом светского человека он отметил сшитое по последней моде палевое платье с накладками блонд и черными кружевами, черную бархатную ленточку на шее, скрепленную брошкой из стекларуса, и такие же серьги — опять-таки последняя петербургская мода на недорогие украшения, едва-едва завоевавшая общество. Прямой пробор дамы был украшен фероньеркой — цепочкой, надетой наподобие обруча, со спускавшейся на лоб бриллиантовой каплей. В том, что это была дама из общества, сомневаться не приходилось.

— Бог мой, Александр Сергеевич! — воскликнула незнакомка с неподдельным удивлением. — Вы?! Здесь?! Все полагают, что вы, как встарь, затворились в деревне и пишите самозабвенно...

Все и в самом деле так полагали. Игривые мысли улетучились моментально, и он с досадой подумал, что это очаровательное создание, сама того не ведая, доставит немало хлопот не только ему, но и Особой экспедиции...

И тем не менее следовало сохранять полнейшее хладнокровие — не притворяться же каким-нибудь немцем-булочником, удивленным тем, что он, оказывается, имеет большое сходство с русским поэтом? Такое лишь прибавит сложностей...

— Неужели мы были представлены друг другу? — спросил он без тени растерянности.

— Ну конечно же. Бал у Балашовых, в августе... — красавица грустно вздохнула. — Нас представил Корсаков, но я, должно быть, показалась вам настолько скучной и незаметной персоною, что вы меня забыли начисто, едва отвернувшись... Екатерина Павловна Мансурова, вы, конечно же, запомнили...

— Нет, что вы, — сказал Пушкин, уверенностью тона пытаясь исправить положение (он и в самом деле ее не помнил). — Назвать вас скучной и незаметной означало бы погрешить против истины, и невероятно. Я просто...

— Можете не объяснять, — сказала она без малейшей обиды. — Я же вижу, что вы творили всю ночь, у вас столь недвусмысленный вид...

— Ну конечно, — с облегчением подхватил он. — Просидел всю ночь, с совершенно замороченной головой спустился поискать кофию, словно мальчишка-ученик... Тысячу раз простите, Екатерина Павловна, но в подобном состоянии я, пожалуй что, и батюшку родного способен не узнать...

— Ну что вы, не упрекайте себя. Я прекрасно понимаю ваше состояние, вы ведь живете по другим правилам...

В ней была та милая непринужденность, не переходящая в развязность, и та простота, ничего общего не имеющая с глупостью, которые Пушкин крайне ценил в женщинах. И оттого чувствовал себя легко, полностью успокоился, забыл о недавних ночных страстях.

Покачал головой:

— И все же ваше появление, Екатерина Павловна... Она лукаво улыбнулась:

— Но ведь я, кажется, одета самым что ни на есть подобающим образом, без тени неприличия? Мы приехали поздно, спать совершенно не хотелось, и я решила побродить по отелю. В конце-то концов, не одним англичанам позволено быть эксцентричными? Мы как-никак в приличном месте, в мирном европейском городе, а не в диких песках Аравии, где на мою добродетель покушались бы бедуинские варвары. У меня даже появилась мысль — в случае, если попадется кто-то навстречу, добросовестно прикинуться лунатичкой... Все лишь жалели бы бедную русскую девицу, пораженную недугом лунатизма... — Она вытянула перед собой руки, закинула голову и на миг прикрыла глаза. — Получается у меня?

— Пожалуй, — сказал Пушкин, откровенно любясь ею.

— А что это вы пьете?

— Холодный кофий.

— Какая прелесть! Если я попрошу чашечку, это не будет вопиющим нарушением приличий?

— Не думаю, Екатерина Павловна, — сказал Пушкин. — Счастлив оказать вам эту пустяковую услугу.

Наш исправный хозяин держит кофий как раз для подобных случаев...

Он повернулся от стола к буфету, сделал даже шаг.

И остановился как вкопанный. Осознал то, что только что заметил краем глаза, но понадобилось какое-то время, чтобы сознание отреагировало.

Девушка стояла как раз напротив каминной доски, где ярко горели свечи в канделябре и двух подсвечниках, и ближайший стул, и массивный стол, и сам Пушкин отбрасывали четкие, длинные тени... все в гостиной отбрасывало тень, кроме очаровательной синеглазой девушки, одетой по последней петербургской моде.

Должно быть, он сделал произвольное движение или выдал себя как-то иначе, потому что белокурое очаровательное создание метнулось к нему, одним отчаянным, невозможным рывком преодолев разделявшее их расстояние. Полное впечатление, что она преодолела этот путь в полете, не касаясь туфельками пола — волосы разметались, глаза расширились, милое личико исказилось отвратительной гримасой. Огоньки свечей дружно колыхнулись, иные из них погасли.

В следующий миг Пушкин ощутил, что в него вцепились словно бы не сублильные девичьи руки, а два стальных прута, стиснувшие горло так, что в глазах потемнело. Не потеряв ни секунды, он перехватил ее запястья, силясь оторвать от горла, — и в первый миг почувствовал, что не в состоянии совладать с удушающим захватом. Дыхание перехватило, перед глазами замелькали круги — а совсем близко было

лицо, потерявшее всякое сходство с человеческим, огромные синие глаза казались отлитыми из холодного стекла, кожа казалась мертвенно-зеленой, а губы кроваво-красными, и среди белоснежных зубов шелкнувших в опасной близости от его горла, обнаружились длинные, игольчато-острые, чуть загнутые клыки...

Она зашипела, как змея, пытаясь вцепиться в горло. Разжав пальцы правой руки, Пушкин наотмашь ударил в лицо это жуткое создание — и вновь обеими руками принялся отрывать от себя тонкие, гибкие, невероятно сильные конечности, в то же время крутя головой, чтобы увернуться от белоснежных влажных клыков. Они топтались меж камином и буфетом, яростно ломая друг друга, Пушкин ударился бедром об угол стола и не почувствовал боли. Мелькнула мысль, что следует позвать на помощь, но из перехваченного горла вырвалось лишь беспомощное хрипенье.

Неизвестно, сколько времени продолжался этот жуткий поединок. Он имел дело с вполне материальным, мало того, наделенным недюжинной силой существом — и стал всерьез опасаться, что гибнет. Удавалось еще держать ее на расстоянии, но не было никакой возможности освободиться.

Паники не было, вообще не было мыслей и чувств, все ушло в яростные попытки вырваться — и потому он, ведомый скорее инстинктом, вспомнил об однажды спасшем его поступке. Не без внутреннего сопротивления разжал пальцы правой руки, пошарил по своей груди, немилосердно царапая кожу

длинными ногтями, наткнувшись на цепочку нательного креста, рванул ее изо всех сил.

И тонкая серебряная цепочка лопнула, крест остался в руке, и Пушкин, выбросив руку, ударил непонятное существо маленьким распятием прямо в лоб, словно молотком бил или накладывал со всего маху печать.

Показалось, что он и в самом деле ударил по мягкому расплавленному сургучу, подавшемуся, вмявшемуся. Раздался дикий вопль, девушка отпрянула, отпрыгнула спиной назад, налетела на каминную доску и замерла, не сводя с него ненавидящего взгляда. На лбу у нее дымился большой, мало напоминавший крест разлапистый отпечаток, насколько удавалось разглядеть в пляшущем пламени оставшихся свечей, его поверхность вздувалась крупными пузырями, прямо-таки клокотавшими, словно густая каша...

Ободренный, он сделал шаг вперед, держа серебряный нательный крест в поднятой руке, заслоняясь им, как щитом, только теперь почувствовав боль в бедре, и боль в горле, и саднящие царапины на груди. Выдохнул сквозь зубы:

— Убирайся к себе в преисподнюю, тварь поганая!

Она ответила шипением, уже не имевшим ничего общего с человеческой речью. Сделала быстрое движение вправо-влево, определенно не чувствуя себя побежденной и пытаясь улучшить момент для броска. Зорко сторожа каждое ее движение, Пушкин передвинулся к буфету, чтобы не опасаться нападения сзади, ошупью запустил левую руку в распахнутые

дверцы: он прекрасно помнил, что Фалькенгаузен, заботившийся о репутации своего заведения, олова не признавал, и столовые приборы у него были из доброго серебра...

Нашарив что-то продолговатое — то ли ложку, то ли нож, — размахнулся и швырнул его в жуткую гостью, и еще один предмет, и еще... Два из трех угодили в цель, на ее шее и груди появились еще две дымящихся отметины, она, широко разинув рот, разразилась жутким воем. Пушкин двинулся вперед, грозя занесенным крестом.

Она метнулась в сторону так быстро, что человеческий глаз едва оказался способен ухватить это движение — и вырвалась из-под угрозы, с нелюдской быстротой обогнула большой стол, словно бы и вовсе ногами не передвигала, а по воздуху неслась, вмиг оказалась возле двери. Обернулась, сверкая огромными, словно бы налитыми огнем глазами, выкрикнула:

— Еще встретимся, весельчак!

И исчезла с неприятным хохотом, напоминавшим треск бурелома, ее словно бы вынесло в дверь, как подсеченную рыбу. Настала оглушительная тишина. Пушкин перевел дух, преодолевая боль, — и тут где-то неподалеку гроыхнул пистолетный выстрел.

Он кинулся в коридор на подгибавшихся ногах, спешил, как мог, но все равно оказался не первым: когда он взбежал по лестнице, в коридоре третьего этажа уже толпились, высоко подняв свечи, человека четыре постояльцев, в шлафроках и ночных колпаках. Метавшиеся по стенам тени придавали этой картине вид очередного бесовского шабаша.

Барон Алоизиус стоял перед распахнутой дверью своего номера, держа дулом вниз дымящийся пистолет. Постояльцы опасливо косились на него, молчали, но и с места не двигались, обуреваемые тем приступом нерассуждающего любопытства, что свойственен роду человеческому посреди самых опасных катаклизмов.

За их спинами мелькнула заспанная физиономия господина Фалькенгаузена и еще одна фигура устрашающих размеров, в которой Пушкин не сразу опознал Готлиба. Потом собравшихся бесцеремонно раздвинул граф Тарловски, встал рядом с застывшим, как изваяние, бароном, ободряюще похлопал его по руке и обернулся к собравшимся:

— Господа, все в порядке. Убедительно прошу вас, разойдитесь, у бедного юноши случился очередной приступ лунатизма... Бедняге нужно посочувствовать, а не паять на него, как на экспонат какой-нибудь кунсткамеры. Разойдитесь, прошу вас, чтобы я мог привести его в чувство...

Сочетание в его голосе властности и убедительной мягкости подействовало на присутствующих магически: они, пожимая плечами и крутя головами, стали расходиться. Оставшийся почти в одиночестве господин Фалькенгаузен попробовал было разразиться недовольной тирадой, но, встретив ледяной взгляд графа, стушевался и покорно направился к лестнице, сопровождаемый своим Санчо Пансой.

Не теряя времени, граф схватил барона повыше локтя и втолкнул его обратно в комнату. Пушкин вошел следом, притворил за собой дверь и огляделся.

Все здесь вроде бы было в порядке, только кресло перевернуто, а постель усыпана пухом из подушки, в которую, надо полагать, и угодила пуля.

Только теперь барон опомнился, положил пистолет на стол и опустился в другое кресло, с силой провел рукой по лицу, криво усмехнулся:

— Простите, господа, нашумел. Не сдержался, когда оно из-под кровати полезло...

— Кто? — спокойно поинтересовался граф.

— А пес его знает, как оно по-научному именуется, и именуется ли вообще, — сказал барон почти нормальным голосом. — Сидел это я, покуривал трубочку, думал о разных вещах — отчего-то не спалось, знаете ли. Тут по комнате зашмыгало что-то мохнатое, вроде крысы, только побольше и определенно без хвоста — из-под кровати за гардероб и обратно. А за ним и второе. По одному я все же попал креслом, да что толку — только пискнуло и дальше побежало. А потом из-под кровати полезло что-то такое посolidнее, уже чуть ли не с медведя размером. Ну, дело знакомое, нас после оборотня голыми руками не возьмешь и так просто не напугаешь... Вот я по нему и шарахнул серебряной пулей. Надобно вам знать, я после той истории свинцовых пуль больше не признаю вовсе, забывая одни серебряные, — мало ли какая нужда возникнет...

— И что же?

— Кровь и гром! — с досадой сказал барон. — Да взяло и растворилось в воздухе самым пошлым образом, не оставив мне ничего в качестве трофея. И эти, маленькие, сгинули за компанию, так что

мне нечем и доказать, что все это было на самом деле...

— Бросьте, я вам верю, — спокойно сказал граф. — Тем более что еще до выстрела снизу донеслись какие-то звуки, которые вряд ли способно издавать обычное человеческое существо... и господин Пушкин, как легко убедиться, выглядит так, словно с ним тоже произошло нечто необычное... Причем, в отличие от вас, его явно пытались душить довольно, я бы сказал, обстоятельно... Что случилось, Александр? Вас тоже навести ли?

Пушкин в нескольких фразах изложил суть дела, отчего-то чувствуя себя так, словно видел дурной сон — хотя боль от ссадин и царапин этому решительно противоречила. Граф прохаживался по комнате от стола к окну, задумчиво склонив голову.

— Признаюсь, у меня тоже были... гости, — сказал он как будто весело. — Не стану подробно описывать происшедшее, это, в общем, неинтересно... Видения попеременно с какими-то вполне реальными тварями, пытавшимися вытрясти из меня душу. Ни на что из известного по личному опыту или старинным книгам они не походили... но серебра, как выяснилось, боялись не на шутку и довольно быстро ускользнули после парочки ударов по тому, что у них считается физиономией...

Он разжал кулак и продемонстрировал довольно массивную серебряную цепочку, прикрепленную к овному медальону с изображением Пресвятой Девы.

— Пришлось лишний раз убедиться, что древние

способы — самые действенные, — сказал граф с улыбкой, показавшейся все же несколько вымученной. — Ну что же, примите мои поздравления, господа. Теперь приходится отбросить мысли о каком-то диковинном совпадении. Мы предельно откровенно поговорили с синьором Руджиери, дав ему понять, что многое о нем знаем, — и в ту же ночь все трое подверглись нападению всевозможных тварей, не имеющих отношения к материалистическому, я бы так выразился, миру... Совпадения, по-моему, следует решительно отместить. Судя по вашему молчанию, вы со мной согласны. Прекрасно. — И он улыбнулся гораздо веселее. — Ну, отчего вы так унылы? Никто, если разобраться, не пострадал всерьез — царапины и переживания не в счет. У меня остается впечатление, что теперь уже противодействующая сторона предприняла против нас пресловутую разведку боем. Попыталась запугать, проверить крепость нервов... Надеюсь, своей цели они не достигли?

Барон сказал яростно:

— Да я их буду гнать до самой преисподней, или откуда они там выползли, куманьки чертовы... Меня такой нечистью не запугаешь!

— Действительно, понадобится что-то большее... — сказал Пушкин, осторожно касаясь вспухших царапин по обе стороны горла.

— Возможно, дождемся и большего, — произнес граф, подавая ему флакон с одеколоном. — У вас есть при себе носовой платок? Прекрасно, смочите как следует и протрите на всякий случай, это край-

не действенно от возможной заразы... Возможно, господа, дождемся и большего, поэтому заранее рекомендую быть готовыми ко всему на свете. Главное, мы идем верной дорогой...

Глава четвертая

ТЕНИ ПРОШЛОГО

Все, что только находилось в обширной комнате со сводчатым потолком, имело отношение исключительно к печатному или писаному слову: полки, покрывавшие все четыре стены, забиты книгами, порой огромных размеров фолиантами, переплетенными в потемневшую кожу, издававшую специфический запах, явственно чувствовавшийся в воздухе. Три стола завалены рукописями, все как одна вышедшими из-под пера неизвестных авторов задолго до рождения любого из присутствующих — это видно было с первого взгляда. Единственным посторонним предметом оказался пузатый кофейник на спиртовке в углу комнаты, из которого хозяин нацедил им безнадежно остывшего и не особенно крепкого напитка.

Профессор Гаррах как нельзя более отвечал расхожим представлениям об ученых затворниках, не знающих ничего на свете, кроме предмета своей научной страсти: небольшого роста, с обширной лысиной, обрамленной растрепанными прядями совершенно седых волос, в круглых очках с простой стальной оправой, каким-то чудом державшихся на кончике крючковатого носа. Одежда его была в полном беспорядке, выдававшем долгую разлуку с утюгом и прачечной.

Пушкину он с самого начала показался совершенно неподходящим для их целей человеком, но он держал свои мысли при себе, зато барон, откровенно не числивший дипломатию среди своих талантов, при каждом удобном случае, перехватив взгляд Пушкина, иронически усмехался за спиной профессора и корчил гримасы. В конце концов подметивший это граф ледяным взглядом заставил Алоизиуса несколько утомониться.

Тем временем вот уже четверть часа продолжалось одно и то же: профессор, проворно, с грохотом и большой сноровкой передвигавший вдоль высоченных полок лестницу-стремянку, то и дело буквально взлетал по ней, выхватывал очередную книгу, открывал, пробежал взглядом несколько страниц, совал ее на место, подняв облачко пыли, спускался вниз — а потом все повторялось. Порой профессор выхватывал из бокового кармана врученный ему графом список, сверялся с ним и по какой-то своей неведомой системе продолжал изыскания.

Барон покосился на Пушкина, но, встретив предупреждающий взгляд графа, вздохнул и ограничился тем, что трагически воздел глаза к потолку. Профессор метался вдоль полок с удивительной для его почтенных лет энергией.

Внезапно он, в очередной раз спустившись на грешную землю, решительно отодвинул лестницу в угол, к дверному косяку, выхватил из кармана многострадальный список, превратившийся уже в совершенно мятый лист бумаги, расправил, подержал перед глазами. Уставился на гостей поверх опустивших-

ся на самый кончик носа очков, став невероятно похожим на угрюмого филина.

— Ну что же, господа, — произнес он чуточку сварливо. — Жаловаться на потраченные усилия грех: вы преподнесли не самую скучную загадку, с которой приятно иметь дело...

Граф усмехнулся:

— Неужели я за все время нашего знакомства когда-либо приходил к вам со скучными загадками?

— Похвально, похвально... — Он повернулся к молодым спутникам графа. — Господа, кто из вас составлял каталог этой весьма интересной библиотеки?

— Я... Точнее, наши сотрудники, — сказал Пушкин. — Кому-то из них пришло в голову, что скрупулезности ради следует не просто перечислить книги, а еще и указать точным образом, в каком порядке они стояли и на каких полках. Нам представлялось, что эта деталь может иметь какое-то значение... Мы были неправы?

— Наоборот, юноша, наоборот! — жизнерадостно воскликнул профессор. — Это меня натолкнуло на кое-какие мысли, но об этом чуть позже... Позвольте сначала сказать несколько слов о такой важнейшей основе любой научной деятельности, как классификация. По моему глубочайшему убеждению, все беды и провалы науки происходят в первую очередь от несовершенной системы классификации... Достаточно долго изучая все предшествующие, я в конце концов пришел к выводу, что следует создать свою собственную, лишенную недостатков предыдущих. Это был и гигантский труд, потребовавший долгих

ночных бдений, нешуточных умственных усилий... И он завершен, друзья мои!

Он огляделся так, словно вполне искренне ожидал бурных аплодисментов многочисленной аудитории, потом, должно быть, вспомнил, что пребывает в гораздо более узком кругу слушателей. Вздохнув с неприкрытой обидой — ему несомненно хотелось публичности, — профессор Гаррах продолжал:

— После долгих, вдумчивых исследований мне стало ясно, что все магические практики, сколько их ни есть, сводятся к четырем основным дисциплинам: демономантике, некромантике, биомантике и резомантике. Объясню вкратце. Демономантика, как вы, должно быть, догадались из названия, включает в себя все действия, связанные с призыванием сатаны, демонов, джиннов, чертей, духов стихий, а также сверхъестественных существ неантропоморфного, то есть нечеловеческого обличья, как то: черный пес Пука из Ирландии, гэльские морские кони и так далее... Некромантика включает в себя как общение с духами умерших, так и манипуляции с мертвыми, вынуждающие таковых вести загробное существование: вампиры, покойники-охранители кладов... Биомантика — это использование в магических целях представителей неразумной фауны и флоры, в изначальной своей сути магическими свойствами не обладающих и обретающих таковые лишь после усилий мага. Характерный пример — история с известным вам, граф, Генрихом Платценом, который силой заклятий принудил обыкновенную кошку загрызть свою старую тетю... я имею в виду не тетю кошки,

молодые люди, а тетю означенного Платцена, который был ее единственным наследником и устал ждать естественного исхода событий, поскольку тетушка, выражаясь ненаучно, была ядреной, как драгунский вахмистр, и покидать наш мир не собиралась... И, наконец, ресомантика. От латинского «рес», что означает «вещь», предмет». Расширенно объясняя, эта дисциплина как раз и включает в себя магические манипуляции с неодушевленными предметами, как созданными руками человека, так и сотворенными природой. Исходя из этих аксиом, вы явились ко мне с классическим примером ресомантики... хотя приключения, пережитые вами в гостинице, позволяют судить, что дело отягощено еще и некромантикой... Я доходчиво объясняю?

— Конечно, — сказал Пушкин искренне. — Примите мои поздравления, профессор. Это великолепная система, в самом деле всеохватывающая. Полагаю, научный мир ее оценил должным образом...

Лицо профессора мгновенно переменялось, словно он хватил добрую чарку уксусной кислоты.

— Все обстоит как раз наоборот, — сказал он с горечью. — Эти приземленные обскурантисты проявили себя во всей красе своих ослиных мозгов и лошадиного упрямства. Заявили, что смешно вообще поднимать вопрос о какой бы то ни было классификации, поскольку речь идет, извольте ли видеть, о предметах мистических и сверхъестественных, которые всерьез рассматривались в Средневековье из-за невежества и религиозного фанатизма, но в наш материалистический, просвещенный век достойны внимания лишь уз-

кого круга историков... — Он передернулся. — Материализм! Просвещение! Они там все поголовно жуткие материалисты, взять хотя бы дискуссию между мной и этим надутым ослom, профессором Винце...

Стоявший за его спиной граф делал отчаянные гримасы, из которых быстро стало ясно, что затрагивать этого вопроса не следовало. Барон, пока Пушкин подыскивал подходящие слова, отреагировал первым. Он браво вскричал:

— Да плюньте вы на них, герр профессор, на ваших обси... обсу... всех этих курантов, короче. В подметки вам не годятся, ослы! Что с них взять, я сам читал, как эти самые обсукурanty отравили великого Галилея, когда он открыл, что земля круглая...

— Ну, предположим, с Галилеем обстояло несколько иначе, молодой человек, — сказал профессор. — Но мысль верная. Эти ослы носятся со своим дурацким материализмом, как дурень с писаной торбой, а я, к превеликому сожалению, напрочь лишен возможности разить их наповал убедительными примерами и недвусмысленными доказательствами, поскольку все они проходят по ведомству «серого кабинета», о котором и заикаться нельзя... Черт побери, я в положении собаки, которая понимает все, но сказать не может ни словечка... — Он разразился зловещим смехом. — Но я им еще докажу... Я им всем докажу, не нарушая взятых на себя обязательств и не раскрывая доверенных мне тайн! Они у меня узнают...

— Не сомневаюсь, — мягко сказал Пушкин. — Господин профессор, право же, с вашим умом и та-

лантом вряд ли стоит обращать внимание на тьяканные невежд. Как выражаются у нас в России, собаке вольно и на владыку лаять... Вы, кажется, заговорили о составленном нами каталоге?

— Что? Ах, да... В самом деле, ваш каталог, проиллюстрированный схемой расположения книг на полках, крайне любопытен. Первое, что приходит в голову человеку, который сам каждодневно имеет дело с книжным собранием, — на нижних полках расставлены книги, которые должны быть под рукой, поскольку используются часто, зато на верхних, под самым потолком, отстаиваются те, к которым владелец обращается значительно реже... Это логично?

— Безусловно.

— Рад, что вы понимаете... Так вот, не стану утомлять вас перечнем авторов и названиями их трудов, ограничусь подмеченной тенденцией. Примерно семьдесят процентов библиотеки вашего любителя черной магии составляют книги, посвященные той дисциплине, которую я определяю как ресомантику. Остальное примерно поровну делится меж остальными тремя классификационными разделами. И занимает как раз верхние, наименее часто используемые ряды полок. Вы улавливаете мою мысль?

— Кажется, — сказал Пушкин. — Вы хотите сказать, что этот человек, много и упорно занимаясь черной магией, сначала перепробовал первые три дисциплины, но, не достигнув, должно быть, желаемого, сосредоточился на управлении неодушевленными предметами...

— Именно! К тому же это прекрасно сочетается с вашими рассказами, молодые люди. Рискну предположить, что в вызове духов, наведении порчи и других аналогичных искусствах он оказался не силен. Еще и оттого, что все перечисленные вами книги, в общем, не содержат в себе каких-то настоящих знаний... п е ч а т а н н ы е легальным образом книги их не содержат вообще. Представляют собой либо дилетантские упражнения, либо откровенное пособие для жуликов, желающих выдать себя за магов, чтобы облегчить кошелек легковверного обывателя. Вроде небезызвестного «Словаря натурального волшебства». Не угодно ли? — Саркастически расхохотавшись, он, почти не глядя, протянул руку, выдернул толстый том и раскрыл: — «Наполнить четыре скорлупы грецкого ореха смолой, в каждую вклеить кошачью лапу; пустить кошку в этом наряде бегать ночью на чердак, и она произведет необычный стук»...

Пушкин сказал:

— Боюсь вас огорчить, профессор, но сей труд и у нас переведен еще тридцать лет назад...

— Вот видите! Опасаюсь, что немало нашлось ловкачей, которые посредством безвинного животного изображали «духов»... Но, если мы вернемся к серьезным вещам... Итак, ваш человек разочаровался в том, чем занимался прежде, и занялся ресомантикой — не зря же ей посвящено три четверти книг его собрания. Если рассудить, они тоже не таят в себе п о л е з н ы х откровений... но кое-какие указания, направления поиска там все

же можно отыскать при усидчивости — чтобы отыскать крупинку золота, перебирают целые горы пустого песка... А поскольку печатные издания определенно сопрягались с какими-то рукописями... Вот рукописи — дело другое! То, что прячут от печатного станка, частенько таит в себе нечто... И наконец, после того что вы рассказали о петербургских и прусских убийствах, можно неопровержимо сделать вывод, что ваш молодчик в конце концов превратился-таки в настоящего ресоманта... Вы не представляете, до чего интересно было бы ознакомиться с содержимым его дорожного чемодана. Что-то он сжег, согласен, но наверняка прихватил с собой бумаги, без которых, я полагаю, не обойтись... Можно, конечно, вызубрить наизусть, но... — Он с сомнением покачал головой. — Человек спокойнее себя чувствует, не полагаясь исключительно на память, сохранив кое-какие записи — я имею в виду, человек заурядный, обыкновенный, ничем не выдающийся. Из ваших рассказов следует, что его нельзя было назвать ученым, мыслителем, обладателем уникальной памяти...

— Совершенно верно, — сказал Пушкин. — Во всех отношениях человек самый заурядный — не глупец, конечно, но и не из тех, кто одарен искрой Божьей. Один из многих. Отличие только в том, что именно ему посчастливилось наткнуться на некие потаенные знания из области черной магии...

— Тем более. У него просто обязан быть с собой какой-нибудь пакет с бумагами, где изложено основ-

ное. С е р ь е з н ы е заклинания обычно длинные, многословны, изложены на забытых языках, где сочетания букв самые невероятные, а манипуляции опять-таки отнимают массу времени и не ограничиваются произнесением вслух нужных слов.

— Но с Големом, как мне объяснили, обстояло гораздо проще, — сказал Пушкин. — Достаточно было простого глиняного шарика...

— Молодой человек! — прямо-таки взвился профессор. — Вы мне представляетесь весьма неглупым и многообещающим юношей, а потому по-дружески предостерегаю от у п р о щ е н и я! В чем-то вы совершенно правы: достаточно простого глиняного шарика с короткой каббалистической надписью... но вы не представляете себе, какими долгими и обширными были те п р а к т и к и, что привели в конце концов к созданию шарика!

— Простите, об этой стороне я как-то не подумал...

— Не смущайтесь, у вас еще все впереди. Главное, бойтесь упрощать. В конце-то концов, даже создание прозаической булки требует предварительно овладеть сложной практикой, наработанным поколениями опытом. Что уж говорить о магии. О чем бишь я? Да, так вот — я не сомневаюсь, что какие-то бумаги он возит с собой, сжечь их вместе с остальным было бы весьма неосмотрительно...

— Вот только поймать осталось, — сказал барон.

— Совершенно верно, — кивнул граф. — Профессор, нет ли у вас каких-нибудь догадок по поводу того, как нам его искать?

— Искать?! — профессор Гаррах уставился на него прямо-таки недоумевающе. — Простите, но это уж дело агентов, сыщиков, или как там они у вас называются... Граф, я вас чрезвычайно уважаю еще и за то, что вы постоянно приносите великолепную пищу для ума... но я вынужден в который раз повторить: из м е н я сыщика не получится. Не оттого, что у меня есть какие-то моральные препоны, ничего подобного... Я добросовестно пытаюсь довести до вас нехитрую мысль: обычными полицейскими методами, то есть разнюхиваньем, расспрашиваньем и рысканьем по подозрительным местам, вы здесь ничего не добьетесь. По весьма существенной причине: вы имеете дело с тайными, по-настоящему тайными обществами...

— Масоны? — оживился барон.

— В вашем возрасте и при вашей службе стыдно отвлекаться на подобных клоунов! — фыркнул профессор. — Это именно клоуны, играющие в свои ритуалы, как дети в лошадки. Н а с т о я щ и е тайные общества, составленные из тех, кто пользуется магические, чернокнижные практики, насчитывают многие сотни лет. Многие! Некоторые достойные уважения и доверия источники и авторитеты полагают даже, что речь идет о тысячелетиях. Вы представляете, какая изощренность в выживании, сохранении тайны и умении оставаться незаметными присуща людям, которых, не забываяте, столетиями преследовала инквизиция, а до того, как гласят иные рукописи, некие аналогичные департаменты еще античных времен? И полагаете, что ваш покорный слуга, потол-

кавшись там и сям, поболтав с теми и с этими, способен в одночасье обнаружить тех, кого инквизиция в пору своего расцвета и всемогущества не смогла искоренить полностью? Вы, право, мне льстите, граф... И совершенно зря.

— Ну, простите, — сказал граф с бледной улыбкой. — Меня все это время не оставляла надежда: вдруг каким-то чудом что-то у вас да получится...

— Не тот случай, — отрезал профессор. — Я не чудотворец. По-моему, я вам уже говорил однажды: плюньте вы на гордыню и отправляйтесь в Рим. Попробуйте наладить отношения с инквизицией. Она существует до сих пор, пусть и не в прежнем виде...

— Я пытался, профессор, — сказал граф. — Дело не в гордыне. Со мной там не захотели разговаривать, притворяясь, будто не понимают, о чем я прошу, что имею в виду. У меня создалось впечатление, что нас не воспринимают всерьез...

— Повсюду обскуранты!

— Увы... По крайней мере, вы нам дали какое-то направление.

— Слушайте, — сказал барон. — Мне тут пришло в голову... А может, в Италии поискать? Не зря же ваш прохвост, Александр, действует в самом сердечном согласии с Руджиери...

— С кем? — рокочущим, жутким шепотом спросил профессор.

— Руджиери — это тот кукольник, про которого мы вам рассказывали, — пояснил граф. — Флорентинец. Знаете, мне приходит в голову, что барон может оказаться прав. С самого начала выглядел странным

этот сердечный союз. Если Ключарев сам доискался до некоего умения, — зачем ему обычный кукольник? Если кукольник и сам умел использовать неодушевленные предметы — зачем ему Ключарев? Можно предположить, они друг друга дополняют. У обоих нашлось что-то, чем он поделился с сообщником...

— Очень интересно, — тихо произнес профессор. — Триста лет назад обитал во Флоренции некий Руджиери. Точное имя неизвестно, одни источники именуют его Ансельмо, другие — Томазо. Но одна подробность остается неизменной: этот Руджиери, мало того что баловался алхимией и магией, оказался якобы впутанным в чрезвычайно грязную историю, как две капли воды похожую на вашу. Богатый скряга, алчный наследник... и мраморная статуя, которую Руджиери оживил и использовал для убийства. История каким-то образом всплыла наружу, заинтересовалась инквизиция, Руджиери пришлось бежать. Подробности известны плохо, серьезные исторические хроники эту историю упоминают вскользь, и о ней известно главным образом из тех сочинений, что, выражаясь высокопарно, в научный оборот не введены.

— Совсем интересно получается, а? — воскликнул барон. — Там Руджиери — и у нас Руджиери. Тот из Флоренции, и наш тоже. Тот двигал статую... этот, правда, только лишь марионетки, да и то еще неизвестно толком, были ли в игре марионетки... Прикажете считать совпадением?

Граф с сомнением покачал головой:

— Алоизиус, ваша фантазия...

— Между прочим, я бы не упрекал этого юношу в чрезмерном полете фантазии, — сказал профессор. — В самом деле, странновато для банального совпадения: Флоренция, семейство Руджиери, оживающие статуи... У итальянцев громадный, многовековой опыт в передаче знаний и ремесел из поколения в поколение, и речь не обязательно идет о чернокнижии: банкиры, ювелиры, врачи, архитекторы... Так ваш кукольник носит фамилию Руджиери?

— Именно, — кивнул граф. — И преспокойно обитает на Малой Стране, в двух шагах от церкви Девы Марии Торжествующей, на Влашской улице, где издавна любили селиться итальянцы...

— И что он говорит?

Граф пожал плечами:

— Он усердно притворяется, будто не понимает, о чем идет речь. А нам пока что нельзя предъявить ему каких-то убедительных улик, чтобы прижать к стене...

— Ну конечно! — воскликнул Пушкин. — У меня постоянно вертелось в голове... Конечно же, Руджиери! Эта история описана Сванте Артенариусом в «Каталоге курьезов, касающихся статуй, монументов и истуканов»... Я никак не мог вспомнить, где уже сталкивался с этой фамилией, она казалась странно знакомой... Книга и в самом деле довольно далека от науки. Артенариус совершенно серьезно утверждал, что Руджиери был связан с тамплиерами, которые перестали существовать лет за двести до его рождения...

— Орден перестал существовать, молодой человек, — сказал профессор наставительно, — но люди остались... Я бы на вашем месте относился к тамплиерам серьезнее. Слишком много их ускользнуло от костра, слишком целеустремленные были люди, слишком серьезными знаниями владели, чтобы после официального разгрома ордена королем Филиппом Красивым провалиться в небытие... — Он извлек из кармана огромные серебряные часы в виде луковичи, щелкнул крышкой и озабоченно уставился на эмалевый циферблат. — Тысяча извинений, господа, беседа с вами доставила мне искреннее удовольствие, но мне еще предстоит крайне важная встреча...

— О, разумеется! — Граф поднялся, следом вскочили оба его молодых спутника. — Мы и так злоупотребили вашим временем...

Когда они вышли на улицу, граф какое-то время постоял в задумчивости, потом произнес:

— В сущности, мы не узнали ничего полезного. Разве что обнаружилось интересное совпадение касательно нашего итальянца... уж простите, будем пока что считать это совпадением. Пока что...

— А вы, ваше сиятельство, в нашем профессоре уверены? — спросил вдруг барон.

— В каком смысле?

— По-вашему, человек надежный?

— Полагаю. Звезд с неба он не хватает, что и сам признает, но порой помогал и был крайне полезным... А что?

— Насчет ученых материй судить не берусь, — сказал барон. — Тут я не судья... Хотя даже мне вид-

но, что старикан набит ученой мудростью по самые уши. Я не о том. Уж что-что, а притворство я в два счета отличу. Талант у меня такой, честное слово, посмотрю на человека и сразу вижу: лжет он или правду говорит? И клянусь вам чем хотите, от славных гербов трех поместий до моего жалованья за будущий год, что этот старый филин с вами был неискренен. Не все время разговора, но под самый конец-то уж точно...

— Вы знаете, граф, я бы согласился с Алоизиусом, — сказал Пушкин. — Под конец нашей беседы с ним, полное впечатление, что-то произошло. Начиная с некоторого момента, он повел себя совершенно иначе, стал неискренним, словно пытался побыстрее от нас отделаться... Да что там, мне начинает казаться, что это мнимо важное свидание было только предлогом.

— С некоторого момента... — задумчиво повторил граф. — Но вы ведь оба не определите сейчас, что именно в нашем разговоре послужило переломным? Молчите? Сложная ситуация... С одной стороны, на Гарраха я до сих пор всецело мог положиться, а с другой, невозможно предсказать, как себя поведет человек его склада, когда его что-то подвигнет на собственную игру... Ба! — Он хлопнул себя по лбу. — Я и забыл уточнить у нашего милейшего Гарраха...

Произнеся это довольно громко, он распахнул дверь и буквально увлек своих спутников в прихожую дома, который они только что покинули. Но не сделал и попытки подняться по лестнице. Тихо ска-

зал, прикинув к маленькому окошечку посреди высокой старинной двери:

— Ну да, конечно... Он там.

— Кто?

— Соглядатай, — сказал граф так обыденно, словно речь шла о каком-то пустяке. — С профессором Гаррахом мы разберемся чуточку позже, а сейчас меня более всего интересует тот субъект, что таскается за нами по пятам уже второй день. Я не стал вести об этом речь на улице — простите, друзья мои, но есть сильнейшее подозрение, что вы, несмотря на все предупреждения, начали бы озиаться в открытую, а я не хочу его спугнуть... Поскольку удивление у вас неподдельное, значит, вы его до этого момента не замечали вовсе... А между тем он нас упорно сопровождает на некотором отдалении, проявляя при этом известное мастерство...

— Кровь и гром! — шепотом сказал барон. — Так почему бы нам его не взять за...

Граф спокойно кивнул:

— По-моему, самое время — учитывая, что мы не продвинулись ни на шаг. В первую очередь его интересую я — это стало ясно, когда он впервые появился за спиной во время моей прогулки в одиночестве. Да и потом... Когда я ненадолго отсылал вас на Градчанах, мне хотелось посмотреть, за кем из нас он пойдет. Он свернул за мной, пренебрегая вами. Поэтому план будет нехитрым: сейчас мы выйдем на улицу. Я сворачиваю налево. Он наверняка пойдет за мной. Вы, распрощавшись со мной громко и демонстративно, сворачиваете направо. Пройдя шагов де-

сять, поворачивайте назад, как и я. Улочка узкая, мы возьмем его в клещи... Пойдемте!

Он вышел первым и, приподняв цилиндр, направился влево, небрежно помахивая тростью, словно бы всецело погруженный в собственные мысли. Пушкин с бароном, добросовестно отсчитав про себя десяток шагов, одновременно развернулись. Щуплый пожилой человечек в простом синем фраке с медными пуговицами и в самом деле оказался словно бы в клещах на узенькой улочке, где два пешехода не смогли бы разминуться, не встав вполоборота друг к другу. Других прохожих не было.

Человечек в синем фраке, уже разобравшийся в ситуации, неловко затопал на месте. С одной стороны был граф, загородивший улочку, — лицо его оставалось невозмутимым, а трость, судя по тому, как он ее держал, Тарловски намеревался сунуть под ноги соглядатаю и сбить его наземь, если вздумает бежать. С другой стороны надвигались Пушкин с бароном, исполненные нешуточного охотничьего азарта. На лице пожилого человечка мелькнула растерянная, жалкая улыбка, он отпрыгнул — и барон, в три прыжка преодолев разделявшее их расстояние, сгреб добычу за ворот, жизнерадостно рывкнув:

— Попался, каналья! Стой смирно, а то, клянусь вереницей благородных предков, я тебя по стенке размажу! И смотри у меня, сукин кот, не вздумай мне тут черной магией баловаться средь бела дня, а то у меня оба пистолета серебром заряжены! Как влеплю — и ни печали, ни воздыхания!

Человечек стоял смиренно, страдальчески улыбаясь и не делая попыток к бегству. Подошедший граф, небрежно прикоснувшись набалдашником трости к его скверно повязанному галстуку, преспокойно осведомился:

— Итак, чем я обязан счастью видеть вас за спиной едва ли не ежеминутно?

— Господин граф... — проямлил пленник.

Граф поднял бровь:

— Как видим, он меня знает, господа... Игра приобретает интерес. Так для кого же шпионите, любезный, и зачем?

— Господин граф, поверьте, речь шла вовсе не о шпионстве! Мой хозяин хотел... хотел узнать, где вы бываете...

— А почему это его интересует? — спросил граф, не моргнув глазом.

— Он считает, что может оказаться вам полезен...

— Вот как? — Граф одарил пленника одной из своих неподражаемых улыбок, светски-ледяной. — Мне кажется, он выбрал не самый лучший способ оказаться полезным, посылая по пятам шпиона...

— Поверьте, я как раз собирался вас пригласить...

— Куда?

— К хозяину... То есть, это он убедительно просил вас пожаловать к нему в гости, я как раз ломал голову над тем, как подойти и передать поручение...

— Кто ваш хозяин?

— Господин Грюнбаум... Он давно уже обитает за городом и очень хотел бы вас видеть...

Граф извлек из жилетного кармана тонкий серебряный свисток на филигранной цепочке и негромко

свистнул. Из ближайшей подворотни мгновенно материализовались два господина плотного сложения и самого ординарного облика, повинуясь жесту графа, подскочили к незнакомцу и крепко ухватили его за локти.

— Мозес Грюнбаум? — спокойно уточнил граф.

— Да, он самый... Мы могли бы отправиться сию минуту...

— Не смею возражать, любезный, — кивнул граф. Обернулся к своим людям. — Проводите этого господина на наше подворье и посадите в карету. Мы вас догоним.

Господа в серых фраках кивнули и энергично повлекли свою жертву в глубь улицы.

— О чем бишь он? — спросил барон в недоумении.

— Игра, положительно, приобретает интерес, господа, — усмехнулся барон. — Мозес Грюнбаум в свое время у меня был на заметке — очень уж увлеченно интересовался всем, что относилось к четырем перечисленным Гаррахом дисциплинам. Грудю денег ухлопал на старые рукописи, водил знакомство с антикварами, ездил в Италию и Испанию за какими-то раритетами, одно время поддерживал приятельские отношения с Гаррахом, но потом между ними отчего-то пробежала черная кошка... Целое состояние потратил на утоление своей страсти. На этой почве поссорился с еврейской общиной, в конце концов даже порвал с ней и принял крещение, что нисколько не изменило круг его увлечений, разве что добавило еще и конфликтов с приходским священни-

ком, крайне резко относившимся к подобным увлечениям... Последние года четыре о нем не было ни слуху, ни духу: то ли покинул Прагу, то ли жил анахоретом где-то в провинции... И вот внезапно появляется посыльный от него...

— Вы думаете, стоит ехать?

— Разумеется, — сказал граф твердо.

— А если этот посыльный вовсе не от вашего знакомого?

— Тем лучше, Александр, — воинственно сказал барон, лихо взмахнув тростью с таившимся в ней золдингеновским клинком. — Хорошо бы попасть в какое-нибудь их логовище, уж там-то можно отвести душу по-настоящему, не думая о приличиях и дипломатии... Ловушка? Тем лучше!

— Я не испытываю столь романтического восторга, как вы, Алоизиус, — задумчиво сказал граф. — Но думается мне, что и впрямь неплохо было бы попасть в это пресловутое логовище — это, несмотря на нешуточную опасность, позволило бы нам продвинуться вперед. Терпеть не могу топтаться на месте. Пойдемте. Карета недалеко. Полицейский эскорт я с собой брать не намерен. Если ловушка серьезная, нам не поможет и рота тайных агентов. Если все обстоит не так скверно, мы и втроем справимся... вчетвером, учитывая кучера. Он тоже малый не промах...

Глава пятая

О ПОЛЬЗЕ САМОКРИТИЧНОСТИ

Деревня была небольшая, уютная, нисколько не походившая на русскую — аккуратные каменные домики, словно бы и не крестьянские вовсе, а принадлежавшие захудалым помещикам, вынужденным поселиться одним селением; аккуратные заборчики, крылечки, безукоризненная чистота, ни свиней посреди улицы, ни праздно бегающих на свободе собак. Никакого мусора, живописные деревья, редкие чинные прохожие, тишина и отсутствие предосудительных запахов. «Черт знает что, — сердито подумал Пушкин, поймав себя на том, что пытается высмотреть у заборов хотя бы клочок тряпки, обломок доски. — Ведь ухитряются же как-то? У нас сломанные тележные ободья валялись бы посреди улицы, а у того вон заборчика сидел бы в совершеннейшем довольстве жизнью какой-нибудь пьяный кузнец. Как у них получается? Загадка...»

Показалась аккуратная корчма, сквозь распахнутые окна видно было, как за столиками сидят опять-таки чинные, спокойные поселяне, и никто не выяснял отношений на крыльце, никто не орал громогласно песен.

Деревня осталась позади. Это место нисколько не походило на мрачный уголок из английских готических романов мисс Радклиф — никаких угрюмых

урочищ, непролазных дебрей, голых скал, зловеще вздымавшихся бы посреди чашобы. Располагалось оно примерно в получасе неспешной езды из Праги на север, посреди обширной равнины с редкими рошицами. Любые мистические страсти казались здесь совершенно неуместными, как невозможно представить себе упыря в облике румяной деревенской старушки...

Впрочем, тут же напомнил себе Пушкин, последнее, если вспомнить Новороссию, все же имело место однажды. И существует еще поговорка о тихом омуте, для которой Алоизиус подыскал, услышав, какой-то прусский аналогичный афоризм...

Дом стоял неподалеку от деревни — по виду ничем не отличавшийся от остальных, небольшой и аккуратный, с тремя липами у крыльца. Карета остановилась. Их провожатый проворно скатился с козел и предупредительно распахнул дверцу кареты с той стороны, где сидел граф, внушавший ему, давно стало ясно, наибольшее уважение и даже почтительную оторопь. Граф и вылез первым. За ним выбрался Пушкин, мимолетным движением проверивший пистолеты под сюртуком, а с другой стороны спрыгнул барон, с крайне многозначительным видом крутивший в руке трость с потаенной начинкой.

Провожатый рысцой направился к дому, указывая им дорогу, которую они прекрасно видели и без него. Солнце клонилось к горизонту, вечер близился, вокруг простиралась безмятежная тишина. Барон, украдкой подтолкнув Пушкина локтем в бок, шепотом сообщил:

— Лошадки, слава богу, ведут себя тихо. А уж эта животиная, поверьте моему опыту, на любую чертовщину моментально отзывается, как борзая на запах кошки...

— Я знаю, — так же тихо ответил Пушкин. — Довелось убедиться...

Поведение лошадей и в самом деле внушало уверенность, что не придется столкнуться с чем-то таким, из-за чего и была создана лига «Три черных орла». Граф вошел в распахнутую перед ним проводжатым дверь, небрежно помахивая тростью, спокойный и безмятежный с виду, но собранный, словно стальная пружина часов с полным заводом, готовый к любым неожиданностям. Пушкин так и не видел ни разу при нем пистолетов, но опытным взором не раз отмечал жесткие складки сюртука, свидетельствовавшие сами за себя...

Они оказались в обширном помещении с теми же перекрещенными высоко под потолком потемневшими балками — судя по виду, строение было старинным и как-то ухитрилось выйти невредимым из прокатившихся над этим краем многочисленных войн, последняя из которых произошла не так уж и давно. Хотя было еще довольно светло, в углу комнаты невысоким слабым пламенем горел камин.

Сутулый человек в простом черном шлафроке двинулся им навстречу с некоторой неуверенностью, словно опасался неласкового приема. Он был уже довольно стар, почти совершенно седые волосы свисали неухоженными прядями по обе стороны узкого, морщинистого, унылого лица. Неприятного впечат-

ления он не производил, но это мизантропическое уныние во взгляде, в лице, во всей фигуре поневоле угнетало свежего человека.

— Ну, здравствуйте, Грюнбаум, — сказал граф непринужденно. — Это и в самом деле вы, собственной персоной, а я уж надеялся, что нас с помощью фальшивого посланца заманили в какой-то жуткий уголок, где можно будет схватиться с нечистью, браво звеня серебряным клинком и выкрикивая заклинания...

— Вы счастливы, ваше сиятельство, — грустно отозвался хозяин. — Вы всегда шутите... Завидую. Я эту способность давно утратил...

— Ну, кто же был виноват? — чуть пожав плечами, отозвался граф с некоторым намеком на холодок в голосе. — Вас, я слышал, в свое время, много лет тому, мудрые люди упорно предупреждали, что царь Соломон был прав, и во многом знании многие печали — особенно когда речь идет о с п е ц и ф и ч е с к о м знании, не к ночи будь помянуто...

— Последовать бы их советам в то безвозвратно прошедшее время... — со вздохом сказал Грюнбаум. — Располагайтесь, господа. Быть может, приказать подать чаю или вина?

— Нет, пожалуй...

Барон вдруг издал громкий нечленораздельный вопль, словно индеец из американских дебрей, и от этого крика волей-неволей холодок прошел по коже. Проследив в том направлении, куда барон указывал набалдашником трости — причем его рука, следует отметить, несколько не дрожала, — Пушкин и сам

оказался близок к тому, чтобы высказать обуревавшие его мысли и чувства вслух.

Невысокое пламя в камине почти сплошь состояло не из языков огня, а из ало-прозрачных созданий наподобие ящериц, лениво шевелившихся так, словно они были неотъемлемой частью огня. Небольшие, с ладонь длиной, ящерки, сквозь которые просвечивала кирпичная кладка каминной трубы, пребывали в неустанном движении, переплетаясь, словно бы плавая в воздухе над рдеющими углями, выписывая загадочные пируэты, пытаясь поймать хвосты друг друга, совершенно не обращая внимания на застывших в удивлении Пушкина с бароном, зачарованно приблизившихся к камину настолько, что жар пламени — настоящего, не иллюзии — ощущался на лицах.

— Не бойтесь, друзья мои, — сказал граф будто бы даже со скукой. — Это и есть пресловутые саламандры, огненные духи. Совершенно безобидные создания, от которых ни пользы, ни вреда. Господин Грюнбаум в очередном приступе магического рвения их п р и з в а л еще семь лет назад... ах, даже восемь? Простите, я запамятовал. Теперь не представляет, что с ними, собственно, делать. Я имел случай наблюдать еще в пражском доме нашего гостеприимного хозяина, теперь они, надо полагать, последовали за ним на лоно природы... Это было трудно, господин Грюнбаум? Перевезти их сюда?

— Нет ничего легче, — грустно сказал хозяин. — Всего лишь поместить тлеющие угли из пражского камина в железную плетенку.. Совершенно бесполез-

ны, вы правы, но приходится теперь о них заботиться — вдруг, если огонь погаснет и они умрут, произойдет что-нибудь нехорошее? Источники на сей счет хранят молчание...

— Да, я помню, — сказал граф. — Вот так, друзья мои, и выглядит бесполезное знание... хорошо еще, что и безопасное тоже. Иногда ведь можно призвать с т о й стороны нечто гораздо хуже, от которого опять-таки так просто не отделаешься...

— Вот потому я вас и позвал, — сказал Грюнбаум. — Вы, конечно, можете не верить, ваше право, но мне искренне хотелось оказать услугу... С прошлым покончено, знаете ли.

— Быть не может, — сказал граф, удобно устроившись в кресле и приглашая спутников последовать его примеру. — Ах, простите, я не представил моих друзей... Господин Алоизиус, гусар, господин Александр, поэт...

Грюнбаум саркастически ухмыльнулся:

— Насколько я догадываюсь, это ваши молодые рекруты, очертя голову бросившиеся на охоту за тайнами?

— Не из праздного любопытства, старина Мозес, заметьте! — поднял палец граф с наставительным видом. — Я бы выразился, по долгу службы... поскольку, уж простите за неучтивость, на белом свете полным-полно опрометчивых болванов, тянущих руки к тайнам т о й стороны... и хорошо еще, если из любопытства. Мы, например, сейчас преследуем людей, с помощью магических практик убивающих себе подобных ради презренного металла — те же наемные

головорезы, только без кинжалов. Но суть остается прежней... Но вы, я не ослышался, говорили, что закончили с прошлым?

— Пятый год пошел...

— Совершенно?

— Верите вы или нет, но так и обстоит. И нисколько не жалею. Пр е ж н е г о исследователя уже нет.

— Похвально, — сказал граф. — Весьма похвально. Не соблаговолите ли поведать, что вас к этому привело?

Грюнбаум выпрямился, освещенный сзади пламенем, насыщенным саламандрами и оттого сам похожий в своем мешковатом шлафроке, с растрепанными длинными волосами на неприкаянного духа.

— Иронизировать изволите? Ну, что поделаешь, я дал к тому достаточно поводов... Хорошо. Не буду скрывать правду и представлять умнее и благороднее, чем на самом деле. Я уже не чувствую в своей натуре ни капли гордыни... Это тоже в прошлом. Можете торжествовать: я окончательно и бесповоротно оставил прежние занятия, поскольку убедился в собственном бессилии, никчемности, невозможности добиться каких бы то ни было серьезных результатов. Я этому отдал чуть ли не сорок лет. Потратил умопомрачительное количество денег, рассорился со всеми, настроенными хоть чуточку благожелательно... и каков итог? Все, чего удалось добиться — никчемные забавы вроде этого... — Не оборачиваясь, он указал рукой на круживших в пламени саламандр. — Торжествуйте, граф: я собственными руками поднял знамя капитуляции...

— Господь с вами, Грюнбаум, — серьезно сказал граф. — С чего бы мне вдруг злорадствовать? Слово чести, я только рад, что вы от этого отошли, и сожалею лишь, что не сделали того же значительно раньше. Надеюсь, обошлось без последствий, и вас не преследует нечто эдакое?

— Бог миловал. Но я по старой памяти порой, как выражаются врачи, держу руку на пульсе. Невозможно после стольких лет отойти от всего этого совершенно. Кое с кем встречаюсь, кое о чем доводится говорить... А уж когда я узнал, что в Праге появился не кто иной, как кукольник Руджиери...

— И чем же он вас заинтересовал? — спросил граф с деланным простодушием.

— Не лукавьте со мной! Я мысли не допускаю, что вы не связали его с тем Руджиери...

— Не стану отрицать, не стану... — сказал граф, и бровью не поведя. — Аналогии лежали на поверхности... Он что, и в самом деле потомок того Руджиери?

— Подозреваю, что так.

— А следовательно, мы имеем дело с теми самыми фамильными секретами, что передаются из поколения в поколение которую сотню лет?

— Скорее всего, — сказал Грюнбаум мрачно. — Он что, ухитрился что-то натворить в других местах?

— К сожалению, — сказал граф, поджав губы. — Не буду вдаваться в подробности, вам они вряд ли интересны, коли уж вы порвали с прошлым... но на пути от Петербурга до Праги наш персонаж оставил несколько трупов, причем эти люди погиб-

ли при обстоятельствах, всерьез заставляющих верить, что иная отравка не выдыхается с течением столетий...

— Убивали ожившие статуи?

— Не статуи, статуэтки, но разница, сдается мне, невелика... Вы об этом что-нибудь знаете, Грюнбаум?

— Ничего.

— Но у вас и в самом деле, надеюсь, что-то важное? Простите великодушно, но ради того, чтобы узнать о вашем окончательном отходе от известных дел, все же жаль было бы ехать в такую даль — у меня сейчас дел невпроворот...

Они не видели лица Грюнбаума, стоявшего в полутемной комнате спиной к пламени камина, но отчего-то по его тону показалось, что незадачливый, несостоявшийся маг злорадно улыбается:

— Постараюсь вас не разочаровать, граф... Гаррах нашел Голема. Он всегда был чертовски упрямым, как та английская собачка, что специализируется на ловле крыс...

Какое-то время царило молчание. Пушкину отчего-то казалось, что непринужденно плававшие в огне саламандры издают нечто вроде тонкого хрустального звона, соприкасаясь лапками и хвостами — хотя это было чистой воды наваждение.

— Этого не может быть, — ровным голосом сказал граф. Чересчур ровным.

— Боюсь, что это правда. Человек, который мне это сообщил, никогда меня не обманывал раньше. Я его знаю десять лет... нет, господин граф, простите, но я дал слово. Вам я его не выдам. Да и зачем?

Он не знает подробностей. Но клянется и божится, что Гаррах нашел Голема.

— Вздор, — тем же неестественно ровным голосом сказал граф.

— Вы не верите в Голема?

— Я не верю, что он где-то пролежал все эти столетия. Никакая глина не выдержит какого-нибудь сырого подвала...

— А разве это была о б ы ч н а я глина? Если верить иным источникам, не вполне обычная, выразимся обтекаемо... Подождите минуту, я вам кое-что покажу.

Шелестя полами шлафрока, он вышел в другую комнату и почти сразу же вернулся. В первый миг показалось, что он несет под мышкой то ли куклу, то ли младенца. Но когда Грюнбаум положил этот предмет так, чтобы на него падал отсвет каминного пламени, стало видно, что это пепельно-серого цвета истуканчик высотой в локоть, напоминавший грубо вылепленную ребенком фигурку.

Подняв обе руки, так что широкие рукава соскользнули, открывая костлявые локти, Грюнбаум что-то громко и раздельно произнес в совершеннейшей тишине — это не походило ни на один из человеческих языков, знакомых присутствующим.

Барон приглушенно выругался: фигурка вдруг зашевелилась, пошатываясь, поднялась на ноги, покачалась, утвердилось на кривоватых, толстых конечностях. И двинулась вперед, раскачиваясь, словно пьяный матрос, кренясь взад-вперед, но ухитряясь

каким-то чудом не падать, помахивая толстыми корявыми ручками...

Выглядела она слепленной из серой глины: вместо рта — узкая горизонтальная щель, вместо глаз — две дырки, небрежно выколупанные чем-то тупым. С явственным тихим стуком разлапистых подошв она брела вдоль каминной решетки, качаясь и поводя ручками...

Граф встал и с величайшим хладнокровием заступил ей дорогу, потом поднял трость и, держа ее наискосок, преградил путь кукле, словно шлагбаумом у заставы.

— Осторожнее! — вскрикнул Грюнбаум.

Правая ручка глиняной фигуры взметнулась с неожиданным проворством, послышался сухой треск — и трость графа разломилась пополам, прямо-таки брызнув щепками, ее нижняя половина упала на пол. Глиняный человечек споткнулся о нее, упал ничком — и замер, неподвижный, как деревянная колода.

— А об этом что вы скажете? — спросил Грюнбаум, в первый раз изменив своему обычному унынию. В его голосе звучало некоторое волнение. — Впечатляет?

Пушкин обнаружил, что его рука сжимает под куртку рукоять пистолета. Он смущенно разжал пальцы и увидел, как барон, крутя головой и бормоча себе под нос что-то безусловно ругательное, убирает обратно в трость длинный клинок.

— Что это? — спросил граф хладнокровно.

— Результат наших совместных с Гаррахом поисков. В свое время мы метнули жребий, и истуканчик

достался мне, чего Гаррах мне так и не простил... И, кстати, зря. Тот, кто помог нам его раздобыть, клялся всем на свете, что это и есть некая модель, пробный шар безвестного создателя Голема... да, вот именно безвестного, потому что Бен Бецалель тут вовсе ни при чем... Может быть, тот человек был прав, и это в самом деле проба сил творца настоящего Голема. Не знаю. Одно ясно: эта штука столь же бесполезна, как веселые ящерицы в огне. Уж я-то могу утверждать со всей уверенностью, она у меня восемнадцать лет...

— Но вы ж его умеете оживлять! — выпалил барон.

— Толку от этого мало, — преспокойно ответил Грюнбаум. — Всякий раз повторяется одно и то же: истуканчик приходит в движение, но способен пройти не более двух десятков шагов... после чего, если не встретит никакого препятствия, падает и вновь становится мертвее камня. А если попадется препятствие... ну, вы видели.

— Ну, а коли ему...

— Подставить ногу? — спокойно спросил Грюнбаум. — Категорически бы вам не советовал, вспоминая мою несчастную кошку... Неприятное было зрелище. Бедное животное оказалось буквально разорвано пополам.

— Я бы на вашем месте выкинул бы эту тварь в речку поглубже, — сказал барон. — Или поработал кувалдой...

— Мне кажется, мой юный друг прав, — сказал без выражения граф.

— Духу недостает, — признался Грюнбаум с ноткой стыдливой беспомощности. — Как-никак, воспоминание о десятках лет, отданных... Вот и храню в шкафу, как влюбленный бережет локон возлюбленной. Так что же, господин граф, будете утверждать, что это о б ы ч н а я глина?

— Пожалуй, не рискну...

Грюнбаум повернулся к нему резко, порывисто, так что полы шлафрока разлетелись нетопырьими крыльями:

— А теперь представьте себе настоящего Голема, рушащего все на своем пути. Уж если эта куколка в мгновение ока переломила вашу солидную дубовую трость... Или вы рассчитываете, что Гаррах ограничится тем, что поместит Голема в стеклянный шкаф и будет остаток жизни гордо демонстрировать, как особенный раритет? Это я п е р е г о р е л — а наш общий знакомый Густав Гаррах все еще полон неистребимого мальчишеского желания забавляться с любой диковинной штукой, какая только попадется...

Судя по лицу графа, он эти опасения разделял полностью.

— Я, думается, состарился, — продолжал Грюнбаум. — Поскольку в глубине души жажду одного: покоя, неизменности... А это как раз и есть характерная черта старости. Можете думать что угодно о моих побудительных мотивах, но мне, право же, по-настоящему страшно, когда я представляю этого истукана на пражских улочках...

— Кровь и гром! — воскликнул барон. — Но пушка-то его, надеюсь, остановит?

— В конце концов, — сказал граф. — А до того... Где Голем, вам, разумеется, не известно?

— Представления не имею.

— А Гаррах знает те заклинания, которыми вы только что привели истуканчика в движение?

— Конечно. Я же говорю, мы вместе этим занимались...

— И сразу возникает множество вопросов, — сказал граф так, словно размышлял вслух. — Может ли это заклинание поднять настоящего Голема? Кто бы знал... — Он решительно встал. — Благодарю вас, Грюнбаум. Сами понимаете, в свете вышеизложенного нам нужно как можно быстрее вернуться в Прагу...

Он вышел первым, не оглядываясь. Молодые люди заторопились за ним, все же не удержавшись от того, чтобы еще раз посмотреть на плавное, завораживающее скольжение клубка саламандр в невысоком пламени. Карета, запряженная парой сильных лошадей, стояла на прежнем месте. Уже почти совершенно стемнело, и кучер зажег оба фонаря.

— Возможно, я крепок задним умом, — сказал граф, когда карета тронулась, — но мне сейчас кажется, что подсознательно к чему-то подобному я был готов. Ох уж этот Гаррах...

— Вы верите насчет Голема? — спросил барон.

— Вы знаете, верю. Случались вещи и удивительнее — ну, а в Праге, учитывая историю города, удивляться не следует вообще ничему.

— Прохвост старый! — рявкнул барон. — Я про Гарраха. Каков тихоня!

— Быть может, он не заслуживает таких эпитетов, — задумчиво отозвался граф. — Все-таки он не на службе, не обязан присягой или чем-то схожим... Он, конечно, не злонамерен и никогда не стал бы извлекать личную выгоду наподобие той парочки, за которой мы с вами охотимся. Но мне порой приходит в голову, что бескорыстная жажда познания вроде той, что сжигает Гарраха, еще хуже. Очень уж он уязвлен тем, что ученый мир отвергает его «классификацию» и прочие труды. Теперь представьте, что он и в самом деле обнаружил Голема... и, мало того, сумеет его оживить. Представляете, какой великолепный случай он усмотрит, чтобы отомстить тем, кто, по его собственным словам, погряз в материализме? Лучшей наглядной демонстрации и не придумаешь.

— А последствия?

— Ученые — народ особенный, Александр, — печально сказал граф. — Им важно одно: доказать нечто. А последствия их словно бы и не волнуют абсолютно... Что с вами?

— После всего, что мы только что слышали, кое-что, думается, нужно переосмыслить, — сказал Пушкин. — Я говорю о странном поведении Гарраха. До некоего момента он никуда не спешил, не проявлял нервозности, не пытался от нас отделаться... По-моему, переломным моментом стало как раз упоминание о Руджиери. Нашем Руджиери, нынешнем. О том, что он преспокойно пребывает в Праге. Тут-то, обозревая недавние события, наш профессор и повел себя странно...

— Ага! — сказал барон. — Все совпадает! У него есть Голем... а у итальянского комедианта — фамиль-

ное умение двигать статуи. Что-то очень уж многозначительно для простого совпадения... А?

— В том, что вы говорите, есть толк, — сказал граф. — Очень уж здорово все складывается... Итальянец — малый не промах и просто так сотрудничать с незнакомым человеком не захочет... но у Гарраха наверняка найдется немало интересного для взаимовыгодного обмена — я вовсе не о деньгах... Научное честолюбие — это страшная вещь, сжигает как огонь. Гаррах, Гаррах...

— Хватать их всех надо! — предложил барон. — Потом спокойно разберемся. А что, если они эту тварь на улицу выпустят?

— Не накликайте, Алоизиус, — серьезно сказал граф, печально глядя на обломок трости с серебряным набалдашником. — Мне и думать не хочется о последствиях. Уж если глиняная кукла величиной с кошку может во мгновение ока сломать дубовую трость, как спичку...

— Хватать надо!

— Успокойтесь, — сказал граф. — Я немедленно разошлю сыщиков, как только мы приедем в Прагу. А пока что остается ждать. Наша карета все равно не может ехать быстрее, чем она сейчас едет...

— Знаете, что меня угнетает? — спросил барон. — Этот сукин кот мог сразу же кинуться к итальянцу, как только мы ушли. Адрес он от нас же узнал...

Он замолчал, досадливо стискивая свою трость с таившимся внутри клинком. Кони шли чуть ли не галопом в ночном мраке.

Глава шестая

БЕШЕНАЯ КАРЕТА

— Недомудрил ваш профессор, — сказал барон.

— Простите?

— Мне вот только что пришло в голову... Нет у него ничего насчет стихий. Все на свете поделил на четыре части, всему нашел место, а вот насчет магического управления стихиями не подумал.

— Действительно... — сказал граф. — Но, может быть, он их поместил в демономантике? Управление стихиями, как правило, бывает получено от демонов...

— Как сказать. Был у нас в глухой провинции один деревенский умелец, так тот как раз управлял ветрами, градом и прочими атмосферическими явлениями. Так вот, это у него было наследственное — от дедов-прадедов. И никаких демонов там вроде бы не было и в помине. Пастор Швабе совершенно точно высказывался. Мол, не усматривает он тут никакой нечистой силы, и точка. — Барон шумно вздохнул. — Мы, конечно, этого умельца определили на казенные харчи — не за нечистую силу, за то, что он начал пакостить ради заработка. Наймет его кто-нибудь, чтобы у старинного врага что-нибудь этакое приключилось — урожай градом побило, или паводком мост снесло, или мельницу повредило — а тот и рад ста-

раться... — Он помолчал, а потом воззвал едва ли не жалобно: — Господа, вы образованнее меня, объясните неотесанному гусару, отчего так получается: за что ни возьмись, все человек ухитряется обратить в свою пользу ради извлечения заработка! Вплоть до магии и умения насылать градобитие. Ну почему так постоянно оборачивается?

— Потому что такова уж человеческая натура, — подумав, ответил Пушкин.

— Насчет природы я и сам знаю. Но отчего же все-таки она такая? Хочется иногда, чтобы люди были самую малость порядочнее...

Граф ухмыльнулся:

— Но ведь, если человечество поголовно станет добропорядочным и совершенным, чего доброго, прекратятся и войны? И куда вы тогда денетесь, любезный Алоизиус?

— Придумаете тоже! — сказал барон сердито. — Война — совсем другое дело. За короля, за отечество и все такое... Я скачу с саблей наголо, он, супостат, на меня летит с саблей наголо... и ведь не ради денег, да и ордена одному из сотни достаются! Нет уж, не надо, чтобы человечество становилось настолько добропорядочным. Каково оно будет без гусар? Подумать жутко, если...

Карета внезапно замедлила ход, а там и остановилась вовсе. Кони попятились, храпя и разбрызгивая пену. Впереди обозначилось что-то большое, загоревшееся дорогу.

Они высунулись в окна. В слабом, трепещущем свете правого каретного фонаря Пушкин рассмотрел

низкую телегу, погрязшую задним колесом в придорожной канаве, свалившиеся с нее бочки, растерянно топтавшегося рядом человека, судя по движениям, изрядно хлебнувшего горячительного. В первый миг он испытал едва ли не умиление — оттого, что и в этой чистенькой, ухоженной, насквозь благопристойной стране, ужасно похожей на кукольный домик, обнаружилась совершенно российская картинка с пьяным возницей.

Кучер разразился яростной тирадой, не слезая с козел. Пушкин не все разобрал, но по тону нетрудно было догадаться о смысле. Виновник затора что-то промямлил, опять-таки совершенно по-русски почесывая затылок, словно надеясь, что все как-то наладится само собой.

— Бочки, слава богу, пустые, — сказал граф. — Пойдемте, откатим с дороги, иначе придется торчать тут всю ночь, этот болван себя не помнит...

Он вылез первым, за ним — остальные. Кучер, ворча, стал спускаться с козел спиной вперед.

Послышался короткий резкий свист, и со всех сторон на них кинулись черные тени, показавшиеся в первый миг очередной разновидностью нечистой силы из разряда той, что пугает на больших дорогах припозднившихся путников, — но тут же Пушкин почувствовал вполне осязаемую, реальную хватку, нападавшие в два счета выкрутили ему руки за спину и проворно принялись обшаривать. Рядом сдавленно чертыхался барон, тоже схваченный несколькими парами рук так, что всякое сопротивление было бесполезно. Луна уже вошла, и удалось рассмотреть,

что нападавшие все поголовно щеголяли в черных масках. «Ах, так это разбойники, — подумал Пушкин. — Кто бы мог ожидать в здешних местах...»

Слышно было, как кто-то возится в карете. Другой подсвечивал ему фонарем. Сквозь зубы ругался кучер, угодивший в тот же переплет, — странно, что разбойнички и его старательно обыскивали, словно принимали за переодетого богача. Кучеров, слуг и прочих лакеев при подобных нападениях обычно не трогают...

Тем временем еще несколько человек, помогая друг другу азартными выкриками, в два счета вытолкнули из канавы телегу, вмиг протрезвевший возница, прыгнув на облучок, от души проехался кнутом по спине лошади и что-то заорал, отчего она припустила едва ли не галопом и моментально пропала в темноте.

Где-то рядом слышалось похрапывание лошадей и перестук копыт — насколько удалось определить, их там было немало. «Странные разбойники, — подумал Пушкин, уже не пытаясь вырваться. — Выходят на большую дорогу едва ли не эскадроном, их тут не менее дюжины...»

Рядом тихо заговорили на незнакомом языке. В голосах слышалось явственное недовольство и, пожалуй что, разочарование. Потом чей-то уверенный голос уже по-французски заявил:

— Потрудитесь, господа, какое-то время оставаться на месте. У нас достаточно пистолетов...

Кто-то вновь свистнул, в бледном лунном свете появились замаскированные люди, каждый вел в по-

воду несколько лошадей. Разбойники проворно попрыгали в седла, остались двое, они медленно отступали, держа стоящих у кареты под прицелом пистолетов. Но вот и они вскочили на коней — и вся орава галопом припустила прочь.

Всего несколько мгновений — и конный отряд исчез в направлении, противоположном тому, откуда ехала карета. Стоявший в распахнутом сюртуке Пушкин, к своему превеликому удивлению, обнаружил, что его пистолеты находятся на прежнем месте. Проверив карманы, он убедился, что и часы, и кошелек, и галстучная булавка остались в полной неприкосновенности. Рядом удивленно охнул барон:

— Господа, вы не поверите, но ничегошеньки не пропало! Табакерка... ага, и табакерка цела. Ничего не взяли!

— В самом деле, — спокойно сказал граф Тарловски, приводя в порядок одежду. — То же могу сказать и о себе... Эти странные разбойники ничего не взяли... следовательно, это и не разбойники вовсе.

— Но что-то же они искали?

— И весьма старательно. В наших карманах, в карете... Давайте-ка побыстрее отсюда убираться, господа. Я предпочел бы обыкновенных разбойников — те, по крайней мере, просты и понятны. А эти... Напасть в немалом количестве, устроив предварительно мастерскую засаду — и ничего не взять... Та к и е мне чрезвычайно не нравятся.

— Может, они нас с кем-то перепутали?

— Кто знает, Алоизиус, кто знает... — задумчиво сказал барон. — Рудольф, у тебя все на месте?

— До последнего гроша, господин граф, — откликнулся кучер. — Хотя обшарили с головы до ног. Точно вам говорю, они именно нас ждали — дорога проселочная, ночью тут редко кто ездит..

— Поехали, — твердо сказал граф. — Не стоит ломать голову, мы все равно не можем сейчас доискаться до разгадки...

На ходу приводя себя в порядок, они сели в карету, и кучер без приказания хлестнул лошадей, взявших с места крупной рысью. Все еще возмущенно фыркая, барон сказал:

— Вообще-то на белом свете случаются вещи еще удивительнее. В нашем округе обитал лет двадцать назад барон фон Райзенштайн, который понемножку подвигался рассудком, пока не съехал со здорового ума окончательно. Надо вам знать, что его далекие предки допускали на больших дорогах разные... шалости. На этом пункте наш барон и подвинулся. Стал в лунные ночи останавливать прохожих и проезжих на той самой дороге, где его предки тешились удалю молодецкою в старину. Но пунктик-то был в том, что барон не только никого не грабил, а, наоборот, давал остановленному несколько золотых и отпускал восвояси с наилучшими пожеланиями.

— Оригинально, — сказал граф. — И чем все кончилось?

— Ну, сами понимаете: моментально развелось столько желающих пройти или проехать ночью по той дороге, что там в лунные ночи стало оживленнее, чем в белый день на воскресной ярмарке. Только барон спустить все состояние не успел: обеспоко-

енные наследники вмешались, кинулись ходатайствовать перед властями, барона со всей возможной деликатностью упрятали в смиренный дом... А вот еще был случай...

Снаружи что-то произошло: послышался отчаянный вскрик кучера, то ли от удивления, то ли от боли, почти сразу же на козлах гроыхнул пистолетный выстрел, за ним второй. Лошади отчаянно заржали — и карета понеслась со скоростью вихря.

Вслед за тем раздался вовсе уж панический вопль, что-то большое промелькнуло в лунном свете мимо окна кареты, с глухим стуком грянулось оземь, и лошади с диким ржанием сорвались в бешеный галоп. Карету раскачивало, швыряло, мотало, как попавшую в бурю лодку, всех троих бросало от стены к стене, друг на друга...

Экипаж трещал, казалось, он вот-вот развалится, лошади неслись, не разбирая дороги, карету швыряло на ухабах и колдобинах. За окнами дико накренился, принимал самые неожиданные положения залитый лунным светом окрестный ландшафт, на какой-то жуткий миг показалось даже, что карета мчит, повернутая колесами к небу...

Они уже понимали, что на козлах больше нет кучера, что это его тело упало на обочину — но от растерянности не могли ничего предпринять, отчаянно цепляясь за сиденья. Обе дверцы давно распахнулись, хлопая с громким стуком, как калитка под сильным ветром. Раздался ужасающий треск — это правую дверцу снесло начисто о толстый ствол какого-то дерева, в опасной близости от которого пронеслась ка-

рета. Пушкин что было сил ухватил за воротник барона, которого едва не выбросило в образовавшийся проем, втащил назад.

Цепляясь левой рукой за прикрепленный к стенке широкий ремень, граф высунулся наружу до половины, протянул руку в сторону лошадей. Гроыхнуло, внутренность кареты осветила вспышка пистолетного выстрела — Тарловски стрелял по лошадям, мчавшим карету по лесу, меж редких вековых деревьев. Кажется, пуля не достигла цели.

— Пистолеты! — прокричал граф, наугад протягивая за спину руку.

Кое-как пробравшись к оторванной дверце, Пушкин сунул ему в руку один из своих «кухенрейтеров». Выстрел. Снова, очень похоже, промах. Пистолет полетел на пол кареты. Второй выстрел. И снова промах — стрелять графу приходилось из неудобнейшей позиции, ежесекундно теряя равновесие.

Лошади неслись куда-то, время от времени издавая отчаянное, испуганное ржанье. Застонав от безнадежности, граф нечеловеческим усилием забросил тело назад, в карету — он едва не вылетел на очередном ухабе, обе ноги на несколько секунд повисли над землей.

— Смотрите! — вскрикнул Пушкин, указывая рукой.

Карета неслась по обширной прогалине, на фоне звездного неба четко обрисовались несколько крылатых силуэтов, вереницей пронесшихся справа налево — и лошади заржали еще пронзительнее, так, что это уже напоминало человеческий крик. Трещало

дерево — но добротной сделанная карета каким-то чудом уцелела до сих пор в этой бешеной скачке, и колеса не сорвало с осей...

— Дорогу гусарам! — рявкнул внезапно барон.

Он бросился к проему, зажав трость в зубах за верхнюю треть, уцепился за стенки кареты, извернулся, сделал попытку забросить ногу на козлы. Сорвался, повис в нелепой позе, носки его башмаков чиркнули по земле, взметнув ворох слежавшихся листьев. Заорал:

— Помогите! Да не назад тащите, подпихните вперед!

Чувствуя себя горошинами в детской погремушке, оба его спутника пробрались к проему, принарамливаясь к толчкам и ежеминутно менявшей положение карете, подхватили барона, уже уцепившегося за крышу, сильно подтолкнули.

Сверху послышался ликующий вопль — барон взметнулся-таки на козлы. Закричал:

— Пошли вон, твари поганые! Вот я вас!

Золингеновский клинок сверкнул в лунном свете безукоризненной полировкой. Раздался глухой деревянный стук.

— Ага, не нравится! — торжествующе завопил барон. — Пошли вон, вороны чертовы! Убирайтесь в ад, откуда пришли!

Вслед за тем удары посыпались с невероятной быстротой, сталь молотила по дереву, неслись лошади, увлекая за собой отчаянно скрипящую карету, вот-вот готовую перевернуться. В переднее окошечко они видели, как барон, одной рукой цепляясь за козлы, оже-

сточенно наносит рубящие удары клинком — ага, пытается перерубить постромки, для чего его шпага приспособлена плохо... Время от времени он выпрямлялся, отмахивался шпагой от круживших вокруг крылатых силуэтов — и порой снова слышался глухой стук, как от соприкосновения двух твердых предметов...

Внезапно все словно бы остановилось на полном скаку.

Оказалось, что это лошади, освободившись от экипажа, уносятся галопом вперед уже самостоятельно, по-прежнему испуская отчаянное ржание, крайне похожее на человеческий призыв о помощи, а карета, вихляя, кренясь в разные стороны, подпрыгивая и качаясь, явственно замедляет скорость. Треск справа, удар — карету подбросило в воздух, швырнуло оземь, что-то затрещало внизу, и она рухнула на левую сторону, ее потащило по земле в этом положении, словно легкую коробку, которой дал пинка от всей души пьяный мастеровой...

И в конце концов она остановилась, по-прежнему лежа на боку. Прошло какое-то время, прежде чем ошарашенные люди смогли прийти в себя. Граф, оказавшийся ближе к проему, зиявшему над головой, словно люк погреба, ухватился обеими руками за края, подтянулся и выбрался наружу. Помог вылезти Пушкину, и они, цепляясь за крышу и козлы, сползли на землю. Встали на подкашивавшихся ногах, все еще во власти пережитого ужаса.

— Алоизиус! — закричал граф, озираясь.

Что-то зашевелилось неподалеку, поднялось на ноги — барон, невероятно грязный, перепачканный

в земле и палых листьях, брел к ним, все еще зажав в руке клинок. Отсалютовал им на кавалерийский манер и с размаху воткнул в землю, сказал прерывающимся голосом:

— Кажется, я успел в самую пору. Вы только посмотрите...

Они огляделись. Буквально перед ними, в каком-то десятке шагов, круто уходил вниз высокий обрыв. Там, внизу, безмятежно поблескивала в лунном свете узенькая спокойная речушка, простиралась обширная долина, с видневшимися у самого горизонта огоньками какой-то деревушки. У реки виднелась непонятная темная масса, словно бы слабо шевелившаяся, — это несчастные животные, рухнув с обрыва и, несомненно, поломав ноги, доживали последние минуты. Послышалось слабое, жалобное, затухавшее ржанье. Людей поневоле прошибла крупная дрожь — каждый живо представил себе, какая судьба ждала бы их, окажись они в рухнувшей с нешуточной высоты карете. Даже если и повезло бы остаться в живых покалеченными, никто не пришел бы на помощь — местность совершенно безлюдная, ближайшее селение далеко, там никто ничего не услышал бы...

— У, вороны! — выкрикнул барон, грозя кулаком небу.

Они задрали головы. Высоко — казалось, у самых звезд — над темными кронами окружающего редколесья в последний раз показались крылатые силуэты, вереницей удалявшиеся в неизвестном направлении: определить стороны света в данную минуту не пред-

ставлялось возможным. Где-то далеко затих явственно доносившийся шум рассекаемого воздуха.

— Я зацепил парочку, а то и трех, — возбужденно затараторил барон. — И рубил, и колол... Только никакого из этого не было толку, будто по железу лупил... Или — по дереву... — Он замолк и вдруг выкрикнул: — Кончено же, по дереву! То-то башка у нее выглядела как-то странно, не птичья даже, а змеиная... Вам это ничего не напоминает? Точно?

— Подождите, подождите... — сказал граф растерянно. — Ну как же! Те самые птички, что стояли в мастерской нашего знакомого Руджиери!

— Вот-вот! Обычную птицу я бы располовинил запросто, я ведь по ней угодил как следует! А эти были такие твердые, что клинок едва пополам не разлетелся...

— Неплохо было придумано, — сказал Пушкин, все еще ощущая дрожь в голосе и во всем теле. — Они, никаких сомнений, умышленно погнали упряжку к обрыву, мы расшиблись бы в лепешку...

— Да, несомненно, — сказал граф, тоже не способный сейчас похвастать ледяным спокойствием. — Если бы не самоотверженность барона — лежать бы нам сейчас там, внизу. Надо признать, господин кукольник ответил на наш к нему визит быстро, изобретательно и достаточно остроумно...

— Гр-рабастаем! — рявкнул барон.

— Алоизиус, вы отважный человек, но в данном случае поступаете необдуманно, — сказал граф. — Он иностранный подданный, не забывайте. Что мы скажем тосканскому посланнику? Что означенный синь-

ор едва не убил нас, напустив деревянных птиц, а до того в компании такого же проходимца устроил несколько убийств с помощью бронзовых статуэток и, кажется, марионеток? Что он о нас будет думать, и как мы будем выглядеть?

— Не пойму я вас, граф, — угрюмо сказал барон. — Прикажете его отпустить восвояси и еще бисквитов дать в дорогу?

— Ну что вы... — усмехнулся граф. — Я вам просто пытаюсь объяснить, и не в первый раз, что нам приходится соблюдать невероятную деликатность... и не только тогда, когда мы имеем дело с подданными иностранных государств. Мы обязаны его поймать, как говорится, на горячем, при условиях, которые не допускали бы двусмысленных толкований...

— Интересно, как вы это себе представляете? — огрызнулся барон. — Полагаете, он будет торчать на месте убийства? Да на кой ему это? Если он посылает своих кукол, а сам остается в безопасном отдалении? Мы у себя в Пруссии к иностранным подданным относимся без всякого такого священного трепета — если заслужил, голубчик, изволь пожаловать за решетку, как миленький...

— Мы не в Пруссии, любезный барон, — сказал граф словно бы с тенью сожаления. — Здесь, на землях Австрийского дома, приходится, увы, соблюдать определенные правила... смотрите!

Они повернулись в ту сторону, куда указывал граф. Там, меж редко стоящими вековыми деревьями, явно различимые в лунном свете, тесной кучкой стояли всадники — кажется, все до одного в черных

масках. Замерев, словно конные статуи, они разглядывали трех человек, все еще остававшихся поблизости от перевернутой кареты. Оружия у них в руках не было.

Первым опомнился барон. Он ухватил свой клинок, взмахнул им, сделав пару шагов в ту сторону, закричал с лихим вызовом:

— Эй вы, там, разбойнички придурошные! Если среди вас, сброда этакого, найдется хоть один благородный, пусть выходит на честный бой с королевским прусским гусаром! Или вы только скопом храбрые, морды помойными тряпками завязавши?

— Алоизиус, я бы вам не советовал дергать тигра за усы, — уже с прежним хладнокровием произнес граф. — Их человек пятнадцать, а у нас на троих — один-единственный клинок, все пистолеты разряжены и валяются неизвестно где...

— А мне начхать! — строптиво ответил барон. — Скольких успею, столькох продырявлю к чертовой матери! Эй вы, бессмысленные! Выходи на честный бой, рвань придорожная!

Всадники оставались безмолвными и неподвижными. Потом, словно подчинившись некоему приказу, почти одновременно повертели коней и скрылись за деревьями.

— Придурки какие-то, — сказал барон, воинственно помахивая клинком. — Может, они и впрямь вроде фон Райзенштайна?

— Сомневаюсь, чтобы одновременно полтора десятка человек стали одержимы одинаковым сумасшествием, — сказал граф. — Ясно уже, что это не раз-

бойники... но у них была какая-то цель, которой мы не знаем...

— Как бы там ни было, плохо верится, что это они напустили на нас чертовых птичек, — сказал Пушкин. — Будь это их рук дело, они не преминули бы закончить дело... а впрочем, им ничто не мешало с нами разделаться еще раньше, когда мы были полностью в их власти...

— Резонно, Александр, — сказал барон. — А мне вот что еще пришло в голову... Что-то у меня от таких приключений голова работает особенно умно и проницательно... Вот что! Сдается мне, чертов итальянец своих птичек вовсе не для нас персонально мастерил. Ну кто мог знать заранее, что мы поедем в карете к этому самому раскаявшемуся магу с саламандрами в камине?

— Логично, — кивнул граф. — Однако... Подобная птичка может и в городе обрушиться человеку на голову, когда он идет по улице ночной порой.

— Все равно. Когда мы к нему пришли, у него уже стояла целая куча свежевystруганных птичек. Конечно, он мог некоей заковыристой магией заранее проведать, что мы стремимся по его следу... А если нет? Если они и в Праге какой-то за к а з и к получили?

— Хотелось бы верить, что вы ошибаетесь, Алоизиус, — после недолгого молчания сказал граф. — Потому что, если это так, воспрепятствовать мы не в состоянии, не зная заранее, кто будет следующей жертвой...

— Да ну? — строптиво возразил барон. — Не можем, говорите? Иностраннный подданный, говорите?

А не хотите гениальную мысль? Я завтра же утречком пойду к нему на квартиру, вооружившись топором, порублю всех его птичек в мелкую щепу, вежливо раскланяюсь и уйду. И не будет никаких дипломатических инцидентов. Просто-напросто господин прусский гусар, напившись в соседнем кабаке до полного изумления, ввалился к кукольнику и, будучи в помрачении ума от выпитого, разнес его столярную мастерскую вдребезги... Это уже получается совсем другой коленкор, а? Набуянил спьяну гусар, бывает... Гусары и не такое отчебучивали. Пусть тащат к судье или в магистрат. Покаюсь во всем, скажу: «Извините, спьяну...», заплачу пару дукатов в возмещение убытков... Да и то в том только случае, если наш синьор побежит жаловаться к судье. А если нет?

— Алоизиус, друг мой, — серьезно сказал граф. — Положительно, это печальное приключение и в самом деле несказанно обострило ваш ум.

— Смейтесь, смейтесь... Я, между прочим, серьезно.

— Я тоже абсолютно серьезен, — заверил граф. — Алоизиус, я и не думал над вами смеяться. Потому что идея ваша и в самом деле отличная. Будем бить противника его же оружием. Мы не можем сказать правду — но ведь и он не может! Что он скажет судье? «Этот господин из тайного департамента, преследующего по всей Европе колдунов и магов, порубил в щепки моих деревянных птиц, которых я собирался вновь оживить и послать следующей ночью убить кое-кого». Любой судья кликнет докторов и отправит его в смиренный дом... Так что буяньте

вволю! Честное слово, я сам готов вам сопутствовать, невзирая на ущерб для репутации...

— Ладно, я и один справлюсь, — сказал барон воодушевленно. — Вы — человек солидный, в немалом чиновничьем звании, пусть уж лучше все выглядит так, словно ветреный гусар в одиночку учинил очередное непотребство. Давненько уж Прага не видывала разгульных прусских гусар... Черт побери, но где мы есть, в конце-то концов?

— Спросите что-нибудь полегче, — сказал граф. — Где-то на значительном отдалении от дороги, вот и все, что можно сейчас сказать. Самым разумным будет поискать эту дорогу. Пойдемте по следам копыт и колес, а заодно будем высматривать и беднягу Рудольфа, может быть, ему удастся еще помочь. Хотя он так грянулся с высоты козел. Только, я вас умоляю, поглядывайте вверх. Если эти чертовы птички вернутся, нам придется туго.

Они двинулись от обрыва, внимательно приглядываясь к видневшимся на земле отпечаткам конских копыт и следам колес, не забывая время от времени бдительно задирать голову к небу. Безмятежно светила луна.

Глава седьмая

БУМАГИ ИЗ ПРОШЛОГО

Обширная кухня сверкала безукоризненной чистотой — оловянная, медная и железная посуда начищена до зеркального блеска, на дереве, сколько ни приглядывайся, не увидишь и одной-единственной пылинки, а салфетки и полотенца так чисты, словно после ткачей к ним не прикасалась человеческая рука.

Под стать своей кухне были и хозяева — седенький старичок и седенькая старушка, чем-то неуловимо похожие друг на друга, как случается с супружескими парами, прожившими вместе целую жизнь. Вид у них был кроткий и озабоченный, что плохо вязалось как с их обликом, так и содержавшейся в идеальном порядке кухне.

— Мы, право же, начинаем всерьез беспокоиться, добрый господин, — сказал старичок, чем-то напominвший Пушкину заблудившегося в глухом лесу ребенка. — Тот, кто принимает постояльцев, должен быть готов к самым неприятным сюрпризам, но это все как-то не укладывается в обычную квартиру... У нас был квартирант, который от неумеренного пьянства помрачился в рассудке и преследовал чертей, хоронившихся от него в шкафах и под кроватями... Был драгунский капитан, который не в дверь

входил, как все нормальные люди, а лазал в свою квартиру по водосточной трубе, через окно. А еще один... в общем, за тридцать с лишним лет всякого насмотришься. Но раньше, как бы вам объяснить, все было привычно...

— А теперь? — спросил Пушкин терпеливо.

Один из сыщиков графа Тарловски, смиренхонько поместившийся в углу, помня наставления, не вмешивался ни словом, ни делом, сидел, утвердив трость меж колен и сложив ладони на большом литом набалдашнике.

— Как-то это не похоже на обычные человеческие выкрутасы и проказы, — сказал старичок, тщательно подыскивая слова. — Понятно еще, когда он ночью топчет и плачет — мало ли что с человеком случается, всякое может быть настроение. Если это не производит особенных неприятностей, пусть себе, в особенности если постоялец платит аккуратно и вперед...

— Вчера он сам с собой разговаривал. Но на два голоса, — сказала старушка тихим голосом, крайне похожим на голос мужа. — Два разных голоса, совершенно разных, а ведь никого другого там быть не могло — я как раз убирала в комнатах накануне его прихода, а окна после драгунского капитана забиты наглухо, их так просто не откроешь, никто не мог к нему по водосточной трубе взобраться... Знали бы вы, как это было жутко: явственно слышны два голоса, ведущие вполне связную беседу...

— О чем?

— Я не знаю этого языка, мой господин, — сказала старушка кротно. — Совершенно он мне незнаком — но каждое слово долетало четко...

Она потупилась, и Пушкин заподозрил, что старушонка оттого так хорошо слышала разговор, что, одержимая любопытством — порок, свойственный очень многим, — старательно прижималась ухом к замочной скважине. Что преступлением, безусловно, не являлось ни в одной европейской державе, да, пожалуй что, и в Османской империи тоже, и в прочих странах мира...

Он сказал с улыбкой:

— Может быть, ваш постоялец — попросту чревоушитель, за деньги демонстрирующий свое искусство перед публикой? И попросту оттачивал мастерство?

— Простите, добрый господин, он не похож на человека, которому приходится за деньги выступать перед публикой, — с неожиданной твердостью возразила старушка. — И по одежде, и по вещам, и по поведению — господин из знатных. Уж такое-то чувствуется безошибочно, я немало знатных господ повидала...

— Разговор на два голоса — это еще цветочки, — вмешался старичок. — По ночам случаются звуки и вовсе уж нелюдские, такие, что у меня слов не найдется их описать, даже если заставите. Слушать жутко... Даже на нашей собственной половине покоя нет. Тени шмыгают, клубки мохнатые, огоньки на лестнице вспыхивают какие-то диковинные, каких и быть не должно вовсе, а однажды, поверите вы или

нет, вон тот кот голову повернул и прямо в глаза мне уставился, так что жуть взяла, и мурашки по спине побежали... Я уж и сказать боюсь, что думаю...

— Я бы на вашем месте, Мориц, так и назвала вещи собственными именами, — с той самой твердостью, давно в ней подмеченной, произнесла старушка. — Вы, конечно, мой господин, можете меня считать из ума выжившей старой дурой, ваше право, вы, молодые, ни во что такое не верите... Только я вам выскажу все, как есть: что хотите со мной делайте, а этот наш постоялец знается с нечистой силой, верно вам говорю. Это сейчас, с этим вашим прогрессом, такие вещи происходят очень редко и по глухим углам, а когда я была молодая, люди к ним относились серьезно, никто не поднял бы на смех...

— Помилуйте, добрая фрау, я и не собираюсь вас вышучивать, — сказал Пушкин, тщательно выговаривая немецкие слова. — К тому, что вы говорите, я отношусь очень серьезно. Вы же видите, полиция от вас не отмахнулась, а проявила самое живейшее участие...

— И слава богу, — чуть сварливо сказала старушка. — Нашлись здравомыслящие люди. Если вас интересует мнение старой женщины, я бы рискнула предположить, что этот молодчик здорово перед кем-то провинился... вы понимаете, о ком я? И его теперь преследуют, требуя, как водится, выполнить некие обязательства... Отсюда и огни, и звуки, и кот головой ворочает...

Повернув голову, Пушкин обозрел помянутого кота, восседавшего на полке из темного дерева меж

расписными фарфоровыми тарелками веджвудской мануфактуры с нежно-синими китайскими пейзажами. Кот величиной не уступал настоящему, но был опять-таки фарфоровым, белым, расписанным золотым и зеленым. Сейчас он вел себя, как и полагалось добропорядочному фарфоровому коту: застыл в совершеннейшей неподвижности, не проявляя поползновений оживать.

— Слышали, должно быть, мой господин, про неосмотрительных людей, не что пообещавших тому, с кем никаких дел иметь не следует? — продолжала старушка. — А ведь тот, про кого я говорю, шутник изрядный и договор требует соблюдать в точности. Даст человеку пожить в свое удовольствие и попользоваться всеми житейскими благами, из договора вытекающими, а потом нагрянет в одночасье и требует своего, и никуда не денешься... Постоялец наш уже третий день из дома не выходит, еду возвращает почти нетронутой, а вчера посылал Марту, нашу служанку, в церковь за святой водой, крестиками, четками и прочим, что, как он выразился, там только наберется. Дал ей целых три дуката и велел тратить, не стесняясь. Только помогло это ему мало, вчера всю ночь не только по лестнице шмыгало, но и на чердаке царапалось, и в водосточных трубах пошвистывало, а в его окна, я отчетливо слышала, что-то скреблось и колотилось чуть ли не до рассвета... Одним словом, делайте что хотите, но уберите из нашего дома этого господина, я готова не только вернуть ему те деньги, что причитаются за досрочное расторжение найма, но все до грошика отдать, что от

него получила. С т а к и м и деньгами иногда бог весть что происходит, хорошо еще, если просто угольками оборачиваются... Коли уж вы производите впечатление человека, мало похожего на нынешнюю скептическую и ни во что не верящую молодежь, быть может, прислушаетесь к моим словам?

— Разумеется, любезная фрау, — сказал Пушкин. — Я сейчас же к нему поднимусь, с вашего позволения...

Он поклонился и вышел в прихожую, куда за ним следом тут же с неожиданным проворством прошмыгнул сыщик. Спросил нетерпеливо:

— Это тот, которого вы ищете?

— Трудно сказать, не видя воочию, — ответил Пушкин. — Описание вроде бы совпадает... Паспорт у него, говорите, прусский?

— Вот именно. Прусский подданный Генрих Майер, чиновник. Паспорт выписан в Пруссии, в Гогенау...

И бровью не поведя при упоминании этого города, Пушкин привычным движением расстегнул две пуговицы куртки, чтобы легче было при нужде достать пистолеты, посмотрел вверх, на крутую лестницу из темного дерева. Решительно сказал:

— Я пойду один. Черного хода из его квартиры нет, так что улизнуть ему некуда. Ждите здесь со своими людьми.

Сыщик смотрел на него, определенно испытывая внутренние колебания. В п о т а е н н у ю сторону дела он был не посвящен, но именно поэтому, должно быть, испытывал непреодолимую потребность

действовать — случается такое с людьми, вовлеченными в непонятную им игру.

Он спросил неуверенно:

— Может, не идти вам одному?

— Вы верите в нечистую силу, любезный? — усмехнулся Пушкин.

— Как вам сказать... Когда достаточно долго живешь на свете, привыкаешь ни от чего не отмахиваться, каким бы необычным ни казалось. И Прага, знаете ли, весьма своеобразный город...

— Вы мне нравитесь, — сказал Пушкин без улыбки. — Вы ухитрились ничего не сказать — и в то же время сказать слишком много. Похвальное качество, что до меня, я склонен ценить его в людях... Успокойтесь. Сейчас полдень, и мы с вами в сердце большого города, а не на каком-то зачатом кладбище, где и в самом деле может произойти все, что угодно. Если понадобится, я вас позову. Посмотрим, как там обстоит с постояльцем...

Он ободряюще кивнул сыщику и стал неторопливо подниматься по узкой крутой лестнице. Ненадолго остановился у бронзовой фигуры кота вышиной с локоть, восседавшей на перилах в том месте, где лестница делала поворот — бронза, хотя и исправно начищенная, выглядела очень старой, чеканка заметно стерлась, сгладилась от многолетнего старательного ухода. Неизвестно, что было на уме у строившего этот дом архитектора и какие у него были пристрастия, но Пушкин ничуть не удивился бы, окажись, что давным-давно ушедший из жизни зодчий обожал кошек, подобно кардиналу Ришелье:

бронзовый кот на лестнице, лепное изображение кошачьей головы над входом, дверные ручки в виде кошачьих голов с кольцами в зубах, даже литые перила напоминают кошачьи лапки...

Оказавшись перед высокой массивной дверью — где в резном узоре опять-таки без малейших натяжек усматривались кошачьи головы, — он постучал решительно и громко. Не дождавшись какого бы то ни было результата, бесцеремонно забарабанил кулаком, словно прибывший на почтовую станцию нетерпеливый путник.

За дверью послышался лязг засова, она дрогнула, приоткрылась наружу буквально на ладонь, показалось бледное человеческое лицо — а в следующий миг Пушкин рванул на себя зажатое в кошачьих зубах широкое кольцо, распахнул дверь почти во всю ширь и, оттолкнув не успевшего ничего предпринять человека, вошел, прямо-таки ворвался в небольшую прихожую, конечно же сиявшую безукоризненной чистотой.

Убрав от пистолета руку, довольно неприязненно посмотрел на отпрянувшего к стене человека, совершенно одетого, только без сюртука и галстука, сказал холодно:

— Здравствуйте, любезный господин Ключарев... или, надо полагать, прусский подданный Генрих Майер из ничем особенно не примечательного города Гогенау? Не соблаговолите ли объяснить, с каких это пор вы заделались прусским подданным, будучи в то же время подданным российским?

Стоя посреди прихожей, он без всякой приязни

смотрел на человека, обуреваемого самыми разнообразными чувствами — растрепанного, со всеми признаками долгой бессонницы на лице, такого бледного, словно он, подражая светским дамам, пил уксус чайными стаканами. Погоня, по крайней мере, была окончена — перед ним стоял доподлинный Ключарев, как бы он себя ни именовал здесь и какими бы фальшивыми паспортами с подорожными ни запасся.

— Быть не может, — воскликнул Ключарев исто-во. — Александр Сергеевич, вы ли это? Вы и не представляете, как я рад увидеть знакомое лицо...

— С какого же перепугу? — резко спросил Пушкин. Тот растерянно моргнул:

— Простите?

— Я не возьму в толк, господин Ключарев, отчего лицезрение моей скромной персоны доставляет вам столь явное удовольствие, — с нескрываемым сарказмом сказал Пушкин, озираясь. — Это несколько не сочетается с той неприязнью, которую вы ко мне и моему спутнику проявили в Петербурге, когда мы явились поговорить с вами от лица службы. Не притворяйтесь, будто вы не понимаете, о чем я. Вы держались с откровенной враждебностью... а потом изволили пуститься в бега. Сейчас же вы смотрите на меня с таким радушием, словно я пришел вернуть вам карточный проигрыш тысяч эдак на полсотни серебром... Не объясните ли суть сих странных метаморфоз вашей прихотливой натуры?

— Господи, Александр Сергеевич! Какие счета могут быть меж русскими людьми, которых судьба свела на чужбине...

— Вы именуете это судьбой?

— А как же еще прикажете?

— Я, с вашего позволения, наименовал бы это иначе, — твердо сказал Пушкин. — Не судьбой, а целеустремленными усилиями, предпринятыми для вашего отыскания. Оставьте эту комедию, дражайший Степан Николаевич. Вы прекрасно знаете суть дела: Третье отделение, точнее его Особая экспедиция, разыскивала вас по подозрению в совершении известных преступлений. Поиски увенчались успехом. И к вам, уж не посетуйте, появилось множество вопросов. Я не имею в виду пустяки вроде паспорта на имя прусского подданного, наверняка фальшивого, а если нет, каким-то образом раздобытого у пруссака, который сейчас, быть может, вовсе и не подозревает, что раздвоился... В конце концов, это забота прусской и австрийской полиции. Обычной полиции. Я, как вы прекрасно осведомлены, представляю сейчас не самый обычный департамент...

— Александр Сергеевич... — прямо-таки всхлипнул Ключарев.

Ошибка не исключалась, но Пушкин не мог отделаться от впечатления, что видит перед собой лицо человека, доведенного до последней крайности, из которого можно вить веревки. Усмехнувшись про себя и сохраняя на лице полнейшую серьезность, он сказал с расстановкой:

— А впрочем, вы правы: как умилительно встретиться на чужбине с земляком-петербуржцем... К превеликому моему сожалению, нет у меня времени предаваться сердечным беседам, перебирать об-

щих знакомых, перебивать им косточки, делиться новостями... Знаете, что сейчас может оказаться для вас самым страшным? Я просто-напросто повернусь к вам спиной и, не особенно церемонясь с прочувствованными прощаниями, удалюсь навсегда. Собственно, с чего вы решили, что особенно мне интересно? В конце концов, существует еще прекрасно вам знакомый синьор Руджиери, который... — он извлек часы, шелкнул крышкой и бросил беглый взгляд на циферблат, — который, вполне возможно, уже пребывает в лапах здешней о с о б о й полиции... и, чуя мое сердце, говорить начнет с превеликой охотой и откровенностью.

Вы ведь не первый день с ним знакомы и успели, думается, составить о нем кое-какое представление? Похож он на несгибаемого упрямца, способного проявить неслыханную твердость и молчать как рыба? Как по-вашему? И похож ли он на благородного рыцаря, склонного взять все грехи на себя, дабы выгородить сообщника? Или обстоит как раз наоборот, и ваш кукольник из тех, кто всю вину предпочтет возложить как раз на других, а себя представить безвинной жертвой то ли непростых жизненных обстоятельств, то ли, что гораздо вероятнее, тирании злодея-сообщника, который и заправлял всем, а его принуждал повиноваться под угрозой смерти, а то и воздействовал гипнотизмом и магнетизерством? Я оставляю ответ вашему собственному усмотрению. Вы знаете вашего приятеля лучше... Ну так что же? Мне повернуться и уйти, оставив вас наедине с собственными тяготами?

Он сделал рассчитанное движение, словно и впрямь направлялся к дверям.

— Александр Сергеевич! — настиг его уже через два шага отчаянный вскрик.

— Да? — вопросительно подняв бровь и полуобернувшись, спросил Пушкин холодно.

— Голубчик, умоляю, не бросайте меня! Что бы там ни было, от кого бы вы ни посланы, все равно... — Ключарев самым натуральным образом ломал руки, словно герой модных в восемнадцатом столетии чувствительных романов с обмороками, слезами и прочим бурным проявлением чувств на каждой странице. — Право же... В моем нынешнем положении выбирать особенно не из чего... Возьмите меня с собой, заключите под арест, под стражу, верните в Петербург, я на все согласен... Хуже все равно уже быть не может...

«Крепенько же тебя прижали в углу неведомые силы, — не без злорадства подумал Пушкин. — Это и называется: пошел за шерстью, а вернулся стриженным...»

Как случилось уже не первый раз, ему стало стыдно — не за себя, а за этого человека. Стыдно оттого, что человек этот был плох, подл, преступен — и приходилось теперь, ничем не выдавая своих настоящих чувств, беседовать с ним дружески, пытаться расположить к себе...

— Быть может, пройдем в комнаты?

— Да, конечно, конечно! Простите, я не догадался предложить...

Ключарев буквально п о б е ж а л мимо него в комнаты, мелкой, угодливой трусцой, оставлявшей самое

отвратительное впечатление. Он был высок, толстошек и растрепан, вовсе не тучный, казался тем не менее каким-то рыхлым, как опара в квашне.

— Не угодно ли вина?

— Нет, благодарствуйте, — сказал Пушкин, отметив внимательным взглядом целое скопище пустых и полных бутылок на столе и под столом, какую-то закуску, киснушую в блюдах.

Он присел подальше от стола, извлек тонкую коричневую сигару из серебряного плоского футляра и чиркнул о край стола новомодным изобретением — фосфорной спичкой.

— Ну, а я, с вашего позволения... — Ключарев трясущимися руками налил себе вина в грязноватый стакан и осушил одним духом, как воду. Улыбнулся криво, искательно. — Знаете, если напиться до беспамятства, они не всегда могут добудиться...

Это нам знакомо, подумал Пушкин, пуская дым. Граф Пален, один из убийц императора Павла I, четверть века в день убийства надирался, как последняя свинья — потому что ввечеру к нему являлась тень...

— До чего странно все получается, — сказал Ключарев с преувеличенной развязностью, усаживаясь напротив. — Кто бы мог подумать, что знаменитейший наш пиит, солнце российской словесности, в то же время еще — и офицер Третьего отделения...

— Это не впервые в истории мировой литературы, — сказал Пушкин холодно. — Вы получили прекрасное образование, Степан Николаевич, вам следовало бы помнить многочисленные примеры. Кри-

стофер Марло, замечательный поэт и друг великого Шекспира, служил в английских тайных ведомствах. Иные уверяют даже, что его рекомая смерть в драке была мнимой, а на деле он таким образом всецело отдался своему в т о р о м у ремеслу. И Даниэль Дефо, автор «Робинзона Крузо». И знаменитейший драматург Бомарше... Ничего нового, как видите. Ничего нового под этим солнцем, в полном соответствии с Екклезиастом... — Он отложил сигару на край блюдечка, пронзительно-синие глаза были холодными как лед. — Отвлечемся от моей скромной персоны, поговорим лучше о вас. Ведь вы — у б и л и, Степан Николаевич? Двух человек вы убили в Петербурге. Я хотел бы услышать от вас подтверждение этой печальной истины, иначе, простите, не получится душевного разговора...

— Убил, — сказал Ключарев, что удивительно, даже с какой-то глупой бравадой. — Взял грех на душу, Александр Сергеевич, чего уж тут.. — Его глаза горели лихорадочным блеском. — Но великодушно обратите внимание на обстоятельства, убил не корысти ради, не из низменных, вульгарных стремлений вроде неоплаченного карточного долга или жажды обладать дорогими красавицами...

— Действительно, — сказал Пушкин задумчиво. — Насколько я знаю, ваше имя никогда не связывали с доступными красавицами, да и в карты вы не играли, ни один человек не мог похвастать, что видел, как вы понтировали...

— Вот видите, вы понимаете! Это, если хотите, Александр Сергеевич, вопрос высшего философско-

го плана-с! Что ценнее для человечества — два совершенно никчемных старых бездельника, какими были мои дражайшие родственники, или возможность с помощью их немалых средств продвинуться далее по пути познания? Зажились, простите великодушно, не было никакого терпения ждать! Книги по тем областям знания, коим я посвятил всю жизнь, дороги несказанно — а ведь существуют еще рукописи-уникумы, не забывайте, и порой, чтобы сделать очередной шаг, нужно рассыпать золото горстями... Самые благородные побуждения мною двигали, не улыбайтесь!

— Господь с вами, я совершенно серьезен, — сказал Пушкин отрешенно. — Совершенно...

— Вы ведь спасете меня, правда? Поможете выбраться из этой ловушки? Нас связывает так много...

— В самом деле? Сдается мне, связывало нас только то, что мы оба имели жительство в Санкт-Петербурге... — сказал Пушкин все с тем же отрешенным лицом. — И убедительно прошу вас перестать видеть во мне известного вам по Петербургу поэта. Поэзия — это нечто, присущее изначально душе... но, кроме этого, есть еще и обязанности по службе. Прекрасно вам известной. Хорошо. Я постараюсь выручить вас из нынешнего вашего положения. Не по доброте душевной, а для того, чтобы вернуть вас в Петербург...

— Я понимаю, понимаю! Что делать, в моем положении не до капризов...

Судя по тому, как он и сейчас, средь бела дня, то и дело шарил испуганным взглядом по стенам и потолку, он был искренен.

— Я видел вашу библиотеку после вашего... отъезда, — сказал Пушкин.

— Значит, вы понимаете, ради чего все делалось! Бог ты мой! — вырвалось у него форменным стоном. — Я же не виноват, что путь познания требовал таких денег...

— И где же вы изволили вступить на этот путь? — спросил Пушкин с неподдельным интересом. — Вы ведь учились в Германии, насколько мне известно? Иена, Лейпциг... Уж не там ли истоки?

— Ну что вы! Чему могли бы научить эти немцы и чем заинтересовать человека вроде меня... — последнее слово он произнес с неприкрытой гордостью. — Иные невежды считают, Александр Сергеевич, что тайными науками у нас на Руси стали заниматься лишь после того, как государь Петр Алексеевич, по чьему-то остроумному определению, прорубил окно в Европу. Совершеннейший вздор, унижающий наши национальные чувства. Еще в старину мы нисколечко не отставали от Европы. Я не имею в виду тех мужиков-кудесников, о которых вы так талантливо писали в вашей поэме. Я говорю о книжном знании. Мы и здесь не отставали ничуть. Другое дело, что ввиду известных обстоятельств знание это таилось вдали от любопытных глаз и ушей... Доводилось ли вам слыхивать о боярине Федоре Васильевиче Курыне?

— Разумеется, — сказал Пушкин. — Не тот ли, что при великом князе Иване Третьем, отце Иоанна Грозного, ездил с посольством к мадыарскому королю Матиашу Корвину?

— Тот самый.

— Потом он, насколько мне известно, был замешан в движение еретиков среди высшего боярства? Все они были казнены, кроме Курына, судьба коего неизвестна...

— Конечно же, — сказал Ключарев, кривя губы. — Кем еще, как не еретиками, могли их объявить тогдашние твердоголовые попы?

— Помнится, он написал еще «Сказание о Дракуле», имевшее в старину большой успех...

— Верно. Но это все, Александр Сергеевич, лишь, пользуясь морскими сравнениями, крохотная, видимая над поверхностью частичка огромной подводной горы... Федор Васильевич, скажу вам по секрету, не только изучал таиную премудрость, но и сам был автором целых трактатов...

Пушкин кивнул:

— «Лаодикийское послание», я знаю. Несколько загадочных афоризмов, производящих впечатление шифра, и таблица в сорок клеток, заполненная уже несомненным шифром. В юные годы, увлекшись всевозможной тайнописью, я и сам над ней ночами просиживал...

— И совершенно бесполезно, смею вас заверить, — хихикнул Ключарев. — Поскольку «Лаодикия» — не зашифрованное послание, а всего-навсего ключ — но вот те послания, которые он отмыкает, как раз и остались скрытыми. Уж мне-то это прекрасно известно... поскольку род свой мы ведем как раз от Курына. Кое-какие семейные традиции, знаете ли. Вот уж триста лет те представители фами-

лии, что испытывали интерес к тайному знанию, имели в распоряжении кое-какие семейные архивы. Другое дело, что времена сплошь и рядом не располагали к углубленному изучению потаенной премудрости: Смутное время, опричнина, бурное царствование Петра, последующие потрясения и войны... Порою я завидую англичанам, им гораздо легче: сидят себе на своем уютном островке, где почти уж двести лет не случалось к р у п н ы х заварух... А у нас к тому же и архивы горели, как сухая солома на ветру, и пугачевщина прокатилась, и в царствование того же Петра отрывали юных дворян на всю сознательную жизнь от книжных занятий в семейных архивах...

Пушкин сказал негромко:

— Когда вы... уехали, мы не нашли в вашей библиотеке ничего, что подходило бы под категорию этаких вот «семейных архивов». Сожгли или с собой взяли?

— Ни то и ни другое, любезный Александр Сергеевич. Коли уж разговор у нас пошел откровенный, признаюсь по совести: «архивам» тем давно пришел конец в ходе тех потрясений и переворотов, о которых я уже упоминал. Да и не было там ничего особо существенного, поскольку г л а в н о е таилось не в бумагах. Нет, конечно, были и некие манускрипты, кои сейчас пребывают исключительно здесь. — Он постучал себя по виску костяшками согнутых пальцев. — Но их по пальцам можно было пересчитать. Главное сокровище, можно сказать, лежало на виду, не особенно и привлекая взоры... Вот, не угодно ли полюбоваться?

Судорожно распахнув не первой свежести рубашку, он снял с шеи черный шелковый шнурок, на котором висел большой округлый предмет, протянул руку и положил его Пушкину на ладонь. Тяжесть этого предмета сразу же потянула ладонь книзу — это был диск размером с маленькое блюдо, из потемневшей бронзы, покрытый по какой-то загадочной системе россыпью квадратных отверстий, проделанных с большим мастерством. Штука была немудреная на вид, но чувствовалось, что изготовлявший ее мастер поработал с величайшим тщанием. Все четыре края диска, словно на картушке компаса, были помечены непонятными знаками, не похожими один на другой.

— Вот это и есть ключ. Ходит даже легенда, что фамилия наша, Ключаревы, оттого и произошла, что именно наш прародитель был выбран Курыном в хранители ключа...

— Каждый ключ должен что-нибудь отпирать, — сказал Пушкин. — Чем примечателен этот?

— Тем, любезнейший Александр Сергеевич, что именно он, будучи приложен в соответствующем месте, неопровержимо свидетельствует, что владелец его вправе открыть хранилище и завладеть бумагами Курына. Вы совершенно правы: Федор Васильевич в свое время казни и темницы избежал. Потому что был предусмотрителен и вовремя бежал в Италию, где еще раньше изучал некую премудрость, обзавелся друзьями и компаньонами по изучению тайной мудрости...

— Куда же именно?

— Э нет, Александр Сергеич, так не пойдет! — хихикнул Ключарев, в который раз подливая себе белого вина. — Вы ведь, в отличие от меня, уж не посетуйте за правду, весьма любите в картишки перекинуться? Коли так, должны знать правила: в иной игре все козыри на стол ни за что не выкладывают, берегают про черный день... Вот и я сему золотому правилу последую...

— Поторговаться хотите? — усмехнулся Пушкин. — Пристало ли столбовому дворянину?

— Что уж поделать, Александр Сергеич. Бывают моменты, когда и столбовые дворяне вынуждены вести торг, словно заправские купчишки. Участь, которую вы мне готовите, предугадать нетрудно, правда? Подыщите подходящую статью из Уголовного уложения, по коей, не объясняя широкой публике кое-каких тайн, все же законопатите раба божьего Степана в те места, где шуки яйца несут, а медведи бабам вальки подают...

— По-моему, четвертью часа ранее вы с чем угодно соглашались, лишь бы отсюда вырваться...

— Минутная слабость! — хихикнул Ключарев. — Вполне уместная и простительная в запутанных жизненных обстоятельствах... Только, надобно вам знать, поразмыслил я, собрал в кулак волю и стал смотреть на жизнь насквозь прагматически... — Он усмехнулся уже почти весело. — Поторговаться следует, Александр Сергеич...

«Ошибка моя в том, что я позволил ему пить, сколько влезет, — подумал Пушкин не без злости на себя. — Прикончив бутылку, преисполнился пьяной

смелости. Светлым днем, надо полагать, гости его не беспокоят, вот темный вечер и кажется далеким... Осмелел, скотина! Промашка получилась...»

— Не берусь обещать вам слишком много, — сказал он, оставаясь хладнокровным. — Но полномочия мои обширны. Неизвестно было, с чем предстоит столкнуться, и пославшие меня сюда предоставили известную свободу действий...

— Это означает, что мы все же можем торговаться? Слово дворянина даете?

Пушкин сказал, тщательно подбирая слова:

— Хорошо. Даю слово дворянина, что в Петербурге мы сделаем попытку уладить дело миром... в том случае, если сведения ваши окажутся ценными.

— Уж будьте уверены! — с прорезавшимся самодовольством сказал Ключарев. — Устанут за мной записывать ваши письмоводители, или как там они в Третьем отделении именуются. Столько пережить довелось на этом тернистом пути...

— В том числе и в Гогенау? — спросил Пушкин резко.

Его собеседник вздрогнул, посмотрел настороженно, с прежней неуверенностью.

— Сдается мне, господин Ключарев, вы чересчур быстро перешли к самой неприкрытой наглости, — сказал Пушкин тем вроде бы безразличным тоном, за которым человек наблюдательный все же угадывает металл. — Вы для нас, конечно, представляете известную ценность, но, простите великодушно, не стоит выкаблучиваться, словно разошедшийся купчик в кабаке. Вынужден вам со всем

прискорбием напомнить, что после известных событий в Гогенау по вашему следу пустились и прусские мои коллеги, пребывающие здесь же, в Праге. А пруссаки с давних пор имеют репутацию людей решительных, беззастенчивых в средствах и не склонных баловаться излишним гуманистическим вздором...

И так уж удачно получилось, что как раз в этот момент громко стукнула входная дверь, и в комнату буквальным образом вломились сыщики: тот, с кем Пушкин только что беседовал в кухне, и второй, помоложе и крупнее сложением.

Тот, что постарше, сказал чуть смущенно:

— Вы долго не появлялись, и мы на всякий случай решили... Господин граф велел не упускать вас из виду, во избежание...

— Как видите, здесь все спокойно, — сказал Пушкин. — Соболаговолите подождать на лестнице.

Сыщики вышли, не прекословя.

— Обращаю ваше внимание еще и на то, что здесь не Россия, — сказал Пушкин. — Чтобы вернуться в наше богоспасаемое Отечество, предстоит еще пересечь две границы, а ваш фальшивый паспорт может вызвать подозрения...

— Он настоящий, — хмуро бросил Ключарев.

— Не цепляйтесь к мелочам. Главное, положение ваше не из легких, а потому следовало бы держаться любезнее с человеком, которого смело можно назвать вашей единственной надеждой...

— Помилуйте, я просто шутил! Экий вы вспыльчивый, как порох...

— Эфиопская кровь, — сказал Пушкин без улыбки. — О достойном предке моем Абраме Петровиче и крутом его нраве слышаны, надеюсь? Давайте перестанем пикироваться и болтать о пустяках. Руджиери помогал вам в Петербурге?

— Было дело, — неохотно сказал Ключарев. — Свела нас однажды судьба, и оказалось, что друг друга мы очень удачно дополняем.

— А в Гогенау?

— Ах, Александр Сергеевич, ну что вы прицепились к этой паршивой прусской дыре? Широко глядя, там произошло то же, что и в Петербурге: молодой человек, самых высоких дарований и нравственных качеств, пребывал в самой пошлой бедности исключительно оттого, что его дядюшка, скупердяй и ростовщик, отличался завидным долголетием...

— А здесь какими переговорами вы с вашим спутником намеревались заниматься?

— Представления не имею! — Ключарев заторопился. — Поверьте, Александр Сергеевич, я и в самом деле ни сном, ни духом... Как на духу: решил порвать с прошлым, пока не поздно. Искал лишь случая пуститься подальше от этих мест, а заодно и от чертова итальянца...

— И что ж за черная кошка между вами пробежала?

— Прохвостом оказался первостатейным! — с сердцем сказал Ключарев. — И это еще мягко сказано... В Петербурге, да и потом, у немцев, расстилался хитрой лисой, держался, словно сущий лакей, сидеть в моем присутствии опасался, кресла подавал...

Он и уговорил податься из Пруссии сюда, обещал, что здесь, в Праге, у него множество друзей, которые помогут устроиться безопасно... И ведь не соврал, паршивец! — грустно рассмеялся Ключарев. — Друзей у него тут хватает... из тех, что не к ночи поминать. — Он передернулся без малейшего приговора. — Угодил кур в ошип...

— Они пришли к вам?

Ключарев молча кивнул.

— Кто?

Вся пьяная бравада давным-давно слетела, и перед Пушкиным снова сидел насмерть перепуганный человек невеликой отваги.

— Позвольте уж без подробных живописаний, — сказал Ключарев, косясь на окна. — И без того, как вспомню, мурашки по спине... И вот тут-то понял я, неразумный, что меня, очень может оказаться, нарочно выманивали в эти проклятые места, подальше от родных мест... Вот это им нужно, — положил он руку на грудь, на видневшийся в распахнутом ворота черный шелковый шнурок. — Ключик... а с ним, соответственно, и бумаги. Они ж никуда не делись, лежат себе которую сотню лет в надежном месте. У итальянцев, даром что народец легкомысленный и вертлявый, поставлено на совесть: уж если положил кто на сохранение известный предмет да платил вовремя за заботы — через пятьсот лет можно прийти и забрать... если предъявишь соответствующие полномочия. Банкиры итальянские — выжиги первостатейные, но ремесло блюдут с поразительным совершенством...

— Вы хотите сказать, что кто-то платил банкирам не одну сотню лет?

— Я ж говорю, Александр Сергеевич: фамилия наша не из простых, в обычные рамки не вписываемся... Короче говоря, пристали с ножом к горлу: отдай да отдай. Они ведь не могут отобрать, силком сорвать с шеи. Такой уж зарок на эту вещичку положен: получить ее можно исключительно с добровольного согласия владельца...

— А то и с мертвого снять? — усмехнулся Пушкин.

— Не так все просто, — серьезно сказал Ключарев. — Можно, пожалуй, и с мертвого... но сие окружено многочисленными оговорками и запретами. Вот они и насели: отдавай, мол, добровольно, раб божий! Не на того напали. И фамильных бумаг жалко — сколько поколений мечтали их в руках подержать! — и понимал прекрасно: обрета желаемое, они уж постараются от меня отделаться... Могут и по горлу полоснуть... а могут учинить и такое, что дрожь прошибает. Итальянец, сукин кот, переменялся совершенно: строит из себя большого барина, твердит, что против его семейства мое — сущие школяры и неучи... только, рубите мне голову, ясно, что он храбрится и нос дерет исключительно из гонора, а на деле расстилается мелким бесом перед этими... Потому что, сразу видно, он в сравнении с ними все равно что унтер перед фельдмаршалом. Усмотреть это мог и человек поглупее... Хотите знать, где он обитает?

— Знаю и без того. Расскажите лучше, что он там мастерит. Я у него в комнатах собственными глаза-

ми видел резных деревянных птиц числом не менее полудюжины и размеров отнюдь не воробьиных...

Ключарев оглянулся на окно, понизил голос:

— Режьте меня, но этот прохвост снова замыслил не что... уже самостоятельно. А может, и по приказу хозяев своих... Александр Сергеевич, милый! — воскликнул он истово. — Заберите меня отсюда, спрячьте, авось не разыщут... Как ни храбрись, а стоит вспомнить про вечернюю тьму...

— С превеликим удовольствием, — сказал Пушкин сухо. — Собирайтесь. За вещами, если желаете, мы потом придем.

— Да провались они в тартарары! Жалеть об этом хламе... Главное-то здесь! — Он вновь постучал себя костяшками пальцев по виску. — Дорогостоящее... Не беспокойтесь, я быстренько!

Он вскочил, неуверенными пальцами кое-как завязал галстук, сдернул с дивана сюртук. Не сдержавшись, схватил со стола полный стакан и осушил нервным, размашистым движением.

— Ну, посидим на дорожку? — спросил он, присаживаясь на краешек кресел и тут же вскакивая. — Пойдемте, пожалуй? Собрать нечего и жалеть не о чем...

Пушкин пропустил его на лестницу и вышел следом. Стоявшие у входа австрийские сыщики, успокоившись, повернулись к ним спинами и стали спускаться на несколько ступенек впереди.

— Натянуть им нос, нечисти тонконогой! — сказал Ключарев с нервным смешком. — То-то, узнавши...

Нечто темное, стремительное, чье появление в этом миг было категорически не п р а в и л ь н ы м, мелькнуло меж ними. Получив сильный толчок в плечо, Пушкин отлетел к стене и не упал только благодаря тому, что уперся в нее спиной. Вытянутое в прыжке кошачье тело цвета потемневшей бронзы настигло Ключарева и сомкнуло лапы на его шее.

Отчаянный вопль. Не в силах шевельнуться, Пушкин смотрел, как Ключарев катится вниз по ступенькам, нелепо взмахивая конечностями, как прынула бронзовая кошка на прежнее место и вновь застыла в спокойной позе там, где просидела не одну сотню лет...

И вновь настала совершеннейшая тишина. Стоявшие внизу лестницы сыщики, бледные, как полотно, застыли так, что сами казались деревянными фигурами. Потом тот, что постарше, издал нечленораздельный всхлип и, нелепо вздергивая руки, словно отмахивался от чего-то невидимого и грозного, бросился прочь. Второй остался на месте, но взгляд у него был совершенно бессмысленным.

На подгибавшихся ногах Пушкин спустился ниже. Ключарев лежал, нелепо вывернув шею, уставясь стекленеющими глазами в потолок. Бронзовая кошка восседала на прежнем месте, словно ничего и не произошло.

Глава восьмая

НАСЛЕДСТВО КЕСАРЯ РУДОЛЬФА

— Без ложной скромности скажу, я был великолепен, господа! — гремел барон, выделявая тростью разнообразнейшие кунштюки. — Я вломился в кухню, благоухая лучшей гданьской водкой, которой вылил на сюртук не менее штофа, изображая полнейшую пьяную непринужденность, объявил, что ищу презренного итальянского кукольника, с которым намерен посчитаться за его проделки. Кухонная челядь в продолжение моего монолога жалась по углам, а я прихватил подходящий топор, которым они там кололи дрова, взобрался наверх и уж там-то отвел душу! Всех этих чертовых птичек порубал в мелкую щепу, а заодно прошелся по мебели, разнес его столярню так, что за год не приведет в прежнее состояние...

— Он сопротивлялся? — вяло спросил Пушкин.

— Держите карман шире! Этот мошенник смиренхонько сидел в углу, высунуться оттуда боялся, только попискивал, когда я пулял в него чурбанами.

Граф Тарловски сказал кротко:

— Мне представляется, что выбрасывать в закрытые окна столярный инструмент и увесистые деревянныешки было все же сверх меры.

— Громить так громить! Пусть запомнит прусского королевского гусара.

— Но именно ваши упражнения в метании разнообразных предметов на улицу и привлекли внимание полиции...

— Ну, тут уж ничего не поделаешь, — решительно заявил барон без тени раскаяния. — Добрый дебош, как сценическое представление, требует определенных правил. Тут уж на улицу вышвырнуть что-нибудь подходящее и неподходящее — дело святое. Как музыка в опере. Во Фрайморене наши гусары, поднатужась, сумели с третьего этажа шарахнуть на мостовую дубовый шкаф чуть ли не в два человеческих роста, а уж с ним управиться было потруднее, чем с чурбаками и прочей мелкой дребеденью... Победителей ведь не судят, господа? Главное, весь его сатанинский птичник я изничтожил напрочь... Ну, а задушевная беседа в полиции обошлась всего-то в восемь дукатов и полчаса отеческих увещеваний о пагубности алкоголя для молодых людей благородного сословия. Я, конечно, во всем покаяться, обещал впредь так не буяннить — и отпущен был на свободу... Знаете, так и казалось, будто эти птички шипели и крыльями хлопали, когда я их превращал в щепу... И не говорите, что я неправ!

— Ну что вы, и не думаю, — сказал граф. — У меня вызвали сомнение лишь некоторые излишне шумные детали вашего предприятия... В остальном же вы достойны похвалы. Поскольку сегодня ночью в Праге не случилось ни одной смерти из тех, что подпадали бы под категорию необычных, вы, Алоизиус, подозреваю, успели вовремя и, вполне вероятно, спасли чью-то жизнь...

— Гусар — всегда гусар! — гордо сказал барон.

— Теперь о вас, — повернулся граф к Пушкину. — Ваш убитый вид заставляет думать, что вы себя в чем-то вините...

— Он ускользнул, — сказал Пушкин, глядя под ноги, на аккуратную брусчатку мостовой. — Именно так это выглядит.

— Не стоит себя винить. Вы сделали все, что могли. В конце концов, никто не мог предугадать эту проклятую кошку...

— А как она вообще выглядела? — с жадным любопытством спросил барон.

— Как ожившая на несколько мгновений кошка из бронзы, — сказал Пушкин.

— Эх, жаль, я не видел...

— Я бы на вашем месте не сожалел, — усмехнулся граф. — Оба агента, люди отважные и немало повидавшие, находятся сейчас в самом жалком состоянии.

— Так они же — посторонние. А я бы... эх! — Барон воинственно взмахнул тростью. — Я б ей так залепил промеж глаз...

— Позвольте усомниться в успешном исходе этого предприятия, — сказал граф с легкой улыбкой. — Вспомните, что случилось с моей тростью. А ведь там была не бронзовая фигурка, а всего-навсего глиняная... Досадно, конечно, что с Ключаревым все случилось именно так... но, по крайней мере, у нас есть этот загадочный ключ, открывающий доступ к некоему хранилищу в одном из итальянских банков. Чутье мне подсказывает, что берегаемые таким образом рукописи не пустяками наполнены...

— Осталась сушая безделица, — сказал Пушкин с горечью. — Отыскать среди сотен итальянских городов и банков тот, который нам нужен... Не зная ни города, ни банкира.

— Это сложно, согласен, но вовсе не невозможно...

— Вы нашли Гарраха?

— Я нашел след, и прелюбопытный, — сказал граф, извлекая из-за обшлага свернутую в трубочку бумагу. — Гаррах исчез сразу после того, как мы с ним расстались. Вышел из дома почти сразу же после нашего ухода — и назад уже не вернулся. Его ищет вся пражская полиция — под самым благовидным предлогом. Я велел распространить слух, что полиция опасается, не стал ли Гаррах очередной жертвой некоего мошенника, торгующего фальшивым антиквариатом и античными «редкостями», сделанными не далее как вчера ловкими прохвостами. Так что никто ничего не заподозрит, подобных мошенников предостаточно, и немало случаев, когда богатые непрактичные любители редкостей и ученые становились жертвами беззастенчивых жуликов... Поэтому нашего профессора всерьез ищет целая армия специалистов своего дела... но пока что безрезультатно. Зато в ратуше отыскалось вот это. — Он с хрустом развернул плотную бумагу. — Это составленный по всем правилам договор, согласно которому профессор четыре месяца назад приобрел некий дом у его законного владельца, хозяина еще трех домов и весьма прибыльного трактира «У кесаря Рудольфа». В договоре этом нет ровным счетом ничего необычного... за исключением цены, которую заплатил профессор.

Сумма эта, друзья мои, втрое превышает обычную продажную цену такого дома. Дом, отмечу сразу, небольшой, особенными удобствами и роскошью не блещет, единственное его достоинство — которое, впрочем, для многих и не является таковым — его почтенный возраст. Не менее трехсот лет. Это предельно странная покупка. В жилье профессор не нуждался, его собственный дом в сто раз лучше. А та самая пресловутая житейская непрактичность присуща кому угодно, только не Гарраxu. Во всем, что не касалось предмета его научных увлечений, он был практичным, твердокаменным реалистом... по крайней мере, до сегодняшнего дня. Так что эта странная сделка резко выбивается из общей картины. А потому следует осмотреть этот дом немедленно... Нам сюда.

Он уверенно свернул к распахнутой входной двери, над которой красовалась вывеска, принадлежавшая кисти не самого лучшего мастера, — но мастер этот не жалел разноцветных красок и позолоты. На ней был изображен во всем величии и блеске легендарный кесарь Рудольф, король венгерский и чешский, император Священной Римской империи, покровитель алхимиков и чернокнижников, овеванный неисчислимыми легендами. Его императорское величество был изображен в горностаевой мантии и золотой короне, у стола, на котором теснились причудливые алхимические сосуды и толстые фолианты, а за его спиной, словно сотканная из мрака, возвышалась не имевшая четких очертаний фигура — великанская и жуткая, должно быть и представлявшая

глиняного истукана Голема, чей баснословный облик всякий рисовал по собственному усмотрению.

Они вереницей прошли обширный зал, где за столами тешила себя пивом, вином и кофеем опрятная публика. Шагавший первым граф уверенно свернул к неприметной двери в задние помещения, распахнул без церемоний. За дверью обнаружился коридор, заканчивавшийся единственной дверью, у которой в позе бдительного часового, опершись на толстую трость с массивным набалдашником, располагался скромно одетый субъект, чья профессия угадывалась с полувзгляда. Низко поклонившись пришедшим, он предупредительно распахнул перед ними дверь.

В небольшой комнатке с выходившим на улицу узким и высоким старинным окном сидел за конторкой из темного дерева краснолицый человек с густыми бакенбардами, в плисовой жилетке поверх рубашки. У него была подвижная, полнокровная физиономия выпивохи, весельчака... и несомненно-го прохвоста из тех, что своей выгоды не упустят никогда и нигде, хотя с очень уж сомнительными делами связываться поостерегутся. Пушкин испытал даже нечто вроде умиления — настолько этот тип походил на жуликоватых трактирщиков и содержателей игорных домов Санкт-Петербурга.

Встав с кряхтением из-за конторки, господин с бакенбардами склонился в преувеличенно низком поклоне и, посверкивая плутоватыми глазками, воскликнул с самым невинным видом:

— Какая честь для меня, господа! Посещали наше заведение благородные особы, но персон вроде вас,

окутанных жутковатыми тайнами и обширнейшими полномочиями, принимать еще не приходилось...

— Всему свой черед, господин Кунце, — безмятежно сказал граф. — Не соблаговолите ли поведать, откуда вам известны такие подробности?

— Слухом земля полнится, ваше сиятельство... Городок наш не особенно и провинциальный, видывали и мир, и людей... но обсуждать свежие новости и интересных приезжих здесь любят не меньше, чем в скучающей провинции. С вашим прибытием кое-какие стороны жизни оживились несказанно, множество людей в это вовлечены, и иные, не зная особенных секретов, имеют все же глаза и уши, а на каждый роток не накинешь платок...

— Интересно... — сказал граф, не моргнув глазом. — Проницательный вы человек, господин Кунце, в уме и наблюдательности вам не откажешь... а следовательно, нужно думать, что вы человек крайне благоразумный. И прекрасно понимаете, что ссориться с иными людьми и учреждениями человеку вашей профессии категорически противопоказано...

— Золотые слова, ваше сиятельство! Рад буду оказаться полезным, чем только могу.

Граф усмехнулся:

— Вы удивительно спокойны, господин Кунце...

Трактирщик широко улыбнулся с видом честнейшего в Праге человека, не ведающего за собой ни единого грешка:

— Ваше сиятельство, ведь не ради моей скромной персоны, отроду не вступавшей в конфликт с зако-

нами, сюда приехали господа из самой Вены... Нечего вроде бы опасаться?

— Вроде бы... — протянул граф и сделал многозначительную паузу. — Это ваш дом, господин Кунце? — Он указал в окно, за которым на другой стороне узенькой улочки тесно, вплотную друг к другу стояли дома классического средневекового облика: узкие, в два-три окна, с массивными входными дверями и окнами, порой напоминавшими бойницы. — Я имею в виду вон ту дверь, с молотком в виде бронзовой головы какого-то создания, весьма напоминающего черта.

— Это был мой дом. Четыре месяца назад я его законнейшим образом продал. Известному нашему ученому мужу, профессору Гарраxu. Договор купли-продажи был составлен по всем правилам и копия передана в ратушу...

— Вот только цена...

— Простите, ваше сиятельство?

— Она несуразна, согласитесь, — невозмутимо произнес граф. — Поскольку примерно втрое превышает обычную.

— Вы меня в чем-то подозреваете, ваше сиятельство? — с убитым видом понурился Кунце.

— В а с — нет. Но подозрительна сама цена. Это и есть то обстоятельство, которое заставляет относиться к таким сделкам с подозрением именно потому, что они состоялись. Чересчур низкая цена всегда подозрительна, превосходящая всякие разумные пределы — тем более. И надобно вам знать, господин Кунце, что именно эта сделка по причинам, ко-

торые вам знать вовсе необязательно, вызывает у меня самый живейший интерес. Именно о ней я пришел с вами говорить — и уйду только тогда, когда получу от вас объяснения, которые признаю убедительными. Если же вы начнете врать или вилить... Я бы вам категорически не советовал.

Господин Кунце сосредоточенно думал, ероша бакенбарды кончиком большого пальца — должно быть, по своей всегдашней привычке. Продолжалось это недолго. Трактирщик форменным образом просиял, поднял голову и открыто взглянул графу в глаза:

— Ваше сиятельство, нет мне нужды врать и вилить! Поскольку абсолютно никакой вины за собой не чувствую. Господин профессор в один прекрасный день явился ко мне... да что там «явился», правильное будет выразиться «нагрянул» — и сходу предложил продать ему Дом Итальянца... Так, изволите ли видеть, этот дом именуют в обиходе. Из-за того, что при кесаре Рудольфе там обитал некий итальянский ювелир, о котором шептались, что он баловался алхимией, а то и чем похуже... В Праге чуть ли не о каждом втором старинном доме кружат дурацкие легенды и почище, здравомыслящий человек на них и внимания не обращает, мы как-никак живем в просвещенном девятнадцатом веке, отмеченном торжеством материального над мистическим... Короче говоря, дом я продавать не собирался. Была у меня мысль перестроить там все и открыть еще один трактир. Даже название придумал: «У Голема». По-моему, изящно бы смотрелось: кесарь Рудольф, а напротив — Голем. Много народу к нам приезжает, при-

влеченного как раз старыми легендами, верить в них я не верю, но это ведь не мешает заработать на них малую толику денег, верно? Коли уж это не противозаконно — зарабатывают же на легендах и страшных сказках господа сочинители и театральщики, отчего бы и скромному трактирщику не урвать своей выгоды? В общем, я поначалу отказался. Господин профессор настаивал и увеличивал цену. Я вошел в азарт и набавил со своей стороны... Он не возражал. И скажите же мне, ваше сиятельство, как поступить в такой ситуации человеку добропорядочному... но своей выгоды не намеренному упустить? Никакого вымогательства и обмана с моей стороны не было, клянусь Богородицей! Господин Гаррах сам выразил ярое желание стать владельцем дома, готов был заплатить требуемую цену, он известен как человек полностью вмняемый, способный заключать какие угодно сделки без чьей-либо опеки или судебных запретов. Мало ли какая блажь может прийти в голову человеку с деньгами? Если она не преследуется законом, что в том дурного? И сделка была заключена... Вот и все, что я могу рассказать. Спросите кого угодно, хоть самого профессора.

Некоторое время граф пребывал в задумчивости.

— В том, что вы говорите, есть резон, — сказал он наконец. — Но, господин Кунце... Я ни за что не поверю, что вы лишены любопытства. Вы ведь любопытны?

— Есть грешок...

— Вот видите. И вы пытаетесь меня уверить, что так и не попытались за эти четыре месяца отыскать

разгадку столь странного поведения профессора? Который, в общем, известен как человек здравомыслящий и не склонный к эксцентричности на английский манер... Будьте уж со мной откровенны до конца, душевно вас прошу... до сих пор у меня не было причин на вас сердиться, но...

— Я понял, понял! — сговорчиво воскликнул Кунце. — В конце-то концов, профессор мне не сват и не брат, и я не давал клятвы молчать о том, что видел... Видел я, впрочем, немного...

— Но что-то же видели? Если учесть, что от двери вашего бывшего дома эту комнату отделяет буквально несколько шагов. На вашем месте, господин Кунце, я бы наверняка устроился наблюдать у окна... а впрочем, нет нужды, можно оставаться на вашем обычном месте за конторкой, как в первом ряду театральных кресел...

— Вы невероятно проникательны, ваше сиятельство, — с усмешечкой сказал трактирщик. — Любопытство — опять-таки из тех мелких грешков, что не преследуется ни Господом Богом, ни законом... Знаете, что мне, человеку не романтичному, а напротив, меркантильному, пришло в голову в первый момент? Что иные легенды о старых кладях не лгут... не могут же все легенды врать? Кладов и в самом деле немало запрятано. Вот я и подумал: а не отыскал ли наш профессор в своих манускриптах упоминание о каком-то кладе в Доме Итальянца? То-то и заплатил тройную цену, рассчитывая возместить расходы... Не подумайте, бога ради, что я замыслил нечто предпринять, я человек законопослушный... Мне про-

сто стало любопытно. Мучил вопрос: а не сваял ли я дурака? Вот я и превратил эту комнатку в наблюдательный пункт... Только должен вас разочаровать — как я сам разочаровался очень быстро. Ничего особенно интересного не видели ни я, ни Фриц... мой доверенный человек, который меня сменял у окна. Начну с того, что профессор, как позже оказалось, вовсе не собирался там поселиться — и ровным счетом ничего в доме не переделывал. Оттуда не вынес ни единого стула — и туда не внесли хотя бы кастрюли. Вот только на другой же день, едва стемнело, профессор туда пришел, и не один, а в сопровождении некой девицы, совсем молоденькой. — Трактирщик ухмыльнулся. — Тут-то мне и показалось, что разгадка была самой простой: мало ли почтенных господ любят тайком пообщаться с очень юными девицами, которых правильнее будет назвать даже не девицами, а детьми? Даже и не с девицами, случается, а еще похуже... Дело, между нами говоря, вполне житейское, сплошь и рядом не получает никакой огласки, если все происходит потихонечку, и заинтересованные стороны жалоб не подают... Четыре вечера профессор туда приводил эту соплюшку. А потом — как отрезало. На пятый день пришел один, притащил какой-то сверток, длинный и вроде бы тяжелый, тщательно увязанный. Вроде бы торчала откуда рукоять то ли лопаты, то ли кирки, но точно утверждать не берусь. И еще с неделю появлялся на ночь глядя в совершеннейшем одиночестве, как на службу ходил. Оставался там на всю ночь... а между прочим, с девицей он никогда больше, чем на час-

полтора, там не задерживался. Уходил только на рас-свете. Ну вот, а потом он стал появляться гораздо реже, пару раз в неделю, и уже не вечером, а без всякой, можно выразиться, системы... В одном я твердо уверен: ничего он оттуда больше не выносил, даже того свертка, что тогда приташил. Черного хода в Доме Итальянца не имеется, так что другим путем он не мог ни уйти, ни прийти... Так оно и продолжается все эти четыре месяца: приходит на пару часов, без всякой системы, то раз в неделю, то два-три... и осталось у меня впечатление, что выходит он оттуда злющий-презлющий, в каком бы настроении ни вошел. И никаких девиц после того первого раза там больше не бывало... Может, и в самом деле ищет клад? При всем своем уме клюнул на очередную мошенническую карту или фальшивую «кладовую запись», их нынче фабрикуют, как пирожки... Ищет-ищет, не находит и оттого, простите на худом слове, стервенеет всякий раз, будто пес, у которого из-под носа увели мозговую косточку... Вот и все, а больше мне рассказать нечего, клянусь всем нажитым добром, незапятнанной репутацией, отцом с матерью и святой Агнессой, покровительницей квартала нашего...

Граф некоторое время испытующе смотрел на него, потом сказал все так же спокойно:

— Пойдемте, господа. Мы еще вернемся, Кунце, если возникнет необходимость...

— В любое время готов служить!

В коридоре, кроме давешнего сыщика, дожидался еще один, помоложе, с озабоченным лицом. Без осо-

бых церемоний он тут же приник к уху графа и стал что-то шептать с таким выражением лица, словно сообщал о кончине кого-то из близких родственников. Граф, не дослушав до конца, оборвал его резким движением руки, чуточку подумав, что-то тихо и энергично приказал. Сыщик опрометью выскочил за дверь. Тогда только граф убрал с лица обычную маску непроницаемости — и его, сразу видно, охватила та же озабоченность.

— Ситуация осложняется, господа, — сказал он тихо. — Агенты привели слесарных дел мастера, чтобы открыть дверь, но он клянется, что с замком справился, но дверь заперта на засов изнутри...

— Значит, Гаррах в доме? — воскликнул барон.

— Кто-то, безусловно, в доме — и этот кто-то никак себя не проявил, когда стучали в дверь, когда мастер возился с замком. Я распорядился привезти людей с инструментами и взломать дверь. Некоторая огласка неизбежна, любопытных вокруг хватает, хотя они и прячутся за занавесками, но, думается, тут уж не до церемоний — особенно если вспомнить, что черного хода в доме нет...

— Мне не дает покоя одна фраза из рассказа Грюнбаума... — сказал Пушкин.

— Мне тоже, — ответил граф.

— Вы о чем? — недоумевающе воззрился на них барон. — Стойте, стойте... Он ведь говорил, что Гаррах нашел Голема!

— О том и речь, — сказал граф.

— Погодите, вы что, хотите сказать, что этот истукан — где-то там, в доме?

— Представления не имею, — сказал граф. — Пока что перед нами — не более чем запертый изнутри дом...

— Граф, — сказал барон, утратив свою обычную бесшабашность. — Я, конечно, никакого дьявола не боюсь, как и положено прусскому королевскому гусару... и старинной глиняной куклы не боюсь... но не вызвать ли нам подмогу? Про кавалерию я не говорю, сам прекрасно понимаю, что на этой чертовой улочке шириной с трактирную стойку ей все равно не развернуться... но, может, поднять по тревоге батальон-другой солдат с пушками? Не всякая старая магия, думается мне, доброму ядру сможет противостоять...

Лицо графа стало усталым и, определил для себя Пушкин мысленно, словно бы несчастным.

— А как бы вы поступили на моем месте? — спросил он наконец.

— Я... — Барон помолчал, яростно гримасничая, потом сказал уже не так воинственно. — Я бы наверняка не решился. Не в том даже дело, что буду потом выглядеть дураком, если окажется, что тревогу подняли зря... Приказ ясен: соблюдение полной тайны...

— Вот то-то и оно, — произнес граф с отсутствующим лицом. — Полная и совершеннейшая тайна. Откровенно говоря, я не верю, что чудовище из старых легенд вырвется на улицы... Как-никак, Гаррах здесь обосновался четыре месяца назад, и ничего ужасного пока что не произошло. Я готов допустить, что Голем там все же есть... но, скорее всего, мы увидим пыльную фигуру в темном углу...

Подкатила карета, из нее выскочили несколько человек с обликом и замашками мастеровых, шустро принялись выгружать инструменты. Работа закипела. Появился господин Кунце и, как человек, знающий толк в данном вопросе, принялся тыкать пальцем в дверь, указывая, где расположен засов, и растолковывая, каков он из себя. Прибывшие слушали его чуть свысока, с тем небрежным превосходством, что свойственно уверенным в себе мастерам, потом непреклонно отодвинули в сторонку и, судя по жестам, сопроводили это суровым внушением не путаться под ногами.

В ход пошли ломы, дверь затрещала. Ее чуть-чуть отжали от сделанного на века дубового косяка, один из мастеровых пропихнул в образовавшуюся щель узкую пилу. Раздался омерзительный скрип металла о металл, разнесшийся, казалось, на весь квартал. Зеваки на улице не толпились, но без труда можно было разглядеть чуть ли не за каждым окном любопытную физиономию.

Граф, поморщившись, подозвал сыщика и отдал короткое распоряжение. Тот чуть ли не одним прыжком оказался на другой стороне улицы, где мастера, и сами, похоже, обескураженные первой попыткой, прекратили пилить и задумчиво почесывали в затылках.

Пилу убрали, взялись за ломы и принялись снимать дверь с петель, что производило гораздо меньше шума. Едва вход оказался свободен, граф с остальными бросился туда и громко распорядился:

— Никому не входить!

Двое сыщиков с непроницаемыми лицами, расставив ноги, тут же загородили проход. Господин Кунце, притворяясь, будто распоряжение к нему не относится, попытался было проскользнуть внутрь вслед за троицей, но граф бросил на него столь ледяной взгляд, что трактирщик стушевался и смирнехонько отступил.

Они оказались в небольшой прихожей, откуда круто уходила вверх узкая лестница, на которой в старые времена один решительный человек со шпагой мог бы довольно долго сдерживать целую ораву нападающих. За лестницей, в глубине прихожей, виднелась низкая дверца, ведущая, вероятнее всего, на кухню.

Граф направился прямо к лестнице, остальным волей-неволей пришлось последовать за ним. Он решительно поднялся на третий этаж, потянул единственную обнаружившуюся там дверь. Она поддалась с тягучим скрипом — петли давно никто не смазывал.

Маленькую квартиру можно было и не осматривать, вообще не было нужды входить — в прихожей толстый слой пыли покрывал и пол, и тяжелую старомодную мебель, с первого взгляда становилось ясно, что вот уже несколько месяцев, как сюда не ступала нога живого существа. Даже мышь, оказись она здесь, оставила бы четко различимые следы.

Они спустились этажом ниже, открыли дверь — и столкнулись с той же самой картиной. Пыль покрывала пол и мебель, фестонами повисла в углах и под потолком.

— Он сюда носа не казал... — сказал барон, отчего-то почти шепотом.

— Ну что же, остался первый этаж... — сказал граф.

Они спустились туда, распахнули невысокую дверь. За ней, как и предполагалось, оказалась просторная кухня с огромным очагом, где на старинный манер без труда можно было запечь целиком барана, а то и теленка. Правда, и здесь они увидели то же самое запустение: многочисленная разнообразная посуда опять-таки потеряла блеск из-за покрывавшего ее толстого слоя пыли. А вот центральная часть кухни была не особенно аккуратно подметена — точнее, кто-то, пользуясь, несомненно, стоявшей в углу метлой, смел пыль и сор в углы. Тот же неизвестный очистил от пыли массивный стол — и посреди него посверкивал в пробивавшихся сквозь пыльное стекло лучах клонившегося к закату солнца огромный хрустальный шар размером с человеческую голову, на резной подставке из черного дерева в виде изогнувшихся китайских драконов.

— Черт возьми! — сказал граф. — Вот оно в чем дело... Вы еще не поняли, господа? Вспомните магические практики с участием девственниц, не имеющие ничего общего с пошлым развратом...

— Ясновидение? — первым догадался Пушкин.

— Именно.

— Ах, вот оно как... — протянул барон, приглядываясь к шару с некоторым уважением. — А я знал одного кузнеца, так тот девственнице в ладонь чернила наливал, потом ее как-то погружал в сон, и она не только потерянные вещи находила безошибочно, а еще и пророчествовала. Скажу вам по секрету, за

эти самые пророчества кузнеца и упекли в соответствующее заведение, а девицу после соответствующего внушения отправили на воспитание в монастырь к сестрам-бернардинкам. Чтобы не смущали незрелые умы всякой чепухой. Знаете, что нес этот мужлан на пару со своей паршивкой? Что нашим королевством будет когда-нибудь править не король, не император и даже не курфюрст, а пехотный ефрейтор. Представляете себе? Он бы еще интендантского капрала приплел! За такие пророчества и упекли раба божьего, пока три пары кандалов не сносит. Ефрейтор, вы подумайте! К тому же даже не прусский, а вроде бы австрийский...

Терпеливо слушавший его болтовню граф расхаживал по кухне, оглядывая каждый уголок.

— Ну вот, кое-что и проясняется, — сказал он. — Он использовал только кухню, приводил сюда девочку, наверняка погружал в транс, и она что-то в и д е л а... Правда, совершенно непонятно, что ему мешало заниматься тем же самым в собственном доме, где его старые слуги привыкли к любым сумасбродствам хозяина и любым научным опытам, какие только можно вообразить и претворить в жизнь... Ага! Видите? Это, должно быть, и есть содержимое того свертка, который видел наш любопытный трактирщик: лом, заступ, кирка... Эге! Идите сюда!

Он произнес это, уже совершенно скрывшись из виду за печью. Барон с Пушкиным бросились туда. Между печкой и стеной оказалось свободное пространство, перегороденное широкими досками. Под

ногами похрустывали куски штукатурки, везде лежали длинные лоскуты выцветшей стенной обивки из плотной материи с узором в мавританском стиле — а три центральных доски оказались выломаны и стояли тут же, прислоненные к печке. В темном проеме можно было разглядеть узкий ход с уходившими вниз каменными ступенями.

Все трое молчали, стоя перед проемом, откуда явно веяло каким-то странным запахом — не то чтобы неприятным или отвратительным, но совершенно не похожим на все прежде знакомое. Пушкину пришло в голову, что это был запах прошлого, трудно распознаваемая смесь вековой пыли, помещения, куда давно не входили люди, забытого места.

Никто не произнес ни слова. Промолчал даже барон, среди чьих достоинств, увы, не числились острота ума и быстрота соображения. Все было предельно ясно: с помощью хрустального шара и девочки Гаррах в полном соответствии с древними практиками узнал нечто, после чего в одиночку совершил абсолютно не приличествующие его положению в обществе и богатству деяния — самолично с помощью нехитрых инструментов пробил стену, открыл ход в подземелье... А что было дальше?

Граф внезапно повернулся и направился назад в прихожую. Пушкин с бароном, растерянно переглянувшись, последовали за ним. Отстранив властным жестом мастеров, уже было собравшихся устанавливать на прежнее место лишившуюся засова дверь, Тарловски поманил околавивавшегося на пределе

дозволенности и досягаемости трактирщика, и тот подбежал прямо-таки рысцой.

— Этот дом долго вам принадлежал? — спросил граф деловито.

— Восемнадцать лет, с тех самых пор, как мне его тетушка оставила, упокой, Господи, ее благонравную душу...

— Что вы скажете о подвале?

— Простите, ваше сиятельство?

— В доме был подвал?

— Вот уж ничего подобного! — выпалил Кунце, не задумываясь. — Тетушка дом унаследовала от отца, а тот — от своего отца... Никто в жизни не слышал, чтобы тут был подвал.

— А что, в таком случае, вот это, по-вашему? — спросил граф, спускаясь с крыльца и отступая на шаг к середине улицы.

Его спутники последовали за ним. Над булыжной мостовой виднелись широкие и низкие зарешеченные проемы, протянувшиеся вдоль всего квартала. Это не могло оказаться ничем другим, кроме как окошечками в подвал.

— Ну... я бы сказал, это больше всего похоже на окошечко в подвалы, — сказал Кунце. — Только никаких подвалов нет ни в моем бывшем доме, ни во всем квартале...

— А это...

— Это? — трактирщик был несколько обескуражен. — Знаете, ваше сиятельство, я мальчишкой еще слыхивал как-то, что подвалы есть под всем кварталом, только они давным-давно замурованы.

Не было особенной нужды в подвалах, вот никто и не интересовался, привыкли как-то за многие годы, что эти окошечки сами по себе, а дома сами по себе. Настолько давно привыкли, я так думаю, во времена наших прадедов, что сжились с мыслью, что подвалов как бы и нету... Не то чтобы был какой запрет... и никаких рассказней я тоже не слышал... просто так уж повелось испокон веку. — Его лицо внезапно отразило усиленную работу мысли и озарилось живейшим интересом. — Так это что же выходит, господин профессор действительно клад отыскал?

Он непроизвольно шагнул в прихожую, но был буквально вытолкнут на улицу холодным взглядом графа. Тарловски распорядился непререкаемым тоном:

— Дверь поставить на место. В дом никого не пускать, пока мы не вернемся... пойдемте.

Они вновь оказались перед проемом. Спустились на пару ступенек в насыщенную непонятным запахом темноту, прислушались. Стояла мертвая тишина.

— Ну что, господа? — почти безмятежно спросил граф. — Самое разумное, что можно в этой ситуации сделать — это спуститься. Перепоручить это некому, в конце концов, это наш долг...

— Перепоручить? Держите карман шире! — воскликнул барон. — Да выгонять меня оттуда вам с пушками бы пришлось...

— Я видел на кухне несколько фонарей, — сказал граф. — Несомненно, Гаррах озаботился... Не считайте за труд, Алоизиус...

Барон моментально принес два масляных фонаря. Затеplилось невысокое желтоватое пламя. Прежде чем остальные успели воспрепятствовать, барон стал спускаться первым, низко держа лампу, чтобы надежнее осветить узкие ступени. Лестница круто уходила вниз, они осторожно спускались друг за другом: впереди барон, державший трость так, чтобы при нужде вмиг освободить клинок, за ним граф без фонаря и последним Пушкин, державший свободную руку на рукояти пистолета.

Впереди становилось все светлее — и вскоре они стояли на выложенной каменными плитами горизонтальной поверхности, в узком пятне дневного света, падавшего сквозь зарешеченное окошечко, оказавшееся прямо у них над головами. Дальше, в полном соответствии с тем, что они видели снаружи, светилось еще одно окошко и еще... Далее выступала перпендикулярная каменная стенка, но уже можно было рассмотреть, что она перегораживает помещение едва ли наполовину. Над головой выгибались массивные каменные своды, державшиеся на толстых колоннах у стен, все это было возведено несколько сот лет назад с присущей той эпохе обстоятельностью и массивностью. Помещение, где они находились, оказалось пустым.

Пожалуй, теперь можно было погасить лампы, что они незамедлительно и сделали. Осторожно двинулись вперед. Следующее помещение оказалось в точности таким же — своды и колонны, с обеих сторон выступают стены, перегораживающие подвал пример-

но на половину ширины. Пустая бочка лежит на боку, тут же — куча выгнутых клепок и обручей, оставшихся наверняка от другой, подобной...

— И никаких тебе кладов, — пробурчал барон. — И никакого тебе профессора... Кровь и гром!

Впереди, чуть правее, у самой стены лежали кости, в которых можно было с первого взгляда угадать человеческий скелет — вот и череп скалится, — лежавший не в целости, не в спокойной позе сраженного чем-то на месте и тут же умершего человека: кости оказались разбросаны двумя кучками. Барон нагнулся, поднял что-то и, отерев с находки пыль носовым платком, продемонстрировал ее спутникам. Маслянисто сверкнул массивный золотой браслет с алыми камнями и украшением в виде оскаленной львиной пасти.

— Вот такие новости, — сказал он растерянно. — Женщина...

— Сомневаюсь, — сказал граф. — Посмотрите, каков размер. Никак не для женского запястья. В старые времена мужчины любили подобные безделушки не менее женщин...

— Вы, как всегда, правы, — сказал Пушкин, присаживаясь на корточки.

Через пару секунд он выпрямился, показывая свою находку: этот предмет, несмотря на то, что матерчатая обивка почти сгнила, а дерево стало трухлявым настолько, что едва не переломилось пополам в его руке, мог быть только ножнами длинного старинного меча — ага, сохранились накладки, то ли позолоченные, то ли из литого золота. Судя по не-

малому весу, вероятнее второе. Чуть поодаль обнаружился и сам меч, вернее золоченая — или золотая — рукоять, с обломком проржавевшего лезвия длиной не больше ладони. Остального не видно, как они ни приглядывались.

— Черт меня разгрызи! — сказал барон. — Полное впечатление, что беднягу пополам разорвали!

— Тс!

Но вокруг по-прежнему стояла совершеннейшая тишина, отчего-то представлявшаяся гораздо неприятнее, нежели какие-нибудь жуткие звуки. Деваться было некуда, и они осторожно двинулись вперед.

Вскоре увидели еще три скелета — судя по трем черепам. Точнее определить количество погибших в старые времена было затруднительно: кости были раскиданы по всему помещению, многие сломаны в куски. Под ногой графа лязгнуло что-то тяжелое — проржавевшее лезвие алебарды. Еще один меч, в гораздо более простых ножнах, и второй, без ножен, целехонький, разве что попорченный ржавчиной...

— Действительно, — сказал граф. — Да в н е н ь - к о сюда не заглядывали. Оружие, насколько я могу судить, принадлежит самое позднее семнадцатому столетию... Что это там?

— Бочки, — с облегчением вздохнул барон.

Они прошли примерно половину подвала. Остальную половину занимало одно обширное помещение, уже без перегородок, в два ряда уставленное огромными бочками, лежавшими на массивнейших деревянных козлах толщиной в человеческий рост: да и сами бочки были предназначены словно бы для ве-

ликанов из сказок или романов язвительного монаха Рабле. Дно каждой было шириной — точнее, в данный момент высотой — в два человеческих роста. А уж размеры самих бочек...

Барон, нимало не потеряв самообладания, шагнул к ближайшей и попытался повернуть кран размером с пожарный насос. Пояснил непринужденно:

— Это я из научного любопытства. Представляете, каково винцо? Вот это выдержка...

Однако у него ничего не получилось. Он налег изо всех сил, но не смог повернуть рукоятку в локоть длиной. Разочарованно вздохнул:

— Схватилось намертво. За столько-то лет... А, ладно, все равно винцо превратилось в уксус, даже если оно там осталось...

— Там, впереди, сплошная стена, — сказал Пушкин. — Отсюда видно. Идти вроде бы и некуда. Одни бочки. Старый винный подвал. Но ведь куда-то же девался профессор...

— Смотрите! — сдавленным шепотом вскрикнул барон.

Все уставились в ту сторону. Между двумя бочками виднелось нечто темное и продолговатое, больше всего похожее...

Это и в самом деле была человеческая рука — воскового цвета кисть, черный рукав сюртука. Они кинулись туда. И застыли, обогнув великанские козлы.

Там была только рука. И ничего более. То ли отрубленная, то ли оторванная человеческая рука, лежащая в темной застывшей луже.

Они почувствовали другой запах — на сей раз откровенно неприятный, сладковатый запах разложения. Сделали еще несколько шагов. За следующей бочкой лежало то, что осталось от профессора Гарраха — скрюченное, скомканное тело, больше всего похожее на разодранную капризным ребенком матерчатую игрушку. Но искаженное ужасом лицо сохранилось в неприкосновенности, и они без особого труда узнали черты лица профессора. Даже очки в стальной оправе сохранились на носу благодаря дужкам наподобие крючков — вот только стекла вылетели...

— Что ж это? — растерянно прошептал барон. — Думается... Ай!

В самом дальнем углу, между двумя бочками, что-то шевельнулось — высокое, широкое, напоминавшее то ли оживший монумент, то ли взмывшего на дыбки медведя...

В широкий проход почти бесшумно выдвинулась фигура высотой едва ли не в два человеческих роста, этакое карикатурное изображение человека: короткие толстые ноги, чуть расставленные руки толщиной со столб уличного фонаря, бочкообразное тело, голова, наполовину ушедшая в плечи, выступавшая нелепым горбом наподобие старинного рыцарского шлема. На ней светились тусклым гнилушечьим светом два огонька, несомненные глаза, а под ними виднелась черная горизонтальная щель рта — и никаких признаков носа. Уши больше похожи на два толстых бублика, приклепнутых по бокам.

Это внушающее ужас создание двигалось прямо к ним, и довольно проворно, едва ли не со скоростью спокойно идущего человека. Не было ни грохота, ни гула шагов, чудище ступало удивительно тихо — самую малость погромче обычного человека...

Они застыли, как замороженные, задрав головы. Слева от Пушкина громыхнул выстрел — это граф Тарловски хладнокровно спустил курок судя по высоте поднятой руки, он целился в глаз чудовища. То ли промазал, то ли пуля не причинила особого вреда — оба огонька все так же светились гнилушечно-зеленым, и взгляд Голема (а кто же еще это мог быть?!) казался теперь исполненным лютой злобы. Тогда и Пушкин выхватил один из своих пистолетов, торопливо взвел курок, едва не прищемив мякоть большого пальца, с мимолетной радостью отметил, что рука совершенно не дрожит...

Выстрел. То ли показалось, то ли и в самом деле меж двумя зелеными огнями взметнулось облачко пыли — но Голем не остановился, не замедлил шага, придвигаясь, нависая, неожиданно быстрым движением поднимая руки с растопыренными пальцами: их, кажется, было на каждой руке не пять, а меньше...

Поздно было бежать. Серый истукан возвышался над ними, как гора.

— В стороны! — отчаянно крикнул граф.

Пушкин прыгнул направо. Барон кинулся налево, за ним последовал и граф. Мало того, что меж бочками было достаточно места — меж их задними стенками и стеной подвала тоже можно было протиснуть-

ся. Юркнув в эту щель, безбожно пачкаясь о пыльные стены, Пушкин едва подавил прилив слепого, нерассуждающего страха — чудовище двинулось как раз за ним, взметнуло руку. Ужасающий треск — и одна из бочек разлетелась вдребезги. Никакого вина там не оказалось, и огромные клепки рухнули грудой, а вслед за ними завалились и козлы. Взлетела пыль, загрохотало.

Он отступил правее. Голем размахнулся и ударил по уцелевшей бочке, так, чтобы расшибить ее об стену и смять в лепешку притаившегося за ней человека. Пушкин успел отпрыгнуть, кинулся вдоль стены — и только потом сообразил, что бежит не к выходу, а в глубину подвала. Но поворачивать назад было поздно — дорогу загораживали разбитые бочки, Голем с ужасающим треском ворочался меж клепок, заваленный ими едва ли не наполовину.

Ноздри забило сухой пылью, кашель раздирал грудь. Выскочив в проход, Пушкин обнаружил, что оба его спутника кинулись в ту же сторону — к глухой стене, должно быть точно так же поддавшись нерассуждающему страху.

Еще одна бочка сорвалась с козел и рухнула в проходе, рассыпаясь невообразимой грудой. Истукан продрался сквозь обломки, как кабан сквозь камыши, и расставив руки, двинулся к оцепеневшей троице. В полосах слабого света, падавшего из окошечек под самым потолком, клубилась пыль, оглушительно хрустели клепки, ломаясь под косолапыми ступнями чудовища, из тучи пыли и взметнувшейся щепы светили два яростных зеле-

ных глаза, показавшихся осмысленными. Лютый взгляд искал их.

Шпага в руке барона сверкнула ярким сиянием — но показалась такой тоненькой, бесполезной, бессмысленной по сравнению с возвышавшимся над ними чудовищем, что Пушкин громко охнул, как от невыносимой боли. В один краткий миг в его голове пронеслось неисчислимое множество разнообразнейших мыслей — оставшаяся снаружи мирная жизнь показалась уже безвозвратно потерянной, от обиды на нелепость происходящего перехватывало дыхание. Погибнуть в пыльном подвале от руки средневекового чудовища, чтобы твои косточки легли рядом со скелетами живших лет триста назад пражан...

Он отпрыгнул в последний момент — и оказался меж бочками. Их, целых, осталось так мало, что люди уже с трудом ориентировались в ворохах гнутых досок и тучах тончайшей сухой пыли. Они метались, не находя выхода, а следом топотал Голем, расшвыривая завалы, топча трещащие клепки, поднимая пыль.

— Отвлеките его! — слышался отчаянный крик барона.

Плохо соображая, в чем дело, но собрав в кулак всю волю, чтобы не погибнуть позорно и бесславно, как лягушка под тележным колесом, Пушкин огромным усилием воли остановился меж целой бочкой и кучей клепок, огляделся. Насколько удалось рассмотреть, барон зачем-то карабкался на еще одну из уцелевших бочек, зажав шпагу в зубах, — целеустрем-

ленно, проворно, хватко. Помешался от страха? Или тут что-то другое?

Выхватив второй пистолет, Пушкин, еще ничего толком не соображая, выстрелил в затылок Голему. На сей раз он явственно видел, как взметнулась серая крошка, рассмотрел даже выбоину от пули — но истукан вовсе не выглядел не только смертельно раненным, но хотя бы чувствительно задетым. Он обернулся, одним движением превратил бочку, за которой укрывался Пушкин, в грудю обломков, но Пушкин, уже опамятававшийся от паники, отпрыгнул, кинулся вдоль стены. Своим выстрелом он выиграл достаточно времени, чтобы барон успел взобраться на самый верх бочки, где и утвердился, удерживая равновесие без особого труда. Широко расставив ноги, делая яростные выпады сверкающим клинком, он завопил:

— Ну, иди сюда, чучело бессмысленное! Я тебе, рожа глиняная, болван трухлявый, zenки-то повытыкаю!

Голем двинулся к нему, неудержимый, как грозовая туча, подняв руки, готовясь ухватить, разорвать, сбросить...

Со своего места Пушкин видел происходящее, как на сцене.

Корявые руки протянулись к барону, но Алоизиус, уклонившись с невероятным проворством, сделал шпагой несколько мастерских выпадов, явно стараясь угодить в черную щель рта, ударяя острием в одно и то же место... острие звучно царапнуло по глиняному подобию безносого лица...

И вышибло изо рта темный шарик размером со спелую сливу. Он ударился о каменный пол, подпрыгнул, звучно стуча, покатился куда-то к стене...

Голем мгновенно замер в нелепой позе, с вытянутыми вперед руками, поднятой правой ногой... закачался, уже мертво, словно срубленное дерево — и рухнул лицом вперед прямо на бочку. Послышался ужасающий треск, взметнулись клепки, рухнули козлы. Глиняный истукан, ничком свалившись в груды обломков, застыл неподвижно.

Справа послышался треск и приглушенные ругательства — это граф выбирался из кучи деревянного хлама. Вид его был неопишуем. Шатаясь, он подошел, остановился рядом с Пушкиным, все еще сжимавшим в руке разряженный пистолет. Остро пахло пылью, сгоревшим порохом. И было очень тихо.

Потом послышался слабый треск, доски раздвинулись, над ними поднялась рука с целехоньким клинком, а там и сам барон выкарабкался из завалов, совершенно неузнаваемый под покрывавшим его толстым слоем грязи и пыли, — но глаза сверкали боевым задором. Шипя сквозь зубы, сыпля ругательствами и потирая ушибленный бок, он произнес почти спокойным голосом:

— Ну вот, а я уже боялся, что подраťся как следует так и не придется... Я, конечно, не бог весть какой мудрец, но как нельзя более к месту вспомнил про шарик, который ему пихали в рот, чтоб оживал. Ну, а если его убрать, ясно, что будет... Так и получилось, в лучшем виде!

— Алоизиус, вы герой, — сказал граф, крутя головой в некотором ошеломлении.

— Да ничего подобного, — отозвался барон устало и буднично. — Просто у меня оказалась шпага, а у вас ничего такого не было, вот и все. Но какова тварюга, дух спирает...

Подвал был неузнаваем — повсюду груды кривых досок, остро пахнувших трухой, пыль неспешно оседает в бледных полосах света. Голем лежал перед ними, неподвижный, но даже теперь внушавший почтительное опасение.

— Бедняга Гаррах, — тихо сказал граф. — Он, конечно же, о чем-то договорился с итальянцем, заключил какую-то сделку... Получил некий секрет... И решил самонадеянно, что сможет управиться с чудищем. Ох уж мне эти ученые мужи...

Барон подобрал шарик и вертел его меж пальцев:

— Закорючки какие-то, на манер иероглифов...

— Позвольте-ка, — сказал граф.

Отобрал у него шарик, на боку которого и впрямь виднелась надпись из непонятных знаков, вынул из пальцев Пушкина пистолет, положил шарик на пол, в углубление меж двумя каменными плитами, присел на корточки и нанес рукояткой пистолета несколько точных, безжалостных ударов. Шарик хрустнул, распался на несколько кусков, которые граф старательно растер едва ли не в порошок подошвой башмака.

— Так, право же, будет лучше, — сказал он без выражения, выпрямляясь во весь рост. — Очень уж опасная игрушка.

Барон издал изумленный возглас, и все повернулись в ту сторону. Огромный глиняный истукан на глазах менял форму и очертания, он словно бы истаявал, рассыпаясь грудой серой пыли, растекавшейся во все стороны тяжелыми ручейками наподобие ртути. Прошло совсем немного времени, и он превратился в продолговатую груду, уже не имевшую ничего общего с подобием человеческой фигуры.

Пушкин усмехнулся через силу:

— Какое доказательство погибло...

— А разве мы собираемся что-то доказывать окружающим? — неимоверно уставшим голосом сказал граф. — У нас другие задачи: чтобы всего вот этого, — он небрежно указал на груды серой пыли, — стало как можно меньше... Я поздравляю вас, господа. Чудище исчезло, а мы все трое все еще живы.

— А это потому, что мы везучие, — ухмыльнулся барон.

Глава девятая

КАРЛОВ МОСТ НА ЗАКАТЕ

Закат, как всегда случается, разделил мир пополам. По одну сторону протянулись над рекой длинные тени моста и статуй, касавшиеся стен старинных домов, — и эти дома, ярко освещенные совсем низко опустившимся солнцем, казались невероятно красивее, чище, романтичнее, чем в реальной жизни. По другую сторону, собственно, ничего и не имелось — та половина мира словно бы исчезла в пламени, превратилась в пустое пространство, сплошь заполненное резавшим глаза тускло-золотым сиянием.

Барон, нетерпеливо прохаживаясь на их всегдашнем месте встреч, под статуей рыцаря в доспехах, выдернул из жилетного кармана часы и щелкнул крышкой. Сказал уныло:

— Опаздывает. На добрых четверть часа.

— Будем надеяться, что это-то как раз и есть хорошая новость, — сказал Пушкин терпеливо. — Что-то ему удалось узнать...

— Вашими молитвами... — с сомнением пожав плечами, отозвался барон. — Знаете, Александр, что меня больше всего бесит? У нас постоянно, как песок сквозь пальцы, ускользают люди, тайны, разгадки. Совершенно некого взять за глотку, легонечко притиснуть к стене и рывкнуть: «Говори, собака!»

— Алоизиус, — сказал Пушкин. — Вы до сих пор имели дело исключительно с о д и н о ч к а м и, верно? Оборотень в лесах глухой провинции, деревенский колдун, ведьма, притаившаяся под личиной мирной владелицы кондитерской в крохотном городишке...

— Ну да. А у вас что, было иначе?

— Да нет, все совершенно точно так же. Просто... У нас сейчас совершенно другой оборот дела, Алоизиус. Мы впервые столкнулись не с одиночками, а с тем самым тайным обществом, о котором прежде ходили лишь смутные упоминания. Нечто чертовски древнее и, надо полагать, хитроумное, сильное, изворотливое. К нему так просто не подберешься...

— Тьфу ты! Вы верите в тамплиеров?

— Я не знаю, кто они, — сказал Пушкин задумчиво. — Тамплиеры или нет. Но теперь уже совершенно ясно, что они существуют. И за пару дней успеха не добьешься...

— Да все я понимаю, — сказал барон сердито. — Умом. А вот чувства бунтуют. Душа просит немедленно учинить что-нибудь результативное — с погонями, ловлей виновника и вышибанием из него правды... Я же предлагал, чтобы отправили капитана Касселя, — он на трех языках может свободно изъясняться, книги читает каждый день, науками интересуется. Но полковник послал меня, сказал, что книг там все равно читать не придется... и ведь как в воду смотрел! Вы, кстати, тоже, не отрицайте, ни единой книжки не прочли.

— Ну, отчего же.

— Все равно, следовало бы ехать Касселю, он поднаторел в разгадывании головоломок сугубо умственным путем. А с меня взятки гладки — гусар он и есть гусар, мозгами шевелить не привык...

— Не переживайте, — сказал Пушкин. — Вчера вы нас спасли не раздумьями, а как раз шпагой.

— Скучно, черт побери! — совсем по-детски сказал барон. — И граф куда-то запропастился... — Он заложил руки за спину, задрал голову и уставился на рыцаря в полном вооружении, одной рукой опиравшегося на щит, а другой взметнувшего длинный меч. — Ишь, чванится... А это, случаем, не тамплиер? Доспехи-то старинные, как раз времен крестовых походов... В Праге с ее извечным чернокнижием станется тамплиера посреди города на мост водрузить...

— Это мифологический персонаж, — сказал Пушкин. — Рыцарь Брунsvик. Одолеl в жестокой битве дракона, и король за это предложил ему, как и полагается в сказках, руку прекрасной принцессы. Только у Брунсвика уже была невеста, которую он любил, и он отказался. Тогда король велел бросить его в темницу. У рыцаря был некий волшебный меч, он разрубил оковы и вышел на свободу.

— А, ну это совсем другое дело, — сказал барон, поглядывая на каменного витязя с некоторым уважением. — Наш человек. Вот только что это за растяпа сидел там на троне, если закованному заключенному позволили иметь при себе меч? Откуда у него меч в темнице-то взялся? Что-то в этой истории концы с концами не сходятся...

— Действительно, — сказал Пушкин. — Мне как-то не приходило в голову... Меч в темнице — это, пожалуй, чересчур даже для патриархальных старинных времен... О, вот и граф!

Тарловски приближался к ним быстрой, решительной походкой человека, у которого впереди множество неотложных дел — и лицо у него было если не веселое, то, по крайней мере, напроць лишенное грусти.

— Ну что же, господа, — сказал он, останавливаясь спиной к каменному рыцарю Брунsvику и улыбаясь во весь рот. — Это еще не победа, конечно, но все же мы сделали шаг вперед. Руджиери сбежал с прежней квартиры, но наши люди напали на след. И это не главное. У меня появилась великолепная догадка, которая подтвердилась после того, как в библиотеке...

Заметив некое шевеление над его головой, Пушкин поднял глаза... и обомлел на миг. Он понимал, что нужно крикнуть, предупредить, но не мог пошевелиться.

Каменный рыцарь Брунsvик высотой в полтора человеческих роста двигался — с нереальной быстротой, какой никак нельзя было ожидать от статуи из твердого камня, совершенно свободно, сноровисто, неудержимо. В закатных лучах мелькнул широкий клинок...

Острие меча на аршин показалось из груди графа Тарловски, дымясь кровью. На лице графа отразилось величайшее изумление и словно бы обида перед тем, с чем он ни за что не хотел смириться, — а

в следующий миг лезвие исчезло, выдернутое изваянием, граф глянул беспомощно, бледнея на глазах, подогнулся в коленках и осел на булыжник Карлова моста.

Пушкин с бароном стояли, не в силах шевельнуться. Все продолжалось считанные секунды, статуя застыла в прежнем положении, как будто и не напала только что.

Изю рта графа поползла струйка крови. Только тогда, опомнившись, они опустились рядом с ним на камни. Рана зияла прямо против сердца, глаза тускнели, гасли.

— Тоскана, — внятно прошептал он, прилагая величайшее усилие. — Тоскана...

И его голова бессильно откинулась на тесаный камень.

— Вот они! Вот они! — раздался совсем рядом чей-то неприятный голос, исполненный злого торжества. — Скорее сюда, скорее! Пока не убежали, убийцы проклятые!

Они подняли головы. В нескольких шагах от них приплясывал на месте от нетерпения невысокий худенький человек, по виду не отличимый от небогатого горожанина. Его узкая физиономия таила в себе что-то определенно крысиное, гнусненькое, он тыкал пальцем в сторону Пушкина с бароном и орал, как резаный:

— Скорее, скорее! Убегают!

С другой стороны уже торопились трое полицейских в высоких киверах с петушиными перьями, придерживая тесаки. Лица у них были серьезные,

озабоченные, исполненные охотничьего азарта, и перед ним уже кричал, запыхавшись:

— Именем императора...

...Господин судья, восседавший за массивным столом из темного дерева, словно доставленным сюда из замка сказочного великана, больше всего походил на филина — крючкообразный нос, круглые немигающие глаза, в которых невозможно было прочесть ничего, кроме холодной злости. Справа от стола, приняв почтительную позу, располагался полицейский комиссар, высокий, широколицый мужчина, напоминавший бульдога. Опираясь на толстую трость с массивным набалдашником в виде шара, он разглядывал Пушкина и барона, сидевших на тяжелой скамье без спинки, хотя и не зло, но с безусловным осуждением. По обеим сторонам скамьи стояли полицейские в мундирах и киверах, и еще четверо помещались за спинами сидящих. Пушкин постоянно слышал над ухом бдительное сопение, вмиг придвигавшееся при его малейшей попытке пошевелиться.

— Итак... — произнес судья сухим, лишенным всяких эмоций голосом. — Для начала следует назваться. С людьми, ведущими себя в нашем мирном городе подобным образом, я просто обязан свести самое короткое знакомство, хе-хе... и то же самое, могу вас заверить, думает в данный момент городской палач... Ваше имя?

Барон выпрямился на скамье и с достоинством ответил:

— Барон Алоизиус фон Шталенгессе унд цу Штральбах фон Кольбиц.

— Просто поразительно, как вы все на скамейке поместиться ухитрились, — произнес без тени улыбки судья.

Полицейский за спиной едва слышно хихикнул. Бросив в его сторону ледяной взгляд, судья продолжал:

— Род занятий?

— Лейтенант гусарского полка фон Циттена его величества короля прусского.

Совиные глаза обратились в сторону Пушкина:

— Ваше имя?

— Александр Сергеевич Пушкин.

— Род занятий?

— Поэт.

— Очень мило, — сказал судья. — Стишки пишете?

— Именно.

— А это, надо полагать, необходимые для творчества принадлежности? Без которых вас не посещает муза? — Судья, двумя пальцами держа за рукоятку, приподнял один из пистолетов Пушкина. — Я не большой знаток изящной словесности, но, по-моему, насколько подсказывает житейский опыт, эти предметы именуются пистолетами и к поэзии отношения не имеют. Зачем они вам?

Пушкин пожал плечами:

— Насколько мне известно, во владениях Австрийского дома Габсбургов не запрещено иметь при себе пистолеты...

— Ну, а все-таки?

— Мало ли что может случиться? Разбойники на дорогах...

— Молодой человек, вас это, возможно, и удивит, но в Праге на улицах не бывает разбойников. В старые времена действительно водились, но с тех пор много воды утекло...

— Случаются еще и дуэли...

— Ах, вот оно что! Вы сюда прибыли драться на дуэли?

— Нет...

— Между прочим, Уголовным уложением данной страны дуэли решительно запрещены... Подданным какой державы имеете честь состоять?

— Российской империи.

— Хотите меня уверить, что там дуэли разрешены?

— Нет...

— Уж не являются ли они и там уголовно преследуемым деянием?

— Являются, — кротко сказал Пушкин.

— По-моему, пора подвести некоторые итоги? Поэт с двумя пистолетами под сюртуком... что, думается мне, все же представляет собой весьма странное сочетание... Что вас привело в Прагу?

— Путешествую ради собственного удовольствия.

— А вы?

— Тоже, — сказал барон, глядя исподлобья. — Исключительно ради собственного удовольствия.

— А стихов, часом, не пишете?

Барон выпрямился на скамейке:

— Увы. Мои предки обладали массой разнообразнейших достоинств, но таланта стихотворцев за ними не замечено...

— Странно, — сказал судья без улыбки, поднял извлеченный из трости барона клинок и на ладонях приподнял горизонтально над столом, демонстрируя всем присутствующим. — Поскольку этот господин, поэт, вдохновения ради носит с собой пистолеты, я решил, что и вам эта шпага нужна для каких-либо упражнений в поэзии или драматургии...

За спиной вновь послышалось тихое фырканье полицейских.

— Тоже боитесь разбойников? — с мнимым участием, почти не скрывавшим откровенной издевки, поинтересовался судья.

— Мало ли что... — буркнул барон.

— Господин судья, — сказал Пушкин, стараясь изъясняться кратко, убедительно и по возможности спокойным тоном. — Документы, удостоверяющие нашу личность, находятся в отеле «У золотой русалки». Владелец, господин Фалькенгаузен, может должным образом нас рекомендовать...

— Всему свое время, — сказал судья. — И с документами вашими ознакомимся самым пристальным образом, и с господином Фалькенгаузенем непременно побеседуем. Собственно говоря, к вам, господин поэт, у меня пока что нет вопросов. Все вопросы в данный момент обращены к вашему спутнику, обладателю потрясающе длинной фамилии... она действительно ваша собственная? В последнее время развелась масса народа, непринужденно именующая себя не данным при крещении добрым именем родителей, а так, как им больше нравится...

— Тысяча чертей! — взревел барон. — Вы на что намекаете, крыса юридическая?

Он вскочил, но двое полицейских, навалившись ему на плечи, моментально вернули в прежнее положение — да так и остались стоять над ним, положив руки на плечи.

— Советовал бы вам воздержаться от оскорблений официальных лиц, особенно при исполнении ими своих служебных обязанностей, — прежним бесцветным голосом произнес судья. — Речь идет не о моих личных обидах, а о престиже государственного чиновника, каковой не должен терпеть ущерба со стороны лиц, подозреваемых в нешуточном преступлении...

— Это в каком еще? — осведомился барон сварливо.

Судья вкрадчиво пояснил:

— Есть веские основания подозревать, что полчаса назад на Карловом мосту именно вы самым беззастенчивым образом убили некоего человека, остающегося пока что неизвестным... Несчастный был поражен в сердце чем-то вроде длинного острого клинка... прекрасный образец коего по странному совпадению находился при вас в тот момент, когда появилась полиция. Кроме того, имеется добропорядочный, не внушающий ни малейших сомнений в своей искренности свидетель, своими глазами видевший, как вы пронзили беднягу шпагой...

— Вздор, — сказал барон резко.

— Господин Кранц, — повернулся судья к полицейскому комиссару. — Ваши люди доложили, что

никаких третьих лиц, спасавшихся бегством, на месте трагедии не усмотрели?

— Именно так, господин судья, — почтительно ответил широколицый Кранц. — Бегущего на Карловом мосту было бы видно за полмили... Никого постороннего там не было. Только покойник и эти двое. Бедолага был убит едва ли не на глазах полицейских, кровь была еще свежа. Они — старые служаки, с немалым опытом, ошибиться не могли. Всякого навидались, не новички... По моему разумению, этот вот господин пытается перечить очевидным вещам. Не было там никого другого. Этакая шпага очень даже подходит в качестве несомненного орудия убийства...

— Я его не убивал! — вскричал барон.

— А кто же? — еще более вкрадчиво спросил судья. — Ваш спутник в приливе поэтического вдохновения?

— Нет, он тоже ни при чем...

— Кто же тогда пронзил шпагой этого несчастного? — Судья изобразил на лице живейший интерес и готовность выслушать любые объяснения. — Помилуй господи, мы здесь не беззаконие творим, а как раз собрались, чтобы разобраться в сем прискорбном инциденте со всем прилежанием и обстоятельностью... Если вы хотите указать на истинного убийцу, назвать его или хотя бы описать, если он вам незнаком, имеете к тому все возможности. Не смею вам препятствовать, наоборот, я весь внимание!

Он подался вперед, приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Комиссар откровенно ухмылялся.

Барон открыл было рот... но ничего не сказал. Пушкин прекрасно понимал его положение. Правда была слишком невероятна, а потом объявить ее вслух означало бы подвергнуться новым насмешкам, а то и попрекам в скудости фантазии.

Только теперь ему пришло в голову, что положение их, мягко говоря, весьма даже незавидное. После неожиданной смерти графа Тарловски в Праге попросту не было людей, посвященных в тайну их миссии. Люди эти остались в Вене, Берлине, Петербурге, и, чтобы просто снестись с ними, потребовались бы немалые усилия — все теперь зависело от судьбы, он мог предоставить им такую возможность, а мог и не предоставить. Кто в здравом уме поверил бы истории про ожившего на миг рыцаря Брунсвика? Здешние сыщики, выполняя поручения графа, и представления не имели о подлинной сути дела. Чтобы объяснить историю с домом Гарраха и растерзанный вид троих выбравшихся из подвала людей, была придумана убедительная история про то, как они искали там, внизу, запрятанную некими преступниками добычу...

— Ну, так что же? — спросил судья после долгого молчания. — Только не говорите, что я — изверг и злодей, затыкающий вам рот. Я к вашим услугам, господин с длиннейшей фамилией! Если вы считаете, что убийство на Карловом мосту совершил кто-то другой — бога ради, назовите нам его, опишите, и Кранц тут же примется его ловить со всем свойственным ему рвением! Что же вы молчите? Быть может, вы, господин поэт, выручите вашего

попавшего в затруднительное положение спутника? Быть может, именно вы видели настоящего убийцу? Не откажите в таком случае назвать его или хотя бы описать... Ах, и вы молчите... Странно, очень странно... Я вас умоляю, не смотрите на меня так страдальчески! Можно подумать, я затыкаю вам рот... Говорите же, душевно вас прошу!

Вновь воцарилось долгое тягостное молчание. Судья разглядывал обоих, изобразив на лице выжидательную улыбку.

— Ну что же, судари мои, — сказал он наконец с разочарованным вздохом. — Видит бог, я проявил массу самого дружеского участия и терпения, готов был предоставить вам все возможности себя обелить в том случае, если вас обвиняют облыжно. Вы же предпочитаете молчать. Придется пока что отправить вас в тюрьму...

Распахнулась дверь, ворвался человек в вицмундире и, на цыпочках приблизившись к столу, согнувшись в три погибели, что-то почтительно зашептал на ухо судье. Тот слушал с непроницаемым лицом, потом небрежным жестом отослал чиновника и поднялся:

— Прошу прощения, господа. Я скоро вернусь, и мы завершим все формальности...

Он выбрался из-за массивного стола и вышел, не оглядываясь. Наступила неприятная тишина, потом Кранц сказал с наигранным дружелюбием:

— Лучше бы вам, господа хорошие, покаяться и придумать что-нибудь, смягчающее вашу печальную участь. Иначе господин судья может и осерчать. Го-

род наш все буйства оставил в далеком прошлом, давно уже живем тихо и спокойно, буянов и вертопрахов не любим, а особенно не нравится властям и полиции, когда людей протыкают насквозь прямо на Карловом мосту. Пораскиньте мозгами...

Глядя на него с печальным вожделением, барон сказал мечтательно-зло:

— Попался бы ты мне в чистом поле, чтобы я ехал на своем Соколе, с саблей в руке... Я бы тебе устроил бег ополоумевшего зайца напрямик через поля...

Так же мечтательно глядя в потолок, Кранц поведал:

— Время уже позднее, и запоздавшим постояльцам в тюрьме кормежка не полагается, но завтра, этак к обеду, непременно пустой похлебки принесут, и при некотором везении там кусочек морковки отыщется...

— Ты бы эту морковку... — сказал барон, а далее в кратких, но чрезвычайно образных выражениях объяснил, как именно господину Кранцу следует поступать со всеми овощами, плавающими в тюремной похлебке.

Судя по лицу полицейского, ему эта идея не нравилась категорически. Побагровев и грозно сопя, он стал придумывать некий достойный ответ, но тут хлопнула дверь, и судья буквально ворвался в комнату.

С первого взгляда было ясно, что это уже совершенно другой человек. Его совиная физиономия не изменилась, не прибавилось ни участия, ни благородства — но за время отсутствия что-то, несомненно, произошло, полностью изменившее судьбу.

Кранц обрадованно сообщил:

— Господин судья, во время вашего отсутствия означенный злодей и убийца, вот этот самый, допустил оскорбительные высказывания в адрес...

Круто развернувшись на каблуках, судья остановился перед ним и брюзгливо сказал:

— В ваш персональный адрес, Кранц — олух царя небесного... Молчать! Я именно вас имею в виду! Наворотили тут.. Какие злодеи? Какие убийцы? Произошло трагическое недоразумение, молодые люди были оклеветаны... Где ваш чертов свидетель?

— Э... По взятии письменного свидетельства отпущен домой...

— Найти! Послать полицию немедленно! Это не свидетель, а клеветник, понятно вам?

Кранц так и выпучил глаза — правда, то же самое сделали барон с Пушкиным, пораженные столь резкой переменой. Судья был на сей раз совершенно серьезен, и походило на то, что когти Фемиды все же с превеликой неохотой разжались...

— Что вы стоите, Кранц? — взвизгнул судья. — Достать мне этого вашего мнимого свидетеля хоть из-под земли! Марш! И вы тоже! — Он яростно вззрился на полицейских. — Нечего тут торчать, чтобы потом требовать сверхурочную оплату! Всем вон!

Полицейские, четко повернувшись через правое плечо, гуськом прошли к выходу — свойственным полиции всего мира тяжелым шагом. На их бравых усталых физиономиях не отразилось и тени удивления, сразу видно, эти молодцы были не из тех, кто ломает голову над загадками жизни. На лице Кран-

ца, наоборот, виделась попытка осмыслить столь резкие перемены — но, подстегнутый яростным взглядом судьи, он переступил с ноги на ногу, тяжело вздохнул, без нужды поправил галстук, pokrutil головой и покинул комнату.

— Возьмите ваши... вещи, господа, — сказал судья упавшим голосом, указывая на трость и пистолеты. — Прошу прощения за ошибку... никто не гарантирован, как говорится... все хорошо, что хорошо кончается, не держите зла... — Он повернулся к ним и закончил сварливо: — А все же, если кому-то угодно интересоваться моим мнением, всякими такими... приключениями постарайтесь в другой раз заниматься в других местах. У нас и в самом деле давным-давно спокойный, сонный, бюргерский город... Все эти ваши... — то ли не найдя подходящего слова, то ли просто не желая продолжать, он махнул рукой. — Как будто и без того нет хлопот... Идите, молодые люди. Ваш друг ждет вас в коридоре.

Они не заставили просить себя дважды — не было никакого желания прощаться с судьей долго и прочувствованно. Фигура неизвестного друга — каковых у них после смерти барона в Праге вроде бы не имелось — вызвала кучу вопросов, но оставаться здесь далее не хотелось. Они вышли, не на шутку опасаясь, что это очередная издевательская каверза, и судья со злобным хохотом вновь позовет полицейских, а потому ускоряя шаг.

В коридоре, скудно освещенном парочкой ламп, стоял совершенно незнакомый человек средних лет, чье узкое аскетическое лицо напомнило Пушкину

литографический оттиск какого-то итальянского портрета времен великого Бенвенуто, изображавшего кондотьера в доспехах.

— Пойдемте, господа, — сказал он деловито. — Моя карета у входа.

Они переглянулись. Не было никакого желания отправляться в ночь с незнакомцем, в неизвестной карете. То, что им вернули оружие, еще не меняло дела — сплошь и рядом им приходилось драться с созданиями, не боявшимися ни шпаг, ни пистолетных пуль...

Их минутное колебание от незнакомца не ускользнуло. Он усмехнулся:

— Полноте, господа. От меня вам не следует ждать подвоха. Не так давно мы уже встречались — ночью, когда вы возвращались от некоего обитающего за городом любителя магических практик. Будь у меня желание причинить вам зло, к тому, согласитесь, были все возможности...

— Черт меня побери со всеми потрохами! — воскликнул барон, присматриваясь к незнакомцу. — Тот мне голосок этот смутно знаком! Не видеть жалованья за три года, если не вы, любезный, велели нам тогда, на дороге, стоять смирно, потому что у вас, мол, достаточно пистолетов...

— Произошла ошибка, — не моргнув глазом, ответил незнакомец. — Вас перепутали с... с совершенно другими людьми. По крайней мере, вам ведь не причинили никакого вреда? Пойдемте. Это в ваших же интересах.

Вновь переглянувшись и пожав плечами, они все же вышли следом за неожиданным избавителем в

ночную прохладу. У крыльца стояла запряженная парой карета, незнакомец распахнул дверцу, пропустил их и залез следом. Кучер тронул лошадей, не дожидаясь распоряжений.

— Куда мы едем? — подозрительно осведомился барон.

— В вашу гостиницу, конечно. Вы соберете багаж и нынче же утром сядете в берлинскую почтовую карету. В берлинскую, подчеркиваю. Вам совершенно нечего больше делать в Вене... и уж тем более в Праге. Все и так закончилось достаточно печально, не стоит добавлять лишних трупов.

— Мы вам благодарны за участие, сударь, — сказал Пушкин. — Ведь это вы, несомненно, нас выручили? Но мы, простите великодушно, не из собственного удовольствия путешествуем и не по собственной прихоти очертя голову лезем в опасные неприятности. Мы состоим на службе...

— Мне прекрасно известно, где вы оба состоите на службе, — отрезал незнакомец. — И тем не менее...

— Но послушайте!

— Нет уж, это вы послушайте, господа... — сказал незнакомец резко. — Тем, во что вы так легкомысленно ввязались, должны заниматься совсем другие учреждения. Гораздо более опытные и, я бы выразился, несравненно более сочетающиеся с сутью проблемы. Учреждения, насчитывающие от роду несколько сотен лет и, смею вас заверить, накопившие немалый опыт в борьбе...

— Ах, во-от оно что... — строптиво произнес барон. — Ну да, долетало до меня, что святая инкви-

зиция вовсе не померла естественной смертью, а поменявши шкуру на змеиный манер, продолжает существовать в глубокой тайне... Как вас именовать, а? Падре какой-нибудь?

— Падре Луис, — сказал незнакомец все так же холодно. — Вы вправе забавляться любыми догадками, я все равно не буду отвечать на прямые вопросы...

— А все и так понятно, — сказал барон. — Так какого ж черта вы нам советуете уехать? Одно дело делаем...

В полумраке нельзя было разглядеть лица падре Луиса, но в его голосе звучала ледяная ирония:

— Сколько самонадеянности, милейший барон... Право же, не стоит и сравнивать. Ваши так называемые серые кабинеты, тайные департаменты и прочие особые экспедиции, простите за прямоту, не более чем детские забавы.... Горсточка людей, приступившая к работе всего-то двадцать с лишним лет назад — без серьезных знаний, без изучения многовекового опыта предшественников, без системы. Французы это называют дилетантизмом — доводилось слышать такое словечко? Вы хватаетесь за все сразу, не в силах отделить главное от второстепенного, гоняетесь за жалкими оборотнями, доживающими век в глухих местечках, преследуете убогих ведьмаков, всего-то и умеющих, что наслать град и створаживать молоко... В г л у б ь вы не копаете, потому что и представления не имеете, где и на какой глубине искать корни...

— Ага, — сказал барон строптиво. — Что ж вы за столько-то сотен лет, такие умные и могучие, кореш-

ки-то не выкорчевали? А теперь изображаете из себя...

— Я же объясняю, вы попросту не понимаете всей сложности и грандиозности задачи...

— Вот и давайте вместе стараться.

— Вместе? С кем? — Падре Луис, судя по голосу, искренне улыбался. — Простите, господа, но чем вы можете быть нам полезны? Я уважаю вашу целеустремленность и отвагу, но ими одними делу не поможешь. Возьмите недавние события. Вы, собственно, ничего не добились, не продвинулись ни на шаг вперед, зато потеряли одного из своих, мало того, были искусно ввергнуты в серьезные неприятности, из которых освободились только благодаря мне. Вы храбрые и порядочные молодые люди, я не мог оставить вас в столь печальном положении... но я не могу постоянно следовать за вами, как нянька за ребенком. У меня есть свои заботы и свои дела. К тому же я уезжаю не сегодня-завтра. И, оставшись без поддержки, вы очень быстро угодите в очередные неприятности... дай бог, чтобы ограничилось неприятностями. Вам, собственно, здесь нечего делать после смерти графа. Без него никто не станет вас слушать, никто попросту не посвящен... Так что вам следует немедленно вернуться... и не в Вену, а в свои столицы. Примите это как совет искреннего друга. Оставьте детские забавы...

— Но послушайте...

— Мы, кажется, приехали? — спросил падре Луис, отодвинув занавеску и выглянув в окошко. — Ну да, вот и ваша гостиница... Никаких дискуссий, госпо-

да. Не тот случай. Вы ввязались в историю, которая вам безусловно не по зубам — и потеряли одного человека. Если не проявите здравомыслие и не уймётесь, рискуете и вашими головами. Так что категорически советую уехать завтра же утром. Больше я вам ничем помочь не смогу. — Он распахнул дверцу кареты. — Всего наилучшего, и да хранит вас Бог..

Они вышли и, не оглядываясь, побрели к входной двери. Сзади простучали колеса отъезжавшей кареты. Полная луна стояла над высокими крышами, ночь была тихая и теплая.

— Бьюсь об заклад, в буфете у нашего гостеприимного хозяина наверняка найдется бутылочка, — сказал барон тихим, потеряннным голосом. — Пойдемте?

В гостиной, как и давеча, никого не было. Шесть свечей в двух канделябрах на каминной доске догорели до половины. Барон застучал высокими дверцами буфета, обрадованно крикнул, извлек бутылку и два стакана. Наполнив их, они уселись у потухшего камина и, не глядя друг на друга, отпили немного. Вино не радовало и не приносило утешения, хотя его никак нельзя было назвать скверным.

— Так и будем молчать? — спросил барон сварливо.

— У вас есть предложения, Алоизиус? — спросил Пушкин угрюмо.

— Найдутся, — сказал барон многозначительно. — Не знаю, что вы теперь думаете, но что до меня — клянусь честью прусского королевского гусара, я в Берлин не вернусь. Прикажете отступить, как побии-

тая собака, когда я жив-здоров, не ранен и полон сил?! Да я их буду гнать, как собака — хорька! Черт меня побери, граф был главный боевой товарищ, и я не имею права все бросать на полпути. Вена о нас ничегошеньки не знает? Ну и ладно! Буду действовать на свой страх и риск...

— Мы будем действовать на свой страх и риск, — сказал Пушкин. — Или вы полагали, что я вас оставляю? Нет уж, дело зашло слишком далеко, и это вопрос чести...

— Замечательно! — рявкнул барон, осушив свой стакан. — В конце-то концов, этот высокомерный падре нам не начальник. Мы сами себе начальники. А итальянец... ну, в конце концов, итальянец — не иголка в стоге сена. Отыщем, и никуда не денется. Если он еще жив. А если жив, он у меня скоро пожалеет, что не озаботился вовремя помереть, прохвост чертов...

Глава десятая

ШПАГА И ДОБРОЕ СЛОВО

Деловитая суета на обширном дворе почтовой конторы как нельзя более благоприятствовала тому, чтобы находиться здесь сколько угодно, смотреть во все глаза, подходить к каждой карете, довольно беззастенчиво рассматривать людей и прислушиваться к разговорам. Место было такое, что никого не удивляли посторонние — никто никого, разумеется, не знал, с равным успехом можно прикидываться и уезжающими, и встречающими, и просто праздными зеваками, стремящимися бездарно убить время. Правда, парочка слуг начинала уже к ним приглядываться, узнавая, — как-никак, они болтались тут третий день — но одеты барон с Пушкиным были безукоризненно, вели себя с непринужденностью скупающих господ, привыкших бродить, где только заблагорассудится, а также не производили никаких действий, которые бдительные почтари могли бы расценить как покушение на чужой багаж или карманы пассажиров. Поэтому слуги — занятые к тому же своими прямыми обязанностями — еще не созрели для вопросов...

— Смотрите-ка, — тихонько сказал барон, чувствительно толкая Пушкина под ребро. — Вам не кажется...

Пушкин всмотрелся. С нешуточной надеждой ответил:

— По крайней мере, нашим рассуждениям это вполне отвечает...

Отвернувшись, они краешком глаза наблюдали за степенно приближавшимся пожилым, представительным господином, бритым, как актер, с белоснежной шевелюрой, одетого довольно старомодно, в темном фраке времен сражения под Ватерлоо. Опираясь на толстую трость, какую обычно носили старики, уже не вполне полагавшиеся на свои ноги, пожилой господин тем не менее передвигался так, что в его походке усматривалось некоторое несоответствие с общим обликом...

— А? — многозначительно подмигивая, спросил барон.

— По-моему, дождались, — сказал Пушкин, чувствуя бодрящий подъем.

— Тогда...

— Думаю, самая пора, — кивнул Пушкин.

Непринужденно отойдя на три шага, барон задел тростью торчавшего у ворот мальчишку и что-то ему тихо сказал. Сорванец — истинное дитя улицы — важно кивнул и, засунув руки в карманы потрепанных плисовых панталон, направился в сторону предместья. Уже миновав пожилого господина, он вдруг подпрыгнул и завопил:

— Руджиери! Руджиери!

И, насвистывая, побрел дальше. Никто не обратил внимания на выкрик уличного мальчишки, оставшийся к тому же совершенно непонятным для всех,

кто находился поблизости — вот только пожилой господин явственно вздрогнул, сделал такое движение, словно собирался оглянуться, но в последний миг удержался усилием воли. И пошел дальше, уже гораздо быстрее, не касаясь тростью земли.

Никаких сомнений более не оставалось. Они с двух сторон двинулись к достигнутому распахнутых ворот господину. Пушкин, раскинув руки, весело и беззаботно закричал по-французски:

— Милейший дядюшка Себастьян, наконец-то! Мы уже измучились ожиданиями!

И заключил невольно шарахнувшегося итальянца в крепкие объятия. Теперь он видел, что это действительно был доподлинный Руджиери, хотя и плохо узнаваемый без бороды, сбритой совсем недавно — четко выделялась белая кожа на щеках и подбородке.

С другой стороны подскочил барон, самым задушевым образом обхватил итальянца и, приблизив лицо, сердитым шепотом сообщил:

— Если ты, рожа продувная, бежать припустишь или начнешь орать, я тебя, клянусь полковым знаменем, насквозь проткну, и будешь, как заяц на вертеле...

— Ну что же вы так, барон, — сказал Пушкин весело, не размыкая объятий. — Попробуем предоставить мессиру Руджиери шанс на спасение... Дражайший синьор, быть может, вы захотите позвать на помощь, а то и крикнуть полицию? Смею заверить, мы не будем вам препятствовать. Вон как раз прохаживается страж закона, ради устрашения преступников

напустивший на себя бравый и угрожающий вид... Не желаете позвать?

Кукольник таращился на него, как на привидение, не проявляя никаких намерений устроить шум.

— Я думал, вас уже давно... — прошептал он так тихо, что они едва расслышали.

— Отправили на тот свет? — догадливо подхватил Пушкин. — Или устроили какую-нибудь гнусность? Должен вас разочаровать, синьор, мы с моим другом в огне не горим, в воде не тонем... Ну, что же? Будете звать полицию? Или предпочтете промолчать? Что-то мне подсказывает, что в кармане у вас лежит паспорт на какое-то другое имя, вовсе не то, которое дали вам при крещении родители. А ведь в Праге найдутся люди, которые вас превосходно помнят именно как синьора Руджиери... Так что от скандала, подозреваю, плохо придется в первую очередь вам...

Барон ласково спросил:

— Что ж ты молчишь, сволочь? По роже захотел?

Пушкин, дружески приобняв итальянца, решительно увлек его в сторону от почтовой конторы, к липовой аллее, безлюдной и тихой. Все это время он громко тараторил:

— Мне вам столько нужно рассказать, дядюшка Себастьян! Тетя Эванджелина, должен вас обрадовать, наконец-то излечилась от ипохондрии, а наш маленький Шарль...

Бросив быстрый взгляд через плечо, он убедился, что похищение прошло абсолютно незамеченным — у всех, кто находился во дворе, хватало своих забот,

одни мысленно были уже в пути, другие с превеликим облегчением разминали ноги после долгого пребывания в почтовой карете, у прислуги были свои дела...

Руджиери дернулся, тщетно пытаясь вырваться:

— Мой дилижанс сейчас отправляется...

— Я знаю, — сказал Пушкин. — Дилижанс, направляющийся в Тоскану? Ну вот, видите, мы угадали правильно — что вы в конце концов решите искать спасения от жизненных сложностей на родине...

— Как вы меня нашли?

— Мозгами шевелить умеем! — гордо сказал барон.

— Мы двигались, как говорится, от противного, — сказал Пушкин охотно. — Ясно было, что вы постараетесь изменить внешность так, чтобы она являла полную противоположность обычной. Бородач с волосами цвета воронова крыла — значит, высматривать следовало седого старика с бритым подбородком. Прежде вы любили крикливые жилеты и одежду ярких, светлых тонов — следовательно, нарядитесь в темное. И так далее... Каюсь, мы несколько раз ошибались... но терпение оказалось вознаграждено. Ваш дилижанс уйдет без вас.

— Шутки кончились, — сказал барон воинственно, оттесняя пленника за толстое дерево, где их никто не мог увидеть со двора и с проезжей дороги. — Прокोलю, как собаку, без всяких колебаний...

— Граф Тарловски убит, — сказал Пушкин. — Так что не советую особенно полагаться на наше милосердие...

— Граф?! Господа, клянусь Пресвятой Девой, я не имею к этому никакого отношения! Я сам от них прячусь четвертый день... Они со мной расправятся без колебаний...

— Вот совпадение, мы тоже, — сказал барон. — Если будешь влиять и снова изображать идиота...

— Шутки кончились, — кивнул Пушкин. — Слишком далеко зашло дело. И выход у вас, любезный, только один — быть предельно откровенным.

— Господа, господа! Мне нужно как можно быстрее покинуть Прагу. Они меня убьют...

— Интересно, за что? — спросил барон. — Уж не за то ли, что ты, проходимец, не смог кого-то убить с помощью чертовых птичек? Которых я порубил в мелкую щепу?

— Вы и это знаете?

— Говорю тебе, мозгами шевелить умеем!

— Верно, — горестно вздохнул Руджиери. — Я взял деньги вперед... Никакие оправдания и ссылки на непреодолимые обстоятельства не помогли бы... А с другой стороны, мне нужно было скрыться и от... — Он замолчал, боязливо оглядываясь.

— От вашего приятеля с черными кудрями и меланхоличным лицом, которого мы видели возле вашего дома? — спросил Пушкин. — Кто это?

— Это не человек... — сдавленным шепотом произнес Руджиери. — То есть... Это что-то другое... человек, но в то же время и не человек вовсе...

— Да кто он такой, прах тебя побери? — прикрикнул барон. — Черт? Колдун? Упырь проклятый?

— Вы не поймете... я и сам не до конца понимаю... Страшное существо... Господи ты боже мой! — вырвалось у него со стоном. — Клянусь чем угодно: я и не собирался связываться со всей этой нечистью, влезать в ее дела, становиться им кумом... Я ведь не-многого хотел...

— Я понимаю, — кивнул Пушкин. — Всего-навсего провернуть несколько дел, используя оживающих кукол... или статуи... сколотить некоторое состояньице и зажить на покое барином?

— Ну, примерно... Поймите вы, никакой я не колдун и не черный маг, я хожу в церковь и не собираюсь умирать без исповеди и отпущения грехов... Просто-напросто в семье сохранились кое-какие фамильные секреты, и не более того...

— От того знаменитого Руджиери, что был вашим предком?

— Ну да, ну да... Я, собственно, и не умею ничего другого, кроме как оживлять на время... ну, вы знаете...

— Как это делается? — спросил Пушкин. — Есть какие-то заклинания?

— Не думайте, что все так просто, — сказал кукольник, к которому на миг вернулась прежняя спесь. — Пробормотать пару фраз, не сбившись — и готово дело. Ничего подобного. Есть, конечно, и слова... так бы я это назвал, потому что «заклинания» — это уже отдает чернокнижием и прочими неприемлемыми для доброго христианина вещами. Но, кроме слов, есть еще кое-какие секреты, нужно учитывать и положение звезд, и фазы Луны, и кое-что другое... Это — слож-

ное искусство, передававшееся из поколения в поколение, и не думайте, что за несколько минут вы сможете вырвать у меня секрет и овладеть мастерством...

— Помилуй бог, мы и не стремимся, — сказал Пушкин с легкой брезгливостью. — Нас просто интересуют подробности... Значит, до некоего момента вы с Ключаревым благоденствовали? Находили нетерпеливых наследников, тех, кто желал от кого-то избавиться... А потом?

— Мы собирались отправиться...

— Куда? Я вас спрашиваю, куда?

— Во Флоренцию...

Чувствуя прилив охотничьего азарта, Пушкин спросил, не давая собеседнику передышки:

— Потому что банк, где хранятся рукописи, за которыми направлялся Ключарев — во Флоренции?

— Все-то вы знаете...

— Как он именуется?

— Э нет, господа, — решительно возразил Руджери. — Так дело не пойдет. Сдается мне, разговор достиг того места, где следует поторговаться и обсудить гарантии...

— Ах ты скотина! — с некоторым восхищением воскликнул барон. — Он еще торгуется, в его-то положении!

— Положение ваше и в самом деле незавидное, синьор, — сказал Пушкин. — С одной стороны, за вами идут по пятам некие весьма неприглядные то ли люди, то ли существа, которых к ночи поминать не следует. С другой — мы настроены решительно...

— Вот я и пытаюсь проскользнуть меж двух огней — огрызнулся итальянец. — Будете меня за это осуждать? По-моему, вполне уместное в моем положении намерение. Честью клянусь, господа, графа я не убивал и не имею к его смерти никакого отношения. Я всего-навсего хочу бежать подальше от сложностей... — Он выглянул из-за дерева и печально pokrивил губы. — Ну вот, дилижанс отправился в Тоскану. Багажа не жаль, там не было ничего особенно ценного, но это было спасение...

— Ну вот, кое-что начинает проясняться, — усмехнулся Пушкин. — Хотите сказать, название банка вы сообщите только во Флоренции?

— Именно. Помогите мне туда все же попасть — и разойдемся полюбовно. — Он покосился на барона, с воинственным видом сжимавшего рукоять трости. — Синьор, если вы меня убьете, вы не узнаете ничего. А пыткам вы меня вряд ли подвергнете — хотя бы просто потому, что для этого нужно соответствующее укромное местечко... Оно у вас имеется?

— Наглец... — протянул барон.

— Простите, — с достоинством сказал Руджieri. — Всего-навсего загнанный в угол человек, пытающийся использовать свой последний шанс. Вы бы на моем месте не поставили все на карту?

— Он прав, Алоизиус, — хладнокровно сказал Пушкин. — Он все великолепно рассчитал... Значит, они вас в Праге посетили?

— Да.

— И что же они хотели? Получить ваш секрет?

— Да зачем им мой секрет! — в сердцах сказал Руджиери. — Они и сами владеют чем-то похожим... Им позарез нужны были те бумаги, за которыми собрался Ключарев. На меня надели, требуя, чтобы я от него добился ключа... Он не отдавал, конечно, и я его прекрасно понимаю: они бы его хладнокровнейшим образом уничтожили... или, что еще хуже, взяли бы к себе...

— Да кто они, прах побери, такие? — спросил барон.

— Кто бы они ни были, от них следует держаться подальше, — сказал Руджиери. — Уж можете мне поверить... Боже мой, как прекрасно все складывалось, пока не появились эти твари: жизнь была безоблачной и спокойной, фамильные секреты имели мало общего с черной магией, можно сказать, покой и благоденствие...

— И несколько убийств, — резко бросил Пушкин.

— Синьоры, так уж эта жизнь устроена, что всякий устраивается, как сумеет...

— Дал бы я тебе... — в бессильной ярости сказал барон.

— Между прочим, вам тоже следовало бы побыстрее из этого города убраться, — сказал Руджиери довольно деловито. — Они о вас прекрасно осведомлены, и вы их весьма раздражаете...

— Ну, вам-то лучше знать, — сказал Пушкин. — Это ведь вы послали к нам ваших птичек? Ночью, под Прагой?

Руджиери, не выказывая особого раскаяния, развел руками:

— Ну что мне оставалось делать, синьоры? Тысячу раз простите, но я оказался в положении, когда от меня уже ничего не зависело. Мне приказали, и я исполнил... Рад видеть вас живыми и невредимыми, кстати... — Он повернулся к барону. — Пожалуй, я на вас и не сержусь за моих птичек, я понимаю, что вы рассердились...

— Еще немного — и от умиления заплачу, — мрачно сказал барон. — Александр, можно вас на два слова? А ты, прохвост, стой как вкопанный и не вздумай бежать, тогда уж тебе точно конец придет...

Подхватив Пушкина под руку, он отвел его на пару шагов и жарко зашептал:

— У нас не будет другого шанса! Едем во Флоренцию! Далековато, правда, и по-итальянски ни словечка не знаю... А вы?

— Я тоже, — сказал Пушкин. — Ничего, как-нибудь объяснимся на французском... У меня есть векселя, подлежащие оплате любому предъявителю, можно нынче же переделать их на флорентийский банк...

— У меня тоже. Правда, во Флоренции не найдется наших...

— Вот тут я в лучшем положении, — усмехнулся Пушкин. — В канцелярии нашего посланника при тосканском дворе имеется некий офицер...

— Тем лучше. — Барон смотрел упрямо и дерзко. — В конце концов, мы никаким самовольством не занимаемся, мы скрупулезно выполняем приказ. Нам было поручено догнать Ключарева... но если выяснилось, что у него имеются во Флоренции чертов-

ски важные бумаги, следует выхватить их из-под носа у э т и х... Этого сукина кота, — он покосился на итальянца, торчавшего на прежнем месте, — придется, увы, пока что помиловать...

— Вот именно. И заботиться о нем до поры до времени, как об отце родном. Что поделать, есть вещи важнее...

— Значит, решено?

— Решено.

— Вот вам моя рука! — воскликнул барон. — Вдвоем мы и в преисподней не пропадем...

Они вернулись к дереву, и Пушкин сказал без особого дружелюбия:

— Вам пока что везет, Руджиери. Мы посовещались и решили принять ваше предложение. Мы все вместе отправляемся во Флоренцию. В пути мы вас бережем и охраняем... а там, на месте, вы нам выдадите название банка. Только предупреждаю: обмана я вам не прощу. Во Флоренции есть наши люди, это не пустая угроза...

— Если что, я всю эту Флоренцию переверну вверх дном, — сказал барон решительно. — И не будет у меня на всю оставшуюся жизнь другой цели, кроме как найти тебя, мошенник, и содрать с тебя шкуру не в переносном, а в самом прямом смысле. Слово прусского гусара. Чем угодно клянусь. Ты понял, прохиндей проклятый?

Пушкин добавил, холодно чеканя слова:

— Я не столь решительно настроен, как мой друг, и кожу с вас драть не намерен — исключительно оттого, что никогда не занимался этой про-

цедурой, а там наверняка есть свои тонкости мастерства, которыми в два счета не овладеешь... Я поступлю проще. Если попытаетесь нас обмануть, наш посланник в Тоскане будет добиваться вашей поимки и ареста как простого вора: я с честнейшим видом буду уверять, что вы у меня мошенническим образом выманили огромный фамильный алмаз... Флоренция, конечно, ваша родина, но вряд ли тамошняя полиция, доведись ей выбирать меж свидетельством нашего посланника и вашими объяснениями, поверит именно вам. Вы, как у нас говорится, отрезанный ломоть. Давненько на родине не бывали, болтались в чужих краях, растеряли все связи и знакомства, да и положение занимаете не особенно завидное... И потом, может вновь всплыть петербургская история... даже две. Уж Петербург придумает, в чем вас обвинить так, чтобы это выглядело убедительно.

— А Берлин ни за что не отстанет, — пообещал барон. — Сочиним отличную историйку про то, как ты, паршивец, в Гогенау зарезал ради столового серебра почтенную семидесятилетнюю трактирщицу да еще и надругался над ней предварительно... Это ты, проходимец, сам по себе, а у нас с моим другом за спиной — державы...

— Не страшайте, я вас умоляю, — поморщился итальянец. — Я и не собираюсь вас обманывать. Мне эти чертовы бумаги совершенно не нужны. У меня одно желание: прожить остаток дней спокойно, чтобы днем не барабанила в дверь полиция, а ночью... — он передернулся, — а ночью чтоб не

маячили за окном и не лезли в комнаты эти проклятые создания... Давайте поспешим, господа. Я слышал, вечером еще один дилижанс уходит в Тоскану. Если на наш след нападут... вы знаете кто, никому не поздоровится. Сейчас, правда, светлый день, но кто их знает, я уже каждого куста боюсь, как та ворона из вашей русской пословицы...

Часть вторая

ОЧАРОВАНИЕ ДРЕВНИХ КАМНЕЙ

Глава первая

В ВИХРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ЗНАКОМСТВ

Атмосфера вокруг царила самая благолепная, исполненная покоя и полного отсутствия житейской суеты. Барон возлежал на широком диване, попыхи-вая трубкой и время от времени протягивая руку к изящному столику, на котором помещалась бутылка вина и стакан. У противоположной стены точно в такой же позе размещался Пушкин, снабженный теми же атрибутами приятного ничегонеделанья.

Приятели отводили душу. Путешествие на почтовом дилижансе из Праги через добрую половину итальянских земель утомило и вымотало до предела. Размышляя над ним, Пушкин не раз уже думал, что барону пришлось гораздо легче: Алоизиус с его простыми, житейскими взглядами, не обремененными романтическими иллюзиями касательно древней страны, куда им предстояло добраться, соответственно, и не чувствовал разочарования. Ему самому пришлось гораздо труднее. Италия, родина великих живописцев, скульпторов, поэтов, мыслителей, земля страстей, интриг, любовных походов и войн прежде представлялась неким обетованным краем, не знающим грубой житейской прозы, воспарявшим над суетой, неудобствами и неустройством.

Действительность, как и следовало ожидать, оказалась напрочь лишенной иллюзий и романтики. Порой попадались и прекрасные места, где мирно рос виноград, благоухали лавровые деревья, живописные ребятишки, словно сошедшие с полотен мастеров Возрождения, пасли стада свиней, а оливковые рощи выглядели умиротворенным преддверием рая.

Однако попадалось и совершенно другое — унылые болота вокруг Феррары, туманные равнины за Эвганейскими горами, где царила малярийная лихорадка, раскисшие от постоянной сырости берега реки По, мириады мух и комаров, немилосердно кусавших и людей, и почтовых лошадей — так что было не до красот природы даже там, где они ласкали взор. Толпы назойливых нищих, в большинстве своем калек, сгрудившихся у ворот гостиниц и постоялых дворов, чуть ли не лезших к путешественникам в карманы, преследовавших неумолчным хором причитания и просьбой о милостыне; сами эти гостиницы ужасного облика, где яйца большей частью оказывались несвежими, оливковое масло (которым тут сдабривали абсолютно все) — прогорклым, мясо — жестким, а вино больше напоминало тот ядовитый напиток, который по приговору суда должен был выпить великий философ Сократ.

Одним словом, путешествие выдалось столь утомительным и лишенным даже тени удобств, чего ни возьми, что барон не раз, совершенно серьезно, вслух выражал желание, чтобы на почтовый дилижанс напали наконец местные разбойники, схватка с кото-

рыми станет великолепной возможностью сорвать на ком-нибудь дурное настроение. Однако пресловутые итальянские разбойники, судя по рассказам во множестве кишевшие на больших дорогах, такое впечатление, неким неведомым образом узнали заранее о стремлении барона вдоволь позвенеть клинком и пострелять из пистолетов — а потому за все время пути так и не побеспокоили. Барон громогласно высказывал убеждение, что они попросту сменили ремесло на более прибыльное, понастроили этих убогих придорожных гостиниц и дерут втридорога с путешествующих за неопишуемые яства и прокисшее вино, пользуясь своим положением единственного источника провизии на многие мили вокруг. Временами Пушкин начинал верить, что так в действительности и обстоит...

Прибыв во Флоренцию, они ощутили себя счастливыми, вернувшись из тех тяжелых и опасных экспедиций в загадочные недра Африки, к истокам Нила, на которые сейчас такая мода. Барон, впрочем, со свойственным ему прямодушием именовал это иначе: «Будто из преисподней вырвались в двух шагах от сковородки...»

Во Флоренции все изменилось самым волшебным образом. Поначалу, во время первой прогулки, их не на шутку изумил местный обычай непринужденно справлять малую нужду прямо на улице, не особенно и выбирая укромные местечки — так поступали даже вполне почтенные на вид пожилые синьоры, а дамы притворялись, будто вовсе и не замечают ничего. Барон долго крутил головой, вслух прикидывая

все напасти, обрушившиеся бы на прохожего, вздумавшего вести себя подобным образом в любом прусском городке — да и Пушкин считал, что это уж чересчур даже для непритязательных российских нравов. Однако в чужой монастырь со своим уставом не ходят, понемногу они не то чтобы привыкли, а сами начали равнодушно проходить мимо обычного на улице зрелища.

Они сняли апартамент в гостинице с окнами на набережную реки Арно — как не без гордости сообщил любезный хозяин, именно там некогда изволил обитать знаменитый покоритель женщин Казанова, и во Флоренции не изменявший своим привычкам. Сначала оба приятеля приняли это сообщение за чистейшей воды исторический анекдот, рассказанный без всякой задней мысли, — но тут же выяснилось, что столь нехитрым намеком хозяин попросту перекидывал мостик к теме, которую принялся развивать более подробно: без особых недомолвок предлагая «молодым синьорам» общество невероятно красивых и обученных самому галантному обращению дам (а также, если вкусы приезжих простираются в иную область, то — галантных, воспитанных и приятных юнцов).

После того, как хозяин был отправлен восвояси, настал черед вереницы других просителей: разбитных молодцов самого продувного вида, приходивших наниматься в лакеи, господ, промышлявших сдачей внаем карет, распространителей мест в оперных ложах, просивших маленького вспомоществования потомков знатнейших итальянских родов, вверг-

нутых волей судьбы в вульгарную нищету, и даже изобретателей вечного двигателя и философского камня, просивших субсидии на успешное завершение работ, находившихся якобы в той стадии, когда лишь крохотный шаг оставался до ошеломительного триумфа, сулившего несказанную прибыль как самому хозяину секрета, так и тому предусмотрительному приезжему, что вложит деньги в беспроигрышное предприятие.

Именно эти последние, потрясавшие мудреными чертежами и цитировавшие по памяти оказавшиеся в их распоряжении достовернейшие труды алхимиков древности, и привели барона в конце концов в нешуточную ярость. Он кликнул хозяина, продемонстрировал свой арсенал и пригрозил, что начнет отрубать уши и стрелять без промаха — сначала по просителям, а там и самому хозяину покажет, на что способны выведенные из равновесия прусские королевские гусары. Только после этого хозяин, не на шутку встревоженный перспективой потерять клиентов, предпринял какие-то меры, после чего надоедливые просители все до одного куда-то пропали.

— В итальянской жизни, готов признать великодушно, есть и неплохие стороны, — сказал барон, печально разглядывая опустевшую бутылку. — И вот что мне пришло в голову, дорогой Александр... Вам не кажется, что упоминания хозяина про юных дам исполнены некоторого резона?

— Согласен, барон, — сказал Пушкин, в свою очередь приканчивая бутылку. — Однако...

Он задумчиво посмотрел на дверь в соседнюю комнату, за которой все еще спал сном праведника синьор Руджиери, не меньше их изнуренный путешествием и объявивший, что он прежде всего намерен как следует отдохнуть, а потом уж заниматься банкирскими конторами.

— Да, я понимаю, — сказал барон. — Вот только... обратили внимание? Этот сукин кот давненько не был на родине, а потому не кажется человеком, способным смаху отыскать надежное убежище и сбежать от нас в первый же день... Он сам держится чуть неуверенно.

— Береженого Бог бережет... — задумчиво сказал Пушкин.

Он встал и, осторожно приоткрыв дверь в соседнюю комнату, заглянул туда. Руджиери безмятежно похрапывал, лежа лицом к потолку, и, наблюдая за ним, Пушкин в конце концов уверился, что это не было притворством. Поплотнее прикрыв дверь, он присел на диван рядом с бароном и негромко спросил:

— Алоизиус, как по-вашему, кто стоит ближе всех к изнанке жизни и тем ее секретам, о которых не принято упоминать в приличном обществе, а также являть их напоказ?

— Полиция, конечно.

— А еще?

— Что за вопрос! Шлюхи и разбойники.

— У меня появились некоторые мысли... Вернее, соображения. Нам, очень может быть, придется здесь задержаться. На первый взгляд дело простое —

явиться к банкиру, предъявить ему ключи и забрать рукопись. Однако что-то мне подсказывает, что все не так просто.

— Ага! — сказал барон. — Думаете, нам попытаются помешать? Ну да, если уж они навели на нашего кукольника страху и подчинили себе полностью, он мог и им проболтаться про банк...

— Вполне вероятно. Но этим дело не исчерпывается... Помните последние слова графа?

— «Тоскана»...

— Именно. Он отправился узнать что-то не об отдельных людях, а о тех самых тайных обществах, которые нас так интересуют. Падре был совершенно прав: мы заняты сбором вершков. Гоняемся чуть ли не за деревенскими дурачками... А нам нужны общества. Граф что-то узнал — иначе зачем с ним поторопились расправиться?

— Понятно, — сказал барон. — Думаете, ниточка ведет во Флоренцию?

— Очень может быть.

— Ну, ясно, — сказал барон. — Я все понял и не имею ничего против — с превеликим удовольствием постараюсь отомстить за графа. Он был славный боевой товарищ. Какие-нибудь планы у вас появились?

— Я не зря спрашивал, кто, по вашему мнению, стоит ближе всех к изнанке, — усмехнулся Пушкин. — Подождите меня, я постараюсь обернуться быстро...

Он накинул сюртук, спустился вниз и вышел из гостиницы. Как он и предвидел, на набережной, помимо обычных приезжих, пришедших полюбовать-

ся видом на заречную часть Флоренции, во множестве сидели, стояли, прохаживались те самые искатели места и вспомоществования, стремившиеся обрести хозяев лакеи, посредники между жаждавшими развлечений и жрицами небескорыстной любви, и прочая, большей частью сомнительная, публика. Высмотрев подходящего молодца, чья физиономия представляла нужную смесь простодушия и лукавства, Пушкин без церемоний обратился к нему по-французски:

— Не вечный ли двигатель изволите изобретать, синьор?

— Да что вы! — непринужденно ответил тот. — Я на столь высокие материи не замахваюсь. Каждому свое, как сказал аббат, направляясь вместо мессы в таверну. Я, сударь, всего-навсего ищу место слуги при подходящем хозяине — чтобы платил вовремя и не медными грошами, не впутывал ни в какие темные дела и руки не распускал. А я, со своей стороны, могу пообещать преданность и добросовестность. По крайней мере, на все время, пока регулярно получаю жалованье. Позвольте осведомиться, ваша милость, не ищите ли вы подобного человека?

— Пожалуй.

— Тогда вы удачно обратились! — молодец почтительно раскланялся. — Зовут меня Луиджи Брамболини, коренной флорентиец, рекомендации имеются, в полиции на хорошем счету... Женой и детьми не обременен, родственников не больше, чем их обычно бывает у разорившегося в пух и прах богача, то есть ни единого.

— Прекрасно, — сказал Пушкин. — Пойдемте со мной, обсудим все подробности... Хотя нет, подождите. Поскольку вы, думается, уже у меня на службе, можете смело считать, что она началась. Любезный Луиджи, я путешествую не один, а с приятелем. Люди мы молодые, семейством не обремененные, как и вы, привычки имеем самые естественные, а потому решили познакомиться с какими-нибудь симпатичными и благонравными девицами...

— Дело житейское, синьор, как сказал палач, подступая к приговоренному с «испанским сапогом»...

— Мне говорили, здесь хватает людей, готовых это устроить...

— Вам, в общем-то, нисколько не соврали, синьор, — деловито сказал Луиджи. — Их тут полно... только, коли уж я у вас на службе, позвольте дать полезный совет. П р и л и ч н ы х людей, способных свести с порядочными девицами, вам тут, на набережной, искать не следует. С вашего позволения, я вам изложу потом, где их лучше всего найти. А эти... — Он презрительным взглядом окинул кучку земляков. — Любители ловить рыбку в мутной воде. Хорошо еще, если все ограничится тем, что якобы шестнадцатилетней девице, которую они вам подсунут, окажется сорок. Случается и хуже. У девиц, которых предлагает опрометчивым людям вон тот толстяк с кольцами из фальшивого золота и доставшимся ему по ошибке видом честного человека, есть дурная привычка подливать гостям в вино или шоколад некое питье, после которого они выпадают из ума и просыпаются где-нибудь на городской свалке уже без

часов и кошелька... А может случиться и похуже — так что вашим родным и друзьям придется раскошиться на выкуп. — Он понизил голос, корча многозначительные гримасы. — У этого толстяка среди друзей попадают такие субъекты, что синьор аудитор*, знай он все, мог бы и рассердиться не на шутку... впрочем, я не доносчик, синьор, и не полицейский агент, я просто хочу предупредить вашу милость о некоторых опасностях, подстерегающих приезжего в нашем великолепном городе...

— Вы имеете в виду разбойников? — спросил Пушкин напрямую.

— Некоторые их и так называют, синьор...

Беседуя таким образом, они поднялись навверх, где барон коротал время в обществе второй бутылки.

— Могу вас обрадовать, барон, — сказал Пушкин. — Мы наконец-то отыскали надежного слугу. Каков молодец? Рад вам представить синьора Луиджи, большого знатока Флоренции... Луиджи, подойдите-ка сюда. — Он подвел парня к двери в соседнюю комнату и чуть ее приоткрыл. — Этот человек — наш с Алоизиусом дядюшка. Собственно, из-за него мы и предприняли путешествие во Флоренцию — именно здесь живет отличный врач, который только и может помочь бедняге. Бедняга, надобно вам знать, повредился в рассудке, когда тетушка сбежала с гусаром и изрядной толикой фамильных бриллиантов. Не смог пережить такого удара. Временами он пребывает в здравом уме, а временами на него на-

* Начальник полиции во Флоренции.

ходит... Рвется бежать куда-то, от кого-то спастись, именует себя то британским герцогом, то персидским принцем, то, чаще всего, почему-то итальянским кукольным.

— Буйный? — деловито осведомился Луиджи, присматриваясь к мнимому сумасшедшему.

— Ну что вы, — сказал Пушкин. — Добрейшей души человек, вот только, как я только что объяснял, на него находит непреодолимое желание бежать или выдавать себя за совершенно другого человека. Поймите меня правильно, Луиджи. Мы с Алоизиусом искренне любим своего дядюшку и жаждем его вылечить... но, с другой стороны, нам порой хочется и повеселиться. С собой мы его взять решительно не можем — после бегства тетушки он пылает ненавистью ко всем на свете женщинам. Не сидеть же возле него, как пришитым, если есть возможность переложить часть забот на подходящего слугу? Мы с кузеном сейчас пойдем прогуляться... — он ухарски подмигнул, — а вам я поручаю приглядывать за дядюшкой. Миссия эта не особенно сложная: не выпускайте его из гостиницы и не особенно прислушивайтесь к его болтовне, когда он станет доказывать, что он — персидский принц или итальянский кукольник... Вот, кстати, в счет вашего жалованья... — Он протянул слуге монету.

— Можно спросить, синьор, какие аргументы лучше всего воспринимает ваш несчастный дядюшка?

— Решительный тон и недвусмысленно подсунутый под нос кулак, — сказал Пушкин без колебаний.

— Будьте покойны, справлюсь...

— Я на вас полагаюсь, — кивнул Пушкин и, отойдя от двери, громко сказал: — Кузен, нам пора прогуляться...

Барон вытарашил на него глаза, но Пушкин за спиной слуги сделал выразительную гримасу, и Алоизиус проворно вскочил, бормоча:

— Ах да, я и запамятовал...

По дороге он был кратко посвящен в суть дела. Оказавшись на набережной, они решительно направились к помянутому субъекту, то ли по капризу, то ли по недосмотру природы производившему впечатление честнейшего во Флоренции человека. Пальцы у него и в самом деле были унижены полудюжиной массивных перстей весьма подозрительного золота, на часовой цепочке сверкал огромный брильянт, несомненно находившийся в самом ближайшем родстве с прозаическим стеклом, жилет поражал пестротой.

— Действуйте, Алоизиус, — тихонько сказал Пушкин. — Я же вижу, как вас сжигает зуд нетерпения внести свой вклад...

— А что, я запросто... — приободрившись, ответил барон.

Он подкрутил усы, поправил галстук и, выписывая тростью ухарские зигзаги, подошел к означенному синьору, хлопнул его по плечу так, что тот едва удержался на ногах. Безмятежно заявил:

— Старина, тут до меня дошло, что вы знаете кучу прелестных девиц, которые в два счета скрасят скуку богатых путешественников? Презренного металла полны карманы, но скука глохнет...

Благообразный синьор немало не смутился, не стал оглядываться по сторонам с видом оскорбленной невинности. Он, украдкой потирая плечо, ответил непринужденно:

— Разумеется, сударь. Вам повезло, что вы обратились именно ко мне. В этом городе, скажу вам по секрету, мошенников и прохвостов столько, что приличному человеку порой и протолкнуться нельзя. Обчистят в два счета, если не похуже. Но моя репутация известна, кого угодно спросите...

Пушкин прекрасно видел, как при этих словах иные из оказавшихся близко отвели глаза, пряча улыбки — но, притворившись, будто ничего не заметил, спокойно стоял и ждал, когда барон подведет к нему благообразного. Как из-под земли, появилась карета, в которой сводник их разместил со всей предупредительностью, устроился напротив и велел кучеру трогать. Барон развалился на сиденье, выразительно бренча золотом в карманах, виртуозно изображая богатого недотепу, у которого сможет без малейшего труда украсть часы любой уличный мальчишка, лишь начинающий карьеру охотника за простофилиями.

Чтобы основательнее удержать рыбку на крючке, Пушкин произнес обрадованно:

— Действительно, повезло, что мы вас встретили, синьор...

— Синьор Страцци.

— Просто великолепно, что мы вас встретили, синьор Страцци. У нас в вашем прекрасном городе ни единого знакомого, мы, собственно говоря, остано-

вились здесь случайно, проездом в Пистойю, и завтра же поутру должны туда отправиться. Ни с кем решительно не знакомы, никто не мог нам подсказать, где можно повеселиться напоследок... Не все же время отдавать делам?

— И по какой же части изволите быть?

— По торговой, — не моргнув глазом, ответил Пушкин. — Занимаемся ювелирными изделиями, антиквариатом...

Синьор Страцци с нешуточным уважением закатил глаза, поцокал языком с видом человека, умеющего отличить богатых купцов от пускающей пыль в глаза мелюзги. Пушкин бросил еще несколько лениво многозначительных фраз, старательно рисуя образ именно тех крупных рыбок, которые могли в первую очередь заинтересовать субъекта вроде их провожатого: глуповатые и неосмотрительные проезжие, набитые дукатами, не имеющие здесь ни связей, ни знакомых, люди, за которых никто не вступится и не станет искать...

Ему пришло в голову, что он мог и переусердствовать — и ожидать следует не попытки подлить какую-нибудь гадость в вино, а похищения ради выкупа. Но такая возможность, честно говоря, не особенно беспокоила — барона он уже повидал в серьезном деле, да и сам не был легкой добычей для первого встречного итальянского шаромыжника...

Даже не зная города, нетрудно было догадаться, что карета услужливого синьора Страцци увозит их куда-то на окраины Флоренции — купол недостроенного собора Санта Мария дель Фиоре, служивший

великолепным ориентиром, уже почти не виден был над городом. В конце концов карета очутилась за городскими воротами, где по одну сторону узкой дороги тянулись оливковые сады, а по другую по склону горного хребта взбирались старинные зубчатые стены. Из горных ущелий налетали порывы прохладного ветра, карета то и дело обгоняла пешеходов — несомненно, приезжих, в поисках достопримечательностей собравшихся взобраться к церкви Сан-Миньято, откуда на много миль открывалась великолепная панорама Флоренции и окрестностей. Пушкин поймал себя на том, что с превеликим удовольствием последовал бы их примеру. В этом городе было множество великолепных картин, статуй, дворцов и памятников, которые он жаждал увидеть воочию — но начинал подозревать, что не сможет этого сделать, не позволят дела. Было грустно и обидно...

Карета остановилась у одинокого домика, стоявшего посреди оливковых деревьев, синьор Страцци, рассыпаясь в любезностях, распахнул перед ними дверцу, и карета сразу же отъехала. Предводительствуемые проворным чичероне*, они направились внутрь.

Внутри не оказалось на первый взгляд ничего, позволившего бы подозревать в этом домике притон разврата или разбойничье логово — их встретила проворная служанка, пожилая и дебелая, в чистом переднике. Что, впрочем, еще не свидетельствовало о благонадежности уединенного домика за городской

* Гид, провожатый (*итал.*).

чертой: как человек с некоторым жизненным опытом, отягощенным к тому же службой в Особой экспедиции, Пушкин превосходно помнил, что порой такие вот улыбчивые и домовитые тетушки способны хладнокровнейшим образом придерживать за ноги незадачливого путника, пока господа разбойнички его старательно режут...

Служанка, кланяясь и что-то тараторя на непонятном для них итальянском, провела всю троицу в чистенькую гостиную, где на стенах, обитых китайским штофом в мелкий бело-синий цветочек, висели небольшие картинки и гравюры нисколько не фривольного содержания — виды Флоренции, пейзажи, портреты незнакомых господ и дам, а в углу стояли даже клавикорды. Указала на кресла и исчезла.

Они уселись. Синьор Страцци остался стоять, умильно им улыбаясь и поигрывая фальшивым брильянтом на часовой цепочке. Колыхнулась занавеска, и в гостиную впорхнули два очаровательных создания — светловолосая девушка в синем муслине и черноволосая в изумрудно-зеленом: сияя обворожительными улыбками, приседая, они подошли к новоприбывшим так непосредственно и живо, словно были знакомы давно. Барон, топорща усы, звучно крикнул с видом довольным и мечтательным.

— Позвольте рекомендовать, — маслено улыбаясь, сказал синьор Страцци с видом доброго дядюшки из старых английских романов, намеренного устроить счастье благородным юным парам. — Синьорина Тереза (светловолосая улыбнулась), синьорина Франческа (черноволосая лукаво склонила головку).

А это — наши друзья, синьоры Алессандро и Алоизио, путешественники по торговой части...

Как, должно быть, оказалось заранее оговорено, Тереза без колебаний направилась к Пушкину, а ее подруга не менее целеустремленно присела на подлокотник кресла барона, взиравшего на нее со столь умильным видом — словно русский квартальный на рубль взятки, — что Пушкин всерьез забеспокоился, не забудет ли Алоизиус о долге службы. От этих мыслей его тут же отвлекли — склонившийся к его уху синьор Страцци сладеньким голоском пропел:

— Синьор Алессандро, не пожелают ли гости чем-нибудь угоститься? Девушек тоже следовало бы попечевать... и дать им немного денег, чтобы заранее знали, что имеют дело с благородными людьми...

Не раздумывая, Пушкин вынул четыре золотых дуката и сунул ему в ладонь. Поскольку никаких предварительных договоренностей касаясь размера платы не велось, поступок был не вполне здравый — однако как нельзя лучше соответствовал принятому им на себя образу глупого богатенького молодчика, преспокойно швырявшего деньги без счета. Барон, не мешкая, внес свою лепту, небрежно бросив золотые на стол, так что они, мелодично позвякивая, раскатились по скатерти в бело-красную клетку.

Проворно сгребя деньги, синьор Страцци исчез за занавеской. Вскоре служанка внесла поднос, на котором благородным багрянцем отливало вино в хрустальном графине, золотились свежайшие апельсины с зелеными листиками на черенке, а на отдель-

ном блюдечке были красиво уложены засахаренные конфеты.

Потом она проворно убралась, пятясь задом в знак, надо полагать, особенного почтения — вот только Пушкин, притворяясь, что всецело увлечен тонкой ручкой сидевшей на подлокотнике его кресла Терезы, краешком глаза перехватил примечательный взгляд толстухи, украдкой брошенный на них с бароном. Это был вовсе не злой взгляд, и коварства в нем не прослеживалось — просто-напросто рачительная кухарка именно так осматривает гусей в загоне, без всякой злобы или кровожадности прикидывая, кто из них еще не нагулял должного жирка, а кто вполне готов к завтрашнему обеду...

Синьор Страцци больше не появился: ясно было, фигурально выражаясь, что эта крепость отдана им на разграбление...

Франческа, с игривой улыбкой, мимоходом проведя кончиками пальцев по щеке барона, уселась за клавикорды, и, мастерски себе аккомпанируя, грациозно взметая изящные обнаженные руки над клавишами, запела какую-то итальянскую песенку. Ее голосок был таким чистым, нежным, самозабвенно увлеченным мелодией, что все подозрения на миг показались жутким вздором — именно что на миг...

«Я уже никому не доверяю, — смятенно подумал Пушкин. — Никому и ничему. Значит, это ремесло уже начало коверкать душу. Все люди вокруг — за исключением барона — представляются участниками жуткого карнавала, за человеческими лицами прячущими звериные морды... а самое страшное, что так

порой обстоит и в действительности. Алоизиус мне не нравится, ах, как не нравится он мне сейчас, у него чересчур увлеченное лицо, простая душа, он может ненароком поддаться маскам... Все-таки взгляд служанки был очень уж плох — положительно, тарасилась, как на гуся, откормленность опытным глазом прикидывая... Девицы пьют из того же графина, так что отравы там сейчас оказаться вроде бы не должно. В разгар веселья внезапно вломятся какие-нибудь бравы* со шпагами наголо? Нет, чересчур шумно, примитивно и... ненадежно, на дворе все-таки не шестнадцатое столетие, неприязнительное и открытое в своей жестокости, когда даже герцогам преспокойно резали глотки посреди бела дня, на шумной улице. Наш просвещенный век предпочитает действовать зельем... Хорошо бы им оказаться обыкновенными непотребными девками... но это означает, что рухнет задуманная охота...»

Допев последнюю строфу, Франческа встала из-за клавикордов и, безмятежно улыбаясь, сообщила:

— Эту песню когда-то написал для Чечилии Галлерани Леонардо да Винчи...

— Ваш знакомый? — столь же безмятежно поинтересовался барон. — Ну что ж, есть способности у парня... Что вы все смеетесь?

Больше музицирования не было. Пушкин, перебирая тонкие пальчики несшей всякую чепуху Терезы, слушал ее вполуха, в нужных местах отвечая столь же легковесными репликами. Он стал думать, что зря

* Итальянский наемный убийца, головорез.

беспокоился за барона — Алоизиус, перемежая свои речи комплиментами и сомнительными гусарскими шуточками, живописал прелестной Франческе, как великолепно идут у них с кузенком торговые дела, какую ошеломительную прибыль они получили, как пустили по миру два соперничающих торговых дома в Париже и один в Болонье, какие грандиозные планы готовятся претворить в жизнь, после чего, вернувшись в следующий раз, увещают Терезу с Франческой такими драгоценностями, каких нет и у великой герцогини Тосканской. Судя по этому хвастливому монологу, барон всецело сохранял деловую хватку и помнил, зачем они приехали.

В конце концов, в веселой болтовне наступило некоторое замедление и обе красотки стали обмениваться чуть удивленными взглядами. Ясно стало, что соловья баснями не кормят, и настал момент перевести знакомство в иные эмпирии.

Пушкин встал и, глядя на Терезу с ухмылочкой, произнес громко:

— Мне отчего-то вдруг пришла фантазия осмотреть дом... Не проводите ли, синьорина?

Тереза, нимало не удивившись — наоборот, увидев в происходящем привычную определенность — протянула ему руку и увлекла в коридор, беленый, с низким сводом. Едва за ними закрылась дверь, бросилась ему на шею и прильнула к губам. Поцелуй был настолько жаркий и естественный, что вновь захотелось: пусть бы задуманное самими предприятие сорвалось, чтобы — ни зелья, ни разбойников...

Она отстранилась, взяла его крепко за руку и со смехом повлекла по узенькой лесенке вверх. Ни одна ступенька не скрипнула, несмотря на почтенный возраст... есть в этом что-то подозрительное или нет? Приспособлена ли лестница для того, чтобы по ней в нужный момент бесшумно поднялся кто-то незванный, или все подозрения — не более чем разгул воображения на фоне роковых совпадений? В конце концов, репутация синьора Страцци держалась исключительно на словах Луиджи, которого Пушкин знал не более чем пару минут...

Тереза распахнула невысокую дверцу и за руку втащила своего спутника в небольшую комнатку, где не имелось никакой мебели, кроме большой, застеленной, безукоризненно чистой постели и изящного столика возле — на нем опять-таки красовался графин с вином, на сей раз золотисто-прозрачным, и двумя бокалами.

Остановившись возле постели, скрестив руки на груди, Тереза с лукавой улыбкой попросила:

— Задерните шторы, Алессандро, я порядочная девушка и смущаюсь чересчур яркого света...

Он подошел к окну, протянул руки...

И напомнил себе, что подозрения не сняты до конца. Что наступил самый удобный момент...

Притворяясь, что всецело поглощен шторами, краешком глаза наблюдал, как очаровательная светловолосая девушка, нисколько не меняясь в лице, молниеносным движением выхватила из-за выреза платья тонюсенькую стеклянную трубочку и одним

ловким жестом опрокинула ее содержимое в один из пустых бокалов...

Недомолвок не осталось — и он испытал горькое разочарование в странной смеси с радостью оттого, что рассчитал все правильно. Когда он оборачивался, раздался тихий плеск струящегося в бокалы вина. Тереза протягивала ему один, держа свой в левой, улыбалась самым непринужденным образом, без тени порочности или коварства — так, словно сейчас состоялось наконец долгожданное свидание, венчавшее их долгий роман. «О женщины, вам имя — вероломство», — вспомнил он слова великого Шекспира.

Принял у нее бокал, поднес было к губам — Тереза следила за ним без малейшего напряжения, улыбаясь совершенно невинно — словно вспомнив что-то, резко отвел. Улыбнулся сам:

— Ты знаешь, душа моя, у меня на родине есть старый обычай... Мужчина и женщина меняются бокалами, чтобы чувства были крепче...

И преспокойно протянул ей свой бокал, другой рукой попытавшись взять тот, что она по-прежнему держала в левой руке.

Тереза отстранилась, бросила уже с некоторым раздражением:

— Что за глупый обычай... Ты будешь пить?

— Только если мы обменяемся бокалами.

Тревоги в ее голосе по-прежнему не было. Только нетерпение:

— Алессандро, что за глупые капризы? Пей.

— Из твоего бокала.

— Я так не хочу.

— А если я потребую? — Он улыбался безмятежно, можно даже сказать, лучезарно, но голос был холодным и настойчивым.

— Я не буду.

— А если я предложу деньги? Тебе ведь не привыкать к капризам... гостей?

Судя по ее лицу, ей ни разу не приходилось прежде сталкиваться с таким одолжением, и она попросту не знала, что тут предпринять, лихорадочно соображая, как же поступить? Ее взгляд метнулся, как испугнутая птица, голос впервые дрогнул:

— Алессандро, милый, что за глупые шутки? Пей, я тебя прошу...

Она подошла вплотную и попыталась, обворожительно улыбаясь, поднять его руку с бокалом к губам. Без всякого труда Пушкин отвел тонкие пальчики и сделал шаг вперед... еще и еще. Тереза невольно отступала, чуть побледнев, пока не оказалась прижатой к стене, прямо под раскрашенной олеографией, изображавшей какой-то старинный дворец, или, как здесь выражались, п а л а ц ц о. Далее ей было некуда отступать.

Подняв свой бокал к ее лицу, Пушкин произнес холодно, с расстановкой:

— Ты разве впервые встречаешься с тем, что у богатых иностранцев бывают странные капризы? Мой, в конце концов, довольно-таки безобидный по сравнению с тем, что вытворяют иные... Я всего-навсего хочу, чтобы ты осушила до дна мой бокал. Плачу пятьдесят дукатов, — опустив свободную руку, он позвенел золотом в кармане. — Ну?

— Я не буду, — сказала Тереза, совсем побледневшая, глядя ему в глаза без тени улыбки.

— Почему? — воскликнул он с наигранным удивлением. — Такая высокая плата... и такая пустяковая услуга. Что на тебя нашло, красавица? Не хочешь за солидные деньги выполнить столь мелкую прихоть?

— Пить я не буду, — прошептала она с бледным, отчаянным лицом.

Неуловимым движением взметнув свободную руку, Пушкин, прежде чем она успела воспрепятствовать, запустил два пальца за вырез ее платья, вмиг нащупал тонкую трубочку, выдернул, едва не разорвав тонкий муслин. Поднес крохотную склянку к ее лицу:

— Смертельная отравка или просто сонное зелье? Думается мне, скорее уж второе — с трупами много возни, даже в Италии, где на это смотрят проще...

Он зорко сторожил ее движения, и, когда Тереза попыталась в полнейшей растерянности ударить его бокалом по лицу и вырваться, не потерял ни секунды. Легко выбил у нее бокал из пальцев — тонкое стекло жалобно зазвенело, разбившись на ковре, — небрежно отшвырнул свой, заодно и скляночку, обеими руками схватил ее за запястья, отшвырнул от двери и бросил на постель. Навис над ней, спокойный и неумолимый, как мусульманский ангел смерти.

Тереза смотрела на него снизу вверх с нешуточным ужасом. Она вдруг зажмурилась и открыла рот, собираясь отчаянно завизжать, но Пушкин, ожидавший чего-то в этом роде, без церемоний навалился и заткнул ей рот уголком кружевного покрывала. Какое-

то время девушка слабо трепыхалась в его руках, потом словно бы сломалась и прекратила всякое сопротивление.

Подойдя к двери, Пушкин тихонько задвинул щеколду, прислушался к звукам в коридоре — там вроде бы стояла тишина, — вернулся к постели, достал один из своих пистолетов и положил его на столик так же небрежно и буднично, как дряхлый старик выкладывает перед сном вставную челюсть. Присел на мягкую постель рядом с отшатнувшейся девушкой и сказал без улыбки:

— Жить вам, душа моя, если попробуете устроить какой-нибудь фокус, осталось всего ничего... Я разочарован, право. Я всего-навсего хотел провести ночь с красивой девушкой и готов был платить полновесным золотом... Не ждал никакого подвоха... Как же мне теперь быть после столь жестокого разочарования в людях и прекрасной Италии? Что же ты молчишь, краса несказанная?

— Что тебе нужно? — прошептала Тереза, впившись в него испуганным взглядом. — Ты кто?

— Странник, — сказал он. — Путешествую по белу свету, знакомлюсь с людьми... и далеко не всегда нахожу в них искру Божью. Чаще натыкаешься на черную душу, вроде тебя...

Глядя на него вовсе уж в ужасе, Тереза подняла руку, перекрестилась на католический манер, водя узкой ладошкой слева направо. И тут же на ее личике изобразилось, вот странно, некоторое облегчение. Взгляд был прикован к рукояти пистолета, торчавшей из-под сюртука Пушкина:

— Нет уж, святой с пистолетом бродить по земле в человеческом облике ни за что не будет...

Положительно, ей сразу стало легче. Пушкин усмехнулся:

— Ах, вот за кого вы меня второпях приняли, душа моя? За святого, явившегося разобраться с человеческими грехами?

— Не смейся. Всякое случалось, особенно в Италии...

— А человека ты, стало быть, не особенно и боишься?

Она настороженно подала плечами, лихорадочно подбирая подходящее выражение лица: дружеская улыбка, легкое извинение...

— Я же не сделала вам, в итоге, ничего плохого, синьор Алессандро?

— А отравить меня кто пытался?

— Это не отрава, всего-навсего сонное зелье. Здесь никто не берет грех на душу... — Она глянула лукаво. — С человеком всегда можно договориться...

Стук в дверь был громким и настойчивым. Держа пистолет наготове, Пушкин подошел, приблизил ухо. В коридоре вроде бы не поджидала целая банда разбойников. Стук повторился:

— Это я, Алоизиус!

Пушкин распахнул дверь. Влетел барон, с обнаженной шпагой в руке, одним взглядом оценил ситуацию, присмотрелся к осколкам стекла на полу:

— Ага, значит, вы тоже заметили? А я опасался, что ваша поэтическая натура при виде красотишки окажется выше подозрений...

— Смешно, но я то же самое полагал о вас.

— Черта с два! — воскликнул барон. — В чем в чем, а уж в повадках и ухватках шлюх хороший гусар разбирается так же преотлично, как в конских статях или рубке. У нас они тоже такие фортели порой выкидывают — только наши подливают настой «бешеного огурца», а его еще легче заметить понимающему человеку, он зеленоватый, пенится и не сразу растворяется в вине, только в водке вмиг расплывается, как будто и не было его... — Через плечо Пушкина он бросил взгляд на съезжившуюся Терезу. — Успели что-нибудь выведать?

— Я, собственно, только начал...

— Ага, — удовлетворенно сказал барон. — Я ж говорю, натура у вас невероятно поэтическая. Вы наверняка какие-нибудь коварные словесные подступы попробовали в ход пустить? Зачем такая возня... Как только я подметил краем глаза, что эта малютка мне набухала в вино чего-то подозрительного из скляночки, первым делом поставил ей синяк под глазом, чтобы сообразила, что с ней не шутят, а потом приставил шпагу к горлу и пообещал, что всех перережу к чертовой матери, а дом спалю дотла... Короче, они должны поставить на окно лампу под синим абажуром, и моментально, как чертик из табакерки, появится синьор Лукка, чтобы освободить наши карманы от всего ценного, а самих отвезти на той же карете куда-нибудь за пару миль отсюда, чтобы утром продрали глаза в незнакомом месте...

— Барон, вы великолепны, — сказал Пушкин.

— Ого! — приосанился барон. — Видели б вы меня на охоте за тем колдуном из Пфальгейма, что напускал на дорогу туман, а потом грабил и резал заблудившихся путников... Пойдемте. С этим чертовым Страцци я уже побеседовал по душам, и со служанкой тоже, оба сидят в чулане под замком. Сейчас поставим лампу на подоконник и будем ждать, когда птичка прилетит в силки...

— Синьор Лукка — опасный человек, — сказала Тереза.

— Барышня, мы с моим другом тоже не подарок, — сказал барон. — А что это она у вас на свободе? Непорядок...

Он подошел к постели, без церемоний выдернул из-под отшатнувшейся Терезы кружевное покрывало, распорол его надвое шпагой и получившимися жгутами моментально связал девушку по рукам и ногам. Благодушно похлопал ее по щеке:

— Если вздумаешь орать, малютка, пока мы не закончим дела, я и точно спалю домишко, не озаботившись вас развязать... Идемте.

Они спустились вниз, барон извлек из чулана постукивавшего зубами от страха синьора Страцци, толкнул его на кресло в углу, а сам проворно запалил лампу с синим абажуром и поставил ее на подоконник. Зажег вторую, поставил ее на стол так, чтобы она освещала дверь, а углы тонули во мраке. Они с Пушкиным, достав пистолеты, заняли подходящую позицию по углам.

Визитер не заставил себя долго ждать. Дверь черного хода тихонько приоткрылась, послышались ос-

торожные шаги в коридоре, и в гостиной появилась фигура, закутанная в плащ. Новоприбывший остановился, оглядываясь, заметил съездившегося в кресле Страцци и сделал шаг в его сторону.

Послышалось щелканье взводимых пистолетных курков, и два черных дула достаточно недвусмысленно и с некоторым порицанием уставились на вошедшего. Барон проворно снял лампу с подоконника, поставил ее на стол рядом с первой, так что вошедший весь был залит ярким светом. Насмешливо предложил:

— Александр, друг мой, осмотрите карманы этого господина, пока я его держу на мушке. Чует мое сердце, там немало интересного...

Бесшумно подойдя сзади, Пушкин сорвал с незнакомца плащ и, не церемонясь, проворно обыскал. Его добычей стала пара оправленных в серебро пистолетов и испанский складной нож наваха внушительной длины — и довольно-таки изящной работы. Толкнул пленника к столу, похлопав по плечу стволом пистолета, заставил опуститься в кресло.

— Чему обязан столь бесцеремонным обращением, господа? — поинтересовался тот не без хладнокровия.

Это был человек лишь несколькими годами старше их, с тонкими усиками, аккуратно подстриженной бородкой и ухоженной шевелюрой цвета воронова крыла, производивший впечатление решительного и смелого. Обведя всех невозмутимым взглядом, надолго задержавшимся на Страцци, он сказал, покачивая головой:

— Ах, синьор Страцци, синьор Страцци, вы снова поддались искушению вести двойную игру...

— Честью клянусь — возопил синьор Страцци. — Эти два головореза притворились богатыми недотепами, а потом...

— В ваши годы и с вашим житейским опытом, не говоря уж о ремесле, полагалось бы лучше разбираться в людях... Ну так что же, господа? Если вы намерены, говоря высоким слогом, повлечь меня к его милости аудитору Флоренции, не забывайте, что я — всего лишь заблудившийся ночной порой путник, который зашел в этот дом, чтобы спросить дорогу к городским воротам...

— Синьор Страцци про вас рассказал интересные вещи... — зловеще протянул барон. — Плохо гармонирующие с личиной заблудившегося путника.

Пленник бросил на болтуна выразительный взгляд, моментально погрузивший того в состояние несказанного страха, безмятежно пожал плечами:

— Он будет говорить одно, а я — другое...

— Мы не имеем отношения к здешней полиции, — сказал Пушкин. — И вести вас в тюрьму не намерены. Наоборот... — Он опомнился. — Барон, вас не затруднит убраться в чулан этого господина?

Барон с превеликой охотой ухватил синьора Страцци за шиворот, выдернул из кресла, как морковку из грядки, и поволок в коридор, приговаривая:

— Если останется время, я тебе самолично рожу-то разрисую, чтобы не подсовывал вместо честных шлюх отравительниц...

Слышно было, как в недрах дома шумно захлопывается дверь и лязгает засов. Вернувшись, барон вопросительно глянул на Пушкина. Тот сел напротив пленника, положил перед собой пистолет на стол и сказал спокойно:

— Давайте побеседуем, любезный. К полиции, повторяю, мы не имеем никакого отношения...

— Ищете приключений, как это у золотой молодежи нынче модно? — понятиво подхватил Лукка. — Я бы хотел предупредить, что неподалеку от этого домика ждут несколько моих молодцов, которые в случае чего будут здесь очень быстро...

— Предположим, — сказал Пушкин. — И чего же вы добьетесь при таком обороте дел? Начнем с того, что мы с моим спутником оружием владеем недурно. Но даже если вы нас одолеете, что вы получите? Денег при нас немного, драгоценностей нет вовсе... а вам придется еще думать потом, куда деть трупы и как быть с ранеными, которые, несомненно, будут. В любом случае вы вряд ли уже сможете использовать в дальнейшем этот домик, чтобы обирать доверчивых простаков. Меж тем мы могли бы договориться. Сложилось так, что нам нужен во Флоренции кто-то вроде вас, человек, которому можно поручить дела, которые не вполне удобно обделывать открыто. Платим мы неплохо. Что скажете? Принудить вас мы не можем в силу деликатности ситуации... мы просто надеемся, что вы человек здравомыслящий и своей выгоды не упустите...

Какое-то время пленник переводил взгляд с одного на другого. Потом непринужденно усмехнулся:

— Пожалуй, вы и в самом деле не похожи на решивших поразвлечься вертопрахов-дворянчиков... И на полицейских сыщиков тоже. Судя по одежде и другим признакам, вы у нас недавно... Мне что, нужно будет кого-нибудь убить?

— Вам это не по нутру?

— О, что вы, синьор неизвестный, дело лишь в размерах платы... хотя, скажу откровенно, кровопролитие меня не прельщает. Не оттого, что я так уж опасаясь адского пламени, а по причинам более приземленным. Я, знаете ли, неплохо устроился и без кровопролитий — налаженное предприятие, не ограничивающееся этим домиком, устойчивый заработок, в общем, что-то вроде старого торгового дома. А убийство всегда чревато... и перемешает человека в какую-то иную категорию, где заново придется осваиваться. Следовательно, вознаграждение должно быть достаточно большим, чтобы компенсировать все возможные неудобства...

— Вас это, возможно, разочарует, но убивать нам никого не нужно, — сказал Пушкин. — Пока что... Нас в первую очередь привлекает ваше положение человека, наверняка знающего все ходы и выходы, всех и вся.

— Ах, вот оно что, — нимало не удивившись, сказал пленник. — Вы, значит, шпионы? Не смущайтесь, господа, ремесло опять-таки житейское, во Флоренции столько разнообразнейших шпионов, что вы нисколько не будете бросаться в глаза... — И он ухмыльнулся с самым плутовским видом. — У шпионских дел есть одна весьма привле-

кательная стороны: дело всегда идет о хороших деньгах...

— Деньги будут, — сказал Пушкин.

Он полез в карман, wygrеб оттуда все золото, сколько его нашлось, придвинул кучку монет к собеседнику.

— Я так понимаю, это задаток в счет будущих теплых отношений? — осведомился тот.

— Именно.

Тот блеснул великолепными зубами:

— А если я пообещаю вам луну с неба, а сам скроюсь с вашими дукатами?

Теперь усмехнулся и Пушкин:

— Чтобы потом корить себя за то, что удовольствовались такой мелочью, когда вас ждала сотня-другая дукатов?

Барон грозно добавил:

— И чтоб потом прятаться от нас до скончания века? Не стоит того кучка золотых...

— Я пошутил, господа, — безмятежно сказал сеньор Лукка. — Вы, быть может, и удивитесь, но разговариваете сейчас с потомком благородного рода ди Монтеньякко, на законнейших основаниях обладающим фамильным гербом: в черном поле пришитая зеленая гора о трех вершинах, поддерживающая серебряного льва. Увы, древность рода еще не означает, что фамильный герб непременно сопряжен с фамильной сокровищницей. Предки были, как ни прискорбно, безалаберны: то не на того претендента на трон ставили, то не на ту карту. Вот и приходится их потомку зарабатывать на жизнь чем при-

дется... Но, не сомневайтесь, вы имеете дело с человеком благородным, привыкшим честно отрабатывать плату.

— Рад слышать, — сказал Пушкин.

— Что вас интересует? Придворные тайны, арсенал, армия и флот, торговые секреты?

— Тайные общества, — сказал Пушкин.

Лицо Лукки омрачилось.

— Самый тяжелый случай, — сказал он тихо. — О, я не хочу сказать, что не возьмусь за такое дело... но плата будет по высшему разряду. Очень уж рискованно. Все эти карбонарии, революционеры, заговорщики — решительная публика, нож и пистолет пускают в ход так же легко, как мы с вами режем жаркое или откупориваем бутылку. Чуть только заподозрят, что к их тайнам подбираются — жди беды правый и виноватый. Дорого встанет...

— Вы меня не поняли, — сказал Пушкин. — Нас интересуют другие тайные общества, не имеющие отношения к революциям и покушениям на монархов. Другие, понимаете?

Вмешался нетерпеливо ерзавший барон:

— Да что тянуть кота за хвост... Чернокнижники, колдуны и прочая публика. Только не говорите, что ничего об этом не слышали, коли уж знаете все и вся...

Настала долгая томительная тишина. На какой-то миг показалось, что разбойник вот-вот расхохочется им в лицо и посоветует обратиться к пользующему душевнобольных врачу. Но нет, он оставался серьезен. Но нет, он оставался серьезен... он стал еще более серьезен...

— Ах, вот в чем, оказывается, дело, — сказал Лука совсем тихо. — Вы и в самом деле весьма интересные молодые люди... Коли уж, не моргнув глазом, ради этого сыплете золотом... Значит, вы не принадлежите к тем высокообразованным умам, которые считают, что наш век покончил с этими «бабкины-ми сказками»?

— Так уж сложилось, — сказал Пушкин.

— А вы отдаете себе отчет, господа, что ступили на смертельно опасную дорожку? Да, у вас очень серьезные лица, вы нисколько не шутите... Да будет вам известно, это еще опаснее, нежели проникать в секреты карбонариев...

— Нам это известно лучше, чем вы думаете.

— Ну, вольному воля... Вы, господа, ухитрились заняться с а м ы м опасным делом, какое только можно вообразить.

— Хотите сказать, что ваше вознаграждение следует еще более увеличить?

Разбойник глянул на него строго и серьезно:

— Я хочу сказать, что может обернуться и так, что я откажусь от л ю б о й платы. Иногда никакие деньги...

Пушкин видел, что он говорит искренне. Разбойник, заранее отказывавшийся от солидного вознаграждения, представлял собой зрелище, мягко говоря, не вполне обыденное. Это-то как раз и доказывало, что иметь с ним дело, безусловно, стоит: мошенник посулил бы взяться за все, что только душе угодно...

— Будем надеяться, что до того, что вы имеете в виду, не дойдет.

— Что вас интересует?

— Должен признаться, я этого сейчас не знаю и сам, — сказал Пушкин. — Я очертил вам круг наших интересов, вот и все. Вы узнайте все, что только удастся узнать в кратчайшие сроки. Общая картина, если можно так выразиться. В случае, если нас интересует что-то конкретное, я так и скажу... а вы вправе будете отказаться, если испугаетесь...

— Потомок ди Монтеньякко ничего не боится, — с достоинством и некоторой обидой произнес Лукка. — Я всего лишь имею в виду, что существуют ситуации, когда здравомыслящий человек сочтет нужным вовремя отступить. И это не имеет ничего общего со страхом. Общая картина, говорите вы... Сто дукатов не будет слишком обременительной платой?

— Не думаю, — сказал Пушкин. — Вот только...

— О, не беспокойтесь! Я не привык ничего выдумывать и денег зря не беру... Могу я попросить назад свое оружие? Если вы пожелаете вернуться в город, карета к вашим услугам...

...Когда они вошли в свой апартамент, стояла уже глубокая ночь, но Луиджи Брамболини, устроивший себе в углу прихожей импровизированную постель, моментально проснулся, запалил свечу и, зевая, осведомился:

— Господа приятно провели время?

— Приятнее некуда, — сказал барон.

— Рад за вас... Ваш дядюшка, господа, особенных хлопот не доставил. Поначалу он и в самом деле порывался куда-то бежать, ссылаясь на срочные дела,

доказывал, что вы ему вовсе не родственники, даже не земляки, что он — кукольник... но я поступил в полном соответствии с вашими указаниями, и он смирился. Сейчас почивает. И вот что еще, господа... — Малый соорудил крайне озабоченную физиономию. — Вечером возле меня крутился какой-то тип, расспрашивал о вас — давно ли я вас знаю, чем вы занимаетесь и долго ли намерены оставаться во Флоренции... Одним словом, подавай ему все, что знаю. Я ему сказал чистую правду: что в услужении у вас всего несколько часов и знаю о вас не больше, чем про обратную сторону Луны... Субъект неприятный, как попавшая в ковшик с молодым вином жаба.

— Быть может, полиция проявляет бдительность? — спросил барон.

— Полицейских сыщиков, которые тут крутятся, я знаю наперечет, — заверил Луиджи. — Нет уж, он явно служит кому-то другому.

— И черт с ним, — сказал барон. — Мы люди честные, нам скрывать нечего.

— Не сомневаюсь, сударь. Я просто считал своим долгом предупредить, как исправному слуге и положено... Спокойной ночи, господа!

Они прошли в свой апартамент. Едва захлопнулась дверь, барон тяжело вздохнул:

— Ну вот, стоило приехать — и закрутилась вокруг какая-то сволочь... Кто такой?

— Самое печальное, что он может оказаться кем угодно, — ответил Пушкин. — А мы пока что не в состоянии догадаться, кто его послал... Зеваете?

— Да пора бы и на боковую, с пистолетом под подушкой.

— Что до меня, я пока что останусь на ногах, — сказал Пушкин. — Самое время поговорить с нашим дражайшим дядюшкой, который по непоседливости своей все же пытался сбежать, хотя обещал обратное. Он достаточно выпался, так что не грех и побеспокоить... — Он открыл дверь в соседнюю комнату и без церемоний громко позвал: — Дорогой дядюшка! Не побеседуете ли с кузенами, от которых вы недавно отрекались?

Глава вторая

ЛЮДИ ИЗ НАСТОЯЩЕГО И БУМАГИ ИЗ ПРОШЛОГО

На первый взгляд, все обстояло не только уютно, покойно, но и исполнено было самой что ни на есть деловой атмосферы. В руке Пушкина, вольготно устроившегося на обитых полосатой материей креслах, дымилась прозрачным синеватым дымком отличная сигара, перед ним на столике алело в чистейшем бокале превосходное вино, а хозяин кабинета, встретивший его со всем радушием и совершенно российским хлебосольством, говорил без умолку. Сыпал именами, датами, подробностями, без которых, экономии времени ради, можно было, пожалуй, и обойтись...

Пушкин украдкой наблюдал за ним — и чем дальше, тем больше видел за словоохотливостью некую беспомощность и словно бы даже совершенно неуместное здесь угодничество...

Его собеседник, неведомо для всего окружающего мира представлявший в славном городе Флоренции ведомство графа Бенкендорфа, был высоким, полнокровным мужчиной несколькими годами старше Пушкина, его лицо здорового цвета украшали не только усы, но и содержавшиеся в идеальном порядке бакенбарды (что вообще-то сочеталось скорее

с образом провинциального помещика, нежели блестящего кавалергарда в отставке). Движения его были плавными, демонстрировавшими уверенность в себе. Он говорил, говорил, говорил...

Он говорил то, что Пушкину было совершенно ни к чему. То, что, строго говоря, вовсе не должно было интересоваться не только Особую экспедицию, но и Третье отделение в целом: подходя вдумчиво, чистой воды светские сплетни, пикантные и смешные истории из жизни обитавших во Флоренции английских милордов, рассказы о разнообразных случаях, то забавных, то достаточно унылых, даже кровавых, приключившихся возле палаццо Веккьо, или в парке Кашины, или в сумерках у монастыря Чертоза, в двух милях от города. Грешки и секреты почтенных ювелиров, подозрения безупречных вроде бы, почтенных людей в шпионстве для австрийцев, тайны будуара легкомысленной княгини ди Ансельми, мастерски замятый скандал в канцелярии синьора аудитора...

Все это было бы уместно в другое время, где-нибудь в кабачке с хорошей репутацией, где путешествовавший по собственным надобностям, удовольствия ради беспечный поэт Пушкин решил бы провести вечер за бутылочкой с отставным ротмистром кавалергардов Обольяниновым. Но сейчас решительно не годилось. Мало того, Пушкин трижды делал совершенно недвусмысленный намек на то, что следовало бы перейти к настоящему делу — и всякий раз собеседник с восхитительным простодушием ухитрялся делать вид, что намеков не понимает

совершенно. Что полностью противоречило мнению тех, кто рекомендовал этого человека Пушкину как умного, ловкого и хитрого...

Настал момент, когда переносить все это далее не было никакой возможности. И Пушкин, аккуратно отряхнув с сигары столбик плотного серого пепла, сказал решительно:

— Михаил Андреевич, не пора ли прекратить комедию?

— Простите? — с тем же видом величайшего простодушия Обольянинов поднял густые брови.

— У меня нет времени быть ни дипломатом, ни образцом терпения, — сказал Пушкин совершенно другим тоном. — У меня вообще нет времени, совершенно. Я слушаю вас уже три четверти часа. Вы соизволили привести массу имен, подробностей и разнообразнейших фактов... но ни единое словечко из сказанного вами пользы мне, простите, не принесло. А это — деликатности ради я выразился бы, что это в высшей степени странно. Вы — не путешественник-жуир, а штатный чиновник Третьего отделения, направленный сюда для сбора сведений, гораздо более серьезных и важных, чем те, которые вам было благоугодно на меня обрушить в устрашающем количестве. Пикантные сплетни и забавные истории мне совершенно неинтересны...

— Бога ради! — с величайшим энтузиазмом воскликнул собеседник. — Милейший Александр Сергеевич, вам следовало бы сразу очертить круг суточно интересующих вас тем... Извольте! Если речь идет о политике, я готов...

— Это в высшей степени странно, — повторил Пушкин. — К чему мне политика? Я с самого начала сообщил вам, что представляю здесь Особую экспедицию. Вы занимаете пост достаточно высокий, чтобы прекрасно знать, что скрывается за сим обтекаемым названием, знать, чем мы занимаемся и что нас интересует в первую очередь. Вас рекомендовали как дельного человека. Что, в конце концов, происходит? Я не хочу произносить вслух некоторых слов, что вертятся у меня на языке, но ведь они как раз вертятся...

— Ах, Александр Сергеич... — произнес Оболянинов чуть-чуть сконфуженно. — Вот вы о чем... Ну разумеется, я прекрасно осведомлен о сути Особой экспедиции и стоящих перед ней задачах... но ваш департамент, простите великодушно, порой страдает, как выражаются доктора, этакой манией грандиозум, что переводится с латинского как стремление к величию, совершенно оторванному от реалий... Боже упаси, я нисколько не сомневаюсь, что ваши... так сказать, подопечные существуют на самом деле. Как ни смешно это, как ни дико в наш просвещенный век, но я верю, что все так и обстоит, есть они на самом деле, есть те, за которыми вы завзято гоняетесь... Вот только число их ничтожно, и таятся они где-то по глухим уголкам замшелой провинции... Кто бы смел сомневаться, что ваша... дичь существует? Коли уж в составе Третьего отделения создана ваша экспедиция, по инициативе не романтических любителей страшных бурсацких рассказней, а лиц, поднапорелых в тайных делах и искусстве государственно-

го управления, пользующихся доверием императора... Но, повторяю, я убежден, что объекты внимания и усердия вашего ютятся где-то по медвежьим углам. Смешно и глупо предполагать, что чуть ли не на исходе первой трети девятнадцатого столетия, в большом, древнем и славном европейском городе может въявь обретаться нечто подобное...

— Другими словами, вы твердо намерены не говорить правды? — спокойно осведомился Пушкин.

Отчаянно скрипнуло кресло — это Оболянинов вскочил и выпрямился во весь свой немаленький рост. Глаза его метали молнии, лицо пылало гордостью, негодованием и гневом. Можно сказать, он был великолепен.

— Мы с вами дворяне и светские люди, Александр Сергеевич, — произнес Оболянинов звенящим голосом. — Мы оба прекрасно понимаем, что вы только что обвинили меня во лжи, мало того — в пренебрежении делами службы, а то и в сознательном утаивании...

— С вашей тирадой я согласен, — сказал Пушкин. — Частично, впрочем, не столь уж много было в моих словах подтекстов, сколько вы изволили насчитать, но в общем и целом мысль вами ухвачена верно.

— Вы понимаете последствия? Вам должно быть прекрасно известно, как следует вести себя дворянину, которому в лицо брошено обвинение во лжи? — Молчание Пушкина его подхлестнуло. — Александр Сергеевич, лучше бы вам взять ваши слова обратно. Я, простите, не пустой и бесцельный светский фран-

тик. Я боевой офицер. Я, между прочим, участвовал при Бородино в знаменитой атаке на генерала Лоржа, когда мы всего-то двумя кавалерийскими полками опрокинули, рассеяли и долго гнали целую французскую дивизию... И это не единственное дело, в каком довелось участвовать. Уж поверьте, видывали виды. И не испугались мальчишки, отроду не нюхавшего пороха. Лучше бы вам, право...

— Воинскими подвигами похвастать не могу, — сказал Пушкин сухо. — Но от дуэлей, будет вам известно, не бежал... однако сейчас, даже получив от вас прямой и недвусмысленный картель, вынужден буду уклониться. Таковы уж полученные мною инструкции. Себе я сейчас не принадлежу, как бы ни подмывало пустить события по привычному — привычному, черт побери, — пути! Примите это во внимание. И перестаньте разыгрывать оскорбленную невинность, ваша тирада безупречна, господин Обольянинов. Ничего лишнего, каждое слово на своем месте, и голова гордо поднята, и поза соответствующая... вот только голос ваш, простите, все же выдает скрытую неуверенность. — Он, прищурясь, без улыбки, смотрел на собеседника. — Вы благородный человек и боевой офицер. Но про себя-то вы знаете, что категорически сейчас не правы, что врете и лицедействуете, и это прорывается в том тоне, каким произнесены все эти безупречные слова... Вы лжете. Некоторое время назад навестивший вас во Флоренции человек, прекрасно вам известный, поставил перед вами совершенно ясные и грамотно сформулированные задачи.

Т о г д а вы не виляли, не отзывались с насмешкой о несерьезности нашей работы... Что произошло? Что-то должно было произойти... Предать вы не могли. Купить вас... нет, невозможно. Остается одно... — Он встал, приблизился вплотную к собеседнику и спросил тихо, с некоторым, вполне неподдельным участием: — Вас очень сильно напугали? Т а к сильно?

Какое-то время они мерились взглядами, потом с лица Оболянинова исчезли показная бравада и напускная злость, экс-кавалергард сделал шаг вбок, опустил в кресло и закрыл лицо руками. Пушкин стоял над ним, не произнося ни слова.

Наконец у Оболянинова вырвалось, едва ли не со стоном:

— Могу вас заверить, я человек чести... Я прекрасно понимаю, как в моем положении следует искупать вину, пусть даже невольную, я, в конце концов, готов...

Предупредив движение его руки, Пушкин прижал ее к темно-лакированной поверхности столика, выдвинул ящик. Как он и ожидал, там покоилась пара коротких каретных пистолетов неплохой работы. Пожав плечами, Пушкин переправил их в карманы своего сюртука, шумно задвинул ящик, положил руку на плечо собеседнику и сказал уже гораздо мягче:

— Вот это уже совершенно ни к чему, ротмистр. Глупее ничего и не придумать. Никакие это не правила чести, а обыкновеннейшая глупость — потому что речь идет совершенно об и н о м... В прямом

смысле слова об и н о м. Ни один кодекс чести его существования не предусматривает, разве что в воинском уставе Петра Великого встречаются статьи о колдовстве, но это другая история...

— Не утешайте, — глядя перед собой, уже совершенно другим голосом, уставшим, севшим, отозвался Оболянинов. — Мне, боевому офицеру с золотым оружием, должно быть стыдно вдвойне...

— Предоставьте уж мне решать, — с неожиданной мягкостью сказал Пушкин. — Поскольку я в этих делах смыслю гораздо больше... вы успели что-то сделать, верно?

— Совершенно ничего, — тусклым голосом отозвался Оболянинов. — Всего-навсего нанял парочку ловких здешних прохвостов, знающих все ходы и выходы, объяснил им, что мне потребно, и они довольно скоро навели на след.

— А точнее? Иногда у следа есть имя...

— Вот именно. Графиня Катарина де Белотти, хозяйка палаццо Торино. Я не знаю, главное ли это гнездо, но в том, что это именно гнездо, сомневаться не приходится...

— И?

— Я туда отправился. В конце концов, я военный, а не сыщик! — Он рывком поднял голову в приступе совершенно неподдельного гонора. — Скорее всего, я был неосторожен, не так задавал вопросы, быстренько раскрыл себя... Там поняли, что мне нужно, и что это не простое любопытство. Я, разумеется, беспрепятственно покинул палаццо, и в тот же вечер началось...

— Что именно? — спросил Пушкин сухо, подавляя вполне понятную, но совершенно неуместную сейчас жалость.

— Вы позволите не вдаваться в подробности? — Обольянинов явственно передернулся. — Сугубая чертовщина... Тем более жуткая, что я, вольнодумец и материалист, ни во что подобное прежде не верил, считая крестьянскими сказками, порождением неразвитых умов простонародья... Поймите меня правильно. Я боевой офицер, я ни за что не испугался бы людей. Видывали смертушку очи в очи! — В его браваре вновь обозначилось нечто жалкое. — Но когда с человеком в собственном доме происходит вся эта жуть, перед которой и сталь бессильна, и порох, а ты даже не можешь никому пожаловаться и попросить помощи, потому что ни одна живая душа не поверит, решит, что ты повредился в рассудке от вина или просто так... — Он поднял голову и уставился Пушкину прямо в глаза с некоторым вызовом. — Имеете честь меня презирать? Ваше право... вас бы на мое место, любопытно было бы глянуть...

— Приходилось, знаете ли, — рассеянно сказал Пушкин. — И жив-здоров, представьте, и охотничьего рвения не утратил, что немаловажно... Значит, этого было достаточно, чтобы вы, так сказать, осознали, прониклись, уловили предупреждения и никогда уже более не совали носа...

Обольянинов горько рассмеялся:

— Этого? Да уж поверьте, этого любому будет достаточно! Вот вам чистейшая правда, как на духу. Слаб-с оказался, уж не посетуйте! В атаку на вражес-

кое каре или на пушки? Извольте! Дело знакомое. Но вот тут не на высоте оказался. Между прочим, оба моих добросовестных помощника и вовсе расстались с жизнью при жутковатых обстоятельствах... Я не могу об этом рассказывать подробно, язык не поворачивается...

Ничего уже не осталось от добра молодца с въевшейся на всю оставшуюся жизнь кавалергардской статью: перед Пушкиным сидел, понурясь, совершенно сломленный человек. При других обстоятельствах была бы уместна обычная человеческая жалость, но ее-то как раз чиновник по фамилии Пушкин в данных обстоятельствах позволить себе не мог.

— А написать вы все можете? — спросил он, стараясь говорить мягко. — В спокойной обстановке, не обязательно нынче же, но и не откладывая в долгий ящик? Бумага безлика, перенося на нее все, вы ни к кому вроде бы и не обращаетесь...

— Да, пожалуй...

— Прекрасно, — сказал Пушкин уже жестче. — Но предварительно вы дадите мне слово дворянина, что не станете искать глупое решение ваших жизненных сложностей вроде... — Он извлек из карманов пистолеты, держа их чуть брезгливо, словно кухаркадохлого мыша, положил на стол. — Я не вижу в вашей истории ни нарушения чести, ни трусости. Вы оказались в обстоятельствах, с которыми бессильны были совладать, вот и все... Поверьте, я совершенно искренен. И повторю то же перед любым начальством, вплоть до его сиятельства. Вы оказались бессильны... Нынче же, немного успокоившись, изложи-

те происшедшее на бумаге, и я даю вам слово, что все будет забыто... Итак?

— Слово дворянина, что я не стану... — Он остановил унылый взгляд на пистолетах, отодвинул ближайший, словно очнулся.

— Вот и прекрасно, — сказал Пушкин. — Все обошлось...

Оболянинов порывисто схватил его за руку:

— Александр Сергеич... Вы и правда так думаете? Что меня не в чем упрекать?

— Ну разумеется, — сказал Пушкин елико мог убедительнее. — Мне пора. Всего вам наилучшего, и не затягивайте с описанием... Вас не в чем упрекать, поверьте.

— Спасибо, Александр Сергеевич, — сказал Оболянинов с чувством. — Камень сняли с души... Ведь два месяца пребывал в невероятном расстройстве чувств, рука сама к пистолетам тянулась...

— Ну что вы, не благодарите, не за что... — сказал Пушкин, уже закрывая за собой дверь.

Все сострадание улетучилось моментально. Едва напоследок прозвучали эти слова «два месяца». Грех было бы осуждать человека, столкнувшегося с жутким, запредельным, произойди это вчера, неделю назад. Но за два месяца следовало бы непременно сообщить в Петербург обо всем происшедшем, и, коли уж Оболянинов этого не сделал, эпитеты к нему могут быть применены самые неприглядные, скажем...

— Александр Сергеевич? — послышалось рядом чье-то удивленное восклицание.

Повернув голову, Пушкин мысленно покривился от величайшего неудовольствия. Только этого еще не хватало. Не было, что называется, лишних печалей и напастей...

Перед ним, глядя недоуменно, со жгучим любопытством, стоял не кто иной, как добрый петербургский знакомый, Матвей Степанович Башуцкий из Академии художеств — всему городу известный хлебосол и кутила, дававший великолепные балы и лукулловы ужины. Человек был безобиднейший, добрейшей души, всегда готовый оказать помощь не только друзьям, но и любому, оказавшемуся в стесненных обстоятельствах, но сейчас-то как раз он мог все испортить, сам того не ведая...

Конечно же, Башуцкий, справившись с первым удивлением, затараторил, по всегдашней привычке играя лорнетом на черной бархатной ленте:

— Александр Сергеич, вот приятная неожиданность! Я-то, как и все прочие, полагал, что вы снова затворились в имении, музами благословлены на труд... А вы, эвона, во Флоренции! Что ж не сказали никому? Ну, да мы дело поправим. Нынче же вечером сядем за стол, я тут уже даром что второй день отыскал немало великолепных ресторанов... Икру виноградных улиток, бьюсь об заклад, не едали? Сказка! Поэма Пушкина, если простите сей каламбур, в гастрономическом переложении. Нынче же, нынче... Вот радость!

Он и в самом деле светился неподдельной радостью, благорасположением ко всему окружающему миру и всем людям без разбора, готовый потчевать,

выслушивать и рассказывать сам... и моментально разболтать всему свету о пребывании за пределами Российской империи Александра Сергеевича свет Пушкина. «Можете ли представить, господа, с кем я неожиданно столкнулся в восхитительной Флоренции?»

Решение пришло моментально. С крайне озабоченным видом Пушкин метнул по сторонам опасливый взгляд — слава богу, коридор был пуст на всем протяжении, — цепко ухватил Башуцкого за рукав бордового с искоркой фрака, почти силой потащил к высокому окну, выходявшему на оживленную улицу, как обычно во Флоренции вымощенную крупными, неправильной формы плитами белого камня и упиравшуюся в мост делла Тринита. Ошеломленный Башуцкий даже не пытался сопротивляться этому напору.

— Матвей Степанович, милый! — трагическим шепотом воскликнул Пушкин, демонстративно озираясь и даже втянув голову в плечи. — Умоляю вас, тише! Для всего мира я и в самом деле затворился в Михайловском над стихами, где и должен оставаться... Считайте, что у вас было видение, всеми святыми заклинаю! И не Пушкин я сейчас вовсе, не петербуржец, не поэт — надобно вам знать, я никто другой, как московский врач Генрих Шульце... Понимаете?

Разумеется, Башуцкий ничегошеньки не понимал, но добросовестно пытался уяснить себе такие странности. Нагнетая трагического, Пушкин понизил голос до шепота:

— Матвей Степаныч, в ваших руках моя жизнь. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю... Вы меня

поняли? Нет никакого Пушкина, вашего доброго знакомого, есть лишь доктор Шульце, путешествующий по делам службы...

— Но почему? — в совершеннейшем недоумении воскликнул Башуцкий, тоже шепотом.

Пушкин ухмыльнулся:

— Вы, с вашим умом и проницательностью, не угадаете ли причину, не дожидаясь объяснений?

Брови Башуцкого поползли вверх, а на румянном лице изобразилась улыбка, долженствующая изображать ту самую проницательность:

— Да-да-да, мне как-то не пришло в голову... Это, конечно же, дама?

— Вы дьявольски проницательны, — сказал Пушкин, чуть успокоившись. — Ну конечно же... Вы понимаете, я не могу посвящать вас в подробности, коли речь идет о чести дамы, скажу только, что на сей раз супруг не только ревнив, но и опасен по-настоящему. Эти чванливые итальянские аристократы, у которых вместо крови порох... А уж коли они еще и богаты, окружены кучей головорезов... Поверьте, я о жизни своей беспокоюсь всерьез, не ради красного словца упомянул, что она теперь и в ваших руках тоже. Стань ему хоть что-то известно, дознайся он, что здесь не кто иной, как тот самый Пушкин, немало крови ему попортивший в Петербурге... Право, я не жалею на этом свете, узнай он о моем присутствии здесь. Вы понимаете...

— Ну конечно же, конечно — ободряюще воскликнул Башуцкий, и сам озиравшийся по сторонам с видом заправского заговорщика. — Во мне можете

быть уверены, Александр Сергеевич: ни единой живой душе, ни сейчас, ни потом, ни словечком..

Пушкин облегченно вздохнул про себя: теперь все было в порядке, этот недалекий добряк однажды данное слово соблюдал свято, так что инкогнито оставалось нерушимым и впредь...

— Вы-то какими ветрами? — спросил успокоившийся Пушкин. — Вновь любоваться полотнами великих мастеров?

— Ах, если бы... На сей раз по сугубо служебным поручениям. Следует приобрести несколько статуй для украшения Царскосельского дворца, вот и приходится все дни проводить в нешуточных хлопотах. Итальянцы — мошенники известные, так и норовят вместо подлинных антиков подсунуть свеженькие подделки, а помощники мои молоды и неопытны, все на мне... Александр Сергеич, быть может, нужна ли вам дружеская поддержка? Деньги или иное содействие?

— Да что вы, — сказал Пушкин нетерпеливо. — Единственное, что вы можете для меня сделать, — это хранить тайну, иначе...

— Не сомневайтесь!

— Вот и прекрасно. Разрешите откланяться...

Без лишней спешки выйдя на улицу, он двинулся по направлению к мосту. Уже буквально через минуту к нему присоединился господин барон с длиннейшей немецкой фамилией, чей вид свидетельствовал о решимости сворачивать горы.

— Вроде бы все в порядке, — сказал Алоизиус, понизив голос. — Банк Ченчи, как мне объяснили, на

этом самом месте существует которую сотню лет. И репутация вроде бы безукоризненная. И, в довершение, спешу обрадовать, что никто вроде бы не шпионит ни за мной, ни за вами, по крайней мере я лично согладатаев не узрел... А отчего у вас-то вид убитый, как у вахмистра, чьи нерадивые подчиненные в кабаке эскадронный значок заложили?

— Выяснилось, что помощи и содействия от нашего человека во Флоренции, собственно говоря, ждать бессмысленно, — сказал Пушкин сердито. — Его еще два месяца назад при попытке продвинуться хотя бы на шаг наши подопечные разоблачили и запугали его так основательно, что он два месяца хранил гордое молчание, побоялся даже доложить о случившемся в Петербурге. Так что мы предоставлены самим себе.

— Тьфу ты, ерунда какая! — шумно, облегченно вздохнул барон. — Я-то думал, что похуже стряслось... Перетерпим. Как там говорил ваш генералиссимус Суворов? Не числом воюют, а умением. Вот и будем жить соответственно...

Глава третья ГРОБОКОПАТЕЛИ

Синьор Ченчи, неведомо который по счету представитель доблестной банкирской династии, нисколько не походил на классического ростовщика из шекспировских пьес. В его глазах не замечалось ни алчности, ни хитрости, на столе перед ним не было ни единой монетки, скорее уж он казался трактирщиком или поваром: высокий, дородный, краснолицый, с беззаботной улыбкой и беспечным взглядом. Пушкин подумал невольно: банкир, не похожий на банкира — прохвост вдвойне...

— Следовательно, я так понял, синьоры, вы намерены безвозвратно изъять х р а н и м о е? — поинтересовался он с небрежным видом.

— Если не имеете ничего против, — настороженно ответил барон.

— Да полноте! Как я могу что-то иметь против, если обязан вернуть то, что доверено на хранение... при соблюдении определенных условий, понятно. Значит, забираете... жаль, искренне жаль, синьоры. Вклад этот столь долго хранился, что стал, если можно так выразиться, семейной реликвией, такой же неременной принадлежностью банка Ченчи, как наше резное каменное крыльцо, по которому однажды соизволил подниматься сам великий Данте Алигьери... Жаль, право, жаль...

— А придется, — сказал барон с утрюмым видом, словно всерьез опасался, что банкир отыщет какие-то непреодолимые препятствия.

— Ну конечно же! — с готовностью воскликнул Ченчи. — Как же иначе? Святой долг и обязанность... Хорош был бы банкир, не соблюдающий незыблемые правила... Могу я попросить к л ю ч, дражайшие синьоры? Вы, конечно же, осведомлены, что вещь эту, согласно воле первоначального вкладчика, мы имеем право выдать только по предъявлении достоверного ключа?

Пушкин молча достал из бумажника и протянул ему бронзовый кружок величиной с серебряный рубль, разве что вполовину тоньше, весь испещренный замысловатыми прорезями, словно китайская шкатулка. Вмиг потеряв всю наружную беззаботность и беспечность, синьор Ченчи проворно ухватил его двумя пальцами и посмотрел на свет, словно через монокль. Его щекастое лицо моментально стало напряженным, взгляд — пронзительным и даже колючим. Вот теперь это был б а н к и р бог ведает в каком поколении...

Созерцание длилось долго.

— Что-нибудь не так? — не выдержав, спросил Алоизиус.

— О, не беспокойтесь, — ответил Ченчи, не отрывая взгляда от странного кружка. — Признаться, я не в силах совладать с естественным любопытством: как-никак, этот вклад пролежал несколько столетий, потревоженный за это время не более трех раз...

— Значит, все в порядке? — не унимался барон.

— Вот это мы сейчас и выясним, синьор, — ответил банкир без улыбки. — Не все так просто, не рассчитываете же вы, что подлинность ключа, изготовленного моими далекими предками, можно вульгарно определить на глазок их самонадеянному потомку... Минуточку.

Он достал из стола простую шкатулку, а из нее — бронзовый кружок такого же размера — только этот не прорезями был покрыт, а затейливыми выступами. С явным волнением банкир сложил кружки вместе, держа каждый двумя пальцами, осторожно, затаив дыхание, поворачивал их вправо-влево, добиваясь совпадения, вновь посмотрел сквозь прорезной на свет, сопоставляя его с другим, опять сложил, уже увереннее. Тихий металлический скрежет и скрип... Друзья поневоле затаили дыхание, Пушкину пришло в голову, что Ключарев сам мог стать жертвой трагической ошибки, аферы, и хранимый им пуще зеницы ока предмет не имеет ничего общего с настоящим...

— Прошу, синьоры! — с торжествующим видом воскликнул банкир, демонстрируя им оба кружка, слившихся в единое целое. — Совпадение идеальное. Пращуры наши порой, кажется мне, грешили излишним романтизмом, но, если подумать, иные их методы все же сохранили надежность...

Он легонько тряхнул серебряным колокольчиком, и ведущая в банковские помещения дверь открылась столь молниеносно, словно стоявший за ней человек только и ждал сигнала. Очень возможно, так оно и

было. Вошедший пожилой синьор как раз и обладал видом классической канцелярско-банкирской крысы — пожилой, с желчной физиономией записного мизантропа, он держал перед собой нечто вроде толстого кожаного бювара из тисненого сафьяна.

Положив его перед Ченчи, он, не поклонившись, словно бы вообще не обращая внимания на присутствующих, повернулся и удалился в ту же дверь, бесшумно притворив ее за собой. Ченчи, не теряя времени, извлек из бювара толстый запечатанный пакет, продемонстрировал его Пушкину и барону, сунул обратно, щелкнул миниатюрным золоченым замочком:

— Прошу, синьоры. С этого момента вклад становится вашей исключительной и безраздельной собственностью...

Показалось Пушкину, или в его голосе и в самом деле звучало неприкрытое облегчение? Очень может быть, что и не показалось...

Бювар был не особенно и тяжелым. Прижимая его к боку локтем, Пушкин встал, поклонился:

— Благодарю вас, синьор Ченчи. Всего наилучшего...

— Подождите, — неожиданно сказал банкир, вроде бы с нерешительностью.

Они вопросительно оглянулись от порога.

— Знаете, синьоры... — не без колебаний произнес Ченчи. — Вы мне отчего-то кажетесь вполне приличными и симпатичными молодыми людьми... Даже банкир порой позволяет поддаться обычным человеческим чувствам... Как бы поделикатнее выра-

зиться... Вы всецело отдаете себе отчет, чем намерены владеть? Разумеется, если не выполняете чье-то поручение, не зная сути...

Барон моментально насторожился и взглянул на него неприязненно. Потом спросил, глядя исподлобья:

— А что, банкир может задавать такие вопросы? Совать нос в чужие дела?

— Вы не поняли, — с легким укором сказал Ченчи. — Мной сейчас движут обычные человеческие чувства, расположение, если хотите... Далеко не всяким кладом следует торопиться завладеть...

Пушкин, жестом остановив барона, с задиристым видом собравшегося, без сомнений, изречь что-то еще более ехидное и обидное, внимательно присмотрелся к синьору Ченчи и спросил напрямую:

— У вас что, были какие-то хлопоты с этим вкладом?

И увидел по лицу собеседника, что не ошибся.

— Я, право, вас не понимаю, — сказал Ченчи решительно. — Но могу вам признаться, синьоры, что рад был закрытию данного вклада... Я банкир, а не адвокат, не собираюсь давать вам советов — с какой стати? — но я, повторяю, не на шутку рад, что вы сняли с меня заботу о судьбе этих бумаг... всего вам наилучшего, синьоры!

Он опустился на стул и с непреклонным видом уткнулся в бумаги. Ясно было, что из него больше не выжать ни словечка.

Они вышли под яркий солнечный свет, и барон, подумав, сказал без особой убежденности:

— Вообще-то, если прикинуть... Откуда мы знаем, что там — настоящие бумаги или всякая ерунда? Мало ли что они могли туда напихать, прохвосты финансовые...

— Вряд ли, — подумав, ответил Пушкин. — Помоему, у него на лице светилась самая неподдельная радость оттого, что наконец и з б а в и л с я. Об заклад быюсь, пришлось ему пережить неприятные минуты. Но... Знаете, что мне приходит в голову, Алоизиус? Уж если на ключе лежит некое заклятье, согласно которому его нельзя отобрать силой, а можно получить лишь по доброй воле прежнего владельца: то, быть может, так и с самими бумагами обстоит? Правда, если даже и так, нам это спокойствия не прибавит. Подозреваю...

Его вежливо тронул за рукав самый обычный на вид, неприметный, спокойно державшийся человек и, когда Пушкин вопросительно обернулся, произнес негромко:

— Синьоры, вам просили передать... Лукка ди Монтеньякко считает, что обещанную вами сотню дукатов ему было бы удобнее получить именно сегодня, через час, в садах Боболи...

Вслед за тем он хладнокровно отвернулся и уже через пару мгновений затерялся среди прохожих, исчез с глаз так надежно, что это походило на некий фокус.

— Тьфу ты! — в сердцах сказал барон. — Как нечистая сила, точно... А я вот что-то не помню, чтоб мы обещали этому мошеннику отдать сегодня сотню дукатов...

— Значит, он таким образом дает понять, что что-то раскопал.

— Уже?

— Ну, ради золота человек на многое способен... — сказал Пушкин. — В конце концов, он здесь как рыба в воде... Вы пойдете со мной?

— Разумеется! И уж будьте покойны, прослежу, чтобы денежки он получил не раньше, чем расскажет что-нибудь стоящее, за что и сотни не жалко!

...Сады Боболи, раскинувшиеся на холме с обратной стороны дворца Питти, были пусты. Наступила та длившаяся часа два пора, что во Флоренции именуются с ъ е с т а: жизнь в городе в это время замирает, даже церкви закрыты, ставни опущены повсеместно, все, от мала до велика, отдыхают в жаркий полдень, кроме разве что путешественников. Пушкин мимоходом подумал, что это как две капли воды похоже на старый русский обычай спать после обеда, за который «просвещенная Европа» порой называла русских варварами. Меж тем этих эпитетов наверняка не удостаивались флорентийцы, практиковавшие почти ту же самую процедуру...

В пыли и на горячих камнях лежали зеленые ящерицы. Темные аллеи, обсаженные падубом и кипарисами, были пусты, и в их тени жары не чувствовалось совершенно.

Миновав ряды пальм и мраморную чашу, куда размеренно капала вода, они остановились.

— Черт знает что, — сказал барон. — Тащиться сюда в такую жару, да еще без указания точного места...

Пушкин усмехнулся:

— Подразумевалось, скорее всего, что столь ловкий человек и сам нас без труда найдет... Не он ли, кстати, у кипариса, справа?

Там действительно стоял Лукка, без черного плаща и широкополой шляпы совершенно не отличающийся от мирного горожанина.

— Рад вас видеть, синьоры, — сказал разбойник безмятежно. — И весьма вам благодарен за то, что не поленились явиться в такую жару. Не скажу, чтобы дело было особенно уж срочное, но в такую пору город, как вы успели убедиться, словно вымирает, практически нет любопытных глаз и ушей... Судя по топорщащемуся карману вашего сюртука, синьор Алессандро, и деньги с вами?

Выдвинувшись вперед, барон непререкаемо заявил:

— Мы, немцы, да будет вам известно, народ сквалыжный. С деньгами расстаемся туго. А потому сначала нужно убедиться, что ваши ценные известия стоят ста дукатов... Мы дукаты не сами штампуем, знаете ли, они казенные...

— Синьор Алоизиус! — сказал Лукка с обезоруживающей улыбкой. — Я прекрасно понимаю ваши мотивы... а потому решил всецело положиться на ваше благородство. То есть, сначала я выложу все, что мне удалось узнать, а потом уж вам будет благоугодно решать, заплатить ли скромное вознаграждение... Вас устроит такой оборот дел?

— Ну да, — сказал барон настороженно. — Но если тут подвох...

— Никакого подвоха, — заверил Лукка, медленно шагая в тени кипарисов, так что им волей-неволей пришлось двинуться следом. — Я сразу понял, что имею дело с благородными людьми, и стараюсь поступать соответственно... Итак, синьор Алессандро, вас интересовали люди определенного пошиба и их поступки? Я начну издалека. Еще две недели назад, до вашего появления здесь, ко мне пришел человек, которого я никогда прежде не видел, но он-то знал обо мне много. Достаточно, чтобы встревожиться. Но он вроде бы не хотел мне никакого зла. Наоборот, как вы позже, предлагал деньги... стоит заметить, несказанно больше, чем вы. В обмен на несложную, по его уверениям, работу. Вот только я, выслушав его, категорически отказался. И не стану врать, что мной двигали некие идеалы или жизненные принципы. Они у меня есть, синьоры, смею заверить... но на сей раз дело было не в них. Понимаете, есть вещи, за которые человек разумный не возьмется ни за какие деньги, потому что опасается последствий... Уж простите за совершенно не благородный мотив, но так оно и есть. Не всякие деньги следует принимать...

— Что он от вас хотел?

Лукка мягко поправил:

— В данной ситуации, синьор Алессандро, гораздо интереснее знать, не кто он был, а от кого пришел. Потом я это выяснил совершенно точно. Это было проще, чем ему казалось... Так вот, обитает во Флоренции одна богатая, знатная и влиятельная особа, графиня Катарина де Белотти...

— Хозяйка палаццо Торино?

Лукка уставился на него с нешуточным изумлением:

— Браво, синьор Алессандро! Вы слишком быстро успели освоиться в наших делах...

— Мы с бароном не первый день занимаемся кое-каким ремеслом...

— Быть может, вам тогда известно и что собой представляет князь Уголино Караччоло?

— Вот об этой особе я слышу впервые, — после некоторого колебания признался Пушкин.

— Если в двух словах, это ближайший друг графини, связанный с ней общностью интересов. Я достаточно ясно выражаюсь, господа? Ну, вижу, вы понимаете... — Лукка невольно оглянулся. — Вы легко поймете, что некоторые вещи не стоит произносить вслух даже среди солнечного полудня, в полном уединении... Раз вы кое-что уже знаете, то без труда поймете, в какой области лежат интересы очаровательной графини и почтенного князя... Одним словом, это они прислали ко мне того субъекта.

— И что он хотел?

— О, сущие пустяки, — с улыбкой сказал Лукка. — Он, повторю, знал обо мне немало. И предложил мне с моими людьми за хорошую плату, согласен, не столь уж сложное предприятие. Проникнуть в гробницу маркиза Мондрагона, приближенного герцога Франческо Первого, и принести ему все, что там сыщется. Все. Обращая особое внимание даже не на драгоценности, которые там должны быть, а на мелкие предметы, которые, он

особо подчеркнул, могут по виду и не выглядеть драгоценностями...

— Любопытно, — сказал Пушкин, подумав. — Вот тут нам потребуются подробные объяснения. Представления не имею, когда жили этот маркиз и герцог, но поручение само по себе достаточно интересное. Когда люди платят немалые деньги за внимание к предметам, вовсе не похожим на драгоценные, да еще покоящимся в гробнице... Вы правы, это именно то, что нас интересует. А еще больше меня заинтересовало то, что вы отказались от этой работы не из-за идеалов и принципов... Тысячу раз простите, но ведь отсюда проистекает, что вообще-то ваши идеалы и принципы вам не мешают при определенных условиях залезть в гробницу?

— При определенных условиях, тут вы правы, — без тени смущения подтвердил Лукка. — Я не святой, синьоры. Мои идеалы и принципы не позволили бы осквернить свежую могилу — вот это, по моему глубочайшему убеждению, и есть настоящее святотатство. Но когда речь идет о людях, живших триста пятьдесят лет назад, вроде герцога Франческо и маркиза Мондрагона — это уже, по моему сугубому убеждению, никакое не богохульство, а чистейшей воды археологические раскопки. Понимаете, все дело в возрасте. Никто не порицает господ археологов, раскапывающих египетские и римские древности, наоборот, их принимают в приличных домах, с нетерпением ждут результатов их работы... Все дело в возрасте могилы, господ. Гробница, которой более трехсот лет — совсем другое дело, это уже не бого-

хульство, а натуральнейшая археология, то есть признанная обществом наука...

— И все же вы отказались?

— Ну еще бы, — сказал Лукка. — Вы, возможно, удивитесь, но мне случилось получить некоторое образование. В те времена, когда наша древняя фамилия еще не обеднела окончательно. И историю — а уж тем более историю родной Флоренции — я знаю лучше, чем некоторые. По крайней мере, достаточно, чтобы шарахнуться от того предложения, что мне сделали, словно черт от кропильницы...

— Не объясните ли подробнее?

— Извольте. Тут опять-таки придется начать изда-лека... Герцог Франческо Первый правил в конце шестнадцатого столетия. Вы не знаете его историю? Она примечательна, синьоры... хотя по меркам того столетия, думается мне, как раз обыденна. А впрочем... Один ученый человек как-то говорил мне, что именно история герцога Франческо и Бьянки Капелло была последней в так называемом «периоде флорентийских трагедий». После нее в нашем герцогстве, строго говоря, ничего особенного не происходило, не случалось уже ни громких преступлений, ни романтических смертей... Дело было так. Красавица Бьянка Капелло была венецианкой, из знатной патрицианской семьи. И однажды по уши влюбилась в заезжего флорентийца по имени Пьетро Бонавентура, настолько, что, как бы поделикатнее выразиться, быстренько отдала ему главную девичью ценность. Поскольку означенный молодой человек был беднее церковной мыши, родные девушки на брак ни за что

не согласились бы, и любовники бежали во Флоренцию, где опять-таки обитали в самой пошлой бедности. Тут Бьянку и увидел случайно герцог Франческо — впрочем, в ту пору еще не герцог, а наследник престола. Его самый близкий человек, маркиз Мондрагон, разыскал девушку и привез ее во дворец под благовидным предлогом... Ну, и произошло... Герцог, разумеется, был женат, но о том, какую роль играет при нем Бьянка, знали все до единого.

— А что этот самый Пьетро? — с любопытством перебил барон. — Я бы на его месте герцога почествовал парой вершков железа прямо в брюхо...

— Синьор Пьетро был гораздо приземленнее, — с тонкой улыбкой сказал Лукка. — Он вел себя спокойно и пристойно, а потому был осыпан всяческими благами и допущен ко двору, совершенно довольный своим новым положением. Вот только... У человека, надо полагать, закружилась головушка от столь резких жизненных перемен. Стал заносчив, высокомерен, приобрел кучу врагов, притом что друга не удосужился занять ни единого. Стал мешать всем. Подозреваю, даже синьорине Бьянке. Кончилось все тем, что однажды его нашли убитым у моста делла Тринита. Я даже гадать не берусь, кто именно это сделал — слишком многим этот жалкий субъект мешал. Не о нем речь. Через год после убийства Пьетро умер герцог Козимо, и Франческо занял его трон. А вскоре умерла при родах его законная супруга... и Бьянка была обвенчана и коронована. Вот только детей у них с Франческо все не было. Бьянка притворялась, что беременна, а потом якобы

и родила здоровенького мальчишку, получившего имя Антонио де Медичи. Раздобыть младенца ей помогали четыре женщины. Три из них вскоре отправились на тот свет, но четвертая ухитрилась вовремя сбежать и разболтала обо всем... А надобно вам знать, что у Франческо был родной брат, кардинал Фердинандо. И вот однажды они все втроем уселись ужинать в замке Поджо-а-Кайяно. Как ни угощала Бьянка кардинала собственноручно испеченным пирожным, он отказывался. Подшучивая над кардиналом — уж не яда ли опасаетесь, братец? — герцог с женой сами съели изрядно... Еще до конца ужина оба рухнули в судорогах. Доктор к ним пройти не смог — люди кардинала с оружием в руках стояли у двери, никого не пуская внутрь. Вот так и случилось, что на другой день кардинал взошел на тосканский престол под именем Фердинанда Первого. Стоит упомянуть, что он был, в общем, не злодеем и даже пощадил упомянутого Антонио при условии, что тот вступит в Мальтийский орден и навсегда исчезнет из Тосканы... Интересная история, верно?

— Ну, а как она связана с тем поручением, что пытались на вас возложить?

— О, это не менее интересно... Во Флоренции испокон веков обитала семейка по фамилии Руджиери... и очень уж многие ее представители увлеченно баловались с черной магией и прочими интересными искусствами, которые наша святая церковь категорически не одобряет. Семейная традиция, знаете ли. Злые языки болтают, что и последний из Руджиери, наш с вами современник, чем-то таким

предосудительным увлекался, но он давным-давно исчез из Флоренции, и о нем ни слуху ни духу... Ну, не буду томить вас далее. Все просто. Молва гласит, что один из Руджиери, некто Лионелло, всем своим чернокнижным искусством служил за приличные деньги тому самому маркизу Мондрагону, коего, среди прочего, и снабжал разнообразными магическими предметами самого разного назначения. Конечно, чертовски трудно отделить истину от многочисленных легенд, но весьма знающие люди говорили мне, что относиться к истории Лионелло Руджиери нужно крайне серьезно. Руджиери были кем угодно, только не ярмарочными шарлатанами... Вот вам и разгадка. Я на многое способен за хорошие деньги, синьоры, чего уж там. Но не начеканено еще таких денег, за которые я полез бы ночной порой в гробницу Мондрагона за безделушками Лионелло, да еще по просьбе графини де Беллотти и князя Каррачолло... Себе дороже. Боком выйдет. Такое у меня твердое убеждение... Потому и отказался, как ни набавляли цену... — Он оглянулся на Алоизиуса, кривившего рот. — Судя по выражению лица вашего друга, синьор Алессандро, он полагает, что эта история не стоит сотни дукатов...

— Да уж, простите, полагаю, — сварливо отозвался барон.

— Я не закончил, господа, — с очаровательной улыбкой сказал разбойник. — Сегодня я узнал, что один болван, а именно Пьетро Монтанилла, все же взялся именно за эту работенку по просьбе тех самых

помянутых мною лиц. Ох уж этот Пьетро... Алчности у него всегда было больше, нежели здравого рассудка, а предостережений людей поумнее он никогда не слушал...

Пушкин увидел, как лицо барона мгновенно исполнилось самого что ни на есть неприкрытого охотничьего азарта. Он и сам ощутил прилив того же не самого, может быть, благородного, но чертовски увлекательного чувства: вновь перед ними была дичь, была охота, не ускользающие тени, а осязаемые люди, от которых при некоторой настойчивости можно было добиться ответов на вопросы...

— Итак, синьоры, — с выжидательным видом сказал Лукка. — Стоит это жалкую сотню дукатов?

— Безусловно, — сказал Пушкин. — Особенно если учесть, что вы не сказали еще, когда наш Пьетро двинется в гробницу, а впрочем, и не уточнили, где она расположена...

Лукка поклонился:

— С вашего позволения, синьор Алессандро, я обязан еще уточнить, что речь идет не о склепе самого маркиза Мондрагона, а о погребении одного его родственника. Который, хотя и усердно служил богатому дядюшке, все же носил другую фамилию и даже иной герб, а потому покоится вовсе не в фамильном склепе Мондрагонов...

Вынув сверток с монетами, Пушкин протянул его разбойнику. Тот, взвесив на руке, с небрежным видом сунул в карман, не утруждаясь разворачиванием и пересчитыванием. Пушкин поднял брови:

— Вы не намерены...

— Мы с вами дворяне, синьор Алессандро, — сказал разбойник едва ли не спесиво. — И имеем представление о чести... — Он улыбнулся, блеснув великолепными зубами. — А кроме того, вы ведь наверняка захотите продолжать наши отношения и в дальнейшем, вы достаточно умный человек для того, чтобы не облапошивать примитивно ради одного-единственного случая узнать что-то полезное... Людям следует доверять в разумных пределах.

— Когда и где? — жадно спросил барон.

— Сегодня ближе к полуночи, — сказал Лукка. — Только совершеннейший болван вроде Пьетро мог назначить т а к о е время вдобавок ко всему... Склеп совершенно заброшен — род пресекался, изволите ли знать — и расположен в пяти милях от города, по дороге в Прато, там, где она еще идет нижней частью долины Арно. Поблизости есть деревушка, а в деревушке — корчма без названия. Именно там Пьетро и должен будет передать тому, кто его нанял, все, что удастся добыть. Этот человек предусмотрителен и сам в склеп идти не собирается, хотя прекрасно понимает, что Пьетро преспокойно может что-то из найденного утаить...

— А что там может оказаться, в склепе? — затаив дыхание, спросил барон.

— Все, что угодно, синьор Алоизиус, — ответил Лукка. — Кроме хорошего. В былые времена, знаете ли, с чем только ни забавлялись иные наши земляки... Уж если графиня с князем, люди, если можно так выразиться, крайне специфические, не рискуют сами шарить в гробницах, а их посланные боятся

приблизиться... Все, что угодно, может там оказаться. Что до меня, я и не пытаюсь искать в старых сказках и жутких легендах рациональное зерно. Прибыли это не принесет, зато неприятностями одарить может по самую маковку. Кто знает? Может, там запечатан какой-нибудь кровожадный демон, взбешенный вековым заточением и оттого крайне опасный для окружающих. А может оказаться, там валяется какая-нибудь пыльная безделушка, с помощью которой можно в два счета прогнать всех мышей из округи или лечить зубную боль, да и то исключительно у светловолосых. Темное это дело, синьоры, я всем этим предпочитаю не интересоваться. Коли уж вам угодно, и вы согласны швырять полновесные золотые — готов содействовать в известных пределах, и не более того...

— Нам потребуется помощь, — сказал Пушкин решительно.

— Можно точнее?

— Вы поможете найти и деревушку, и склеп, — сказал Пушкин, чуть подумав. — Кроме того... я хотел бы захватить этого субъекта, посланца графини, и побеседовать с ним по душам. Вы понимаете, что все услуги будут оплачены...

— Лошадей и карету — с полным удовольствием, — сказал Лукка, не раздумывая. — А что до посланца... Не думаю, что это удачная мысль. В чем вы можете его уличить? В том, что он за полночь обосновался в захолустной корчме?

— Можно дождаться, когда ваш Пьетро вернется с добычей. И потом уже захватить на горячем. Я пло-

хо знаю тосканские законы, но они, несомненно, неодобрительно относятся к грабежу склепов, пусть даже и заброшенных...

— Вот тут вы правы, — со вздохом сказал Лукка. — Эти чертовы законники — тупой народ, сплошь и рядом не способны понять разницу между уголовно преследуемым грабобокопательством и благородной наукой археологией...

— Вот видите. Значит, попробовать не грех.

— Только без меня, — решительно сказал Лукка. — И на сей раз не звените золотом в карманах. Карету я вам дам. Надежных проводников предоставляю. Но ни я сам, ни мои молодцы ни в какие события замешаны быть не должны. Вам проще, синьоры. Вы в любой момент, как пташки перелетные, можете сняться с места и упорхнуть за тридевять земель. А мне здесь жить и жить. Это мой родной город, я здесь добился определенного положения, тяжело будет лишиться всего...

— Ну, хорошо, — сказал Пушкин. — Я не требую от вас чересчур уж многого, спасибо и на том, что согласны сделать... Вот что. Строго говоря, что из себя представляют графиня де Белотти и князь Карраччоло? Есть точные сведения, или все вновь сводится к жутким легендам?

— Как вам сказать... Т о ч н ы х сведений и впрямь не имеется. Одни только рассказы. Знаете, как это бывает — никто не знает ничего толком, но любой прекрасно осведомлен, что эта парочка продала душу тому купцу, что не к ночи будь помянут. Или вы не верите, что они...

— Верю, — сказал Пушкин. — Есть причины верить...

— Вот видите... Понимаете, синьор Алессандро, никому, в общем, и нет нужды з н а т ь эти ваши «точные сведения». Ну зачем? Выгоды от этого никакой, одни возможные неприятности. Вы полагаете, в вашей стране такой вот парочке надоедали бы соседи, стремясь выяснить, какими именно чернилами они подписывали уговор с тем, который... или интересовались бы, что те еще намерены наворожить? Ага, молчите... Разное болтают. Говорят даже, что графиня на самом деле — своя собственная прабабушка, которая все это затеяла ради вечной молодости. Мол, у нее есть в палаццо часы, которые идут в обратную сторону, и механизм нужно регулярно питать человеческой кровью, а если этого не сделать, графине — конец... Ну, а про князя болтают втихомолку и того похлеще.

— И — что?

— И — ничего, — сказал Лукка. — На дворе вы, должно быть, слышали стоят времена просвещения, материализма и прочих рациональных веяний. Это лет триста назад любой полицейский без зазрения совести забарабанил бы в дверь и рывкнул: «А ну-ка, где тут у вас колдуют?!». Н ы н е ш н и е на такое не способны, побоятся стать всеобщим посмешищем.

Барон вмешался:

— У этого есть и обратная полезная сторона, сдастся мне. Ни за что не побегут в полицию ваши графини с князьями, если мы им крепенько хвост прищемим на какой-нибудь ворожке...

— Совершенно верно, — сказал Лукка с легкой улыбкой. — Ни за что не побегут. Они просто-напросто ответят по-своему, и начнется такое, что дай вам Бог ноги живым унести... а вот в полицию по поводу этих напастей вы тоже ни за что не пойдете.

— Не будем о постороннем, — сказал Пушкин. — Давайте поговорим о деталях...

Глава четвертая

ПЕРСТЕНЬ ИЗ СКЛЕПА

Провожатый — чьего имени они не знали и не стремились узнать — шел в паре шагов впереди, время от времени останавливаясь, замирая в совершеннейшей неподвижности, чутко прислушиваясь, и тогда они вели себя точно так же. Но вокруг не было ничего, способного представлять угрозу. Стояла душноватая тишина, пахнувшая как-то иначе, совершенно не по-русски, почти полная луна заливала окрестности безмятежным серебристым сиянием, и тени росших повсюду невысоких пиний чернели предельно четко, а между деревьями кое-где лежал совершеннейший мрак, там, где несколько теней сливались в одну. Порой под ногами похрустывали сухие веточки, и всякий раз это казалось выстрелом, на миг заставлявшим обрываться сердце.

Провожатый остановился и, не убирая зажатого в руке кривого ножа, огляделся в последний раз.

— Ну вот и пришли, господа мои, — сообщил он непрерываемо. — Дальше, синьор Лукка говорил, вы одни пойдете, а я уж тут подожду, с места не сдвинусь...

— Плохое место? — вполголоса спросил барон.

— Плохое или хорошее, а доброму католику по таким вот местам в ночное время болтаться негоже, в полночь особенно...

Он указал направление, и они двинулись в ту сторону с той же осторожностью, замирая и пережидая всякий случайный звук в округе вроде скрипучего крика ночной птицы. Лесочек понемногу редел, и вскоре они оказались на опушке, а впереди, шагах в полусотне, над землей вздымался чересчур правильный, чтобы быть делом рук природы, холмик. Вернее, куполообразное возвышение высотой примерно человеку по пояс — именно так Лукка и описывал вход в подземный склеп давным-давно пресекшегося благородного рода.

Барон приблизил губы к уху Пушкина:

— Как думаете, часового они оставили?

Пушкин присмотрелся:

— Негде ему было бы спрятаться. Разве что лечь за входом, с той стороны... но какой смысл? Не могут же они нас ждать именно с этой стороны... Отсюда вся ложбина просматривается.

— Пожалуй, вы правы, — сказал барон. — Да и местные ночной порой, нас заверяли, не ходят... Хоть порохом взрывай гробницы, никто не почешется... Ага! Слушайте!

Пушкин обратился в слух — и очень быстро стал различать едва слышные, регулярные удары, не прекращавшиеся ни на миг, словно далекое-далекое цоканье подков о брусчатку. Кто-то старательно трудился в склепе то ли железным ломом, то ли молотком с долотом.

Это продолжалось довольно долго, так что они помаленьку привыкли к этому размеренному стуку — и потому моментально определили, что он вдруг прекратился.

Заметив, что рука барона нырнула за отворот сюртука, Пушкин решительно положил ему ладонь на запястье:

— Алоизиус... Мы ведь не атаковать их должны, а проследить. Сами по себе они никому не интересны, все дело в том, кто их нанял и ждет сейчас в корчме...

— Простите, увлекся, — сказал барон смущенно, так и не вынув пистолета. — А интересно все-таки, что они там нашли... если нашли, конечно. Можно предполагать...

Он замолчал на полуслове. В невысоком куполе четко высветился прямоугольник входа, лишенный двери — на фоне показавшегося ослепительно ярким зеленоватого сияния. Это ничуть не походило на пожар — сияние было ровным, ничуть не напоминающим пляшущие отблески пожара, неподвижным, как Луна, чье перемещение невозможно уловить глазом, если наблюдать за ней считанные минуты. Они невольно пригнули головы, зажмурились, яростным морганием пытаясь избавиться от повисших перед глазами ослепительных кругов.

Потом послышался топот, напоминавший звук от бега напуганного чем-то табуна. Кое-как обретя нормальное зрение, Пушкин отважился посмотреть в ту сторону — зеленого сияния уже не было видно, зато несколько темных человеческих силуэтов, вопя что-то нечленораздельное, неслись, казалось, прямо на него с бароном. Невероятно, но они-то и ухитрились произвести весь этот адский шум — впрочем, казавшийся адским лишь на фоне безмятежной ночи...

— Прячьтесь! — сдавленно воскликнул барон, укрываясь за корявым, но достаточно толстым стволом ближайшей пинии.

Убедившись, что незадачливые кладбищенские воры несутся прямо на них, Пушкин последовал его примеру...

И полетел с ног, растянулся ничком на покрытой сухими древесными иголками земле, а рядом забарахтался тот, кто сбил его так бесцеремонно, правда, он был настолько обуян страхом, что вообще, кажется, не понял, что налетел на живого человека: так дико заорал, отпрянув от барахтавшегося у корней Пушкина, словно нос к носу столкнулся с явившимся по его душу посланцем преисподней. Удалось рассмотреть бородатую физиономию, искаженную несказанным ужасом, а в следующий миг незнакомец с непостижимым проворством взмыл на ноги и, вопя все так же отчаянно, припустил прочь, догоняя далеко убежавших компаньонов.

Пытаясь встать побыстрее, Пушкин уперся ладонями в землю, и в руке у него оказался небольшой округлый предмет, судя по ощущениям, не имевший ничего общего с творениями неразумной природы. Рука сама почуяла в нем некую правильность. Но не было времени разглядывать, почти машинально опустив эту штуку в карман, Пушкин выпрямился, посмотрел по сторонам.

— Целы? — встревоженно спросил барон.

— Совершенно, — сердито сказал Пушкин, тщетно пытаясь отряхнуться. — Кто-то меня сшиб с ног, даже не заметив, точнее приняв неизвестно за что... Ох!

Барон оглянулся вслед за ним. Там, возле склепа, уже не было яркого сияния — но, отчетливо различимые в лунном свете, из дверного проема, колышась в безветрии, выползали слабо светящиеся зеленым (будто гнилушка в ночном лесу) полосы, ничуть не похожие на обычное пламя. Слетаясь, свободно проникая друг в друга, разрастаясь, они осветили все прилегающее к склепу пространство. В их ленивом колыхании вроде бы не чувствовалось угрозы, но все это настолько не похоже было на нечто обычное, человеческое, что по спине невольно побежали ледяные мурашки, а волосы, такое впечатление, зашевелились...

— Александр... — шепотом сказал барон. — А давайте-ка отсюда... со всех ног... А? Что-то не тянет меня геройствовать, откровенно вам говорю...

Пушкин, не раздумывая, кивнул:

— Действительно... Не время геройствовать...

Они быстрым шагом, стараясь не перейти на бег и тем самым окончательно не уподобиться тем, кто так заполошно убегал только что, направились прочь, оглядываясь то и дело. Зеленое сияние помаленьку тускнело — то ли погасло окончательно, то ли не распространялось более. Далеко впереди светились редкие огни деревушки.

Потом впереди послышалась возня и странные звуки, похожие то ли на сопение коровы, то ли на плач. Поскольку доносились они с того места, где остался их провожатый, оба, не сговариваясь, поневоле вынули пистолеты и, не взводя еще курков, стали, не сбавляя шага, зорко всматриваться в темноту.

— Тьфу ты! — чертыхнулся барон, разобравшийся в происходящем первом. — Пожалуй что, нечистой силой и не пахнет...

Он убрал пистолет в карман и ускорил шаг. Теперь и Пушкин видел, что на земле под деревом лежит человек, а на нем бесцеремонно восседает, словно на бревне, их провожатый. Походило, что тот, кто лежал, озабочен какими-то другими хлопотами, вовсе не своим пленением: он даже не пытался вырваться, лежал, уткнувшись щекой в усыпанную сухими иголками землю, и то подвывал тихонечко, то издавал вовсе уж непонятные звуки, то ли лай, то ли всхлипы.

Барон тихонько свистнул. Провожатый вскочил, в его руке кривой широкой полосой блеснуло лезвие, он всмотрелся и убрал нож. Облегченно вздохнул:

— Надо же, синьоры, оба живы и вроде бы при здравом уме...

— А что, следовало быть чему-то другому? — сердито спросил Пушкин.

— Я уж не знаю, чему там быть следовало, только этот вот на меня набежал, натурально рехнувшись. Чуть ножичком не ткнул, пришлось успокаивать, как удалось. — Он сплюнул и, глядя сверху вниз, протянул с неприкрытым превосходством: — Пьетро и сам болван редкостный, и людей себе подбирает под статью...

— Ты его знаешь?

— Тоже, загадка... Марчелло Одноухий. Вот уж не персона...

Лежащий, будучи совершенно уже свободен, тем

не менее не пытался встать на ноги. Хныкая, вжимаясь лицом в землю, он разразился потоком слов — на итальянском, естественно, коего ни Пушкин, ни барон не понимали — да вдобавок, об заклад биться можно, еще и на флорентийском диалекте, который не всякий в Италии поймет досконально.

— Что он говорит? — обернулся Пушкин к провожатому.

— Да всякую ерунду. Что еще может нести Одинухий — не ученую же премудрость? Всегда он был полудурком, да умный на такое дело и не пойдет посреди полуночи...

— А все-таки?

Итальянец пожал плечами:

— Совершенный вздор. Говорит, что они совсем уже было набили карманы вещичками из гробницы и собрались восвояси, но тут в углу что-то как бы замыкало, и оттуда полезла змея, только не живая, а в виде скелета, но все равно, моментально разодрала Антонио напополам, и они кинулись бежать... Вздор, синьоры, форменный. Сроду не бывало в гробницах никаких таких змеиных скелетов. Всякий трезвомыслящий человек знает: гробницы сторожат либо духи, либо серые мохнатики, либо скелеты, не стану отрицать, но непременно человеческие. С тех пор, как стоит Флоренция, иначе и не бывало.

— Но отчего-то же они бежали все-таки?

— Это точно. Как скаковые жеребцы... Ну, да Пьетро со своей компанией — путаники известные, могли и случайной лисицы испугаться, которая там нору устроила...

— Между прочим, мы своими глазами видели некое зеленое мельтешение, — сказал барон. — Сияние, свет, полосы... Отсюда уже не видно, но видели сами...

— Вот тут я вам верю, синьор. Всякие нелюдские сияния и небывалые огни — это опять-таки случается. Но чтоб змеиные скелеты из углов прыгали...

— Довольно! — нетерпеливо сказал Пушкин. — Куда девались остальные?

— Я за ними не следил, синьор, чересчур уж прытко летели, миг пропали с глаз. Но показалось мне, что Пьетро — а его всегда можно узнать благодаря приметной хромоте — припустил в деревню. Остальные рассыпались кто куда, а Пьетро, похоже, все-таки в деревню. Должно быть, исповедаться решил с перепугу, с него, болвана, станется незамедлительно покаяться в гробокопательстве и отпущения грехов просить...

— Пошли! — обернулся Пушкин к барону.

— Эй, синьоры, а с этим что делать? — крикнул вслед провожатый. — Я его стеречь не нанимался...

— Заберите все, что найдете в карманах, и ступайте за нами, — уже на ходу распорядился Пушкин, не раздумывая особо.

Небольшая деревушка с прихотливо разбросанными домиками была погружена в темноту, светилось лишь окошко корчмы, перед входом в которую стояла запряженная парой карета. Лошади мирно хрюпали овес, сунув морды в надетые на шею мешки, кучер подремывал на облучке. Не нужно было гадать, чтобы сообразить, чей это экипаж, — того самого по-

сланца знатных особ, погрязших по уши то ли в чернокнижии, то ли в чем-то еще более жутком...

Вид кареты придал им бодрости, и они вошли в корчму. Единственная масляная лампа в углу все же давала достаточно света, особенно если учесть, что они провели много времени в ночном полумраке, — и они увидели с порога примостившегося в уголке доверенного человека синьора Лукки, а возле потушенного очага — некоего незнакомца. Надо полагать, это и был посланец — поскольку, кроме этих двоих, в корчме никого больше не было. Правда, Пушкин испытал некоторое неудобство: как-то мысленно подразумевалось, что личность, посвятившая жизнь столь темному ремеслу — быть на побегушках у колдунов и чернокнижников — окажется суетливой и неприглядной, с противной крысиной физиономией. Меж тем у погасшего очага восседал седовласый благообразный господин в темно-бордовом, почти черном фраке, более всего похожий на преуспевающего врача или адвоката с репутацией.

Бросив на вошедших один лишь взгляд — степенно, ничуть не суетливо и уж тем более без всякого страха — седовласый синьор вновь вернулся к прерванному занятию: он разглядывал какую-то непонятную мелкую вещицу, вроде бы металлическую.

Не годилось разглядывать его очень уж пристально, выдавать интерес — в этой ситуации лучше подольше оставаться инкогнито — и они, благо появился наконец зевающий хозяин, заговорили с ним, представившись английскими туристами, заблудившимися после осмотра одного из монастырей в до-

лине Арно. Заказали вина, холодной говядины и не принужденно устроились за столиком с видом людей, после неприятных блужданий наконец-то отыскавших уютную жизненную пристань.

Очень быстро человек Лукки встал, подошел к ним и сказал крайне вежливо:

— Прошу прощения, синьор, вы где-то испачкали ваш сюртук. Позвольте помочь?

Предупредительно обирая с сюртука Пушкина сухие иголки и еще какой-то древесный мусор, он, повернувшись спиной к седовласому, зашептал на ухо:

— Не смотрите в его сторону... Это он и есть — мэтр Содерини. Который предлагал Лукке... ну, вы поняли. Вы опоздали, синьоры. Пьетро только что тут был. Влетел так, словно за ним гнались черти со всего мира, бросил на стол мэтру кучку каких-то вещей — он как раз одну такую разглядывает — и стал твердить, что больше он за такое дело в жизни не возьмется. Пьетро не говорил, в чем там дело, но вид у него был — краше в гроб кладут. Требовал обещанные деньги. Мэтр отдал. Тогда Пьетро припустил прочь, подошвы едва не дымились... Что делать будем?

— Возвращайтесь на место, — так же тихо ответил Пушкин. — Надо обдумать...

— А что тут думать? — сердитым шепотом вмешался все прекрасно слышавший барон. — Берем голубчика за шкуру, он на вид хлипкий, как оголодавшая мартышка, вытряхиваем из карманов все к чертовой матери... Что церемониться?

— Алоизиус, друг мой, не стоит пороть горячку, — как только мог убедительнее сказал Пушкин. — При таком обороте событий мы с вами рискуем оказаться под арестом, как вульгарные грабители. Что ему помешает пожаловаться на нас в полицию?

— Но у него же определенно вещички из склепа...

— А кто это может доказать? — пожал плечами Пушкин. — Разве что Пьетро, но он уже наверняка далеко отсюда. А без его показаний мы с вами будем двумя иностранными проходимцами, которые ночной порой напали за городом на уважаемого флорентийского гражданина и самым злонамеренным образом его ограбили...

— Да, пожалуй, вы правы, — убитым голосом произнес барон. — Но что же, так и отпустить его прикажете?

Взглянув на него, Пушкин улыбнулся лукаво, почти беззаботно:

— Ну, не стоит доводить дело до таких крайностей, Алоизиус... Я имел ввиду, что чересчур чревато неприятными последствиями нападать на него в *к о р ч м е*, где хозяин моментально окажется свидетелем потерпевшего... А вот на ночной дороге во Флоренцию может случиться все, что угодно, здесь, вы сами знаете, испокон веков *ш а л я т...* Нужно уйти первыми...

— Ну и голова у вас! — с восхищением сказал барон. — Одно слово — поэтическая! Что вы ищете?

— Когда этот полоумный сбил меня с ног, я нечаянно кое-что подхватил с земли, — сказал Пуш-

кин, запуская руку поглубже в карман. — На ощупь это не походило на шишку или камешек... Наверняка выпало у него из кармана, сейчас вспоминается, что содержимое карманов он рассыпал...

Он нащупал двумя пальцами округлый предмет и вытащил его из кармана. Носовым платком стер сухую пыль. На ладони у него лежало широкое, судя по размерам, мужское кольцо, судя по весу, не из металла изготовленное, а вырезанное из какого-то камня. Держа перстень между большим и указательным пальцами, Пушкин посмотрел сквозь него на свет. Походило на то, что кольцо сделано из ало-прозрачного сердолика. Шесть знаков, украшавших его внешнюю сторону, вроде бы походили на гебрайские буквы, но он не настолько хорошо знал древнееврейский алфавит, чтобы утверждать с уверенностью. Примерил. Перстень идеально утвердился на среднем пальце — не давил и не болтался — словно специально для него был изготовлен.

Сдавленный возглас послышался над его ухом. Он поднял голову. Совсем рядом стоял благообразный мэтр Содерини, вмиг растерявший всю свою вальяжность и невозмутимость — и смотрел на руку Пушкина, как завороченный. Пушкин опомнился и понял, что поступил неразумно, но еще неразумнее было бы на глазах этого субъекта срывать кольцо с пальца и прятать...

— Что-нибудь не так, уважаемый? — сварливым тоном записного кабацкого драчуна осведомился барон.

Седовласый предпринимал лихорадочные усилия, чтобы овладеть собой. В конце концов ему это удалось, и он улыбнулся почти непринужденно:

— О, что вы... У вас великолепное кольцо, я вижу. Не будет ли с моей стороны бестактностью поинтересоваться, где вы его взяли? Видите ли, я, как и многие флорентийцы, не чужд благородной страсти коллекционирования, и эта безделушка крайне удачно вписалась бы в одну из моих витрин, где собраны поделки из камня... Не соблаговолите ли поведать, как оно к вам попало?

— А что, оно у кого-то пропало? — все так же неприязненно вмешался барон. — Это вы хотите сказать?

— Помилуйте, ничего подобного! Я просто интересуюсь...

— Откровенно говоря, я его нашел неподалеку, — сказал Пушкин, послав барону укоризненный взгляд. — От нечего делать ковырял тростью землю под ногами, и оно выкатилось из-под корней. — Он одарил седовласого самой благожелательной улыбкой, открытой, честной. — У вас волшебная земля, она насыщена сокровищами...

— О да, — сказал тот. — Наследие античности, знаете ли... Молодой человек, а не согласитесь ли вы продать мне эту безделушку? Вы, я вижу, иностранец и вряд ли принадлежите к завзятым антиквариям, так что для вас это всего лишь случайная находка, а для моей коллекции вещей из камня — приобретение хоть и не особенно ценное, но небезынтересное... Хотите десять дукатов?

Пушкин с улыбкой покачал головой.

— Двадцать? Пятьдесят?

— Сударь, не имею чести знать вашего имени... — сказал Пушкин все так же благожелательно. — У нас, англичан — и особенно у моего благородного семейства — свои принципы. Для милорда (он задумался не более чем на миг) для милорда Шропиширского, седьмого герцога Бородайла, невысказано продать что-то, если можно так выразиться, с собственного плеча. То, что надето на нем, лежит в карманах... или на пальце. Искренне сожалею, сударь, что не могу вам содействовать в такой безделице, но существуют же фамильные традиции, ввевшиеся в кровь... Долгие поколения предков... Я просто не рискую оскорбить те нравы, что были ими выпестованы за века...

— Вот такие мы, англичане, хоть кол на голове теши, — подхватил барон.

Чуть обескураженный отказом, мэтр молчал лишь краткий миг:

— Что вы скажете насчет сотни дукатов?

— Фамильные традиции... — сказал Пушкин, виновато улыбаясь.

— Двести? Триста?

— Эгей, почтенный папаша! — воскликнул барон. — Вы ж только что говорили, что это колечко для вас будет не особенно и ценным приобретением, а сами сотнями золотых так и жонглируете...

— Вы не поняли, сэр, — с чуточку вымученной улыбкой сказал итальянец, прилагая величайшие уси-

лия, чтобы сохранить хладнокровие. — Ценность рыночная и ценность коллекционная — это порою разные вещи. Для всего мира какая-нибудь вещичка стоит пару медяков, но вот для меня она бесценна. Вы имеете дело с азартом коллекционера, молодые люди, что сродни безудержной тяге пьяницы к вину... Что скажете насчет тысячи дукатов?

Пушкину пришла в голову великолепная идея.

— Я в последний раз пытаюсь вам растолковать, что не могу продать что-то с себя. Но мы, англичане, люди эксцентричные и любим всевозможные пари, биться об заклад, договоренности... Что, если я предложу обменять все содержимое моих карманов — и кольцо тоже, разумеется — на содержимое ваших? — И он с благожелательной улыбкой, иллюстрируя свою мысль, указал пальцем на карман, куда незадолго перед тем угодили вещички из sklepa (было видно, как он оттопыривается).

Итальянец машинально отпрянул, словно наступив на горячий уголь, нерассуждающим движением руки накрыл карман, словно боялся, что содержимое будет вырвано у него силой.

— Я... Это невозможно... — хрипло сказал он.

— А жаль, — сказал Пушкин. — Это было бы совершенно в английском стиле, такой вот обмен... Вы не намерены передумать?

— А вы?

— Увы... — улыбнулся Пушкин.

Поджав губы, мэтр Содерини вернулся к своему столу, схватил стакан вина и жадно осушил его. Видно было, что он изо всех сил пытается успокоиться,

но не в силах совладать с собой, то и дело бросал взгляд в сторону Пушкина. Посидев так пару минут в совершеннейшем расстройстве чувств, он полез в карман, швырнул на стол несколько монет и вышел, почти выбежал, за дверь.

— Пошли! — распорядился Пушкин.

Тоже швырнув на стол несколько монет и с сожалением оглянувшись на нетронутый ужин, он подошел к приоткрытой двери, всмотрелся в серебристый полумрак — вообще-то лунная итальянская ночь была почти такой же светлой, как российский хмурый зимний день, когда солнце скрыто тучами. На плечи ему нетерпеливо напирал барон, а позади него с выжидательным выражением лица стоял человек Лукки.

— Как вас зовут? — спохватился Пушкин.

— Джакопо, синьор...

— Друг Джакопо... Есть какая-нибудь обходная тропка, по которой мы, пешие, можем обогнать карету по дороге во Флоренцию? Вы же должны прекрасно знать окрестности...

— Ну, если подумать, синьор... Что вы намерены делать?

— Остановить карету и вытряхнуть у этого индюка все из карманов, — сказал Пушкин решительно. — Чутье мне подсказывает, что он ни за что не побегит жаловаться в полицию... Что вы на меня так смотрите, любезнейший? Можно подумать, вас, человека известного романтического ремесла, мое предложение шокировало...

— Да не то чтобы...

— Тогда к чему колебания?

— Синьор Алессандро, — с досадой сказал Джакопо. — Лукка вам вроде бы объяснял некоторые тонкости... Вы уедете, а мы останемся... Это как-никак мэтр Содерини, известно чье доверенное лицо... Это вам не обычного путника остановить ночной порой и избавить от всего лишнего...

— Ну хорошо, — нетерпеливо сказал Пушкин. — Никто не принуждает вас тоже участвовать... Справимся сами. Внешность обманчива, знаете ли, и мы с моим другом далеко не те благодетельные юноши, какими порой кажемся... Покажите дорогу, а сами можете ждать в отдалении. Устраивает это вас?

— Зар-режу в одночасье! — страшным голосом пообещал барон. — Веди, говорю, трус!

В лунном свете длинной полосой сверкнул выхваченный им из трости клинок, которым барон ради пущей убедительности выполнил перед носом у итальянца несколько фехтовальных вольтов. Тот безнадежно вздохнул:

— Что с вами поделать, синьоры... Навязал же Лукка работенку... Пойдемте сюда, в ту сторону, вниз. Дорога там делает петлю, и мы их легко перехватим, даже если пойдем шагом... Можно поинтересоваться, синьоры? Вас, как я понимаю, интересуют, так сказать, чисто н а у ч н ы е вещицы? Можно выразиться, археологические?

— Именно, — сказал Пушкин, осторожно спускаясь вслед за провожатым по отлогому склону, поросшему буйной сочной травой.

— Приятно слышать. Значит, все прочее, презренное, так сказать житейское, вас не интересует совершенно?

— Ну разумеется, — сказал Пушкин, моментально уловив, куда ветер дует. — Дележ будет честный: все археологическое — нам, все житейское — вам. Так что, старина...

— Будьте благонадежны, — заверил итальянец, извлек из кармана большую черную тряпку и с проворством, выдававшим большой опыт, вмиг обвязал ею нижнюю часть лица, так что открытыми остались только глаза. После чего раскрыл свой внушительный нож и помахал им в воздухе.

На ходу Пушкин с бароном проделали то же самое, используя свои носовые платки. Сноровки им не хватило, конечно, но получилось удовлетворительно.

— Во всем важен порядок, — менторским тоном сказал итальянец, когда они уже стояли на обочине неширокой проселочной дороги. — Один человек повиснет на удилах лошадей, чтобы не понесли... думаю, я это возьму на себя благодаря некоторому опыту. Вы, синьор, — повернулся он к барону, — не мешкая, припугните вашим клинком кучера, чтобы сидел смирнехонько. Вы, синьор Алессандро, опять-таки без промедления распаиваете дверцу кареты и твердым, уверенным голосом обещаете поганцу, что разрядите пистолет ему в башку, если попробует сопротивляться или замешкается, выкладывая содержимое карманов... Тсс! Ну да, это они! Другой карете тут просто неоткуда взяться...

В самом деле, донесся явственно различимый стук копыт, скрип колес, а там и показались два огонька каретных фонарей. Не сбавляя скорости, карета мэтра приближалась к месту засады.

Кучер уже должен был заметить три фигуры, неподвижно торчавшие на обочине в лунном свете — но он и вожжи не натянул, и лошадей не подхлестнул. Карета приближалась как ни в чем не бывало.

— Вперед! — вскрикнул итальянец, бросаясь навстречу лошадям и заранее подняв руки, чтобы схватиться за упряжь. Барон с Пушкиным, держа пистолеты наготове, кинулись следом согласно только что разработанной диспозиции...

Истошно вскрикнув, итальянец отскочил в сторону, растянулся на обочине, завопил...

Лошади, отлично различимые в лунном сиянии, вдруг преобразились — превратились в непонятных огромных зверей наподобие тигров или барсов, тот, что казался к ним ближе, взревел так, что заложило уши, выбросил голову, и огромные белоснежные клыки грозно щелкнули совсем рядом, так что Пушкин шарахнулся, едва успел увернуться от смрадной звериной пасти, полетел навзничь, пребольно ушибив затылок...

Буквально над ним пронеслось длинное огромное тело, передвигавшееся бесшумным кошачьим скоком, прогрохотала карета — и из окна ухмыльнулась ни с чем не сравнимая в своей омерзительности рожа, карикатурное подобие человеческого лица с горящими, как угли, глазами...

Они не знали, сколько прошло времени, прежде чем им удалось хоть самую малость опаматоваться. На дороге стояла тишина, луна равнодушно сияла в небесах, а перед глазами все еще стояли диковинные звери и жуткая рожа, в которой не было ничего человеческого...

— Говорил я вам, синьоры, — плачущим голосом произнес итальянец, мелко и часто крестясь. — Не надо было связываться... Опасное это дело — дергать черта за хвост. Ну, а как они нас узнали и запомнили? Долго придется где-нибудь отсиживаться для надежности...

— Впечатляет, конечно, — признался барон, поднимая из травы оброненную шпагу. — А вам не пришло в голову, дружище, что это не более чем наваждение? Иллюзия, которой нас напугали — успешно, надо признаться.

— Какая там иллюзия, синьор! Эта тварь клыками щелкнула у самого моего носа, еще немножко — и голову отхряпала бы напрочь...

— А почему же не отхряпала? — упрямо спросил барон. — Кишка тонка! Будь это не иллюзия, а натуральное зверье, что им мешало растормошить нас в клочья, как тряпку? Говорю вам, они на нас напустили натуральное наваждение, а мы и спраздновали труса, не подумав...

— Где тут было думать, — огрызнулся провожатый. — Много вы думали, синьор барон, я ж видел, как вы на карачках ползли...

— Отступал на заранее подготовленные позиции.

— Один черт, пусть будет по-вашему, на карачках отступали...

— Довольно препираться, господа, — сказал Пушкин, наконец-то отыскав в траве оброненный пистолет. — Все хороши, чего уж там... Что будем делать?

Итальянец решительно сказал:

— Возвращаемся к нашей карете и едем в город. Что еще делать прикажете? Мое дело сторона, но я бы посоветовал, как только доберемся до города, поставить не одну свечку в первой попавшейся церкви, чтобы Богоматерь спасла и оборонила от таких страстей... Лишь бы не прицепились потом!

Глава пятая

ЧЕРНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

Перегнувшись через мраморные перила моста дель-ла Тринита, барон задумчиво смотрел на сверкавшие в спокойной воде звезды со столь сосредоточенным видом, что Пушкину пришло в голову, не подействовала ли и на бесхитростного гусара атмосфера этого города, полного творениями великих мастеров? Не ощутил ли он тягу к высоким материям?

— О чем вы задумались, Алоизиус? — спросил он осторожно.

— А вон-вон-вон играет... Плеснула, здоровущая! По-моему, сазан. Его бы на углях зажарить, да с перчиком, с лимонным соком, с парой бутылок... От всех этих перипетий у меня настолько брюхо подвело, что собственное тело слопать готов, если соус будет приличный. Неужели не проголодались?

— Чертовски. Попробуем раздобыть что-нибудь в отеле... Но в первую очередь попытаюсь заняться этим...

Он коснулся сюртука — там, в кармане, покоился сверток бумаг, извлеченный из выданной синьором Ченчи шкатулки — за всеми хлопотами сегодняшнего дня и ночи так и не нашлось времени их изучить. Удалось определить лишь, что рукопись старая, чертовски старая, не на бумаге, а на пергаменте.

— Ну, пойдете тогда, — сказал барон. — Нам еще тащиться и тащиться. Чертов итальянец. Не мог довести нас до отеля...

— По-моему, бедняга страшно напуган, — сказал Пушкин. — И не прочь был отделаться от нас как можно быстрее. Его можно понять — переживания не из приятных...

— Я вот все ломаю голову, — задумчиво протянул барон. — Почему этот чародейный прохвост благонамеренно предлагал вам деньги за кольцо, а не попробовал его выжудить каким-нибудь наваждением или отобрать в открытую? Позвал бы парочку приятелей из преисподней, перехватил бы нас на дороге...

— А что, если его нельзя отобрать? — вслух размышлял Пушкин, направляясь вслед за бароном в сторону пьятца делла Грандукка. — Вы же помните, «ключ» как раз нельзя было приобрести силой, принуждением — только получить его по доброй воле...

Он приостановился, поднял палец с кольцом к глазам. Загадочные знаки четко рисовались в лунном свете. Если присмотреться, начинало казаться, что они едва заметно колыхнутся, но это, он подозревал, была не более чем иллюзия.

— Черт побери, — сказал он в полный голос. — Кто бы мне объяснил, для чего оно может предназначаться?

— От меня разъяснений не ждите, — фыркнул барон. — Хорошо бы, конечно, с ним обстояло так, как в той арабской сказочке, которую мне рассказывал в кабаке геттингенский студент: если потерять какую-то старую, совершенно неприметную лампу, прилетал

восточный дух и исполнял кучу желаний, чего ни попроси...

— Вряд ли, — серьезно сказал Пушкин. — Я его уже как следует обтирал от пыли, и никакого джинна не случилось... Куда вы?

— Тут можно срезать путь. Я запомнил этот переулочек...

Они свернули в узкий переулок, где с обеих сторон, судя по неистребимым запахам, располагались овощные лавки. Перед одной из них красовалось нечто примечательное: бронзовый кабан искусной работы, из пасти которого безостановочно струилась чистая вода.

— Ну да, и эту поилку я помню, — сказал барон. — Вон как почернел от старости, только морда будто полированная — днем тут масса народу попить подходит...

— Вы неисправимы, Алоизиус, — сказал Пушкин. — «Поилка»... Это бронзовая копия античного мраморного кабана, я о ней читал. Оригинал стоит у входа во дворец Уффици. Там великолепная картинная галерея. Господи, этот город полон величайших произведений искусства, а у меня нет времени хоть что-то осмотреть бегло. Такая жалость...

— Вы это с такой искренней грустью говорите... — сказал барон недоуменно. — Как будто и в самом деле искренне страдаете. А я вот, признаюсь по чести, так никогда и не мог понять, что в этом искусстве такого, что от него должна душа замирать. Доведись до дела...

Он замолчал и оглянулся через плечо. Внимание Пушкина тоже привлек странный звук, имевший нечто схожее с лязгом металла о твердый камень.

Тут они почувствовали, что волосы встают дыбом.

Бронзовый кабан, покинувший прежнее место, где ему и полагалось стоять смиренхонько, служа поилкой для нищих и возчиков, был уже совсем близко от них, шагах в десяти. На том месте, где он стоял прежде, бил фонтанчик воды, а у самого кабана из пасти вода уже не текла. Он приближался размеренной трусцой, цокая бронзовыми копытами по белоснежным плитам, двигаясь так непринужденно и свободно, словно не из бронзы был отлит, а вылеплен из мягкой глины...

Склонив голову с видимо угрожающим и непреклонным, бронзовый зверь надвигался. Надо сказать, сейчас у Пушкина не осталось никакого восхищения искусной работой мастеров и преклонения перед итальянскими скульпторами — какой-то неподходящий был момент, ожившая фигура выглядела омерзительной, неправильной, неуместной...

Они припустились бежать, не сговариваясь — удивляться было некогда, бояться тоже, следовало что-то предпринять для спасения, и немедленно...

Они бежали по узенькой пустынной улочке, словно во сне, сзади звонко цокала о камень бронза, над головой светила луна. Раздался ужасный треск — пустые по ночному времени прилавки с полотняными навесами чуть ли не перегораживали улочку, оставляя совсем чуть-чуть свободного места, человек еще мог пробежать, а вот здоровенной

бронзовой туше прохода не хватило, и она снесла навесы и прилавки, как ребенок разрушает картонный домик. Образовалась куча из досок, шестов и кусков полотна, она зашевелилась, раздалась в стороны, под треск раздираемого полотна и ломающихся досок кабан вновь объявился и, отбрасывая чернильно-черную короткую тень, засеменял к ним.

— Александр, — пропыхтел барон. — А может, у него тоже шарик во рту? Как у Голема? Двинуть клинком, авось выпадет...

— Глупости, — ответил Пушкин, столь же запыхавшись. — Откуда у него шарик, это вам не... Осторожно!

Но барон уже споткнулся о какое-то сломанное колесо, с итальянской беспечностью (роднившей ее с русской) брошенное посреди улочки, полетел кубарем, растянулся на каменных плитах. Кабан надвигался, опережаемый своей тенью, напоминавшей широкий наконечник копья, показалось даже, что его бронзовые глаза горят искорками жизненной силы...

Нерассуждающе бросившись наперерез, Пушкин не придумал ничего лучшего, как достать пистолет, как будто из этого мог выйти хоть какой-то толк — да так и остался стоять, заслоняя барона, делавшего отчаянные усилия, чтобы побыстрее вскочить.

Кабан остановился в шаге от него, опустив уродливую голову и нацеливаясь клыками. Текли мгновения, а он так и стоял неподвижно. Алоизиус уже утвердился на ногах, недолго думая, выхватил укры-

тую в трости шпагу и нацелился острием в кабанью голову, покрикивая возбужденно:

— Ну, подходи, свинья такая! Кому говорю? Хочешь отомстить за всех ваших, которых я жареными стрескал под мозель? Подходи, кому говорю, хавронья позорная!

Увлечшись, он сделал лихой выпад, но, как и следовало ожидать, острое клинка лишь звучно царапнуло по бронзе и соскользнуло, не нанеся зверю ни малейшего урона. В происходящем наметился некоторый, выражаясь по-французски, антракт — они так и стояли посреди узенькой улочки, а кабан, не делая попыток к нападению, торчал в шаге от них, едва заметно поводя головой и временами переступая с ноги на ногу, будто набирался решимости для броска — если только можно было заподозрить бронзового истукана, к тому же не подобие человека, а животное, в умении размышлять...

Эта сцена затянулась настолько, что стала вызывать уже не страх, а недоумение. Пора было что-то предпринять, и барон предложил азартным шепотом:

— А давайте отступать, шажком-шажком...

Так они и поступили, осторожно пятясь. Кабан двинулся за ними, как пришитый, не переступая некой незримой черты. Рывком кинулся вперед, но тут же замер.

— Александр, — прошептал барон тоном глубокого раздумья. — Вы меня наверняка сочтете сумасшедшим, но мне что-то кажется, что это он вас боится...

— Меня?!

— Именно что вас. Вы очутились между ним и мной, и он тут же встал, как упрямый итальянский ишак. Потом вы оказались на шаг сзади — и он тут же попытался броситься...

— Вздор, — задумчиво ответил Пушкин, осторожно отступая вдоль череды низеньких домиков, отнюдь не служивших к украшению великой Флоренции.

— Да точно вам говорю...

Барон вдруг выскочил перед Пушкиным, встал посреди мостовой — и кабан, будто ободрившись, едва ли не прыгнул вперед, отбросил мордой клинок, которым барон попытался закрыться по всем правилам фехтовального искусства...

Пушкин бросился вперед, не забивая голову раздумьями и размышлениями, поскользнулся на гнилом яблоке, едва не упал — и уперся правой рукой в бронзовый лоб. Кабан, полное впечатление, волчком крутнулся на месте с грацией не бронзовой статуи, а живого проворного зверя, отскочил с лязгом, замер в паре шагов.

— Говорил я вам? — торжествующе воскликнул барон. — Совсем уж было нацелился меня забодать, или как там это у них называется — но от вас порскнул, как черт от святой воды...

Пушкин пожал плечами:

— Интересно, что во мне может быть такого... Прежде меня все эти твари не особенно и пугались...

Он осекся. Поднял к глазам руку с перстнем, загадочно сверкавшим в лунном свете, — цепочка загадочных знаков, как и в прошлый раз, казалась

мерцающей внутренним огнем. Ну да, не было других объяснений...

В приливе той нерассуждающей лихости, что не единожды напортила ему в жизни, он бросился вперед, недвусмысленно нацеливаясь припечатать бронзового зверя кольцом меж глаз.

Отчаянно лязгнула бронза по камню — кабан развернулся и кинулся прочь, не поворачивая головы назад, из-под копыт брызнули искры, задребезжало, покатилося подвернувшееся жестяное ведро...

— Ага-га! — взревел барон, кидаясь следом с поднятым клинком. — Ату его, мерзавца!

Пушкин ухватил его за рукав и насилу остановил:

— Алоизиус, куда вы?!

— Да, вы правы, — опомнившись, сказал барон, смущенно пряча клинок. — Неосмотрительно... Но колечко-то до чего интересное! Теперь не сомневаетесь, что именно в нем дело?

— Теперь — нет, — сказал Пушкин. — Какие, к лешему, сомнения...

Он смотрел на перстень с некоторой опаской — сейчас, когда старинная вещица так проявила себя, словно бы даже начинаешь ее чуточку бояться: кто знает, исчерпываются ли на этом ее неведомые качества...

— То-то этот каналья хотел его у вас купить за бешеные деньги, — сказал барон. — Наверняка сообщал, что к чему...

— Наверняка, — кивнул Пушкин. — Нам бы самим сообразить, чего еще ждать от этой безделушки...

— Разберемся, — сказал барон с ухарским видом. — Пока что меня вполне устраивает, что оно действует на этих чародейных тварей, будто ковш кипятка на бешеную собаку... Пойдемте? А то еще что-нибудь другое вынырнет, которое кольца не боится...

До своего отеля они добрались без всяких приключений, по темной лестнице поднялись в свои апартаменты. Как оказалось, славный малый Луиджи Брамболини бдительно нес стражу у двери в комнату кукольника, примостившись на вычурном стуле. Едва услышав вошедших, он вскочил и, позевывая, браво доложил:

— Ваш дядюшка, синьоры, снова порывался сбежать неведомо куда. То деньги мне предлагал, чтобы я его выпустил, то угрожал, непонятно даже и чем, совсем заговариваться стал, бедолага... Как вы и соизволили предупредить, говорил, будто никакой он не ваш дядюшка, а кукольных дел мастер, которого два злоумышленника, то есть ваши милости, обманом лишили свободы... Ну, я ему предъявил те самые аргументы, касаясь которых вы предупреждали, и он малость унялся. Давненько не слышно, должно быть, чуточку опаматовался и лег спать... Какие будут распоряжения?

— Зажгите свечи и можете идти спать, — нетерпеливо распорядился Пушкин.

Едва приказание было выполнено, и Луиджи, уже зевая во весь рот, удалился, Пушкин сел к столу и положил перед собой пухлую стопу пергаментных листов — хранившиеся несколько столетий бумаги Ку-

рицына. Барон, без всякого стеснения заглядывавший ему через плечо, протянул:

— Ни черта не понимаю, но и так ясно, что дело темное...

Действительно, почти половину первого листа занимала странная решетка: две параллельных линии, пересеченные двумя другими, отчего образовался замкнутый квадрат и еще восемь открытых то с одной стороны, то сразу с двух. Во всех девяти красовались загадочные знаки, не похожие ни на один известный алфавит, а под решеткой тянулись сплошные строки текста, не разделенного знаками препинания и не разбитого на слова.

Переставив поближе подсвечник, Пушкин долго всматривался в эту абракадабру, задумчиво шевеля губами.

— Черт знает что! — с чувством сказал барон. — Я бы и под страхом смерти не взялся искать в этом смысл. Редкостная бессмыслица...

— Вот тут вы ошибаетесь, Алоизиус, — сказал Пушкин с легкой улыбкой. — Не так страшен черт, как его малюют...

Барон воззрился на него в совершеннейшем изумлении:

— Хотите сказать, вы что-нибудь в этом понимаете?

— Пока что не понимаю ничегошеньки, — сказал Пушкин с некой отрешенностью. — Но понимаю зато, с чем имею дело. Вот именно, решетка... и знаки попеременно киноварно-красные и черные... Я начинал службу в министерстве иностранных дел,

Алоизиус. Там, помимо прочего, нам демонстрировали немало старинных шифров, что были в ходу в давние времена. Между прочим, они не так уж сложны. Тогда еще не умели придумывать по-настоящему... сложную тайнопись...

— Так вы что, можете это прочесть?

— По крайней мере попытаюсь, — сказал Пушкин, придвигая перо и чернила. — В старину это именовалось «мудрая литорея», если вам интересны такие подробности...

— Совершенно неинтересны. Прочитать бы, в чем тут суть... Должен же быть ключ...

— Вы, быть может, удивитесь, Алоизиус, но это и есть ключ, — сказал Пушкин уверенно, указывая на решетку. — Эти иероглифы — всего лишь русский алфавит, замененный загадочными знаками, которые тот, кто написал документ, выдумал сам, так надежнее всего. Если подставить теперь на их место... Алоизиус, могу я вас попросить присесть тихонечко в уголке и какое-то время побезмолвствовать?

— Слушаюсь, — по-военному четко ответил барон. — Считайте, что меня тут и нет...

Он присел на синем диванчике и, сохраняя неподвижность и безмолвие, словно окаменел, жадно наблюдал за Пушкиным. Тот, морща лоб, набросал несколько строчек, определенно не следя за смыслом того, что пишет. Потом, явно прочитав, недовольно поморщился, решительно скомкал начатый лист, швырнул его под стол и взял чистый. Еще несколько минут с видом величайшего прилежания вычерчивал буквы — и снова, судя по его растерянному

лицу, потерпел фиаско. Второй скомканный лист отправился под стол. За ним — третий, четвертый... Барон, ничего не понимавший, но видевший, что дело пошло наперекосяк, затаил дыхание, наклонившись вперед, проделывал руками странные движения — то ли писал что-то, то ли сеть распутывал, ему казалось, что таким образом он помогает коллеге.

— Сколько мне бед принесла самонадеянность... — сказал наконец Пушкин, отбрасывая под стол неведомо который по счету скомканный лист. — Ничего не получается, Алоизиус. Ничего. Бессмыслица, вздор, чепуха... Никакого смысла...

Он подпер голову руками и безнадежно уставился в пространство. В его голосе звучала такая беспомощность, что у барона слезы навернулись на глаза.

Неизвестно, сколько прошло времени. Потрескивали свечи, с которых давненько не снимали нагар, пламя металось и чадило, а они все так же сидели в прежних позах.

— Господи, ну и болван из меня! — воскликнул вдруг Пушкин, вскакивая из-за стола. — Кто сказал, что ключ вставлен правильно? Что решетку нужно читать...

Барон таращился на него в полной растерянности. Пушкин, бросившись обратно к столу, решительно схватил лист с решеткой и перевернул его вверх ногами. Вновь схватив перо, лихорадочно принялся писать — уже не вырисовывая буквы тщательно, чертя едва ли не каракули. На его лице возникла веселая ухмылка, вскоре ставшая едва ли не блаженной.

— Ай да Пушкин, ай да сукин сын! — воскликнул он, вскакивая и сделав возле стола несколько па неведомого танца. — Ну конечно! И хитрость-то примитивная, а поди догадайся!

— Получается? — тихонечко осведомился барон из угла, по-прежнему дисциплинированно замерев в напряженной позе.

— Во всяком случае, фраза получается вполне осмысленной, — отозвался Пушкин, вновь кидаясь за стол. — «Поучения для желающего постигнуть укрощение камня...» Получается!

Он выхватывал чистые листы из стопки, не глядя, покрывал их вереницами букв, притопывая ногой от избытка чувств и даже что-то напевая про себя. Когда перо сломалось, барон метнулся, торопливо подал ему другое, снова отпрянул в уголок, где форменным образом затаился, чтобы, не дай бог, не напортить неосторожным словом или даже шевелением...

Скрипело перо, колыхалось, потрескивая, пламя свечей, отбрасывавших на стены причудливые тени. Барон помалкивал. В приотворенное окно струилась рассветная прохлада.

Наконец Пушкин отбросил и второе перо, пришедшее в полную негодность, не вставая, потянулся с чрезвычайно довольным видом. И лежавшие перед ним исписанные листы, и пальцы, и даже сукно стола — все было испачкано чернильными кляксами, но Пушкин не обращал на это внимания, улыбаясь отрешенно и радостно.

Барон решил тихонько спросить:

— Ну как там?

— Нас можно поздравить с успехом, Алоизиус, — сказал Пушкин, улыбаясь уже во весь рот. — Нет никакого смысла расшифровывать всю рукопись, она довольно объемиста, но, главное, мы на верном пути. Всего-то и требовалось, что перевернуть ключ вверх ногами — ну кто же знал, что именно в такой позиции знаки становятся удобочитаемыми... Извольте. Содержания первых пяти страниц вполне достаточно, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Перед нами — «поучение» для желающего управлять неодушевленными предметами, дабы заставить их производить действия вполне осмысленные и служащие не к забаве, а к выгоде владеющего данным искусством... Ага... Наложив указательный и средний пальцы левой руки на таковые же правой, произнеси голосом твердым и внушительным: каомайе ат тоне...

Барон шарахнулся, охнув. И было отчего: тяжелый стул, смирнехонько стоявший меж ними, вдруг дрогнул, взмыл в воздух, переворачиваясь ножками вверх, взлетел к потолку и повис, едва его не касаясь. Потом завертелся — сначала неспешно, потом все сильнее и сильнее, так что напоминал уже не предмет мебели, а темный цилиндр.

Они стояли посреди комнаты, задрав головы. Вращение несколько замедлилось, стул вновь стал различим, но крутиться не перестал. Разве что переместился правее, повиснув теперь над самой головой барона (тот осторожненько переместился в сторону, налетел боком на стол, тихонько взыв от боли), завертелся яростнее, ножки царапали потолок, на головы их посыпалась какая-то труха...

— Сделайте что-нибудь! — вскрикнул барон. — Что за глупость!

Бросившись к столу, Пушкин лихорадочно перелистнул сделанные им записи. Твердо и внушительно, как и было предписано, произнес:

— Калаикон тенете паниа...

И едва успел увернуться — словно перерезали невидимую нить, державшую стул под самым потолком, и он с грохотом обрушился на пол, чуть-чуть не задев массивной ножкой плечо Пушкина. Барон на всякий случай отодвинулся подальше, как от живого опасного существа.

Но тут уже подсвечники взмыли над столом, звонко столкнулись, издав пронзительный металлический лязг, свечи рассыпали искры, тени по стенам затеяли вовсе уж сумасшедшую пляску — и оба шандала принялись кружить в воздухе вдоль стен комнаты, отчего освещение ее стало вовсе уж причудливым.

Кресло ожило, поднялось, балансируя на одной ножке, а потом медленно, можно даже сказать величаво поплыло следом за подсвечниками. Комната преображалась — маленькие пейзажи итальянской природы в массивных, скверно вызолоченных рамах сорвались с гвоздей (из-за чего поднялись облачка сухой пыли, выдававшие нерадивость слуг) и тоже пустились в полет под потолком, замысловато переворачиваясь каждая на свой манер. Обитый синим шелком диванчик, на котором только что сидел барон, таких акробатических номеров, правда, не выделял — он попросту уплыл под потолок и замер там, звучно стукнув спинкой.

Пушкин с бароном, не в силах ни пошевелиться, ни что-то сказать, стояли посреди этого хаоса, а мебель, не вовлеченная еще в движение, тоже понемногу начинала проявлять признаки жизни. Стол, на котором лежали бумаги, подпрыгивал со стуком, похожий на норовистую лошадь, замышляющую особенно коварный курбет, медленно, с протяжным скрипом распахнулись дверцы гардероба в углу, и оттуда, держась невысоко над полом, выплыли их сюртуки, колыхаясь и перемещаясь так, словно были надеты на неких невидимых людях. Один из них двинулся к барону, словно бы распахнув дружеские объятия. Барон шарахнулся, вскрикнув что-то нечленораздельное.

Распахнулась дверь в соседнюю комнату, и показался Руджиери — всклокоченный, полуодетый. Отпрянув от проплывавшего мимо него подсвечника, щедро орошавшего все окружающее расплавленным свечным салом, он прижался к стене и закричал:

— Что творится? У меня вся мебель взбесилась...

Повернув голову в сторону собственной спальни, Пушкин явственно расслышал и там характерные стуки, словно звучно сталкивались между собой деревянные предметы. Раскаленная капля упала ему на шею, и он зашипел от нешуточной боли, растирая ладонью обожженное место. Живо представил в воображении, как эта диковинная эпидемия понемногу распространяется и захватывает весь отель, все этажи и помещения, как оживают кровати, стряхивая на пол спящих постояльцев, как пляшут на кух-

не причудливым хороводом ножи и кастрюли, как выплескивается это за пределы здания и растекается по улицам Флоренции, вызывая нешуточную панику...

— Сделайте же что-нибудь, — отчаянно завопил барон, уворачиваясь от вальсирующих вокруг него сюртуков.

Пушкин опамятовался. Кинулся к столу, все еще проявлявшему явные поползновения взмыть в воздух, навалился на него грудью, словно осаживал вставшую на дыбы лошадь, схватил листки с собственной расшифровкой, лихорадочно пытаюсь прочитать и найти нужные слова. Было слишком темно, и он, задрав голову, бросился вслед за ближайшим подсвечником, кружившим не так уж и высоко над головой, поднял руку с листками, силясь разобрать собственные торопливые каракули.

— Идиоты! — явственно пристукивая зубами, воскликнул Руджиери. — Мальчишки! Неучи! Вы не понимаете, с чем связались...

— Аноранте ента колле! — крикнул Пушкин.

Вокруг загрохотало — это рушились на пол стулья и диван, подсвечники и картины, с того места, где их застало вовремя найденное правильное слово. Сминаясь, упали сюртуки. Свечи в одном подсвечнике погасли, но барон успел ухватить второй и застыл, удерживая его на вытянутой руке, словно пародия на статую великого Бенвенуто.

Распахнулась дверь в переднюю, и на пороге возник Луиджи, без сюртука, в распахнутой мятой рубашке, державший свечу прямо в руке, без под-

свечника. На простецкой физиономии славного малого была написана нешуточная растерянность. Впрочем, представшее его взору зрелище могло смутить кого угодно! Вся гостиная пришла в такое состояние, словно здесь долго дрались пьяные матросы: повсюду перевернутые стулья, разбросанные картины, валяется как попало одежда из гардероба, еще поднимается чадный дымок от упавшего на пол шандала...

Пушкин нашелся первым. Он повернулся к слуге и сказал с поразительным хладнокровием:

— Ничего страшного, любезный. Наш бедный дядюшка очень уж оживленно и резво пытался добиться, чтобы мы отпустили его одного на прогулку по городу. Вот и пришлось вежливо унимать...

В распахнутую дверь он увидел, что и передней досталось, правда не особенно: за спиной Луиджи виднелась пара перевернутых стульев — неведомая сила, вызванная к жизни древними заклинаниями, распространилась и туда. Теперь только Пушкина прошиб холодный пот запоздалого страха, и он подумал смиренно: «А если бы черт дернул произнести заклинания где-нибудь возле городского кладбища, в опасной д о с я г а е м о с т и? Лучше не гадать, какое зрелище нам открылось бы...»

Луиджи по свойственной простонародью привычке почесал в затылке с таким видом, словно эта нехитрая процедура должна была обострить его ум, покачал головой:

— Понятно... Синьоры не нуждаются в помощи?

— Нисколько, — сказал Пушкин. — Дядюшка уже

вернулся в ясное сознание... ведь правда, любезный дядюшка?

Руджиери таращился на него затравленно и зло, но рот открывать поостерегся: барон, непринужденно встав рядом с ним, украдкой, незаметно для слуги, приложил ему кулак к пояснице. И прошептал что-то с доброй улыбкой — со стороны выглядевшее как проявление родственной заботы, но на деле наверняка таковым не являвшееся. Зная барона как человека, дипломатии чуждого совершенно, легко догадаться, что кукольному была обещана масса неприятных вещей...

— Ну что же, — сказал Луиджи, все еще пожимая плечами и гримасничая. — Веселье было незаурядное, как выразились ландскнехты, покидая женский монастырь... Разрешите удалиться, хозяин?

— Да, разумеется, — нетерпеливо сказал Пушкин.

Едва захлопнулась дверь, он подошел к ней вплотную и прислушался — нет, кажется, лакей не подслушивал.

— Александр, друг мой, — сказал барон, вертя головой с непонятым выражением лица. — По-моему, это было чуточку опрометчиво...

— Все мы задним умом крепки, — сказал Пушкин чуточку сконфуженно. — Кто же мог предполагать...

— Мальчишки... — с убитым видом простонал кукольник. — Глупые, неосмотрительные мальчишки... Вы и не представляете, что у вас в руках... Пресвятая Дева, вы же расшифровали бумаги...

— Некоторым образом, — скромно сказал Пушкин. — Хотя у меня и нет за спиной многих поко-

лений чернокнижников — мои предки другими доблестями прославлены...

Не обратив внимания на неприкрытую насмешку, Руджиери шагнул к нему, сложив руки чуть ли не молитвенно:

— Синьор Александр, вы и не представляете, что у вас в руках! Под руководством опытного наставника, постепенно осваивая премудрость, вы можете стать... стать...

— Владыкой мира, — насмешливо подхватил Пушкин.

— Нет, конечно, нет, это не простирается так далеко... Но это — власть! Нешуточная власть над людьми, вещами... Вы сделали первый шаг, и не более того, так представьте, что можно сотворить с окружающим миром, действуя сознательно и целеустремленно...

— А зачем? — хладнокровно спросил Пушкин.

— Простите?

— Зачем?

— Боже, но это же понятно: власть, золото, женщины, состояние, все, что можно пожелать... Представьте только, какого положения вы можете достичь при какой-нибудь коронованной особе...

— Синьор Руджиери, — сказал Пушкин скучным голосом. — Вы, быть может, удивитесь, но меня совершенно не привлекают все те заманчивые перспективы, которые вы описываете с дрожью в голосе... Быть может, вы склонны поддаться соблазну, Алоизиус?

— Что за глупости! — сказал барон. — Я на службе, а для гусарского офицера все эти красоты, про

которые тут, пуская слюни, причитает господин кукольник, как-то и не привлекательны вовсе...

— Ну, а дальше? — простонал Руджиери. — Дальше-то что? Вы отвезете бумаги вашему начальству, получите медальку или чин, а то и ничего не получите, кроме благосклонного похлопыванья по плечу. И бумаги, насколько я ориентируюсь, навсегда лягут за семью печатями в какой-нибудь тайный архив...

— Где им самое место, по моему глубокому убеждению, — сказал Пушкин.

— Боже мой... Боже мой... А это у вас откуда? — Его взгляд был прикован к перстню на пальце Пушкина (в комнате было уже достаточно светло, собственно, давным-давно наступило утро).

— Нашел на дороге, — сказал Пушкин.

— Вы представляете...

— Кое-что представляю, хотя и далеко не все. Имел случай своими глазами убедиться, что это колечко весьма своеобразным способом действует на статуи, которым вдруг пришла блажь ожить и гоняться за честными людьми... — Он усмехнулся, видя искажившееся лицо кукольника. — Я понял... О перстне я знаю далеко не все... Ну что же, следовало предполагать. Вы знаете лучше — ведь, подозреваю, колечко это с вашим старинным родом как-то связано...

Молчание итальянца было красноречивее любых слов, как и выражение его лица.

— Не поделитесь ли секретами? — спросил Пушкин.

Руджиери вдруг выпрямился и горделиво сложил руки на груди:

— Можете меня бить, пытаться, даже убить, но ничего не дождетесь. Вот вам мое последнее слово: либо бы бросаете свои глупости касаясь службы и долга и берете меня в долю, чтобы мы все вместе занялись с е р ь ь з н ы м и делами, либо не добьетесь от меня более ни словечка...

— А ежели ухо дверью прищемить? — деловито спросил барон. — А то и не ухо, а еще чего-нибудь?

— Не посмеете, — отрезал итальянец. — Тут вам не подземелья инквизиции и не глухая чащоба, а немаленький город, где есть законы и полиция. Кричать буду так...

— Хватит, — сказал Пушкин, уже принявший решение. — Никто вас пытать не собирается, вздорный вы человечешка. Более того, вы нам совершенно не нужны. Бумаги у нас. Как бы нам ни хотелось поставить вас перед судом за ваши милые шалости в России и Пруссии, я понимаю, что уличить вас невозможно... А потому проваливайте к чертовой матери и никогда больше не попадайтесь нам на глаза. Ну, что стоите? Убирайтесь!

Кукольник не двинулся с места. Потеряв гордый вид, умоляюще протянул:

— Синьоры, одумайтесь! У вас в руках нечто, дающее колоссальные возможности и немаленькую власть...

— Пошел вон! — рявкнул барон.

— Я никуда не уйду, пока есть надежда вас образумить...

Барон, надвигаясь на него, зловеще спросил:

— А с лестницы ты не летал, птичка божья?

— Барон! — удержал его Пушкин. — Не пачкайте рук об этого субъекта. Для этого есть...

Послышался осторожный стук в дверь, напоминавший скорее царапанье.

Глава шестая

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Появившийся на пороге Луиджи вновь пребывал в том же состоянии легкой оторопелости. Правда, на сей раз он был уже в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, причесался и как нельзя более походил на исправного слугу.

— Синьор, — сказал он, глядя на Пушкина. — Вам велено передать...

И протянул синий конверт, запечатанный сургучной печатью с изображением незнакомого герба.

— От кого это? — спросил Пушкин, вертя письмо в руках.

— Только что принес ливрейный лакей, очень точно описавший наружность вашей милости. На словах велено передать, что карета вас дожидается у входа. Какой будет ответ?

— Подождите в передней, — сказал Пушкин в некоторой растерянности.

И распечатал конверт, едва за слугой захлопнулась дверь. Лист плотной бумаги был увенчан тем же гербом, что на печати, а ниже безукоризненным почерком было написано:

«Князь Уголино Карраччоло, свидетельствуя свое почтение знаменитейшему российскому поэту, смиренно просит синьора Пушкина пожаловать для не-

отложного разговора, могущего оказаться полезным для обеих сторон».

— Фу ты! — воскликнул барон, бесцеремонно заглядывавший через плечо Пушкину. — Выходит, они уже знают, кто вы такой... Интересные дела. Вы, конечно же, не поедете...

— Конечно же, поеду, — сказал Пушкин. — Когда еще выпадет случай встретиться с нашими загадочными врагами лицом к лицу? Благо и карета ждет...

— С ума вы сошли?

— Ну почему? — спокойно спросил Пушкин. — На дворе — светлый день, мы с вами, как только что верно заметил господин Руджиери, не в дикой чащобе, а в центре большого европейского города... Если бы они хотели причинить нам вред, что им мешало прежде? Хотя бы тогда, ночью, на безлюдной дороге... А не спросить ли нам человека, несомненно знающего толк в здешних делах? Что скажете, синьор Руджиери?

— Боже мой, как вам везет... — сказал кукольник с нескрываемой завистью. — Такое приглашение может означать только одно: с вами хотят о чем-то договориться...

Пушкин усмехнулся:

— Потому что ни бумаги, ни перстень нельзя вульгарно о т о б р а т ь?

— Вот именно — воскликнул Руджиери. — Вам несказанно повезло, у вас, если можно так выразиться, все козыри на руках. Вы можете ставить условия, торговаться на выгодных для себя позициях... Тако-

го шанса упускать нельзя! В конце концов, это не монстры, не звери, вполне разумные и рассудительные...

— Вы не говорите «люди»? — спросил Пушкин с усмешкой. — Ну да, надо полагать, это определение не вполне уместно...

— Какая вам разница? Если у вас есть нешуточные козыри для серьезного торга?

— Вот видите, барон, — сказал Пушкин. — Знающий человек высказал свое веское мнение, которое с моими мыслями в чем-то совпадает... Вежливое приглашение следует вежливо принимать, не правда ли? Пойдемте посмотрим...

Он вышел в переднюю, где терпеливо дожидался лакей в раззолоченной ливрее, чьи пуговицы были украшены изображением все того же герба, с точки зрения геральдики ничем не примечательного. Скорее всего, внешность Пушкина была описана ему подробно — едва заведя его, лакей сделал шаг вперед и склонился в почтительном поклоне:

— Карета ожидает вашу милость.

Барон, шагнув вперед, сказал решительно:

— Я тоже поеду.

Окинув его взглядом, представлявшим восхитительную смесь вышколенности и потаенной наглости, лакей процедил:

— Касательно вашей милости у меня нет распоряжений. У меня создалось впечатление, что его сиятельство желает видеть лишь синьора Пушкина, каковым вы, смею предположить, не являетесь...

Выпрямился и застыл с видом непреклонным.

— Ну ладно, — сказал барон, перехватив выразительный взгляд Пушкина. — Только имейте в виду: если в вашем гнезде с головы моего друга хоть один волос упадет, будете иметь дело со мной...

Лакей с достоинством ответил:

— Признаться, мне совершенно непонятно, о чем толкует ваша милость... — и вопросительно глянул на Пушкина.

Тот сказал небрежно:

— Ну, я на вас полагаюсь, барон... — и, выходя, прихватил свою тяжелую трость, с которой много лет не расставался, упражняя с ее помощью руку, чтобы пистолет не дрогнул. Защита была, признаться, слабая, но очень уж он к этой трости привык.

Их ожидала запряженная парой карета. Лакей распахнул перед ним дверцу, а сам, разумеется, разместился на козлах. Хлестнул бич по спинам лошадей, карета тронулась. Несмотря на ранний час, народу на улицах было немало, и Пушкин, наблюдая через незавешенное окошко кареты окружающую суету, вдруг почувствовал себя странно: он словно был неким волшебным образом оторван от окружающего мира, шумевшего совсем рядом, с его красками, запахами, гомоном и многолюдством. Страх не было — но неприятный холодок все же щекотал чувства...

Он старательно запоминал дорогу — на всякий случай. Карета выехала за городские ворота и вскоре свернула с большой дороги, еще через несколько минут проехав в распахнутые высокие ворота. За ними расстился обширный, изрядно запущенный

парк, ветви старых деревьев были буквально усыпаны птичьими гнездами. Подсознание отметило некую странность, и скоро Пушкин догадался, в чем тут дело: гнезд было много, а вот птицы не видно ни единой...

А впрочем, парк вовсе не выглядел каким-то зловещим местом, как и показавшийся за деревьями дворец, судя по архитектуре, выстроенный лет триста назад, когда в Тоскане кипели те самые настоящие страсти: звон клинков средь бела дня и украдкой сверкавшие во мраке кинжалы наемных убийц, яды и порочные красавицы, заговоры вокруг трона, тугой свист арбалетных стрел...

Дворец был не особенно большим, возведенным с несомненным изяществом и, судя по первому впечатлению, содержавшимся в неусыпной заботе. Ничего, напоминавшего полуразрушенные логова привидений и прочей нечисти из английских готических романов.

Над входом красовался тот же герб — по виду ровесник дома, камень уже несколько пострадал от времени. Едва карета остановилась у главной лестницы, лакей предупредительно распахнул дверцу перед Пушкиным, а у высокой резной двери показался второй, распахнул ее и склонился в поклоне. Пока что не произошло ничего странного, все вполне укладывалось в привычные картины: некий дворянин прибыл к титулованной особе по ее вежливому приглашению...

Третий — скорее уже не лакей, а мажордом, еще более раззолоченный и осанистым чревом не уступавший какому-нибудь петербургскому Епифанию,

отставному гвардейцу, отступил, пристукнул булавой с позолоченным шаром на конце по полу и прочувствованно воскликнул:

— Его сиятельство князь Карраччоло!

Помянутый господин спускался с широкой беломраморной лестницы, покрытой безукоризненным бордовым ковром. Лет ему было, надо полагать, около шестидесяти, он был чрезвычайно благообразен, седовлас, с располагающим лицом человека, ведущего не просто благонамеренный, а крайне добродетельный образ жизни. При одном взгляде на него предполагалось, что он регулярно подает нищим, благотворствует впавшим в нужду вдовам, малолетним сиротам и подающим надежды художникам, а также делает немалые вклады в богадельни, дома призрения и сиротские приюты и, кроме всего прочего, жертвует на церковь немалые суммы.

«Белая голова», — произнес за Пушкина кто-то бдительный и хладнокровный, и Пушкин поневоле подобрался, словно охотник в засаде.

Между тем князь приближался к нему с самой очаровательной улыбкой, протянул руку:

— Господин Пушкин, рад вас видеть. Неужели столь славный поэт мог рассчитывать, что ему удастся сохранить инкогнито?

Это было произнесено без малейшей насмешки, тоном радушным и дружелюбным.

— Полноте, ваше сиятельство, — сказал Пушкин (отметив, что поданная ему рука была теплой и сильной). — В городе великого Данте называть себя поэтом было бы хвастовством...

— Не скромничайте, право. Поэзия все же не исчерпывается одним Данте, как бы он ни был велик... Прошу вас, проходите. Вы, надеюсь, не обиделись, что я не пригласил и вашего... друга? Тысяча извинений, но этот молодой человек мне представляется чересчур ограниченным для той беседы, ради которой я вас позвал...

— У него есть свои достоинства, — сухо сказал Пушкин.

— Не сомневаюсь. Но меня они не интересуют, простите великодушно. Пройдемте в гостиную...

Он отступил с видом радушного хозяина, щелкнул пальцами, и бесшумно возникший лакей отворил дверь. Окна выходили в парк, на стенах висели картины, определенно принадлежавшие старым мастерам, но Пушкин, хотя и голову готов был прозакладывать, что видит двух Рубенсов и одного несомненного Боттичелли, в жизни не слыхивал о полотнах с такими сюжетами. Картины эти были решительно не известны знатокам.

— Прошу, — сказал князь, указывая Пушкину на кресло у великолепного стола позднего барокко и усаживаясь следом. — Угодно вина? Фруктов?

— Благодарю, — ответил Пушкин. — Я только что позавтракал, и плотно.

Осторожность в таких местах не мешает. Мало ли что могло быть подмешано в вино, в заманчиво выглядывшие сладости, в ярко-оранжевые померанцы...

— Сигару?

— С вашего позволения, я предпочту свои...

Князь с видом человека, привыкшего уважать капризы гостей, развел руками, и какое-то время они

молча пускали ароматный дым, изредка встречаясь взглядами. Странно, но неловким это молчание не казалось ничуть.

— Ну что же, Александр... — нарушил молчание князь. — Вы позволите вас так называть? Я знаю, у русских к этому прибавляется еще и имя отца, но это слишком экзотический для Италии обычай... И потом, я гораздо старше вас...

Глядя ему в глаза, Пушкин усмехнулся:

— Интересно, насколько?

Князь с добродушным укором покивал головой:

— Понимаю. Вы уже успели послушаться от кого-то разных дурацких сплетен. Итальянцы на них мастера, а уж флорентийцы — в особенности... Вам, скорее всего, рассказывали и про часы, которые идут в обратную сторону, и про бутылки с гомункулусами... А то и что-нибудь похуже. Вздор, право, вздор... Мне довелось однажды слышать про идущие назад часы. Поверьте, вещь самая бесполезная, потому что неосторожный человек, дерзнувший воспользоваться ими, с каждым оборотом стрелок молодеет, и все бы ничего, но это процесс, однажды запущенный, уже нельзя остановить. Юноша превращается в мальчишку, мальчишка в дитя, и так далее, до логического конца. Такими часами перестали пользоваться давным-давно, очень быстро осознав, какие опасности они таят...

— Интересно...

— Еще бы. Вы можете узнать и более интересные вещи. Было бы только желание.

— Очень мило, — сказал Пушкин. — Я тронут. И что для этого нужно сделать? Добыть кровь из

пальца и подписать ею некое обязательство? Душу продать?

— Не обижайтесь, друг мой, но ваши представления на сей счет так и тянет назвать дремучими... — Князь безмятежно улыбнулся. — Давайте не будем играть в прятки. Думаю, вы уже прекрасно понимаете, что судьба вас свела с людьми... как бы это деликатнее выразиться... несколькими отличающимися от обычных людей?

— Понимаю, — сказал Пушкин, ни на миг не позволяя себе расслабиться. — Не осталось недомолвок...

Князь покивал:

— И вам, конечно, как всякому, скверно знающему предмет, наверняка мерещатся всякие ужасы? Сосущие кровь из незащищенных людей упыри? Зловредные колдуны в черных плащах, которые в полночь сходятся на росстанях и приносят в жертву детей, а потом чертят кровью каббалистические знаки... Не отрицайте, у вас в воображении возникали такие или похожие картины? Жуткие ритуалы, восстающие из могил полусгнившие трупы, воющие оборотни... Ну, признайтесь!

— А разве дело обстоит иначе?

Князь рассмеялся, как подлинно светский человек, мелодично, негромко:

— Какая чепуха... Александр, вам не приходило в голову, что наши науки, как и все прочие, движутся от детства к зрелости? Я не отрицаю, в Средневековье сплошь и рядом встречалось то, что мы только что перечислили, но ведь это было Средневеко-

вье. Никто не смеется над географами античности, полагавшими Землю плоской, или первыми биологами, полагавшими, что женщина зачинает от ветра... У этих наук было свое детство. В точности так обстоит и с нами. Поверьте на слово: ни мне, ни моим друзьям в жизни не приходилось варить в полночь на перекрестке дорог черную кошку в одном котле с жабами или, обрастая шерстью в полнолуние, носиться по чащобам... Это было детство, и оно давным-давно прошло. На дворе стоит век просвещения, электричества, светильного газа, воздухоплавания, пароходов морских и сухопутных... Так что рассматривайте нас как ученых, друг мой. Да-да, в сущности, так и обстоит. Как и подобает истым ученым, мы просто-напросто изучаем некую силу, как физик изучает электричество. И пытаемся использовать ее в нашем мире, как используют для освещения газ господа инженеры... Вот и вся суть, если вкратце. Все пристойно, благонамеренно, в полном соответствии с просвещенным веком, никто не чертит колдовских знаков кровью нерожденного младенца, не устраивает шабаши в чертовски некомфортных местах вроде уединенных гор и лесных пещер. Есть некая сила и есть исследователи. Попробуйте взглянуть на проблему с этой точки зрения, и вы, не исключено, многое для себя пересмотрите...

— Заманчиво, — сказал Пушкин.

— И, между прочим, вполне реально. Вы еще не поняли, почему вами так заинтересовались... и, между прочим, позволяли некоторые шалости, за которые кто-нибудь другой давно остался бы без головы?

У вас есть задатки, друг мой. Знаете, каждый одаренный человек питает к чему-то склонности. Один — ювелир, другой — художник, третий — прирожденный банкир... Так и с вами обстоит. У вас есть некие качества и способности, которые при надлежащем развитии позволят вам продвинуться очень и очень далеко...

— Среди вас?

— Именно.

— Спасибо за честь, — сказал Пушкин иронически. — Но вынужден ваше предложение отклонить...

— Почему же?

Пушкин наклонился и посмотрел ему в глаза:

— Потому что мы оба прекрасно понимаем, что за фигура кроется за явлением, деликатно именуемым вами «силой»... Не правда ли?

Князь отвел взгляд, улыбнулся чуть натянуто:

— Да полноте! Неужели вы верите в то, что церковь вбивала в умы в период своего детства? Они попросту нисколько не повзрослели, Александр. Науки и искусства давным-давно шагнули из детства в зрелость, а эти продолжают перепевать байки тысячелетней давности. Не в состоянии идти в ногу с прогрессом.

— Ну что же, — сказал Пушкин, — позвольте уж и мне, убогому, не гнаться за прогрессом очертя голову... Или вы намерены завлечь меня силой?

— Ну что вы, право! — воскликнул князь с видом нешуточной обиды. — Какое там принуждение... Простите старому цинику откровенные слова, но так уж устроено и заведено, что в некоторых случаях

любое принуждение бессильно. Необходимо исключительно добровольное согласие...

— Другими словами, то, чего вы от меня никогда не дождетесь.

— Ну что же, — сказал князь. — Другой на моем месте пустился бы в долгие уговоры, мешая лесть с угрозами, расписывая выгоды и прельщая великолепным будущим... Что же, я повидал мир и людей. И могу определить, когда уговоры бесполезны. Жаль, конечно, жаль, вы и не представляете, чего себя лишаете...

— Зато я хорошо представляю, чего себя лишу, поддавшись на ваши уговоры. — Пушкин поднял голову, его глаза блеснули лукаво, озорно. — Ваше сиятельство, а что, если я вас попросту перекрещу? И прочитаю молитву? Конечно, это в данном случае может и не вязаться с правилами хорошего тона и поведением воспитанного гостя...

— Да сделайте одолжение... — скучным голосом сказал князь, кривя губы. — Вы меня разочаровали... Способнейший молодой человек с большими задатками — и вдруг скатывается к такому примитиву... Ну, валяйте, чертите крестное знамение... Может, у вас под сюртуком и бутылка святой воды припрятана? А то и осиновый кол? Не стесняйтесь, развлекайтесь, как вам угодно. Давайте вместе: да воскреснет Бог и расточатся враги его... Апаге, сатанас, апаге!* — Он поднял руку и, весело гримасничая, изобразил в воздухе крестное знамение. — Ну, что же вы? Вы гость здесь, можете творить, что хотите...

* Изыди, сатана, изыди! (лат.)

Он не лицедействовал — Пушкин видел, что собеседник и в самом деле не боится ничего из того, что сам он полагал действенным средством против нечисти. И остался сидеть неподвижно, понутив голову.

Князь рассмеялся:

— Молодо-зелено... Любезный друг, не стану отрицать, есть... процедуры, которые нам способны причинить определенный вред. Но, говоря откровенно, они не имеют ничего общего с тем примитивом, который лезет вам в голову. А возможно, дело еще и в том, кто эти процедуры проводит. То, что получилось бы у какого-нибудь святого человека, не работает в руках бабника, завязтого картежника, задиры и дуэлянта, который без зазрения совести наставляет рога законным мужьям, ставит на кон в игорном доме главы своих поэм, распивает шампанское с проститутками и швыряет бильярдными шарами в партнеров по игре, с которыми поссорился опять-таки по своей несдержанности... Любезный друг, поверьте, я нимало не стремлюсь вас оскорбить, перечисляя все эти ваши подвиги. Просто-напросто хочу объяснить, что в а с я не опасаюсь, можете крестить меня, пока не устанет рука...

— Спасибо за разъяснения, — сказал Пушкин.

— А то попробуйте, в самом деле? — радушно предложил князь. — У меня где-то Библия валяется, у вас на шее висит крестик, за осиновыми кольями пошлем лакея... В моем уединении живется скучно, и я был бы рад случайному развлечению...

Пушкин сердито молчал.

— Значит, решительно не хотите доставить удовольствие старику, гоняясь за мной с осиновым колом? Жаль, жаль... Ну, не смею неволить. Пожалуй, я и в самом деле дал промашку, не пригласив вашего пылкого и недалекого умом друга. Вот кто не заставил бы себя упрасивать, сходу взялся бы за дело...

Пушкин сказал холодно:

— Я полагаю, мы исчерпали темы, ради которых вы меня пригласили? Не позволите ли откланяться?

— Вы все-таки обиделись... — покачал головой князь. — Поверьте, я не имел намерения...

— Вздор, — сказал Пушкин. — Мне попросту не хочется терять с вами время. Предложения ваши меня не интересуют, а осыпать друг друга колкостями бессмысленно...

— Вы правы, — сказал князь уже серьезно. — Давайте-ка перейдем к делу. Вы ведь выслушали далеко не все мои предложения... Вам было сделано только одно, и вы от него отказались, а есть еще и другие...

— Того же пошиба?

— Фи, как грубо... Давайте поговорим спокойно и рассудительно, как взрослые, разумные люди. Но сначала позвольте представить вам моего доброго друга, графиню Катарину де Белотти...

Сзади послушался шелест платья, и Пушкин резко обернулся — он не слышал, чтобы открывалась дверь, звучали шаги, но тем не менее женщина уже стояла в двух шагах от него, и он невольно поднялся, побуждаемый выучкой светского человека.

Графиня была ничуть не выше его, так что они смотрели друг другу прямо в глаза. Она выглядела не

старше двадцати с небольшим и была обворожительна, как радуга на фоне расплывающейся серой хмари только что отгремевшей грозы: огромные синие глаза, уложенные в наимоднейшую прическу золотистые локоны, тонкое лицо, напоминавшее языческих богинь и библейских героинь с полотен Боттичелли, матовые покатые плечи, лебединая шея...

Сердце поэта оборвалось и упало куда-то, где не было ни дна, ни здравого рассудка.

Открыто глядя в глаза и улыбаясь, она требовательно протянула руку, и Пушкин, повинувшись тому же инстинкту учтивости, нагнулся к тонким пальчикам, унизанным кольцами с самоцветами поразительной величины, каких не постыдилась бы любая королевская сокровищница. Пальцы были теплые и пахли вербеной.

— Рада вас видеть, Александр.

Ее голос ни с чем нельзя было сравнить. Он был как мед. В нем можно было утонуть. Пушкин смятенно подумал, что именно так, должно быть, звучали голоса сирен.

Князь с едва уловимой иронией произнес за его спиной:

— Ну что же... Сдается мне, у вас нет ощущения, что вы держите в руке полуистлевшую кисть скелета? И прелестная Катарина ничуть не похожа на вставший из склепа труп...

Графиня сделала очаровательную гримаску:

— Князь, что за чушь вы несете? Какие склепы? Трупы?

— Я здесь совершенно ни при чем, — весело сказал князь. — Это наш гость отчего-то решил, что

мы — то ли вставшие из гробов покойники, то ли тупые средневековые колдуны с мешком сушеных жабьих лапок и некрещеным младенцем под мышкой... Порывался даже меня перекрестить и читать молитвы...

— Князь, — укоризненно сказала девушка. — Ваши манеры на свежего человека действуют убийственно... Наш гость попросту наслушался глупых простонародных сказок, вот и все...

Она подняла ладонь Пушкина, на миг прижалась к ней щекой и послала ему прямо-таки завораживающий взгляд огромных синих глаз. Он изо всех сил пытался сопротивляться, но давалось это с трудом. Здесь, ручаться можно, не было никакого наваждения, чародейства, приворота — попросту она была прекрасна, как пламя, она была совершенна, и э т о м у не было возможности сопротивляться.

— Ну что же, перекрестите меня, Александр, — тихо сказала она. — Прочтите какие-нибудь глупые молитвы... Я ни во что не превращусь, вопреки известной тираде героя Шекспира, ни в труп, ни в чудовище, я останусь такой, как вы меня видите, потому что я и в самом деле такова... Милый юноша, неужели это все, что вы хотите со мной сделать — крестить и осыпать молитвами? Не разочаровывайте одинокую, скучающую, ветреную красавицу...

Он не мог высвободить руку, потому что не в состоянии был собрать для этого достаточно сил. Тонул в лукавой улыбке, в бездонных синих глазах, мелодичном и нежном голосе. Иезуит прав, смятенно,

даже панически подумал он, стоя соляным столбом. Мы не можем с ним и бороться в полную силу, потому что мы не более чем школяры, неопытные юнцы...

— Катарина, душа моя, — сказал князь, громко покашливая. — Оставьте молодого человека на какое-то время, мало вам разбитых сердец?

Она подняла брови:

— Но я вовсе не собираюсь разбивать ему сердце! Я же не настолько жестока... Кто сказал, что у него нет шансов?

— Проказница, — терпеливо произнес князь. — Вы прекрасно понимаете, о чем я. У нас еще не закончен серьезный разговор, а в вашем присутствии наш гость будет держаться скованно и вряд ли способен окажется к дельным умозаключениям...

— Другими словами, князь, вы меня безжалостно изгоняете, — печально сказала Катарина. — Сатрап, насильник, бездушная машина для скучных дел... Ну что же, не буду вам мешать... Но мы еще встретимся, верно?

Послав Пушкину ослепительную улыбку, — где невинность удивительным образом сочеталась с порочностью, она сделала реверанс (но на какой-то старомодный, полузабытый манер), грациозно повернулась и пошла к двери, явственно постукивая каблучками. Высокая резная дверь распахнулась перед ней сама собой, но дело тут было, конечно, не в колдовстве, а в вышколенности лакеев.

Князь усмехнулся:

— Что же, вы и теперь бесповоротно отказываетесь от дружбы с нами? Уж не вода ли у вас в жилах вместо крови?

— Вы, кажется, хотели говорить о делах? — сердито спросил Пушкин.

Когда красавица исчезла, он сразу почувствовал себя увереннее и бодрее, но полностью стать прежним, он чувствовал, не удастся. Очень уж пленительное видение явилось то ли из соседней комнаты, то ли из самой преисподней...

— Да, разумеется, — сказал князь. — Садитесь. Скажу для начала, что я не придаю чрезмерно большого значения вашему якобы категорическому отказу в ответ на предложение дружбы. Поспешность в таких делах совершенно неуместна. Времени впереди достаточно, никто и ничто не мешает вам все взвесить, обдумать и, быть может, изменить первоначальную точку зрения...

— Вы, кажется, хотели говорить о делах? — повторил Пушкин сухо и настойчиво.

— Ох, какой вы... Ну ладно, извольте. Давайте, не чинясь, перейдем от высоких материй к прозаическому торгу. Предположим, мы вас не привлекаем в качестве доброй компании. Ну, что поделать, насильно мил не будешь... Подойдем к проблеме с другой стороны. У вас есть кое-что, что крайне меня интересует.

— А именно?

— Бумаги, которые вы забрали из банка Ченчи. И кольцо, которое и сейчас красуется у вас на пальце.

— Зачем вам это?

— Позвольте, я не буду отвечать на этот вопрос? Коли уж разговор у нас пошел чисто деловой? Поговорим, как два крестьянина на ярмарке. У вас есть товар...

— Я не торгую этими вещами. Я ничем не торгую.

— Ох, не цепляйтесь вы к словам... Хорошо, вульгарное золото вас, похоже, не интересует ни в каком количестве. Это похвально. Я люблю людей с высокими идеалами, бескорыстие достойно уважения... В самом деле, золото, даже когда его целая груда — это не более чем несказанная пошлость. Ну что, в самом деле, на него можно приобрести? Удивительно унылый набор: поместья, дворцы, еду и вино, титулы и ордена... Женщин я в этот список не включаю, потому что купленная женщина все же, сдается мне, доставляет гораздо меньше удовольствия, чем купленный замок, алмаз, лес... Что еще? Ну, кардинальскую шапку, место в парламенте, но это уже пошли мелочи... Зато есть масса вещей, которые за золото не приобретешь, но они гораздо более ценны, нежели все то, что я сейчас перечислил...

— А точнее?

— Извольте! — с превеликой охотой воскликнул князь. — Ну, хотя бы...

— Начнете, пожалуй, с бессмертия?

— Вы снова наслушались глупых сказок, — с величайшим терпением произнес князь. — Бессмертия не существует... хотя это, конечно, не означает, что нет долголетия. Настоящего долголетия. Не интересуетесь?

— Нисколько, — сказал Пушкин. — Получится, что я переживу всех, кого знаю и люблю... Вы падете из своего времени, а значит и из жизни. Какой это, должно быть, тоскливый ужас — долголетие, то самое, настоящее, о котором вы говорите...

— Вы полагаете? Зря... Своя прелесть в этом есть.

— Увольте...

Помолчав, князь встал, прошел к золоченому шкафчику в углу, — его движения были энергичными, молодыми, отнюдь не соответствовавшими сединам и определенному числу морщин — и вынул оттуда что-то продолговатое, более всего похожее на лакированный ящик для пистолетов. Поставил на стол перед Пушкиным и поднял крышку (при этом крышка, словно музыкальная шкатулка, сыграла короткую приятную мелодию).

Внутри, в выстланных синим бархатом прямоугольных гнездах, покоились рядами странные предметы, более всего похожие на флакончики духов, только без горлышка — овальные, несомненно, стеклянные: показалось, что они слабо светятся изнутри, каждый своим цветом. Зачем-то Пушкин сосчитал их — шесть рядов по шесть флаконов.

— Хорошо, — сказал князь. — Долголетие, как и устрицы, не всякому по вкусу. А что вы скажете насчет этого? — Он достал один сосуд и, держа двумя пальцами, посмотрел сквозь него на свет. Лучик полуденного солнца уперся прямо в выпуклый стеклянный бочок, и Пушкин отчетливо видел, что внутри колышутся словно бы струйки синеватого тумана, кружась, переплетаясь, распадаясь ежесекундно менявши-

мися узорами. И что-то темное, устойчивое вроде бы кружило внутри, но его не удавалось разглядеть в точности из-за переплетения туманных струек.

— Называйте это как угодно — талисманом, оберегом, — сказал князь, наблюдая за игрой синего сияния и теней внутри сосуда. — Не в том суть. Главное, человек, у которого в кармане будет лежать этот предмет, никогда не проиграется в карты... По-моему, это очень близкая вам тема, даже, можно выразиться, животрепещущая? Здесь собраны о б е р е ж е н и я на все случаи жизни. На дуэли или на войне любая пуля всегда пролетит мимо вас, как и разбойничий нож промахнется. Вы никогда не подхватите какую-нибудь эпидемическую заразу... И даже простой насморк. Вас никогда не бросит женщина. Вас не смогут обмануть. Вас будет особенно ценить, продвигать и награждать начальство. Счастье, удача, везение — это все здесь... Поменяемся? Вам достанется этот небесполезный ящик, а мне — кипа старых бумаг и дрянное колечко...

— А что это там, внутри, виртуозится? — спросил Пушкин с искренним интересом. — Или... кто?

— Какая вам разница? Если эти предметы служат надежнее механизма лучших часов?

— Слыхивал я краем уха и про подобное, — сказал Пушкин. — Не нравится мне тот, кто там сидит, тем более когда их столько... Говорят еще, что хозяин такой вот вещички, когда умрет, получит в лице этой твари из склянки настойчивого проводника в те места, куда ни один здравомыслящий человек не станет стремиться...

— А если я вам скажу, что это вздор?

— Все равно.

— Послушайте, — тихо, серьезно произнес князь. — Вы, я вижу, чертовски капризный клиент... Скажите в таком случае, что вам самому нужно?

— А вы можете предложить что-то еще?

— Едва ли не все, что вам может прийти в голову... — Князь сделал широкий жест. — В этой комнате найдется множество полезнейших предметов... скажите только, чего вы хотите.

— Ничего.

— Я так и не могу понять, что это — убежденность или глупость? — заметно теряя терпение, спросил князь. — Ведь вам самому, вам лично ни эти бумаги, ни кольцо не нужны. Ну зачем вам умение двигать неодушевленные предметы? Уж безусловно вы не собираетесь управлять картами в колоде или изумлять девиц, заставляя плясать ломберный столик... Привезете все это начальству, вас похлопают по плечу и в виде поощрения предложат еще какое-нибудь дельце, на котором вы уж точно сломаете шею... Ну, могут еще выхлопотать медаль, следующий чин... Не мелко ли?

— А в а м зачем это все? — спросил Пушкин. — Коли уж шкафы у вас и без того ломаются от чудесных и диковинных предметов? Зачем вам умение управлять статуями или деревянными птицами, какими торгуют на ярмарках? Не хотите же вы начать карьеру фокусника в балагане? «Карраччоло — укротитель стульев и подсвечников!» Не могу представить вас в столь пошлой роли. Можно, конечно —

я с этим уже сталкивался — совершать с помощью этого умения убийства за щедрую плату... Но это опять-таки мелко, и человеку вроде вас выгоду принесет мизерную...

Лицо князя было мечтательным и чуточку отсутствующим. Он словно бы расслабился на краткое мгновение.

— Мизерная, говорите, выгода? Ну, это как сказать... — и тут же спохватился. — Любезный друг, а почему бы вам не признать, что и у человека вроде меня бывают коллекционерские страсти? Капризы пресыщенного аристократа?

— Простите, но мне плохо верится... — сказал Пушкин твердо. — У вас должна быть некая цель, я только не понимаю, какая... Но вряд ли она добродетельна. А потому все, что у меня есть, следует держать от вас подальше...

— Это ваше последнее слово? — без малейшего раздражения, очень деловито спросил князь.

— Да, разумеется, — сказал Пушкин. — Что бы вы ни предлагали...

С невозмутимым видом князь кивнул — и только в следующий миг Пушкин понял, что кивнул не ему, а кому-то за его спиной. Он вскочил на ноги, но было поздно — несколько сильных рук схватили его так, что пошевелиться не было никакой возможности, а чья-то сильная ладонь еще и вцепилась в волосы, удерживая голову так, что смотреть он мог только вперед. Ногти на этих пальцах были не короче, чем у него самого, больно царапали кожу, словно и не ногти это были, а... Он с содроганием уви-

дел краем глаза, что вцепившаяся в его локоть ручища хотя и не отличалась почти от человеческой, но кожа на ней была коричневая, морщинистая, как кора старого дуба, покрытая пучками жесткой черной щетины.

— Вы ужасно самонадеянны, молодой человек, — наставительно сказал князь, выпрямившись во весь рост. — Точнее говоря, вас подвело неумение выстраивать логические размышления до конца. Не стану скрывать, я и в самом деле не могу отобрать у вас силой то, что мне нужно... Но отчего вы решили, что и во всем остальном вам обеспечена полная неприкосновенность? — Он улыбнулся уже без тени дружелюбия. — Вы все же отдадите мне то, что меня интересует, совершенно добровольно. Так и скажете: «Возьмите, будьте так добры...». Этого будет достаточно.

— Мой друг...

— У вашего друга, поверьте, сейчас выше головы собственных хлопот, — сказал князь. — Вот уж не до того, чтобы озабочиваться вашей судьбой... Я догадываюсь, что вы спрятали бумаги в какой-нибудь банк. Но это ничего не меняет, вы попросту сами возьмете их оттуда, сами отдадите их мне, но сначала отдадите кольцо...

Он небрежно повел указательным пальцем, и Пушкин почувствовал: его ноги отрываются от пола. Пленившие его создания, обладавшие нечеловеческой силой и невероятной хваткой, потащили его в угол гостиной, к невысокой двери. Он пытался было сопротивляться, но не было никакой возможности.

Громко топая — очень хотелось верить, что не более чем подошвами, неизвестные протащили его по лестнице, спускавшейся все ниже и ниже, на ней становилось все темнее — они уже оказались ниже уровня земли. Вскоре сгустился совершеннейший мрак, но это, казалось, ничуть не мешало тащившим его, они топотали столь же уверенно, нисколько не замешкавшись.

Впереди, судя по звуку, стукнула тяжелая дверь, повеяло сырым холодом... Существа опустили его ногами на пол, но хватки не ослабили. В углу что-то зашипело, мелькнула вспышка, и тут же загорелся самый что ни на есть прозаический масляный фонарь — вот уж чего Пушкин не ожидал увидеть в этом логове...

Желтое пламя, колыхнувшись, успокоилось, светило теперь ярко и ровно. Он оказался в сводчатом, довольно большом подвале, сложенном из тяжелых плит темного камня, но главное было не в этом...

Повсюду, в сидячей позе прислонившись к стенам, располагались человеческие скелеты, достаточно странные: каждый был обвит с ног до головы сетью толстых и тонких, черных и темно-красных кровеносных сосудов, артерий, вен — точнейшее подобие кровеносной системы человека, как она показана в анатомических атласах. Все сосуды, от главных до тонюсеньких, достигавших кончиков пальцев...

Отбросив тлеющий трут, князь отошел от масляного фонаря и с видом заправского проводника по античным развалинам широким жестом обвел подвал:

— Перед вами, любезный друг, плоды научных увлечений моего предка. Звали его Угоччоне, и жил он в те далекие времена, когда естественные науки были еще в младенчестве. Но жажда познания его сжигала нешуточная, и однажды ему захотелось узнать наконец, как же расположены в теле человека кровеносные сосуды. Мой предок был человеком целеустремленным, последовательным и терпеливым. После многочисленных опытов он отыскал наконец состав, который, будучи введен в жилы, распространяется по всему телу и твердеет. Как вы, должно быть, догадываетесь, для успеха дела, то есть для создания подробнейшего э к с п о н а т а, смесь эту следовало вводить живым людям... Но в старые времена наши предки не знали нынешних новомодных словечек вроде гуманизма и прав человека и на многое смотрели проще. Повторяю, речь шла о благородной одержимости ученого, стремящегося раскрыть тайны природы или, если угодно, Творца... Чудесные раритеты, не правда ли?

— Омерзительные, — сказал Пушкин искренне.

— Полноте. Пообщавшись с ними, вы вскоре перемените мнение... — Он хихикнул, повернулся и неторопливо прошествовал к двери, оказавшейся и в самом деле низкой, тяжелой.

Тут же сильный толчок швырнул Пушкина на пол, а в довершение чья-то тяжелая лапища наподдала по затылку так, что перед глазами вспыхнули звезды. Когда он вскочил, весь перепачканный, с гудящей головой и расплывавшимися перед глазами разноцветными пятнами, в подвале уже не было никого,

кроме него и неподвижных скелетов, увитых, словно жутким кружевом, сетью окаменевших кровеносных сосудов.

Первым делом он, ругаясь про себя последними словами, поспешил к двери, навалился плечом. И тут же оставил попытки — это было все равно что попытка сдвинуть в одиночку постамент Медного Всадника. Темные доски — наверняка приличной толщины — окованные полосами толстого железа, очень возможно, выдержали бы и пушечное ядро... Не потому ли ему с издевательским пренебрежением оставили оба пистолета? Пушкин достал один, задумчиво навел на дверь и тут же опустил. Даже пробовать не стоило. Бессмысленно.

Особого страха не было — скорее уж досада, в первую очередь на себя за то, что и в самом деле оказался легкомысленным, не продумал все до конца. Действительно, следовало ожидать чего-то подобного. Но все же... Среди бела дня, не так уж далеко от большого современного города... Само собой разумелось, что нечисть бессильна при свете дня и не способна предпринять какую-то гнусность до самого заката...

Что это шуршит?

Он обернулся и едва не закричал. Скелеты уже не полусидели у стен в беспомощной позе, а неуклюже поднимались, царапая каменные стены костяшками пальцев, и некоторые из них, проделавшие это быстрее остальных, уже утвердились на ногах, сначала покачиваясь, но все более и более уверенно удерживая равновесие, направились прямо к нему.

Пушкин почувствовал спиной холод железных полос — оказывается, он успел прижаться спиной к двери. Скелеты надвигались всей оравой, взяв его в полукольцо, щерясь застывшими улыбками, вытягивая руки, причудливо увитые артериями, венами и вовсе уж тонюсенькими сосудиками, незаметно сходящими на нет. Сталкиваясь и задевая друг друга, они производили мерзкий костяной треск и скрежет, от которого выворачивало наизнанку.

Ударил выстрел, оглушительный под низкими сводами подземелья — Пушкин и сам не заметил, когда выхватил пистолет. Он прекрасно видел, что не промазал, и его пуля снесла оказавшемуся ближе всех всю верхнюю часть черепа вместе с пустыми глазницами, но жертву естествоиспытательской страсти Уточчоне это ничуть не остановило — скелет надвигался все так же уверенно, не теряя равновесия.

В следующий миг Пушкина схватило множество костяных пальцев, проникших под сюртук, под рубашку, вплепившихся в волосы, в уши, лезущих даже в рот. Под неумолчный костяной шелест его дергали, царапали, потом принялись щекотать, и он поневоле заливался дурацким смехом, не в силах удержаться. Перед глазами мельтешили пустые глазницы, желтые кости... В темнице стоял густой запах тления, пыли и еще чего-то трудно определимого, но несомненно омерзительного — запах смерти, склепа, небытия, отвратительного посмертного подобия жизни...

Щекотка стала мучительной, он изнемогал от истерического хохота, понимая краешком ясного сознания, что этак его могут защекотать и до смерти; в

точности как русалки, о которых с оглядкой рассказывают дома, в деревнях. Из глаз текли слезы, запах склепа душил, смех напоминал уже надсадный кашель, раздиравший грудь.

Внезапно стало легче, и Пушкин не сразу понял, что бессмысленные костяки отхлынули, стояли теперь в нескольких шагах от него, слабо пошевеливая конечностями. Кто-то сильно дернул его за панталоны, и Пушкин, все так же прижимаясь спиной к двери, посмотрел вниз.

Справа, все еще цепляясь за его одежду и глядя снизу вверх, стояла маленькая девочка, едва ли не младенец, красивенькая, как кукла хорошей работы, с золотистыми локонами и прозрачными серыми глазами, бледная и улыбавшаяся вполне дружелюбно.

— Благородный синьор, дайте сольдо бедной сиротке, — протянула она нежным, умоляющим голоском.

Это было так неожиданно, что Пушкин долго смотрел на нее, не в силах ворочать языком в пересохшем рту.

— Я... у меня нет... — еле выговорил наконец он первое, что пришло в голову.

Девочка прощebetала:

— Не будет ли синьор в таком случае настолько добр, что отдаст бедолажке свою печенку?

И, едва Пушкин успел осознать смысл ее слов, золотоволосое создание яростно фыркнуло на него, будто рассерженная кошка, ее милое личико исказилось жуткой гримасой, и во рту блеснули острые бе-

лые клыки. Он шарахнулся, уже не владея собой, с размаху ударил ногой дьявольское отродье, девочка отлетела к стене, ударилась о холодные, покрытые плесенью камни — и во мгновение ока свернулась темным комком... который превратился в черного паука размером с крупную собаку. Паук проворно, с нереальной быстротой взбежал по стене на сводчатый потолок, совершенно беззвучно, замер над головой Пушкина и выпустил белесоватую нить длиной с аршин, с прозрачной каплей на конце.

Пушкин шарахнулся в сторону. Паук, зло посверкивая восемью красными глазками, моментально передвинулся так, чтобы вновь оказаться у него над головой. Откуда-то — то ли с потолка, то ли из ближайшего угла — послышался все тот же залиvistый детский голосок:

— Какая чудная игра, драгоценный синьор, не правда ли? Не беспокойтесь, у нас бездна времени, мы еще только начали... Не уважите ли почтенного хозяина? Не сделаете ли ему маленький подарок?

— Сгинь! — воскликнул он. — Сгинь, рассыпся, нечистая сила!

Бесполезно, вокруг ничего не изменилось, все так же стояли перед ним скелеты, в чьем неумолчном костяном шорохе уже чудилось некое перешептывание, все так же висел над головой черный паук — а справа заплесневелые камни, казавшиеся до того твердыми и монолитными, вдруг начали изменяться, там выпячивался огромный бугор, на глазах превращавшийся в здоровенную, выше человеческого роста, рожу, уже можно было различить карикатурное

подобие глаз, бровей, широкого рта с зубами-кирпичами и высунувшимся языком шириной со скатерть... Рожа смачно чавкнула, почти окончательно сформировавшись, облизнула толстенные губы и басовито произнесла:

— Давайте его сюда, го-олодно...

Изо всех сил Пушкин пытался внушить себе, что все происходящее — наваждение, сатанинская иллюзия, шутки черта, но собственные чувства противоречили, утверждали, что вокруг царит доподлинная реальность.

Скелеты двинулись к нему, растопырив руки, выстраиваясь так, чтобы теснить в сторону скалящейся рожи того же цвета, что и замшелые камни, нетерпеливо понукавшей, чавкавшей совсем уже рядом...

Светлое пятно мелькнуло в дальнем конце подвала, смутно различимое сквозь костяки, как через редкий березняк. Подступавшие скелеты вдруг расступились — да что там, разлетелись в стороны, иные так беспомощно упали на карачки, что Пушкин, несмотря на трагичность момента, едва не улыбнулся.

Графиня Катарина де Белотти, все в том же палевом платье, какого не постыдилась бы ни одна петербургская щеголиха, буквально проложила себе дорогу локтями через толпу скелетов, распахивая их бесцеремонно и без тени брезгливости, ухватила Пушкина за руку и потащила в противоположный угол подвала, где он с превеликой радостью увидел распахнутую дверь — низкую и узкую, сделанную

столь искусно, что она прежде совершенно сливалась с каменной стеной так, словно была ее неотъемлемой частью. За их спинами нарастал костяной стукоток, приближался, спешил по пятам, к нему примешивалось вовсе уж не людское шипенье и фыркание, чье-то — уж никак не человеческое — жаркое дыхание опалило затылок...

Но девушка уже втащила его в потайную дверцу и шумно захлопнула ее за ними. В дверь заскреблись, но все звуки казались теперь невероятно отдаленными, и остатки здравого рассудка подсказали Пушкину, что угроза миновала.

Они оказались в совершеннейшей темноте, где точно так же веяло замшелой сыростью. Графиня проговорила тихо:

— Держите голову пониже, здесь невысоко... Пойдемте...

Пушкин вслепую двигался за ней, крепко сжав узенькую теплую ладонь, осторожно переставляя ноги, иногда под подошвой хлюпало и чавкало. Он не знал, сколько времени это продолжалось — казалось, они целую вечность брели по подземному коридору, такое впечатление, углубляясь в недра земли. Ход не понижался, не шел под уклон, но так уж казалось...

— Осторожно, ступеньки... — слышался мелодичный голос графини.

Носком башмака Пушкин и в самом деле нащупал ступеньку — широкую, высокую, поднялся еще на несколько. Слышался легонький скрип, и в лицо ему ударил свет, показавшийся ослепительным,

но они всего-навсего очутились в крохотном помещении, куда дневной свет хотя и проникал, но через окошечко не больше ладони. Вслед за графиней он нырнул в очередную дверь, прошел по длинному коридору с целым рядом таких же окошечек — судя по видневшимся за ними ветвям, они выходили в парк, а ход, вероятнее всего, был проделан прямо в толстой стене старинной кладки.

Катарина открыла очередную дверь, и они оказались в самой обычной комнате, представлявшей собой нечто вроде маленькой гостиной. Облегченно вздохнув, графиня опустилась на диван. Пушкин стоял рядом, силясь отдышаться и привести в порядок расстроженные чувства. Несмотря на все пережитое, он во все глаза смотрел на свою спасительницу. Ее платье было перепачкано пылью и плесенью, волосы растрепались, но, удивительное дело, так она выглядела еще красивее, уже не похожая на чопорную светскую даму из итальянского палаццо.

— Вы были неосторожны, — сказала она с укором.

— Что вы имеете в виду, Катарина? — бледно усмехнулся он.

— Вам вообще не следовало приезжать в этот город... — Она вскинула глаза, огромные, прекрасные, сердитые. — Молчите! Я и так знаю всю эту чушь — служба, долг и тому подобное... Какой вы еще юнец! Вы разве не понимаете, что имеете дело с серьезнейшей силой, за которой — столетия могущества и опыта? Черт вас дернул рассердить князя.

— Считаете, нужно было ему уступить?

— Нужно было вообще не заниматься делами, в которых ничегошеньки не смыслите! — отрезала Катарина. — Не изображать рыцаря Беовульфа... Не те времена... Сейчас надо подумать, как незаметно вывести вас отсюда, пока они не всполошились...

— Почему вы мне помогли? — спросил Пушкин прямо.

Она встала, подошла к нему вплотную и заглянула в лицо с дерзким вызовом:

— А что, я должна была вас съесть? Выпить кровь? Вы что, наслушавшись флорентийских сплетен и в самом деле полагаете, что я — упырь из семейного склепа или ведьма с болот? Я чудовище?

В ее дерзости было что-то беспомощное, вызывавшее желание обнять, защитить, спасти. Неведомо как получилось, но Катарина оказалась в его объятиях — и уже не оставалось никаких сомнений, что он обнимает живую девушку, прекрасную и совершенно реальную. Она закрыла глаза и прильнула к нему, отвечая на поцелуй, с ее губ сорвался короткий стон, ее ладони легли Пушкину на плечи... И тут же оттолкнули, с силой, решительно.

— Совершенно не время, — прошептала Катарина с сожалением. — Лучше бы нам поскорее отсюда выбраться. Да и твой сумасбродный дружок уже торчит у входа, грозя разнести тут все к чертовой матери, он и полицейских приташил... Как будто это могло тебя спасти из подземелий...

— Значит, он жив-здоров?!

— А что с ним должно было случиться? — пожалала она плечами.

— Князь говорил...

— Он тебя просто припугнул... — Катарина потянула его за руку к двери. — Конечно, тебе, быть может, и стоило с ним поменяться... Но, в конце концов, тебе виднее, ты мужчина, должен решать сам... Пойдем. Выйдем в парк, а там я тебя проведу к воротам.

Пушкин шел за ней, все еще не в состоянии привести в порядок мысли и чувства — слишком много неожиданностей случилось за короткое время. Поразмыслив, он спросил:

— Значит, ты не имеешь отношения...

— Увы, — сказала она тихо и печально. — Имею. Я — в его руках. Всецело. Знаешь ли, иные жуткие сказки порой основаны на самой доподлинной реальности... Я была молодая и глупая и клюнула на заманчивую приманку...

— На что?

— А какая разница? Если мне теперь никуда от него не деться.

— И ничего нельзя сделать?

Он опомнился настолько, что им руководили теперь не только сочувствие к запутавшейся в колдовских сетях красавице, но и холодный служебный рассудок. Невозможно и желать лучшего свидетеля, знающего жизнь этого чертова гнезда изнутри, способного рассказать, никаких сомнений, очень и очень многое, так что ей нужно помочь не из одной доброты душевной...

— Как сказать...

— Ты сама признаешь: многие сказки основаны на реальности. А в сказках частенько храбрый человек может расколдовать пленницу колдуна...

Катарина остановилась, повернулась к нему, ее глаза сияли надеждой:

— А ты бы смог?

— Что именно?

— Ну вот, начинаешь осторожничать...

— Все, что угодно, — сказал он решительно. — Я не верю, что эта публика сильнее нас, не зря же они прячутся по углам...

— Хорошо, — сказала она с задумчивым видом. — Нынче вечером будет маскарад в палаццо Чинериа, я пришлю тебе билет и костюм...

— И моему другу тоже.

— Ну, разумеется. Там мы сможем поговорить свободно, без лишних ушей и глаз... — У нее вырвалось едва ли не со стоном: — Если бы тебе удалось! Сюда...

Она протянула руку к стене, кажется, что-то нажала — и распахнулась узенькая дверца, за которой был запущенный парк.

Солнце стояло значительно ниже, и от деревьев протянулись густые черные тени, меж которыми лениво плавали тени больших птиц, похожих на ворон. Пушкин поднял голову, но никаких птиц над головой не увидел. Снова посмотрел на землю. Снова — в небо. Не было видно ни единой птицы, но их тени все так же кружили меж теньями деревьев...

Катарина заставила его свернуть с дорожки, и они двинулись напрямик по сочной зеленой траве, огибая дворец и пригибаясь, чтобы их не заметили из высоких окон первого этажа.

Ворота, как и прежде, были распахнуты настежь. И в них стоял, яростно жестикулируя тростью, барон

Алоизиус, пытавшийся побудить двух флегматичных полицейских в форме к решительным действиям. Оба стража закона стояли за воротами, с видом терпеливым и словно бы даже чуточку скучающим. Сразу видно было, что все усилия барона бесплодны.

— Алоизиус! — радостно позвал Пушкин.

Барон обернулся — и бросился к нему, раскрыв объятия:

— Сто чертей мне в печенку, вы живы! Эй! Эй! Отойдите от моего друга, я вам говорю, девица! — И он, сжав кулаки, решительно шагнул так, чтобы встать перед Пушкиным, заслоняя его от Катарины.

Девушка сделала гримаску и отступила на шаг.

— То-то, — удовлетворенно хмыкнул барон, извлек из кармана клетчатый узелок, торопливо развязал узел зубами и, держа платок, словно гранату, размахнулся.

В сторону Катарины полетело облачко какой-то трухи, остро пахнувшей чем-то вроде полыни, попало ей на платье, в лицо. Она заслонила ладонью, чихнула, кое-как отряхнула с платья беловато-серые кусочки, больше всего смахивающие на порезанную крупными кусками сухую траву. Выпрямилась, спросила с исконно аристократической холодностью:

— Сударь, вам никогда не приходилось бывать в лечебнице для скорбных умом?

Барон, выглядевший чуточку сконфуженным, пробормотал:

— Ну ладно, ладно, каждый может ошибиться... Вы невредимы, мой друг? Я уж хотел взять этот притон штурмом, только эти остолопы никак не желают оли-

цветворять закон. Говорят, что у меня нет достаточных оснований выдвигать обвинения против уважаемого и почтенного жителя города Флоренции...

— Пойдемте отсюда, — нетерпеливо сказал Пушкин. — Все хорошо, что хорошо кончается... Я обязательно приду, Катарина...

— Я буду ждать, — сказала она, слегка помахав рукой.

Когда они оказались за воротами, один из полицейских облегченно вздохнул:

— Я так понимаю, это и есть тот синьор, которого, по вашим словам, то ли съели, то ли изничтожили бесовскими чарами?

Барон угрюмо кивнул. Полицейский повернулся к Пушкину:

— Синьор, у вас есть намерения прибегнуть к помощи закона?

— О, ни малейших, — сказал Пушкин. — Бога ради, простите моего друга, это было дурацкое пари... — Стоя спиной к стражам закона, он яростными гримасами пытался урезонить барона, намеревавшегося, по всему видно, ляпнуть еще что-то, категорически сейчас неуместное. — Все обошлось, как видите...

Он шагнул вперед и без особых церемоний протянул им пару монет, рассудив, что повадки низших полицейских чинов должны быть везде одинаковы.

— Ну что вы, сударь, право... — пробормотал старший, жеманясь, как перезрелая красotka перед гусаром, но деньги взял без особого промедления и даже

отдал честь. — Значит, все обошлось? Вот и прекрасно, желаю здравствовать...

Оба подтянулись, кивнули Пушкину и с нешуточным облегчением направились прочь, в сторону города — у Пушкина осталось впечатление, что оба с превеликой охотой припустили бы бегом, лишь бы оказаться подальше отсюда.

— Прохвосты, — сердито сказал барон. — Как мне удалось их сюда загнать, сам не пойму, но внутрь они отказались входить... Все они тут знают, что к чему, и боятся...

— Мне, честное слово, трудно их осуждать... — сказал Пушкин. — Чем вы в нее бросались?

— Надежное средство, — сказал барон. — Сушеный «монаший капюшон», смешанный с побегами чеснока и корнем солодки. Любая ведьма моментально оборачивается черной кошкой или кем ей там сподручнее и улепetyвает со всех ног. На деле проверено, своими глазами видел...

— Но ведь она ни во что не превратилась? — спросил Пушкин не без ехидства.

— Да вроде бы...

— Значит, она не ведьма?

— Да кто ее знает, — упрямо сказал барон. — Может, у них, в Италии, «монаший капюшон» не действует, и другие травы нужны...

— Вздор, — сказал Пушкин. — Никакая она не ведьма и уж, безусловно, не вампир — когда это вампиры появлялись при солнечном свете? И наконец, она меня форменным образом спасла, вытащила из этого логова...

— Серьезно?

— Да уж поверьте, Алоизиус, все так и обстояло...
Вы что, сразу поспешили за мной следом?

Барон остановился посреди дороги и вытаращил на него глаза:

— С р а з у? Я добросовестно ждал до вечера, всю ночь глаз не сомкнул, а с первыми лучами солнца побежал в полицию...

— Подождите, — сказал Пушкин. — Какая еще ночь? Я пробыл у князя от силы пару часов...

— Ерунда, — сказал барон. — Вас не было добрые сутки... Клянусь рыцарской честью предков.

Пушкин посмотрел на солнце:

— Постойте-постойте... Что же, сейчас не вечер, а раннее утро?

— Вот именно, — сказал барон. — А я вам что растолковываю? Вы на сутки запропалились...

— А мне казалось, прошла пара часов...

— Что там было? — жадно спросил барон.

— Ничего особенного, пожалуй, — подумав, ответил Пушкин. — Меня старательно пытались запутать, вымогая бумаги и кольцо... И это, признаться, было впечатляюще. Но все же они не причинили мне никакого вреда, а это внушает надежды на победу. Не так они сильны, как пытаются представить. К тому же у нас есть союзник во вражьем стане...

— Эта красotka?

— Именно, — сказал Пушкин. — И нынче вечером нам предстоит поработать...

Глава седьмая

МАСКАРАД ПО-ФЛОРЕНТИЙСКИ

— Черт знает что, — ворчал барон, оглядывая свой наряд. — Кружев столько, что это не на мужской наряд походит, а на одеяние одного из тех молодчиков, что вместо естественного и восхитительного общения с дамами занимаются черт-те чем... Между собой, друг с другом, ну, вы поняли, о ком я...

Он, фыркая, потерябил огромный кружевной воротник, гофрированным кольцом торчавший вокруг шеи, на добрых пару ладоней шириной, а потом неодобрительно принялся озирать столь же пышные кружевные манжеты.

— И панталоны дурацкие, — ворчал он сварливо, постукивая тростью о пол кареты. — Как у этого... который в балете пляшет, не помню, как называется балетный мужского рода...

— Успокойтесь, барон, — весело сказал Пушкин. — Это доподлинный наряд знатного дворянина времен Шекспира. Право слово, так и обстоит...

— Серьезно?

— Честное слово.

— Хороши ж они хаживали во времена Шекспира...

— Не переживайте, — сказал Пушкин. — В таком наряде согласно всеобщей моде хаживали и великие полководцы вроде маршала Бирона, и мореплаватели вроде сэра Френсиса Дрейка... Такая уж в те времена стояла мода на дворе.

— Ну, если маршал Бирон... — пробурчал Алоизиус. — А вот вы у нас кто? Сколько ни приглядываюсь, не могу сообразить. Турок, что ли?

— Я? — спросил Пушкин, озирая свои перевитые ремнями голени, узкие черные штаны и яркий жилет при белой рубашке с пышными рукавами. — Полагаю, я — греческий разбойник. По крайней мере, именно так именовался этот костюм в Петербурге, в тех лавках, где их дают на время для маскарадов...

— Ага! То-то вы и свои пистолеты открыто заткнули за пояс?

— Вот именно, — сказал Пушкин. — Греческий разбойник просто обязан ходить с парой пистолетов за поясом, не правда ли? Никто и не заподозрит, что это не бутафория...

Он промолчал о том, что сегодня вечером зашел к ювелиру на делла Флавиа, и тот, поначалу ворчавший насчет капризов «золотой молодежи», потом все же, прельщенный солидной платой, взялся за работу и в полчаса превратил принесенную Пушкиным серебряную ложку в две полновесных пистолетных пули. Нелишняя предосторожность, когда имеешь дело с существами, которых обычная пуля может и не взять...

— А вот ваша трость, Алоизиус, плохо сочетается с нарядом времен королевы Елизаветы, — сказал он без особого укора.

— Плевать, — ответил барон. — Зато я с клинком хорошо сочетаюсь. Мало ли что... Пистолеты, увы, пришлось оставить дома, под этим кургузеньким камзольчиком они излишне выпирали бы, но я все же

кое-что прихватил. — Он похлопал себя по груди, и там что-то зашуршало.

— Снова «монаший капюшон»? — понятливо спросил Пушкин.

— Берите выше! — гордо сказал барон. — Собранный в полнолуние любисток с тертым можжевельником и сушеным пасленом с монастырского подворья. Вернейшее средство против нечисти, мне его посоветовала одна старуха в Грейхенвальде. Простая деревенская баба, даже не знала, что Земля круглая, полагала, что плоская, и грамоте не разумела, но такие настои и травяные наборы против нечисти готовила — куда там ученым профессорам! В случае чего я им все зенки запорошу...

— Вы заходили в банк? — спросил Пушкин.

— Два раза, — сказал барон. — Они уж переглядываться начали... Будьте покойны, ваши бумаги — как за каменной стеной. Любой банкир, конечно, выжига первостатейный, но есть у него одна хорошая черта: интересы клиента защищать будет даже перед самим Сатаной.

— Зачем им эти бумаги, в толк не возьму до сих пор, — сказал Пушкин задумчиво. — Как ни ломаю голову...

— Да уж для какой-нибудь пакости, — сказал барон уверенно. — Не ожидаете же вы, что они будут творить добрые дела?

— Но вот знать бы, для какой...

— Порасспросите вашу прелестницу, — сказал барон.

— Я постараюсь... Что вы все время выглядываете из кареты?

— Для порядка, — сказал барон, не оборачиваясь. — В этом чертовом городе, где бронзовые хряки носятся за мирными прохожими, а колдуны носят княжеские титулы и держат ложу в опере, следует держать ухо востро. Завезут еще в какую-нибудь преисподнюю... Может, и кони — не кони, и возница — не возница... Нет, вроде бы пока ничего тревожного. Мы за городом, конечно, но особенных чашоб вокруг пока не наблюдается. А вот и дворец какой-то маячит, освещен и в самом деле как для маскарада...

Пушкин высунул голову в окно. Город остался позади, карета поднималась вверх, и можно было рассмотреть и лежащую в долине Флоренцию с ее коричневыми крышами, и обе гряды холмов, стиснувшие ее с двух сторон, Мюджелло на севере и Кьянти на юге. Впереди и в самом деле виднелся дом, заслуживающий звания скорее дворца, чем особняка, — возведенный не менее двухсот лет назад, с изящными стрельчатыми башенками по углам, огромными флюгерами на высоких трубах и фонтаном перед главным входом. По его фасаду и на парковых аллеях протянулись разноцветные гирлянды стеклянных фонариков, уже издали видно было сквозь высокие окна, что залы ярко освещены и полны публики.

— Вполне мирное здание, по-моему, — сказал Пушкин.

— Вашими бы молитвами... — проворчал барон. — Вот сожрут нас там, будете знать...

— Бог не выдаст, свинья не съест, — сказал Пушкин не то чтобы весело, но, во всяком случае, без

уныния. — У нас же есть ваше чудодейственное зелье, в случае надобности запорошите глаза всем и каждому...

— Не иронизируйте. Средство и в самом деле отменное, там и еще кое-что намешано, кроме того, что я перечислил...

Карета остановилась у широкой лестницы, спускавшейся двумя полукружьями, и к ней моментально кинулся человек в причудливом костюме, не ассоциировавшемся у Пушкина ни с одним минувшим столетием — материя не менее чем шести цветов, бубенчики, пришитые в самых неожиданных местах кружева.

Он распахнул дверцу кареты и почтительно отступил, гримасничая и хихикая. Ростом он был пониже на целую голову, чем довольно-таки низкорослый Пушкин, щеголял в черной бархатной полумаске, как и положено на маскараде; судя по видневшимся из-под нее жирным щекам, тройному подбородку, а также круглому объемистому чреву, которое не мог скрыть и маскарадный костюм, незнакомец знал толк в яствах и питиях (о последнем неопровержимо свидетельствовал и его сизый нос).

— Добро пожаловать, добро пожаловать, благородные господа! — затараторил он, приплясывая и выделявая причудливые антраша. — Я, как вы, быть может, догадались, здешний церемониймейстер... Впрочем, церемонии тут просты: категорически воспрещается быть скучным, трезвым, тихим, унылым... Прошу в замок! — Он взял Пушкина за локоть и доверительно прошептал на ухо: — Между прочим,

вами уже интересовалась одна особа, насколько можно разобрать под маской — юная и прелестная...

— Как я ее узнаю? — так же тихо ответил Пушкин.

— Сдается мне, вы ее прекрасно узнаете и в маске, ведь она, как я понимаю, вам знакома... Но кто вас знает, молодых ветреников... Поэтому подскажу: она будет в наряде греческой гетеры, а для пущей надежности могу шепнуть по секрету, что на шее у нее красуется ожерелье из красных самоцветов, второго такого нет во всем мире, так что узнаете легко... Прошу!

Покрепче завязав тесемки масок, они вслед за церемониймейстером (тут же исчезнувшим в толпе) вошли в обширный зал, где неспешно перемещались разнообразнейшие персонажи чуть ли не всех без исключения эпох. От разнообразия костюмов и блеска драгоценностей рябило в глазах, на балюстраде играл оркестр, но никто пока что не танцевал. Стоя в уголке у белой колонны, Пушкин ловил обрывки разговоров, — в том числе и на языках, о которых он не имел даже приблизительного понятия, из какой части света они могут происходить — судя по всему, общество собралось причудливое.

Ну, а то, что удалось расслышать на языках, которыми он владел, ни малейшего интереса не представляло — обычная пустая болтовня светского приема. Никто не обращал на них внимания, не набивался в собеседники, разве что маски, принадлежавшие прекрасному полу, порой обжигали откровенными взглядами, что опять-таки прекрасно сочеталось с традициями маскарада.

— Вообще-то, мне здесь начинает нравиться, — сказал барон, провожая долгим взглядом рыжеволосую маску, судя по скудному одеянию из прозрачной кисеи, не иначе как вакханку. — Отроду не бывал на маскараде... А ведь недурно.

— Я вас понимаю, друг мой, — сказал Пушкин. — Эти грациозные изгибы ее фигуры дают почву для философических размышлений на эстетические темы...

— Да какие там размышления? Хороша, стервочка...

— Догоните ее и попробуйте завязать знакомство. На маскараде царит некоторая простота нравов...

— Нет уж, — сказал барон, с сожалением провожая взглядом исчезнувшую в пестрой толпе рыжеволосую. — Постараюсь держаться поближе к вам, мало ли что... Ну, где же ваша прелестница, нуждающаяся в помощи рыцаря, чтобы освободиться от злого волшебника?

— Пока что я не вижу никого в ожерелье из красных самоцветов, — сказал Пушкин. — Давайте поднимемся на балюстраду, оттуда легче будет ее рассмотреть...

Справа была широкая, устланная алым ковром лестница, ведущая на беломраморную балюстраду, окаймлявшую зал на высоте не менее, чем три человеческих роста. Друзья поднялись по ней, уступая порой дорогу расшалившимся маскам, со смехом сбегавшим вниз. Неловко повернувшись, чтобы его не сшибла с ног прямо-таки запауски несущаяся вниз парочка в нарядах времен крестовых походов, —

Пушкин задел рукой за край мраморного бруса, на манер перил венчавшего невысокие, по пояс человеку, колонны ограждения. Сердоликовый перстень царапнул по мрамору и едва не соскочил с пальца, Пушкин вовремя его подхватил и зажал в кулаке. Глядя на толпу внизу, лениво прислушиваясь к жужжанию разговоров, рассеянно поиграл кольцом, крутя его меж пальцами, а потом из чистого озорства вставил в глаз, как монокль...

И невольно отступил на шаг — так разительно изменилось все вокруг: зал и лестницы, люди в маскарадных костюмах и оркестр. Левым глазом он видел одно, прежнее, зато правым, сквозь кольцо — совершенно другое, обе картины накладывались одна на другую, вызывая головную боль и рябь в глазах, и он быстренько прикрыл левый, невооруженный, так сказать, глаз...

Жуткое предстало зрелище. Вместо мириадов ярких свечей тускло-зеленым и болотно-желтым светом теплились странные огоньки, мраморные перила, возле которых он стоял, оказались не белоснежными и не безукоризненно вытесанными — они потемнели, зияя множеством выщербин, кое-где обвалились, поросли темным мхом, а слева в расселине угнездился даже куст какого-то итальянского растения с жесткими длинными листьями, без единого цветочка. Не было и следа ковров, ни на полу, ни на ступенях, а крыша провалилась, и давным-давно, вместо нее красовался огромный пролом с сохранившимися кое-где остатками покривившихся балок.

Вместо прилежных оркестрантов на хорах приплясывала, бесновалась, гримасничала и прыгала дюжина непонятных мохнатых существ величиной с некрупную собаку — они стучали корявыми сучьями по желтым человеческим черепам, дули в пустотелые кости, а две из них, старательно водя замшелыми палками по заоченевшим дохлым кошкам, представляла собой гнусную пародию на скрипачей. Удивительным образом в результате их усилий получалась та же приятная музыка, которую Пушкин слышал и до того, как догадался посмотреть через кольцо.

Но главное — люди, люди! Какие там люди... Ни единого живого человека он не увидел. Исчезли богатые наряды, самоцветы и жемчуга, шелка и бархат. По залу — пол чернел многочисленными проломами, в которые они с бароном каким-то чудом допрежь не сверзились — бессмысленно толкалась толпа скелетов в серых лохмотьях (крестьянское огородное пугало по сравнению с ними казалось элегантным лондонским дэнди), а меж них порой промелькивали вовсе уж непонятные создания, больше всего напоминавшие карикатурное подобие человека, кое-как сплетенное из пучков гнилой соломы или корявых веток. Все это скопище бродило из конца в конец, подергиваясь, как марионетки на ниточках кукольника, сталкивались, задевали друг друга, кружили безостановочно, иногда кто-то из них проваливался в дыры в полу и назад уже не возвращался...

От всего этого веяло даже не страхом — унынием, бессмысленностью, пустотой, мн и м о с т ь ю...

— Что с вами? — тихонько спросил барон. — У вас такой вид, будто привидение узрели...

— В самую точку, Алоизиус, — кривя губы, сказал Пушкин.

Не раздумывая долго, отнял кольцо от глаза и протянул его барону. Ничего не пришлось говорить — Алоизиус, видимо моментально сообразил, что к чему, и точно так же приложил перстень к глазу. Зато Пушкин теперь видел все п р е ж н и м: затейливые канделябры с мириадами свечек, богатые разнообразные одежды, сияние драгоценностей, очаровательных замаскированных дам с белоснежными плечами и грациозными руками, осанистых кавалеров...

— Вот это влипли, — прошептал барон. — Ну и сборище... Ей-же-ей, а одна вроде бы совершенно настоящая... Эт-то как прикажете понимать?

Пушкин буквально выхватил у него кольцо, приложил к правому глазу, старательно зажмурив левый. В самом деле, в их сторону, непринужденно продвигаясь среди скопища скелетов в отрепьях и соломенных чучел, двигалась особа, несомненно принадлежавшая к миру живых — девушка в коротком древнегреческом хитоне, схваченном на плечах золотыми булавками, оставлявшим обнаженными стройные ноги и безукоризненной формы руки. В черной полумаске, конечно, — но Пушкин моментально узнал стать, походку, фигуру, знакомо уложенные золотистые локоны.

На шее у нее сверкало затейливое ожерелье с доброй парой дюжин красных камней (огоньки свечей отражались в них множеством острых лучиков).

— Это она, — сказал он с нескрываемой радостью. — Значит — она настоящая, живая... Но что же теперь делать?

— Притворяться, будто ничего не произошло, — сказал барон, возвращая ему перстень. — Они пока вроде бы не собираются на нас набрасываться. Авось и обойдется, вдруг это не в нашу честь затеяно, а просто у них тут свой шабаш... Хватайте красотку, и будем потихонечку отступать, пока им на ум не пришла какая-нибудь гнусность касаясь нас...

Рядом с ними остановилась парочка, беззаботно щебетавшая что-то по-итальянски, — если смотреть простым глазом, обыкновенные, несомненные влюбленные, но Пушкин с бароном уже знали, кто это на самом деле, и приложили величайшие усилия, чтобы, сохраняя хладнокровие, не шарахнуться в сторону...

Катарина — слава богу, настоящая! — остановилась перед ним, лукаво посверкивая огромными синими глазами в прорезях маски. В своем откровенном наряде, превосходившем по смелости все границы приличий, она была еще более обворожительна.

Не стоило терять времени, и Пушкин, склонившись к ее уху, спросил:

— Ты знаешь, как все это выглядит на самом деле? И замок, и мнимые весельчаки? Это же скопище костяков...

— Вот именно, — ответила она так же тихо. — Не подавайте виду, что знаете, — и все обойдется...

— Нужно немедленно отсюда скрыться...

— Не сразу. Не получится... Нам нужно поговорить, тут поблизости есть уединенные комнаты... Или ты и меня принимаешь за скелет из склепа?

— Нет, — сказал Пушкин облегченно. — Хоть в тебе-то я уверен...

— Пойдем, у нас мало времени... — Она взяла Пушкина под руку и повела в боковой переход.

Барон старательно топал рядом, крутя в руках трость так, чтобы при надобности моментально выхватить клинок. Они свернули в следующий коридор, столь же ярко освещенный, но совершенно пустой, остановились перед резной дверью, и Катарина обернулась к барону:

— Сударь, нам необходимо поговорить с вашим спутником наедине...

Барон, глядя на нее с некоторым сомнением, почесал в затылке свободной рукой:

— Вообще-то не хотелось бы оставлять друга...

— Подождите здесь, Алоизиус, — сказал Пушкин решительно. — Я постараюсь управиться побыстрее...

Судя по всему, барону очень хотелось настоять на своем, но он все же сдержался и остался стоять у двери в позе бдительного часового. Катарина вошла в комнату первой. Пушкин последовал за ней.

Если смотреть простым глазом, обширная комната выглядела мило и буднично: лепнина на потолке, обитые синими с золотыми узорами обоями высокие стены, из мебели — только низкое широкое ложе посередине.

Он не успел снять кольцо и вновь использовать его в качестве волшебного монокля — Катарина про-

шла к ложу, обернулась к нему, сбросила полумаску и улыбнулась дразняще, чарующе, а потом подняла руки к плечам, вмиг расстегнула булавки, и легкая ткань бесшумно соскользнула на пол, вроде бы застеленный пушистыми коврами с персидским узором. У Пушкина перехватило дыхание — обнаженная красавица, стоявшая перед ним, уронив руки, была настоящим совершенством, немыслимой прелестью. Не сводя с него лукавого взгляда, она сделала шаг назад, опустилась на ложе в грациозной, лишенной и тени вульгарности позе, способной вдохновить любого великого живописца, протянула руку:

— Иди сюда. Только не говори, что ты этого не хотел...

— Катарина, — сказал он хрипло. — Не место и не время... Нужно отсюда бежать...

— Успеется. Иди сюда.

Медленно переставляя ноги, он подошел к самому краешку ложа. В голове царил полный сумбур. Разум и сердце работали в совершеннейшем разладе. Двигаясь, как во сне, Пушкин протянул руку, коснулся тонких теплых пальцев Катарини...

Последовал сильный рывок — с силой, какую в ней никак нельзя было подозревать, Катарина буквально швырнула его на постель, и Пушкин растянулся рядом с ней, уткнувшись лицом в подушку...

П о д у ш к у?

Больше всего это походило не на подушку, не на постельное белье, а на высокую сочную траву, в которой он лежал щекой. Ну да, пахло свежей травой и еще чем-то, невольно вызывавшим в памяти лес,

то ли здоровой корой живых деревьев, то ли еще и самую чуточку тиной...

Узкая теплая ладонь коснулась его щеки, и Катарина сказала совершенно прежним голосом, мелодичным, волнующим:

— Ну вот, ты у меня в гостях... Осмотрись, я, честное слово, тебя не съем...

Он приподнялся на локте и невольно вскрикнул. Рядом с ним все так же лежала нагая Катарина, ничуть не изменившаяся, зато все вокруг переменилось самым решительным образом. Вместо ложа был крохотный островок, сплошь поросший высокой сочной травой, а вокруг него простиралась широкая полоса воды, спокойной, кажется, очень глубокой — а уж за ней сплошным кольцом возвышались могучие, слегка накренившиеся к воде деревья, чьи зеленые кроны, смыкаясь где-то высоко вверху, образовывали шатер, не пропускавший солнечные лучи, хотя чувствовалось, что в небе над деревьями светит яркое солнце. И это было тем удивительнее, что на маскарад они прибыли уже в сумерки...

Перевернувшись на живот, Катарина уперлась локтями в траву, опустила подбородок на переплетенные пальцы, улыбнулась как ни в чем не бывало, с милой безмятежностью:

— Милый, чем дальше, тем лучшее впечатление ты на меня производишь. Ты замечательно держишься, а ведь, случалось, иные рыцари, без колебаний бросавшиеся в одиночку на полчища сарацин, попав ко мне, от страха теряли голову... Положительно, мы созданы друг для друга...

— Что ты несешь? — спросил он в смятении. — Какие сарадины, какие рыцари? Сотни лет прошли с тех пор, как жили рыцари и сарадины...

— Сотни лет — это такая малость, если вдуматься... — сказала Катарина с обворожительной улыбкой.

Он понимал уже, что жестоко обманут. Совершенно не представлял, с кем столкнулся, но уже ясно было, что искавшая помощи пленница злого колдуна вовсе не была таковой и хладнокровно заманила его в ловушку...

В стене деревьев не было видно просвета, но все же он решился, рывком опустил ноги в воду — прохладная вода, мокрая, настоящая, — провалился по колено, встав на твердом, кажется песчаном, дне, рванулся...

И шарахнулся назад. Аршинах в пяти от него вскипела вода, на поверхность поднялась покрытая затайливым, красивым черно-зеленым узором змеиная голова размером с человека, глянула немигающими желтыми глазами с вертикальным черным зрачком, из пасти коротко выстрелил плоский раздвоенный язык, колыхнулся и исчез.

Змея всплыла в ся — кольцом замыкая островок, так что хвост и голова почти соприкасались, потом погрузилась до половины и стала, неспешно извиваясь, кружить вокруг островка, вроде бы не обращая уже внимания на парализованного ужасом человека, поднимая низенькие волны, с плеском накатывавшие на берег. Двигаясь медленно-медленно, Пушкин протянул руки назад, ухватился за пучки травы и прыгнул назад на островок.

Катарина, все это время лежавшая в той же ленивой позе, засмеялась:

— Чтобы отсюда уйти, нужно сначала спросить у меня разрешения. А я могу и не разрешить... И еще. Там, за деревьями, могут оказаться еще более неприятные создания...

— Кто ты? — спросил он затравленно.

— Тебе непременно нужно добиться четкости формулировок, словно какому-нибудь законнику или заплесневелому математику? — улыбнулась Катарина.

Он сорвал с пальца перстень, приложил его к глазу, предварительно содрав неуместную теперь дурацкую полумаску, и ничего не увидел: перед глазами кружили цветные пятна, медленно перемещались смутные темные силуэты, словно отделенные от него толщей воды или мутным стеклом, проплывали какие-то полосы. Лишь Катарина осталась какой была — очаровательное создание, лежавшее в грациозной позе.

— Как я тебе? — спросила она насмешливо. — Хороша, чертовка, ведь правда? Ну разумеется, никакая я не чертовка, милый, все гораздо сложнее...

Рывком надев сердолик на палец, он поднял руку, сложил пальцы в крестном знамении:

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя как на земле...

— Не утруждайся, — сказала Катарина. — Это на меня не действует. Видишь ли, я уже жила на этой суматошной земле, когда ваши молитвы еще не были

сложены... Неужели ты окажешься столь же примитивным, как многие из твоих предшественников? Тебе непременно нужно что-то со мной сделать — вогнать осиновый кол, читать молитвы, крестом пугать... Зря. Разве я до сих пор сделала тебе что-то плохое? Я и не собираюсь тебе причинять вред...

— Кто ты? — повторил он, уронив руку с перстнем.

— Как тебе объяснить... Одна из тех, кто жил на этой земле до вас. Когда-то вас не было совсем. А мы — были. И сохранились до сих пор, хотя нас, признаться, все меньше...

— Арзурум, — сказал он отрешенно, глядя на зеленые кроны деревьев.

— Что?

— В Арзуруме я познакомился однажды с забавным старым персом. Я люблю собирать сказки... Он рассказывал о джиннах. Тех, что обитали на земле до человека. Я ему, разумеется, не верил... Выходит, зря.

— Называй как тебе угодно, — сказала Катарина. — На земле слишком много человеческих племен, и они выдумали для нас слишком много названий... Я, конечно, не намерена ни одно из них в отношении себя употреблять — с какой стати? Слова — это шелуха... Главное — мысли. Ты смотришь на меня... и хочешь меня. Возьми, кто же против? Ты уже убедился, кажется, что я не скелет и не мертвец? Я — живая я, Александр. На меня не действуют ваши глупые молитвы, мне не нужно днем спать где-нибудь в подземелье... Ну? — Она закинула руки за голову, лежа в высокой траве, и улыбнулась так, что противиться этой улыбке не было никакой возможности.

— А что взамен? — спросил он резко. — Ты обязательно потребуешь что-то взамен... Князь был примитивен, он, сдаётся мне, у тебя в услужении, а не наоборот... Это ты все разыграла...

— Мой грех, — сказала Катарина с напускным смирением. — Не будешь же ты сердиться на бедную девушку за то, что она тебя чуточку обманула? Это же исконно женская привилегия: лгать и обманывать, не правда ли?

— Что ты от меня хочешь?

— Ну разумеется, бумаги и перстень, — безмятежно сказала она. — Что же еще?

— Зачем? — спросил Пушкин чуть ли не в отчаянии. — Хорошо, хорошо, ты — что-то невообразимо древнее, не похожее на обычную нечисть из сказок и инквизиторских протоколов, сейчас, — он оглянулся на безостановочно кружившую вокруг островка гигантскую змею, — сейчас в это верится вполне. Но зачем тебе такие мелочи? Умение управлять неживым... Ты же владеешь чем-то гораздо большим...

— Ты можешь получить ответы на все вопросы, — сказала Катарина. — Если примешь мое предложение. Я тебя сделаю другим. Ты останешься прежним, но будешь другим... Ты и не представляешь, как много получишь. Сам будешь смотреть на столетия свысока...

— Тебе захотелось благотворить?

— Ну нет, конечно же, нет. Хорошо, будем откровенны... В тебе есть нечто, для меня привлекательное... Я не могу найти в а ш и слова, их, может быть,

и нет... Что-то в твоём уме, характере, натуре... Из тебя получится прекрасный...

— Слуга?

— Ну, зачем же так уничижительно? Сподвижник. Из талантливых поэтов порой получаются прекрасные... сподвижники. Ты бы безмерно удивился, назови я некоторые имена...

— Заманчиво, — сказал Пушкин.

— Ты и не представляешь, насколько, — с ангельской улыбкой сказала Катарина.

— И одно маленькое черное пятнышко, которое портит всю картину. Чем угодно клянусь, люди будут по одну сторону, а я — по другую. Ведь правда? Как бы ни звалась нечисть, все сводится к тому, что она стоит по одну сторону, а человечество — по другую...

— Что тебе в этом... человечестве? — Последнее слово она произнесла с таким презрением, с такой ленивой брезгливостью, что у него холодок прошел по спине и к горлу подступил неприятный ком. — Нашел себе святыню... Ты выше их всех, потому что можешь написать гениальные стихи, а они всем скопом — не в состоянии...

— Есть еще Бог...

— А что тебе в этом Боге? — прищурилась Катарина. — Посмотри на меня — я вот уже которую тысячу лет в нем не нуждаюсь...

— А ты уверена, что так будет вечно? — спросил Пушкин спокойно. — Что однажды все же не придется держать ответ? Всему в нашем мире приходит конец...

Она сузила глаза, так что показалось на миг, словно зрачки у нее вертикальные, как у змеи. Потом сказала с легким недовольством:

— Ты что, обнаружил в себе талант проповедника?

— Да ничего подобного, — сказал Пушкин. — Я просто-напросто верю в Бога и не хочу оказаться на другой стороне, вот и все... Вот и весь сказ, как изъясняются наши мужики... И не нужны мне твои бесчисленные столетия, да и все остальное тоже...

— И я? — спросила Катарина с завораживающей улыбкой. — Вот что... Возьми меня. Сейчас и здесь. Просто так. Потому что мне хочется развлечься. А потом мы поговорим, не спеша, обстоятельно, нельзя же отказываться, не узнав, от чего именно... Иди ко мне.

— Нет, — покачал он головой. — Есть сильные подозрения, что это очередное коварство из твоего богатого набора...

— Ты хоть понимаешь, что никуда тебе отсюда не деться? — спросила она, кажется с неподдельным любопытством.

— Есть у нас пословица... Попробую добросовестно перевести. Бог не выдаст — свинья не съест...

— Александр, до чего же ты нудный... — вздохнула Катарина. — Нудный и упрямый. Вы все такие. Ты, быть может, и удивишься, но я бывала в Петербурге... Когда у вас правила Анна... или ее звали Елизавета? Не помню точно, какая-то вздорная баба... Пожив с мое, плохо помнишь все эти человеческие имена... Вы нудные и упрямые... и эта

ваша вечная надежда на Бога, с которым вы носитесь, как дурень с писаной торбой... Видишь, я тоже знаю ваши пословицы. Вечно одно и то же — Бог, Бог... Никакого полета мысли, никакой широты взгляда, чуть что — колотиться лбом об пол и бормотать молитвы до одури... — Она безмятежно улыбнулась. — Ты знаешь, у меня, как у всякого живого существа, есть терпение, и оно лопнуло. Позволь уж, я без церемоний...

Ее прекрасные золотистые волосы вдруг взлетели, словно от порыва штормового ветра, локоны, расплетаясь, взвились так, словно она летела на всем скаку на бешеном коне. Огромные синие глаза стали еще больше, словно озарились изнутри мерцающим сиянием. Вот чудо, она казалась теперь еще прекраснее... А потом ее затейливое ожерелье внезапно ожило: красные камни взвились, повисли в воздухе перед лицом Пушкина, становясь не гранеными, а круглыми, и в каждом открылся черный глаз с вертикальным зрачком, смотревший немигающе, холодно, с нескрываемой злобой.

Он не мог пошевелиться. Словно какая-то сила была из этих глаз. Они разлетелись в стороны, словно вспугнутые птицы, меж ними показалось прекрасное лицо Катарины, обрамленное развевавшимися волосами, оно словно бы светилось изнутри — глаза, рот, ноздри, будто ее голова стала стеклянным фонарем, внутри которого мерцала свеча.

— Не беспокойся, ничего страшного, — зашеко-тал ему ухо жаркий шепот. — Наоборот, получишь удовольствие. И отдашь мне все совершенно добро-

вольно, так и скажешь, что поделаться, коли уж нельзя никак обойти эти глупые порядки... Но мне нужно, чтобы короны летели, как осенние листья, чтобы вы, возомнившие о себе слишком много, вернулись в прежние времена, когда знали свое место...

Горячие губы прижались к его шее.

Странный сухой треск, напоминавший отдаленный шум пожара, перерос в форменный грохот. Нечеловеческим усилием воли скосив глаза, Пушкин увидел, как неведомо откуда ворвался огненный рой — скопище больших искр, оставлявших за собой разлохмаченное пламя и широкий дымный след. Невидимые путы, стиснувшие его тело, словно бы исчезли, почувствовав себя свободным, он что есть сил оттолкнул сжимавшее его в объятиях создание и откатился к самому краю острова, так что левая рука повисла над водой.

Воды уже не было, впрочем — в том месте протянулась непонятная то ли туча, то ли туманная полоса, превратившая часть окружающего в смутное переплетение, буйство то ли видимых глазом порывов ветра, то ли гибкого стекла. Реальность распадалась повсюду, где пронеслись, распространяясь, огненные искры, и этот распад ширился, мелькнула огромная змея, выгнувшаяся, словно от сильной боли, а потом распалась надвое, голова и хвост бешено хлестали по воде, Катарина отпрянула, отмахиваясь от огненного урагана, что-то крича, хоть ни звука не доносилось...

В следующий миг показалась темная фигура, словно бы обеими руками расшвыривавшая огонь и дым, будто спятивший сеятель. Она кинулась напрямик к

Пушкину, схватила его за руку и потянула за собой, и он подчинился, не раздумывая, — куда угодно, лишь бы подальше отсюда...

Потом обнаружилось, что он бежит по ярко освещенному коридору, а с одежды у него ручьями течет вода, словно начался ливень, и за руку его волочет не кто иной, как Алоизиус, победно вопивший:

— Получилось, кровь и гром, семь чертей этой ведьме в печенки! Сработало! Говорю вам, знала толк бабка! Бежим, бежим!

За спиной у них нарастал шум — словно бы влажное плюханье, будто кто-то огромный бежал на плоских влажных лапах. Некогда было оглядываться, да и не было ни малейшего желания, они всего лишь надали прыти...

— Что удумали, — рычал барон, размахивая клинком (самой трости при нем уже не было). — Заглянул на всякий случай — а там будто бы прозрачная стена, и вода, и деревья, и змеюка, а эта тварь к вам присосалась, как похмельный гусар к баклаге! Ну, я и шархнул... И ведь сработало, сто чертей мне в печенку и прочие потроха!

Они выскочили на балюстраду и, не задерживаясь, затоптали вниз по лестнице, расталкивая мнимых кавалеров и дам. Позади послышалось нечто вроде звериного рева, смешанного с высоким медным звуком боевого рога, и те, кто заполнял огромный зал, в едином порыве обернулись к ним, двинулись к лестнице...

Опрометью летевшие Пушкин с бароном врезались в толпу, как кабаны в камыши, и, почти не за-

медляя бега, неслись к выходу. Вокруг стоял треск, словно ломались сухие кусты, нечто высохшее, крючковатое, омерзительное то и дело цеплялось за одежду, за волосы, за руки, пытаясь задержать. Не обращая внимания на боль от многочисленных царапин, они отбивались, один клинком, второй кулаками, разбрасывали всех, кто вставал на пути.

До выхода было рукой подать. Сбоку звучно клацнули зубы, — и Пушкин, покосившись в сторону, увидел странное существо, нечто среднее между волком и обезьяной, несшееся рядом с ним то на четвереньках, то на задних лапах, норовившее вцепиться в бок. Он выхватил пистолет и наугад послал серебряную пулю. Послышался жалобный визг, и тварь покатилась кувыркком по полу...

А они уже вылетели в широкую дверь, побежали вниз по лестнице. Вокруг вместо ночного мрака серела рассветная хмарь. Наперерез бросился церемониймейстер, чьи короткие ручки превратились в растопыренные костлявые лапы, а из-под лопнувшей, слетевшей полумаски выросла обросшая коричневой шерстью продолговатая зубастая морда.

Вторая — и последняя — серебряная пуля отшвырнула его к фонтану, и оборотень свалился туда через низкую стенку мраморной чаши. Оба партнера кинулись по аллее, а следом неся топот множества лап и копыт, визг и вой леденил кровь в жилах, стоявшая на круглом постаменте беломраморная античная статуя вытянула к ним руки, пытаясь схватить...

Барон вдруг остановился.

— Что такое? — крикнул Пушкин.

— Бегите что есть мочи! — рывкнул барон, с невероятной быстротой крутя клинком, на котором блеснул у самой рукояти серебряный образок Богоматери. — Я их задержу, спасайте бумаги! Кому говорю?

— Но вы...

— Бегите, кровь и гром! Бумаги!

Не раздумывая, Пушкин кинулся прочь, он еще успел увидеть, как барона накрыла лавина мохнатых созданий, услышал скрежещущий визг, — вся эта орава сбилась в кучу на тесной аллее, стиснутой старинными стенами из плоского кирпича, и посреди этой катавасии сверкал, как молния, клинок барона, доносились его молодецкие вопли:

— Получи, тварь! Знай прусского гусара! У меня не забалуешь, морды бессмысленные!

Пушкин бежал, уже не понимая, то ли ветви деревьев цепляются за его одежду, то ли костлявые руки. В глазах все мутилось, окружающее подернулось туманом, — и он в конце концов повалился на-земь, теряя сознание...

Глава восьмая БЕССЛАВНЫЙ ФИНАЛ

Пушкин очнулся оттого, что на лицо ему тоненькой струйкой текла холодная вода. С трудом разлепил веки, поднял голову, уклоняясь от попавшей в рот и глаза воды.

— Ну слава богу, синьор, вы очнулись, — произнес кто-то радостно и спокойно. — Мы уж думали, все напрасно...

Отирая рукой воду с лица, моргая, Пушкин приподнялся, и чьи-то сильные руки помогли ему сесть. Вокруг стояли несколько человек, а ближе всех располагался верный слуга Луиджи Брамболини — он и лил воду. Те, кто стоял с ним рядом, выглядели самыми обыкновенными, ничем не примечательными людьми, одетыми прилично, но без излишнего франтовства. Лица у них были серьезные и сосредоточенные.

Солнце стояло уже довольно высоко, судя по его положению, близилось к полудню. Пушкин собрал силы настолько, что смог, пошатываясь, подняться на ноги. Вокруг росли самые обычные деревья, а вдаль виднелось полуразрушенное здание, смутно напоминавшее роскошный дворец, где состоялся маскарад.

— Бог ты мой, — сказал Пушкин. — Как ты меня нашел, малый? Как тебе только в голову пришло?

— Нетрудно найти, если знаешь, что искать — отозвался славный малый Луиджи каким-то незнакомым голосом, словно бы принадлежавшим совершенно другому человеку.

Слегка пошатываясь, Пушкин присмотрелся к нему. Это был тот же самый человек — и не тот. Черты лица остались прежними, но физиономия странным образом перестала быть простецкой, простодушной, недалекой. Перед Пушкиным стоял другой человек, ничуть не похожий на слугу из просто-народья, — ироничный жесткий взгляд, серьезность и несомненный ум, не имевший ничего общего с классическим образом оборотистого лакея наподобие Фигаро из пьесы месье Бомарше...

Через короткое время сзади послышался смутно знакомый голос:

— Странные чувства вы у меня вызываете, господин Пушкин. То ли везение ваше — дурацкое, то ли наоборот, вам покровительствуют силы, перед которыми следует почтительно замереть...

Вспомнив, Пушкин прямо-таки подскочил, как ужаленный, обернулся в ту сторону. Перед ним стоял падре Луис, одетый, словно флорентийский торговец средней руки, с узким, аскетичным лицом старого кондотьера.

— Ах, вот оно что... — сказал Пушкин, осененный внезапной догадкой. — Следовало предвидеть... Постойте, синьор, как вас там, Брамболини... Я же сам к вам подошел, когда собирался нанять слугу...

Луиджи усмехнулся:

— Это вам так показалось, сударь. Такое у вас и должно было остаться впечатление...

— Ага, — сказал Пушкин. — Опыт столетий?

— Ну разумеется, — ответил мнимый лакей. — Сами должны понимать...

— Рад видеть вас живым и невредимым, — сказал падре Луис отрывисто, без тени дружеского расположения. — Вам, повторяю, поразительно везет... Но я бы не рекомендовал испытывать везение и далее, вдруг все же окажется, что это не более чем «дурацкое счастье»...

— Послушайте... — начал Пушкин, но сам не представлял, что сказать, и потому замолчал. — А где же...

Поджав губы, падре Луис крепко ухватил его за локоть и повел по аллее в сторону полуразвалившегося строения, уже несколько не похожего на роскошное загородное поместье. Пушкин покорно шел за ним. Потом остановился.

На квадратном постаменте помещалась белокаменная статуя, изъеденная безжалостным временем настолько, что трудно было понять сразу, мужчину она изображает или женщину. Лицо и одежда покрыты многочисленными выщербинами, кое-где виднеются следы умышленно прошедшегося по истукану тяжелого предмета, быть может молота, — но вытянутая вперед рука осталась целой...

И эта рука держала голову барона Алоизиуса фон Шталенгессе унд цу Штральбаха фон Кольбица, лейтенанта гусарского полка фон Циттена, недалекого малого, но отличного друга и храброго товарища в бою. Лицо барона оставалось почти спокойным, на

бледно-восковых губах застыла яростная гримаса, словно у человека, неожиданно сраженного пулей в атаке...

Непослушными губами Пушкин прошептал короткую молитву. Горе было чересчур огромно, чтобы уместиться в сознание. Он подумал, что Алоизиус своей судьбой ухитрился распорядиться согласно любимой поговорке: гусар, доживший до тридцати, не гусар, а дрянь. Вот он и не дожил...

Кривя тонкие губы, падре Луис сказал, не глядя в сторону Пушкина, словно вообще не замечая его присутствия:

— Как это ни горько, но перед вами закономерный финал безрассудного предприятия. Господи, я же предупреждал вас обоих еще в Праге: не с вашими слабыми силенками лезть в эту драку... Вы не послушались. Глупые, самонадеянные юнцы...

— Я попросил бы вас тщательнее подбирать выражения, падре, — сказал Пушкин звенящим голосом. — Мы не мальчишки, и попали сюда не по глупой прихоти. Мы обязаны службой, и это был наш долг...

— Я уже выразил свое мнение о вашей службе, — отрезал иезуит. — И не намерен его менять.

— А любопытно, если...

— Бросьте, — сказал падре Луис. — Драться с вами на дуэли я все равно не буду. Люди моего положения на подобные дурацкие забавы не имеют права. Ну как, вы довольны? Вы вдоволь порезвились, показали себя персонажами рыцарских романов... Вот только один погиб, а другой чудом уцелел...

— Мы делали все, что могли, — сумрачно сказал Пушкин. — И не наша вина, что сделали мало. В дальнейшем...

— Вот, кстати, о дальнейшем, — холодно сказал иезуит. — Дальнейшее для вас заключается в том, что вы сядете в почтовую карету и немедленно отправитесь домой. На сей раз я буду осмотнительнее и пошлю с вами людей, которые за вами присмотрят до самой русской границы. Ваши возможные протесты не имеют никакого значения и рассматриваться не будут. — Он усмехнулся. — Если есть такое желание, вернувшись в Петербург, пожалуйста на меня заведенным порядком — через дипломатов при Святом престоле. Только, боюсь, вам ответят с подобающей вежливостью, что произошло какое-то недоразумение, и священник по имени Луис не существует вовсе, а значит никогда не был посылаем ни в Прагу, ни в Тоскану..

— Догадываюсь, — сказал Пушкин, косясь на непреклонное лицо собеседника. — А если я...

— Мы ничего не обсуждаем, — ледяным тоном сказал падре Луис. — Я просто-напросто ставлю вас перед фактом. Хватит с меня напрасных смертей, не хочу еще и третьей. До русской границы вы будете под присмотром. Что вы будете говорить в Петербурге, меня не интересует — ради бога, все как есть... Я хочу только одного: чтобы вы объяснили вашим начальникам, что они занимаются бессмысленными, дилетантскими забавами. Оставьте эти дела тем, кто знает в них толк...

Он сделал жест, и тотчас же Луиджи в сопровождении еще двух молчаливых субъектов приблизился

к Пушкину, и они обступили его с решительным видом. Протестовать и сопротивляться было бесполезно. Иезуит сказал:

— Во Флоренции вам помогут собрать вещи и устроят в карете.

— У меня там есть небольшое дельце...

— У вас больше нет во Флоренции никаких дел. Ваши бумаги из банка Амбораджи уже у меня. И не рассчитывайте, что получите их назад. Вам это совершенно ни к чему. Зачем? Чтобы вы у себя там снова принялись проводить дурацкие дилетантские опыты вроде того, что устроили в отеле?

— Но позвольте...

— Ничего я вам не позволю! Уведите его.

Окружающие придвинулись к Пушкину вплотную, и он, вздохнув, шагнул туда, куда ему указали. Не оборачиваясь, сказал громко:

— Интересно, как назвать человека, который препятствует другим делать богоугодное дело?

— Предусмотрительным и ответственным, — произнес ему вслед падре Луис. — Чтобы совершать богоугодные дела, одного желания мало...

Карета с занавешенными окнами дожидалась неподалеку. Один из сопровождающих обогнал остальных и распахнул перед Пушкиным дверцу — в этом, конечно, не было ни малейшего желания услужить, простая предусмотрительность... Карета тронулась.

Какое-то время все молчали. Потом Луиджи, временами поглядывавший на Пушкина не без сочувствия, сказал:

— Падре прав. Вам и в самом деле невероятно по-

везло, сударь. Когда-то, давным-давно, в этом здании был языческий храм, и с ним связано столько жутких историй, что от половины у вас пропал бы покой и сон...

Пушкин помалкивал, опустил глаза, — он был занят тем, что, стараясь делать это непринужденно, поворачивал на пальце сердоликовое кольцо так, чтобы загадочная надпись не была видна окружающим: еще, чего доброго, отберут и перстень, наверняка...

— Луиджи, — сказал он, убедившись, что с кольцом все в порядке, — вы слышали что-нибудь о тварях, которые обитали на земле еще до сотворения человека? О разумных тварях, я имею в виду...

— Синьор Александр, — мягко произнес Луиджи. — Вам совершенно незачем забивать себе голову делами, которые вас более не касаются. Скажу вам по секрету: этих созданий осталось так мало, что вряд ли кому-то удастся встретиться с ними два раза в жизни...

— Барон с ней покончил? — спросил Пушкин.

— Ну что вы, ничего подобного, — ответил Луиджи. — Не так это просто. Вырваться вы оттуда вырвались, и не более того.

— Но что это? Кто это, так будет вернее...

— Вам станет легче, если вы услышите какое-нибудь научное определение? — усмехнулся Луиджи. — Вы полагаете, что у нас существуют определения для всего на свете? Увы... Это существует и доставляет множество хлопот...

— Синьор Луиджи... или как вас зовут по-настоящему, — сказал Пушкин едва ли не умоляюще. —

Сдается мне, вы, в отличие от вашего начальника, человек более склонный прислушиваться к чувствам и пожеланиям других... Что вы скажете, если я попрошу...

— Я вас не отпущу, — сухо сказал Луиджи. — И не надейтесь. Во-первых, я не могу нарушить строгий приказ. Во-вторых, все делается ради вашего же блага. И наконец... Ну что вам еще делать во Флоренции?

— Остался еще Руджиери...

— Уже нет. Этот прохвост все же ухитрился сбежать, — в голосе Луиджи звучало искреннее сожаление. — Мы сами с превеликим удовольствием его о многом порасспросили бы... Потихонечку связал простыни, спустился по ним со второго этажа и дал драпака. Его ищут, конечно, но... Не сердитесь чересчур на падре Луиса, он вам хочет только добра. Наш падре слишком много пережил и слишком многих потерял, чтобы быть благодушным. Признаюсь по совести, вам еще повезло. Звучали голоса, призывавшие отправить вас на родину несколько и н ы м путем, в кандалах и с конвоем для пущей надежности... — Он наклонился к Пушкину и доверительно понизил голос: — У всех на пределе нервы, знаете ли. Неделью назад в Ватикане было совершено покушение на Его Святейшество. Самое печальное в том, что это был не революционер с кинжалом или пистолетом, а статуя... Вот именно, статуя, долго стоявшая в одном из коридоров. Она напала в я л о, без особого проворства, и один из гвардейцев успел заступить до-

рогу, принять удар на себя, а там она вновь о б - м е р л а... Ее убрали с места и присматривают за ней до сих пор, что, на наш взгляд, бессмысленно... Можно ли в таких условиях вернуть вам те бумаги? В н а ш и х архивах им самое место.

— У меня на этот счет свое мнение, — сказал Пушкин.

— Ну что же, никто не вправе лишать вас права иметь свое мнение, — ответил Луиджи с застывшим, как маска, лицом. — И не более того...

Он был непроницаем, и Пушкин оставил все попытки о чем-то договориться. Вокруг слышался уже обычный шум города, — карета ехала по улицам Флоренции, совершенно не заметившей трагедии, разыгравшейся в развалинах языческого храма, и Пушкин вновь почувствовал невероятное одиночество, особенно мучительное теперь, когда он остался без друга, а до Петербурга была не одна неделя пути.

— Посмотрите, — сказал ему Луиджи, приподнимая занавеску.

Пушкин выглянул. Вдоль фасада роскошного здания, которое он узнал моментально — палаццо князя Каррачолло — цепочкой стояли тосканские пехотинцы в белых штанах и синих сюртуках, весьма напоминавших австрийскую военную форму (ничего удивительного, если учесть, сколь сильно было здесь влияние Австрийского дома). Они стояли с ружьями к ноге, безмолвные и полные сознания собственной значимости, а поодаль, в нескольких местах, торчали кучки зевак.

Луиджи грустно улыбнулся:

— Разумеется, истинной причины данных... событий никто не узнает. Вскоре будет пущен слух, что князь и графиня де Белотти поддерживали тесные связи с одной из шаек карбонариев, замышлявших убийство великого герцога и революцию на манер французской. Цинично выражаясь, дело вполне житейское, люди поверят легко и не станут задавать лишних вопросов... Думаю, у вас поступили бы точно так же.

— Да, пожалуй, — отсутствующим тоном отозвался Пушкин. Поднял голову. — Пойдите... Вы все же их арестовали?

— Князя... и его мелкую шуштуру, — сказал Луиджи. — Та, кого именуют графиней де Белотти, исчезла. Этих взять не так-то просто... Между прочим, в том, что мы все же смогли прихватить на горячем князя, есть и ваша заслуга. Падре Луис чересчур погружен в свои заботы, он вообще не склонен хвалить тех, кто, по его мнению, берется не за свое дело, но, по моему глубокому убеждению, за вами все же сыщутся некоторые заслуги. — И снова его почти дружеский тон стал холодным. — Вот только успех вам достался дорогой ценой. Двое из троих погибли, а вы уцелели каким-то чудом. Такое везение выпадает один раз в жизни, дорогой Александр. Поэтому я считаю, что падре Луис поступил с вами совершенно правильно. Возвращайтесь домой и постарайтесь убедить своих начальников в том, что они все же взялись не за свое дело. Ваши «Три черных орла» очень уж напоминают мне какое-нибудь тайное общество, созданное школярами. Вы взялись за черес-

чур уж сложное и грандиозное предприятие, не имея в том ни навыков, ни опыта...

— Но ведь опыт приходит в деле?

— Это не тот случай, — уверенно сказал Луиджи (или как там он именовался на самом деле). — Оставьте заботы о нечисти воинствующей церкви — у нее-то как раз накоплен немалый опыт. К тому же в а ш е й стране все обстоит несколько благополучнее. Так уж испокон веков повелось, что у в а с не обосновались по-настоящему о п а с н ы е создания... и тайные союзы, берущие начало еще с языческих времен. У вас там ничего, в общем, не может случиться. Где-то в глуши притаились мелкие деревенские колдуны, неопасные, в сущности, ведьмы, да объявится порой ходячий покойник или оборотень. Все это вымирает, отмирает, и нет нужды в существовании вашей Особой экспедиции... Впрочем, как и схожих учреждений, которые представляли ваши нелепо погибшие друзья...

Он говорил медленно и рассудительно, как с немысленным ребенком. Пушкин молчал, не ввязываясь в полемику. В голове у него крутилась фраза Катарины, в которой, полное впечатление, и был ключик к тайне — вот только он никак не мог эту фразу вспомнить, отчетливо е е с л ы ш а л сейчас, как некую мелодию, но ни за что не мог облечь в слова, как ни бился, и это было мучительно...

Он чувствовал себя опустошенным. Несказанно захотелось домой.

Часть третья

ПРОХЛАДА НЕВСКОГО ГРАНИТА

Глава первая

ЧЕЛОВЕК ИЗ-ЗА МОРЯ

— Я провалил все дело, — сказал Пушкин горестно. — Нужно было ехать кому-нибудь другому...

Князь Петр Андреевич Вяземский, облокотившийся рядом с ним на гранитный парапет набережной Невы, задумчиво смотрел на воду. День стоял солнечный, ярко сиял светлый адмиралтейский шпиль, но неводская вода, как обычно, была сероватой, тяжелой. Лицо князя было непроницаемо — поэт, светский человек, удачливый чиновник... Удивление было бы всеобщим, знай общество, что он еще и стоит во главе Особой экспедиции. Правда, для этого потребовалось бы сначала, чтобы все узнали о существовании самой Особой экспедиции...

— Александр, ты неправильно все оцениваешь, — сказал он, не сводя глаз с воды. — Я не пытаюсь тебя утешить, говорю, что думаю. Ты у нас всегда был излишне впечатлителен и порывист. Смирение, конечно, паче гордыни... Но все равно, не раскисай, как старая баба. То, что ты вообще вернулся живым — уже успех. А если добавить к этому разгром флорентийского гнезда...

— Но свою партию я проиграл...

— Ты о бумагах? — Вяземский повернулся к нему, глядя без всякой грусти. — А не приходило тебе в го-

лову, что твой иезуит был прав? Что мы делали бы с бумагами Курицына? Нам в нашей службе совершенно ни к чему умение двигать неодушевленные предметы и заставлять статуи ходить. — Он иронически сделал ударение, как делали его в старину. — Падре твой совершенно прав: бумаги, запечатав понадежнее, схоронили бы в пыльном архиве на ближайшую сотню лет. А то и сожгли бы, по крайней мере, именно такое решение я бы навязывал графу всеми силами — ну, безоудная ведь премудрость... Так что перестань себя виноватить. Говорю не как старый друг, а как начальник.

— Благородство ваше, князь, общеизвестно... — горько усмехнулся Пушкин.

— Достаточно, Александр, — решительно сказал Вяземский. — Это, право, уже не смешно... Не знай я тебя лучше, подумал бы, что находишь болезненное удовольствие в страданиях... — Он говорил сухо, деловито, резко. — Исходить следует из того, что твоя поездка была полна несомненных успехов. Это не мое мнение, а еще и графа, и Леонтия Васильевича... О чем позвольте, сударь, вам официально объявить, чтобы прекратили заниматься самобичеванием... Это успех, Александр, — сказал он уверенно. — Во-первых, мы узнали о существовании таких, как твоя так называемая Катарина. Во-вторых, получили некоторое представление о работе якобы благополучно почившей в бозе инквизиции — а это задел на будущее, очень может быть, мы с ними еще и попытаемся договориться, не все ж там такие, надо думать, как твой суровый падре, л а т ы н ц ы дипло-

маты изрядные и выгоду свою понимают... И наконец, вы все же нанесли им несколько чувствительных ударов, а это, согласишься, совсем не то же самое, что выводить на чистую воду колдунов из муромских лесов и вампирствующих по мелочам провинциальных помещиков... Могу сказать по секрету, что граф тебя к крестику в петлицу представить намерен. Это ли не высокая оценка?

— Прости, что-то я и впрямь рассиропился, — сказал Пушкин. — Вспомнил все, передумал еще раз и навалилась тоска...

— Я тебе скажу, в чем дело. Ты не проигравшим себяставляешь, если копнуть глубже. Ты, друг мой, виноватым себя чувствуешь оттого, что спутники твои погибли, а ты вот уцелел...

— Пожалуй.

— Снова не вижу причин себя виноватить, — сказал Вяземский. — Ты не трусил, в кустах не отсиживался, друзей не бросал. Тут уж как кому выпало и повезло...

— Пожалуй, — сказал Пушкин с бледной улыбкой. — Забавно... У меня как-то не нашлось времени рассказать Алоизиусу, что я, собственно, при другом обороте судьбы мог стать и гусаром. Я ведь намеревался после Лицея поступать в гусары, ну да ты помнишь, и в Министерство иностранных дел определился исключительно по настояниям отца. Но это означает, что теперь мне невозбранно позволено дожить до тридцати, не чувствуя неловкости.

— Гусар, который дожил до тридцати... — понятиливо покачал головой Вяземский.

— Вот именно, — сказал Пушкин. — И ведь не дожил... Мне тяжело было терять этих людей, со мной никогда прежде такого не случалось, чтобы я был словно солдат в походе...

— А походы, между прочим, не кончены, — сказал Вяземский с нотками вкрадчивости. — Поскольку служба не кончена... Есть хорошее средство против тоски и хандры. Называется оно — дело... Я тебя позвал сюда отнюдь не для того, чтобы над водной гладью дружески утешать. Если ты оглянешься, увидишь вон там, в отдалении, прекрасно тебе известных Тимошу и господина Красовского...

Пушкин оглянулся вслед за движением трости князя. И действительно, оба поименованных стояли у парапета с видом людей, привыкших к долгому терпеливому ожиданию.

— Что-нибудь случилось? — спросил он, чувствуя, как моментально улетучиваются апатия и хандра.

— Это как посмотреть, — сказал князь. — С формальной точки зрения, ничего не произошло. С фактической... В гвардейских саперах служит поручик Навроцкий... Он тебе не знаком?

— Не припомню.

— Молод, легкомыслен, бесшабашен... Игрок. Две недели назад у Никишина проиграл некоему немцу пять тысяч ассигнациями. Долг для нашего юноши прямо-таки убийственный, поскольку такими средствами он не располагает. Отец умер, у матери двести душ, имение заложено в Опекунском... На первый взгляд — обычная история, случавшаяся со многими и многими, не исключая присутствующих, — карточ-

ный долг, который невозможно отдать в одночасье. Но вот далее начинаются странности. То, что немец его не торопил, ничем удивительным не выглядит: он вроде бы не беден, проявил снисхождение... Но вот потом состоялся разговор, после которого господин поручик направился напрямиком в Третье отделение — фон Ранке был добрым знакомым его батюшки, к нему Навроцкий и пришел... Видишь ли, немец сделал ему довольно необычное предложение. Он готов простить долг полностью, если Навроцкий передаст ему бумаги отца, касающиеся Сарского Села*. Его покойный батюшка, будучи офицером геодезии, в свое время, совсем молодым, при матушке Екатерине, вел там работы, будучи приставлен к мастеру Камерону. Ты же лицеист, прекрасно знаешь историю Сарского...

— Когда Камерон переделал большую часть парка, кроме Эрмитажной? Заменяя регулярный стиль пейзажным?

— Именно, — сказал Вяземский. — Потом Навроцкий-старший работал с Нееловым и его помощниками... Бумаг с тех времен у него осталось предостаточно — рабочие чертежи, какие-то наброски... Я плохо в этом разбираюсь, от архитектуры и садоводства далек, но мне объяснили, что наброски эти служили лишь подспорьем для настоящих официальных чертежей, в хранилища официальных бумаг

* Во времена Пушкина Царское Село еще именовалось Сарским — от финского «Саари-Мойс», «Возвышенная мыза», которая там располагалась до 1710 г.

не попадали, их, собственно говоря, можно было и выбросить, но Навроцкий сохранил по какому-то капризу, а то и лени, и они десятилетиями пылились на антресолях в его питерском домике. И вот теперь означенный немец проявил твердое намерение их заполучить. Пустые бумаги, никчемные, ненужные... Но, на взгляд немца, они стоят пяти тысяч рублей...

— Любопытно... — сказал Пушкин, задумчиво щурясь. — И как немец объясняет свой каприз?

— Именно как каприз. Его, изволите ли видеть, всегда сжигала страсть к собиранию старинных бумаг касаясь архитектуры, парков, садовых ландшафтов... Забегая вперед, спешу уведомить, что наши сыщики тщательно это проверили. Оказалось, вранье. За всю свою сорокапятилетнюю жизнь немец, господин Готлиб Штауэр, служащий по Министерству финансов, никогда не проявлял ни малейшего интереса к подобному. Страсть его стала сжигать буквально в последние дни, возникла на пустом месте, ни с того ни с сего... Бедняга поручик не один день провел в нешуточных душевных терзаниях. С одной стороны, сделка для него представляла чрезвычайно выгодной — избавиться от пятитысячного долга в обмен на никому не нужный ворох пыльных бумаг. Но как раз легкость и странность сделки его взволновала не на шутку. Сарское Село, как-никак, — место пребывания самодержцев всероссийских... В конце концов он и пришел к фон Ранке. Доложили графу. Граф по размышлении передал все это Особой экспедиции, и я его вполне понимаю:

с одной стороны, история не дает никаких оснований для вмешательства Третьего отделения, с другой — отмечена несомненной странностью... А если учесть, что у нас, в отличие от Третьего отделения, хватает незанятых сыщиков, а серьезными делами мы не обременены... В конце концов, при создании Экспедиции мы сами настойчиво просили незамедлительно передавать нам все дела, имеющие характер странностей... Одним словом, тебе поручено. Бери агентов и действуй.

— Любопытно... — сказал Пушкин. — Не вижу я здесь о с о б ы х загадок, но проверить все же не мешает. Хотя я, откровенно говоря, не возьму в толк, каким образом могут представлять угрозу для августейшей фамилии старые чертежи... Притом чертежи мест, которые с тех пор изменялись неоднократно, и новые здания возводились при Павле и Александре, и парки меняли облик... Хочешь, изложу скороспелую догадку? При матушке Екатерине в тех местах был зарыт клад, о чем Навроцкий-старший не подозревал, но в его бумагах есть понятные для посвященного указания...

— Клад в Сарском Селе?!

— Я же говорю, что это не более чем поэтическая фантазия, — сказал Пушкин. — Ничего другого не приходит пока что в голову. Но я проверю этого немца самым тщательным образом. Лучше поднять тревогу по пустяку, чем пропустить нечто важное. — Он продолжал деловито: — Дом Никишина та печка, от коей следует танцевать согласно мужицкой поговорке, а потому...

Он замолчал, и Вяземский глянул на него чуть ли не с испугом: Пушкин побледнел, как смерть, замер, глядя куда-то вдаль. У него был вид человека, узревшего нечто жуткое.

— Что случилось?

— Ты не поверишь... — сказал Пушкин, все еще глядя в ту сторону. — На Невский только что свернула коляска, и там сидела она...

— Кто?

— Катарина де Белотти... Та, кто так себя именовала. Волосы у нее сейчас, правда, другие, не золотистые, а скорее каштановые, но посадка головы, осанка, фигура... Это она!

— И где же эта коляска? — спросил Вяземский тоном, который Пушкину чрезвычайно не понравился по причине его несомненного легкомыслия.

— Уже далеко. Вон, видишь...

— Коляска, и в самом деле, имеет честь ехать по Невскому, с каждым мигом удаляясь от нас... — сказал Вяземский. — Что до прочего — тебе наверняка показалось. Что ей делать в Петербурге? Ежели намерена тебе отомстить за нанесенный тобою урон, то вряд ли для этого она избрала бы обходной путь — беспечные променады по Невскому. Показалось тебе, душа моя...

— Возможно, — сказал Пушкин с сомнением. — Но сходство поразительное... Я устал, наверное... А потому, ты прав, займемся делом...

Он поклонился и пошел прочь, все еще глядя в ту сторону, куда укатила запряженная парой каурых коляска, канареечно-желтая, с черными крыльями

ми — это сочетание цветов поневоле вызвало в памяти флаг Австрийского дома, а затем и покойного графа Тарловски, а там, согласно с логическим бегом мыслей, и лицо Алоизиуса, и их незадачливые и жуткие приключения... Он ничего не мог с собой поделывать, прошлое держало цепко, не став еще, собственно, прошлым, поскольку все произошло совсем недавно...

Его люди двинулись ему навстречу: простецкого вида Тимоша Ильин, из однодворцев, незаменимый в роли ищущего места разбитного лакея, и отставной прапорщик Красовский, владелец полузабытого им самим именица под Саратовом, променявший военную и статскую карьеру на незавидный пост рядового сыщика — поскольку по складу характера и натуре именно в этом занятии видел смысл жизни.

— Немец, Александр Сергеич, как на ладони, — деловито сказал Тимоша. — Посидел я вечерок в полпивной с его камердинером, затраты получились смешные, зато выболтал он о хозяине все, что знает... Вот только интересного там ничего нет. Немец как немец: на службу ходит аккуратно, хоть часы по нему проверяй, вдов, содержит охтинскую мешаночку, но обставлено это с немецкой скукой, без пыла, страстей и всеобщей огласки. В картишки любит перекинуться, главным образом у Никишина. По четвергам у себя вечеринку устраивает — раз в неделю, с немецкой педантичностью. А вот странностей за ним никаких не водится — и вплоть до самого последнего времени никаких таких коллекций не собирал. Камердинер, когда я его к этой теме подвел

десятой дорогой, аж глаза от удивления выпучил: ничего такого за барином не замечал за все время службы, если что наш господин Готлиб и собирает коллекционным образом, так это денежку копит — но не какую-то там античную, а сугубо нынешнюю, имеющую хождение...

— Полный перечень его знакомств составлен, — солидно вмешался Красовский. — С разнесением по графам: сослуживцы, соседи, карточные постоянные партнеры, соседи его охтинской симпатии, а также прочие... Какие будут распоряжения?

Какое-то время Пушкин колебался, но потом решился задать волновавший его вопрос.

— Пока что не имеющие отношения к немцу, — сказал он, радуясь, что правила службы не требуют от него давать подробные объяснения, зачем ему понадобилось то или другое. — Начнем с вас, Дмитрий Иванович. Совсем недавно тому, когда вы здесь уже стояли, на Невский свернула коляска, желтая с черными крыльями. В коляске сидела дама...

— Синеглазую шатенку имеете в виду? — подхватил Красовский. — Что ж, трудно было не заметить сию наяду... или, быть может, сильфиду.

— Постарайтесь узнать, куда она поехала, где проживает... и все прочее, что возможно будет выяснить. Незамедлительно.

Где-то в глубине глаз отставного прапорщика теплился лукавый огонек — положительно, он подозревал, что неожиданное поручение продиктовано не интересами службы, а скорее уж личными побуждениями господина Пушкина. Но Пушкин знал: что бы

Красовский ни думал, за дело он возьмется со всем тщанием.

— Теперь ты, Тимоша... — сказал Пушкин. — Поручение чуточку странное, но не особенно трудное. Выясни-ка, голубчик, живут ли сейчас в Петербурге персы.

— Что за персы?

— Из Персии, — терпеливо разъяснил Пушкин. — Персы родом из Персии, прибывшие к нам по своим надобностям...

— Сообразил, — сказал Тимоша. — Которые из Персии... Обстрепаем.

...Дом Никишина Пушкин знал прекрасно — поскольку сам игрывал здесь не единожды, что греха таить. Никишин был личностью примечательной: один из немногих счастливых, наживших немалое состояние карточной игрой — причем честной. Случай довольно редкий, следует признать. Сам по себе человек был забавный и препустой: свалившееся на него богатство любил выпячивать и подчеркивать, изо всех сил пытался изобразить себя светским львом хорошего тона и накоротке свести знакомство с высокой аристократией. Но и то, и другое удавалось ему плохо, в доме у него царили неряшливость и безвкусие, а посещали его главным образом льстецы и приживалы. Впрочем, иные светские петербуржцы тоже порой у него бывали — но в небольшом количестве, главным образом те, кто ценил не Никишина, а его повара, и в самом деле недурного.

Обходя залы, Пушкин не увидел никого, кто походил бы на скрупулезно описанного ему господина

Готлиба Штауэра — а расспрашивать о нем пока что поостерегся во избежание лишних вопросов. Трудно было бы объяснить неожиданно возникший у него интерес к этой персоне, с коей он до этого не встречался...

Хотелось сыграть и самому, но он воздержался. Из многолюдных и шумных комнат перешел в зеленую гостиную, небольшую, по очередной прихоти Никишина обитую зеленым шелком и украшенную полудюжиной безвкуснейших малахитовых поделок, собранных вместе без складу и ладу, как всегда у хозяина дома. Даже шандалы на полдюжины свечей каждый были вырезаны из малахита — но чрезвычайно топорно.

За столом, обитым зеленым сукном, сидели всего двое, и оба были Пушкину незнакомы. Ставил банк какой-то красавчик-брюнет с усиками в ниточку, одетый безукоризненно (бриллианты в кольцах были вовсе не фальшивые, как и галстучная булавка), — но Пушкину он отчего-то не приглянулся сразу: то ли преувеличенной светскостью манер, то ли сам по себе. Все в нем было чересчур.

Против него понтировал молодой человек лет двадцати, худощавый, с большими серыми глазами, аристократическим носом с горбинкой и тщательно подстриженными усами. Одежда его, вполне приличная, имела, на взгляд Пушкина, иноземное происхождение, хотя он и не смог определить, откуда незнакомец прибыл. Но то, что он в Петербурге совсем недавно, сомнений не вызывало — есть масса примет, по которым узнаешь человека нового...

За игрой наблюдали человек пять, и Пушкину из них был знаком лишь конногвардеец Поздняков, с которым можно было держаться запросто. А потому Пушкин без особых церемоний спросил на ухо:

— Кто понтирует?

— Господин из Америки, — охотно, тем же заговорщицким шепотом ответил Поздняков. — Из Североамериканских Штатов. Позль, что ли...

— А банкомет?

— Князь Муфельский, из Варшавы...

Пушкин поднял брови.

— Ну да, — сказал Поздняков. — В Варшаве князей больше, чем гербов в герольдии, так что черт его ведает, из-под какой звезды... Человечек новый, а потому следует вначале присмотреться, каким манером играть изволит. Пусть уж американец, так сказать, в роли конной разведки выступит, а мы посмотрим...

— Резонно, — сказал Пушкин.

Талия* закончилась, варшавский князь, слегка пожав плечами и улыбаясь, придвинул к себе проигранные американцем деньги. И, с хрустом распечатав новую колоду, любезно предложил:

— Угодно еще?

— Сделайте одолжение, — тоже на неплохом французском ответил молодой американец.

Пушкин моментально угадал в нем человека, не чуждого зеленому сукну.

— Что скажете насчет пе? — так же любезно спросил князь.

* Партия в карточной игре.

— Простите?

— Удвоенная ставка.

— Охотно, — кивнул американец, выкладывая перед собой нераспечатанную колоду.

Разобрав обертку, перебрал, вынул карту, на которую поставил, и положил лицевой стороной книзу возле себя, а на нее уместил к у ш, то есть ставку. Пятнадцать золотых, по три в ряд. Пушкин никогда не видел прежде таких монет — американские, должно быть, но князь, бегло на них взглянув, удовлетворенно кивнул и выложил свою ставку, уже в российских империалах, размером и весом примерно соответствовавших.

И принялся метать банк — раскладывал карты из своей колоды то направо, то налево. Банк был игрой несложной: если загаданная понтером карта оказывалась справа, деньги доставались банкомету, если слева — выигрывал понтер...

— Заморский проиграл уж четыре раза, — шепотом сообщил Пушкину конногвардеец. — Неопытен, сразу видно, ему бы на руте...*

— Князь начал с правой стороны? — спросил Пушкин.

— Ну конечно, а как же иначе...

— Конечно, как же иначе... — кивнул Пушкин.

Он подался вперед, глаза у него сузились, а кровь жарко ударила в виски — чувство сродни охотничьему азарту.

* Руте — ставить с повышением на одну и ту же карту, рассчитывая на то, что рано или поздно она выпадет влево. При удаче выигрышем можно было перекрыть весь проигрыш.

Стояла тишина, карты ложились на зеленое сукно с тихим шелестом, один из подсвечников чадил, но никто не озаботился снять нагар...

Очередная легла влево, князь уже готовился...

Вскинув свою тяжелую трость, Пушкин придавил ею к столу руку князя с карточной колодой — и держал крепко, оторопевший варшавский гость не сопротивлялся, но потом вскинул налитые злобой глаза.

— Что за черт...

— Колоду в сторону! — прикрикнул Пушкин, налегая на трость.

Кто-то понял его — и, метнувшись к столу, схватил колоду из рук банкмета, зажал в кулаке. Тогда Пушкин поднял трость и, выпрямившись, звучным голосом произнес:

— Прошу пересчитать карты, господа. Справа на одну больше, что означает...

Сразу несколько рук потянулись к небольшим кучкам. Все придвинулись к столу. Карты перевернули вверх лицом, считая вслух.

— Действительно... — протянул кто-то зловещим тоном. — Слева восемь, справа — девять... И вторая сверху... Откройте вашу карту, сударь, игра все равно кончена!

Молодой американец перевернул свою карту.

— Семерка пик!

— А вот она и справа, лишняя...

— Должен вас огорчить, сударь, — сказал Пушкин, — вы играли с шулером...

— Господа! Господа! — воскликнул варшавский князь, озираясь с видом крайнего изумления. —

Мелкая ошибка может с каждым случиться, слово чести...

— Да что там, — улыбаясь во весь рот, сказал протолкавшийся к столу конногвардеец. — Дело ясное. Александр Сергеич, не передадите ли шандал? Убогое произведение искусства, но для соблюдения традиции и такой сойдет...

— Извольте, ротмистр, — сказал Пушкин, подавая Позднякову тяжелый малахитовый подсвечник.

Вокруг заорали, засвистели, заулюлюкали, словно подгоняли гончих на охоте. Князь Муфельский с видом оскорбленного достоинства еще пытался что-то изречь в свое оправдание, но шандал в руке конногвардейца обрушился на него всей своей немаленькой тяжестью, свечи моментально погасли и разлетелись, запачкав расплавленным воском не только незадачливого шулера, но и тех, кто оказался близко, что, в общем, никого в горячке действия не раздосадовало. Поздняков, ухая, орудовал шандалом как поп кропилком, князь вопил, безуспешно пытаясь вырваться.

Молодой американец, не принимавший в этом участия, сложил в карман свою ставку и отошел от стола. Догнав его, Пушкин сказал:

— Я бы не хотел, сударь, чтобы у вас сложилось превратное мнение о нашем городе. Ибо оные субъекты встречаются, но не они определяют погоду...

— Разумеется, — сказал молодой человек с грустно-философским видом. — У нас в Америке таких тоже хватает... Позвольте вас поблагодарить, если бы не вы...

— Вы имеете полное право вернуться и забрать то, что он у вас выманил обманом.

— Пусть его... — с брезгливой миной сказал молодой американец. — Не откажетесь ли выпить со мной, сударь? Я видел здесь буфет...

Они прошли в буфетную. Немца Пушкин не обнаружил и там, а потому можно было никуда не спешить. Сев за свободный столик в углу, он подозвал лакея — облаченного в безвкусную по-никишински ливрею, но расторопного.

— Путешествуете из удовольствия? — спросил Пушкин, поднимая бокал.

— Пожалуй, — ответил молодой человек.

Пушкин, слегка нахмурясь, смотрел на него поверх бокала, в котором тихонько шипели пузырьки. В голосе молодого американца ему почуялась несомненная фальшь: но, в конце концов, никто не обязан откровенничать с первым встречным, пусть даже и оказавшим услугу. У всякого могут быть свои тайны...

— Служите где-нибудь? — спросил Пушкин.

— Я... Не совсем. То есть, совсем недавно служил в армии, но вышел в отставку в чине главного сержанта. Пытаюсь писать стихи. Выпустил даже книжечку, «Тамерлан и другие стихотворения», но она убога... Прекрасно понимаю, что убога, но ничего не могу с собой поделывать, это сильнее меня...

Вот теперь он был искренен, сразу видно.

— Прекрасно вас понимаю, — сказал Пушкин. — Сам грешу тем же пороком — рифмую...

— И как, удалось вам чего-нибудь добиться?

— Пожалуй... — сказал Пушкин, улыбаясь. — Пожалуй... Надолго вы к нам? Интересно было бы поговорить о поэзии с американским поэтом — американцев мы видим не так уж часто...

— Надолго ли? — молодой человек нервно переплел пальцы. — Не знаю, как получится... Ваша столица прекрасна, хотелось бы задержаться здесь подольше...

Он воодушевленно заговорил о том, что успел увидеть — о дворцах и особняках, памятниках и проспектах, сравнивая Петербург в выгодную для него сторону с американскими городами. Пушкин слушал внимательно, прилежно подмечая все те же странности: во многом молодой человек был искренен, но тем не менее на заднем плане оставалась некая недоговоренность, нечто утаенное. Словно он постоянно помнил, что какую-то часть своей жизни обязан скрывать и о многом умалчивать.

Загадки Пушкин любил — не только по долгу службы — а сейчас перед ним была несомненная загадка: совсем молодой человек, переплывший океан, по виду из общества, получивший образование и воспитание, в деньгах вроде бы не стесненный — и в то же время старательно скрывающий что-то, причем непонятно что... Бежит от кредиторов? Совершил по ту сторону океана какой-то серьезный проступок и теперь скрывается? Романтическая любовная история? Еще что-то? Он пока что не мог определить. В одном был уверен: молодой американец напоминал шкатулку с потайными

ящичками, что были в большой моде в прошлом столетии, да и сейчас из употребления не вышли.

Вот только не было времени заниматься посторонними загадками.

Тем более что на пороге буфетной появился Тимоша в самом достоверном своем облике вымуштрованного лакея и оглядывал публику с искренним нетерпением...

— Я вижу своего слугу, — сказал Пушкин. — Мне пора. Любопытно было бы с вами встретиться еще раз. Где вы остановились?

— В трактире Демута*, — сказал молодой человек. — Спросите Эдгара Аллана По.

— Очень приятно, — сказал Пушкин. — Александр Пушкин, поэт и скромный чиновник... Рад был знакомству. И позвольте на правах старого здешнего жителя дать вам совет: осмотрительнее выбирайте карточных партнеров....

Он раскланялся и вышел вслед за Тимошей, неторопливо спустился по лестнице. Едва они очутились на улице, Тимоша радостно доложил:

— Отыскал я вам персюка, Александр Сергеич! Интересный персюк, не сойти мне с этого места. В «Лондоне» обитает. То есть, обитал до недавнего времени, а сегодня, изволите ли видеть, ни с того ни с сего...

— Подожди, душа моя, — сказал Пушкин. — Давай по порядку...

* Трактиры в те времена часто сочетались с гостиницами.

Глава вторая

ПЕРСТЕНЬ ИЗ ПРОШЛОГО

Гостиницу «Город Лондон» на углу Невского и Большой Морской Пушкин, как истый петербуржец, знал прекрасно, а потому, не нуждаясь в проводниках, поднялся на третий этаж, прошел по тихому коридору и постучал набалдашником тяжелой трости в дверь нужного ему номера.

Длительное время ничего не происходило, потом послышались неторопливые шаги, и дверь приоткрылась. В образовавшейся щели можно было рассмотреть нездешнюю физиономию, украшенную усами и бородой (опять-таки н е з д е ш н е г о фасона), а также, в соответствии с природой, парой иссиня-черных глаз, исполненных подозрительности и нелюбезности.

Физиономия пробормотала что-то, кажется, не имевшее смысла ни на одном языке, продолжая тарращиться нелюбезно и проявляя явные поползновения захлопнуть дверь перед носом нежданного визитера.

— Мне угодно видеть мирзу Фируза, — сказал Пушкин спокойно.

Снова бормотание.

Весело улыбаясь, Пушкин разыграл пантомиму: ткнул себя пальцем в грудь, потом показал уже двумя на свои глаза, изобразил шагающие ноги и сказал в завершение:

— Мирза Фируз...

— Не разумеи москов... — проворчал бородатый чербер.

— Вот так так? — ухмыльнулся Пушкин. — Сдается мне, «мирза Фируз» — слова как раз не русские, а самые что ни на есть персидские...

Снова ворчание.

— Бросьте, душа моя, — сказал Пушкин с величайшим терпением. — Ну что это за опытный купеческий приказчик, пятый уж год едущий в соседнюю страну со своим товаром, да так и не выучивший ее языка? За торговыми людьми такого не водится... Дошли до меня слухи, что вчера вы, любезнейший Ширали, на весьма даже неплохо русском языке с купцом Перфильевым изволили общаться в кофейне Вольфа и Беранже, свидетелей найти нетрудно, того же Перфильева взять...

— Что вам угодно? — неприязненно бросил перс.

— Ну вот, произошло чудо из «Тысячи и одной ночи», — сказал Пушкин, улыбаясь во весь рот. — Ваш русский язык волшебным образом исправился... Мне угодно незамедлительно видеть мирзу Фируза.

— Хозяин занят. Мы уезжаем, и много хлопот со сборами...

— Все в руках Аллаха, как выражаются у вас, — сказал Пушкин. — Вы, вполне может оказаться, и не уезжаете вовсе... Друг Ширали, вы, я уверен, владеете русским языком и знаете российский быт достаточно, чтобы знакомым быть с учреждением под названием «Третье отделение собственной его величества канцелярии»?

Судя по лицу перса, его знакомство с российским бытом достаточно далеко простиралось...

— Означенное учреждение я имею честь представлять сейчас, — сказал Пушкин уже без тени улыбки. — И побеседовать с вашим хозяином хочу не из любви к экзотическим странам, а по служебной необходимости. Можете меня не впускать... Но тогда не позднее чем через четверть часа появятся полицейские в мундирах и проведут почтенного Фируза к нам, чтобы именно там провести беседу... Нужны ли такие хлопоты почтенному купцу с репутацией? Вам решать...

К чести перса, он размышлял недолго. Угрюмо насупившись, открыл дверь достаточно широко и даже поклонился более-менее уважительно:

— Прошу вас. Я доложу мирзе...

Вернулся он из комнат, не проведя там и минуты, еще угрюмее, чем был. Распахнув дверь, склонился в поклоне, уже без единого слова.

Пушкин вошел. Комната была, как и следовало ожидать, обставлена недурно и не имела в своем интерьере никакой персидской экзотики, разве что на изящном мозаичном столике стоял серебряный кувшин, покрытый великолепной чеканкой, несомненно привезенный купцом с собой, да лежали несколько книг в коричневых кожаных переплетах, вряд ли входивших в гостиничные принадлежности.

Мирза Фируз сидел у помянутого столика: человек достаточно преклонных лет, но, несмотря на это, державшийся удивительно прямо, с узким лицом, с подкрашенной хной бородой и пронзительными се-

рыми глазами, выдававшими недюжинный ум. Перебирая большим пальцем правой руки янтарные зернышки четок, он сказал нейтральным тоном:

— Садитесь. Мой человек сказал, что вы имеете отношение к Третьему отделению? — Его русский был весьма неплох. — Признаться, мне не понятно, чем я мог ваше учреждение заинтересовать...

— Именно тем, простите за каламбур, и заинтересовали, что человек вы небезынтересный, — сказал Пушкин, усаживаясь. — Даже собранные о вас поверхностные сведения рисуют образ любопытной персоны, не вполне вписывающейся в привычный облик купца. Вы купец, конечно, давно и успешно торгуете ювелирными изделиями, у наших богачей имеющих большой спрос... Но в то же время, мне стало известно, вы еще и проявляете стойкий интерес к ученым книгам, даже сюда взяли их несколько. — Он указал на столик. — Сплетники имеются у всех народов, и Персия — не исключение. Были опрошены двое проживающих в Петербурге персидских купцов мелкого пошиба, и они охотно — надо полагать, одержимые завистью, — поведали о вас немало интересного: вроде бы вы связаны некими узами с суфийскими братствами, особенно интересуетесь трудами по некромантии, магии и чернокнижию былых столетий...

— Неужели это запрещено законами Российской империи? — Спокойно, с большим достоинством спросил мирза Фируз. — Насколько я знаю, вашей тайной полиции совершенно неинтересны персидские книжники и уж тем более суфийские братства,

свою деятельность на территорию вашей империи нисколько не простирающие...

— Вы, может быть, не поверите, но у нас самые разносторонние интересы, — сказал Пушкин. — Итак... Вы, помимо торговых дел, известны еще и ученостью настолько, что ваше имя неизменно употребляется в сочетании с почетным титулом «мирза»...

— Это не преступление.

— Ну разумеется, — сказал Пушкин. — Просто события обернулись так, что мне необходимы ваши консультации по делам, в коих вы разбираетесь лучше моего...

— Рад был бы вам помочь при других обстоятельствах. Но я уезжаю, быть может уже сегодня вечером...

— Вот этот-то факт и заставил меня буквально на ходу изменить направление беседы, — сказал Пушкин. — Поскольку ваше желание немедленно покинуть Петербург выглядит более чем странно. Не прошло и недели, как вы изволили прибыть. Деловые переговоры с вашими здешними российскими сокомпаньонами только начаты, ваш ювелирный товар — большая партия, сулящая немалую прибыль, не продана вообще... Какой купец станет вдруг собираться домой, не закончив выгодного дела?

— Я получил неприятные известия из дома. Дела требуют моего присутствия.

— Через кого? После вашего приезда сюда в Петербург не прибывал ни один персидский подданный... Я проверил.

Мирза Фируз был невозмутим:

— Срочный отъезд — опять-таки не преступление. Ничего противозаконного ни я, ни мои люди не совершали, неоплаченных долгов за мной нет...

Пушкин, не сводя с него глаз, спросил с небрежностью:

— Это правда, что суфийское братство, с которым вы поддерживаете самые тесные связи, занимается вот уже несколько сотен лет охотой за нечистой силой?

«Самое печальное, что мы узнаем такие вещи случайно, — подумал он. — Бродим в потемках, а потом случайный человек, сам не понимая, что выдает, рассказывает о наших персидских собратях по ремеслу, которые старше нас лет на четыреста...»

— Молодой человек, — сказал мирза Фируз. — Странно слышать такие вещи от европейца. Вы в с е р ь е з? Ваше общество в текущем столетии отличается особым безбожием, просвещенностью, как вы это именуете, полнейшим отрицанием мистики и ч е р т о в щ и н ы... Тем более странно слышать это от вас, человека, несомненно, образованного и современного...

— Вы хотите сказать, что у вас ничего такого нет?

— Вы идете своим путем, а мы своим, — уклончиво ответил мирза Фируз. — Пусть уж так будет и далее... К чему вам восточные сказки?

Он сделал резкое движение, изменившись в лице, — пожалуй, можно было сказать, что ученый перс поражен. Разумеется, он прекрасно владел собой, но что-то его буквально выбило из колеи...

Проследив направление взгляда собеседника, Пушкин опустил глаза и взглянул на собственную руку. На перстень. Странные знаки четко рисовались в падавших из окна солнечных лучах.

— Вы знаете, что это такое, верно? — жадно спросил Пушкин, наклонившись вперед.

Перс, откинувшись на спинку кресла, на миг зажмурился и пробормотал что-то на родном языке. Пушкину показалось, что в этих словах звучали удивление и даже боль...

— Сударь, — произнес мирза Фируз с нескрываемым волнением. — Есть что-то, за что вы отдали бы этот перстень?

— Не хватит и всего золота мира... — сказал Пушкин. — У меня мало времени. Я пришел к вам, чтобы кое-что узнать... а теперь еще и расспросить о том, что это за перстень. Некогда лукавить, играть в хитрые словесные подступы... Да, я не знаю, что это за кольцо, но что оно непростое, уже успел понять... А вот вы знаете гораздо больше меня, это видно по вашему лицу... Вы мне все и расскажете.

— Почему вы так решили?

— Я повторяю, у меня нет времени, — сказал Пушкин. — Давайте оставим недомолвки. Это мерзко — то, что я собираюсь сделать, это против чести, но... Нет другого выхода. Вы не можете уехать отсюда, не получив соответствующей подорожной... а ведь получить ее будет трудновато, если мы захотим обратного. Вы не похожи на обычного, классического торговца, мирза. Вы более соответствуете той категории людей, которую принято именовать

шпионами. Отсюда мы и будем плясать. Разумеется, по прошествии достаточно долгого времени может оказаться, что вы ни в чем подобном не замешаны... Но времени пройдет очень уж много, а репутация ваша будет безвозвратно погублена, что скажется на торговле вашей самым роковым образом: вы ведь не только книжник, это вторично, но и серьезный купец... Я не шучу. Я настроен решительно. Мои люди у входа в гостиницу, и им ничего не стоит кликнуть жандармов... И ничего уже нельзя будет остановить.

— Вы понимаете, насколько это мерзко — то, что вы намереваетесь сделать?

— Увы, — сказал Пушкин. — Превосходно представляю, и все внутри меня вопит от презрения к себе... Но я сейчас не дворянин, не благородный человек — я чиновник, озабоченный скорейшим отысканием истины. То, с чем я к вам пришел, невероятно важно для меня... и не только для меня. Поэтому я пойду на все, как бы подло это ни выглядело, как бы мерзко ни смотрелось... Обдумайте все, мирза, человеку с вашим острым умом много времени не понадобится. Я же не прошу у вас выдавать ваши секреты — мне нужен совет и объяснение... Так как же? Или послать за жандармами?

Он демонстративно вынул брегет и следил за секундной стрелкой. Когда она описала полный круг, поднял глаза:

— Надумали что-нибудь?

— У вас лицо человека, который не преминет осуществить свою угрозу...

— Будьте уверены. Человек, у которого нет выбора, обычно решителен и безжалостен...

— Странный вы юноша, — сказал мирза Фируз, по-прежнему не сводя глаз с перстня. — И большая удача для вас, что вы ухитрились меня заинтересовать... Только не думайте, что я испугался ваших угроз. Тут другое... Откуда у вас это кольцо?

— Приобрел по чистой случайности, — сказал Пушкин. — И успел подметить, что отчего-то его опасаются оживающие под заклинания чернокнижников статуи... быть может, у него есть и другие достоинства? Вы ведь знаете это кольцо, вы от него не можете глаз отвести... Полное впечатление, что вы, не моргнув глазом, велели бы вашим слугам меня зарезать ради него, невзирая на последствия... но вы же знаете, что его нельзя отобрать силой... Верно?

— Воистину, мир перевернулся, — сказал перс. — Что с вами происходит?

— Со мной?

— С вами, европейцами.... но, пожалуй что, и с вами. Вы ведете себя в совершеннейшем противоречии с привычками и традициями вашего атеистического, «просвещенного» века...

— Потому что насмотрелся вдосталь многого, что эти традиции и привычки опровергает напрочь, — сказал Пушкин. — Избавьте меня от более подробных разъяснений, я не вправе...

— Неужели вы хотите сказать, что и у вас существует служба... — на его лице появилось крайнее изумление.

— Я сказал только, что умному достаточно, — ответил Пушкин. — Домысливайте сами. Быть может, вы понимаете теперь мою безжалостность и готовность совершить совершенно бесчестные вещи?

— Что вам нужно?

— Меня интересуют джинны, — сказал Пушкин. — Не те вульгарные узники медных кувшинов из арабских сказок, что покорно исполняют все дурные желания, а настоящие. Разумные существа, обитавшие на Земле до человека и сохранившиеся в некотором количестве до сих пор.

— Вы серьезно?

— Я был к ним ближе, чем сейчас к вам, — сказал Пушкин. — Двух моих друзей они убили. Полагаю, это делает меня знатоком проблемы и заставляет отнестись к моим словам серьезно?

— Вы позволите мне уехать немедленно, если я отвечу на ваши вопросы?

— Клянусь чем угодно. Слово чести. Вам остается мне доверять, потому что у вас ведь нет выбора... Джинны сохранились до сих пор? И они отвечают моему описанию?

— Примите мои поздравления, — сказал перс без иронии. — Наконец-то просвещенная Европа в вашем лице соизволила открыть то, что испокон веков существовало у нее под носом и о чем мусульманский мир был осведомлен всегда... Впрочем, ваши предки тоже имели некоторое представление о предмете — пока не кинулись очертя голову в вольнодумство, просвещение, изучение электричества и

отрицание высших сил... равно как и н и з ш и х... Ну что вам рассказать?

— Суть. Кратко, но исчерпывающе. Наверняка это возможно?

— Суть... — протянул перс. — Вы правы, это не особенно сложно. До того, как Аллах создал человека, на Земле и в самом деле существовала д р у г а я раса. Мы их называем джиннами, давайте уж придерживаться этого названия, коли уж у вас нет своего... И если в нескольких словах... Были среди них такие, что поддались вразумлению Аллаха и покаялись. Но большинство с давних времен пыталось извести человеческий род — из злобы, из зависти. Это и есть та сила, что стоит за всеми ч е р н ы м и тайными обществами, созданными людьми. Их осталось мало, совсем мало, но живут они долго и благостностью характера не страдают...

— Знаю, — тихо сказал Пушкин. — Почему вы хотите уехать, мирза Фируз?

— Потому что вчера я видел одного из них среди бела дня, посреди города. Это, собственно говоря, не джинн, это д ж и н н и е — существо женского рода...

— У нее синие глаза и каштановые волосы? И ехала она в желтой коляске?

— Вы знаете больше, чем я думал... господин...

— Пушкин.

— Вы не родственник ли замечательного поэта?

Пушкин усмехнулся:

— Возможно, вас это и удивит, но я — он и есть... Это несущественно сейчас. Не до поэзии. Итак, это джинн...

— Джинние.

— Что пнем по сове, что сову об пень... — сказал Пушкин. — Разницы ведь никакой меж женским и мужским их полом? Вот видите... Вы что, тоже ее знаете?

— Ее — нет, — сказал перс. — Но я ее увидел, и она меня почуяла. А это скверно. Я в свое время пытался на них охотиться и уничтожать, случилась одна жуткая история в городе под названием Решт... Убили джиннов другие. У меня не хватило к этому... скажем, умения и способностей. И они меня запомнили. Специально за мной не охотились, но, коли уж она меня почуяла, следует ждать всего. Если у нее найдется время, постарается... Я не смогу ей противостоять, это будет похоже на то, как если бы человек с простой палкой пошел охотиться на полного сил льва... Нужно бежать. Торговлей займутся приказчики, а мне предстоит спасти жизнь... Вы меня осуждаете за трусость?

— Никоим образом, — сказал Пушкин решительно. — Потому что сам могу представить кое-что... А кольцо? Что такое с этим кольцом?

— Можно посмотреть поближе?

Пушкин, не колеблясь, снял перстень и протянуло его персидскому книжнику — а чтобы избежать неожиданностей, поспешил громко уточнить:

— Я вам его даю посмотреть на короткое время, и не более того.

Мирза Фируз несколько не обиделся — напротив, понимающе кивнул.

— Я вижу, вы освоились в некоторых вещах... Правильная оговорка, мало ли что...

Он рассматривал надпись, приблизив перстень к глазам, и пальцы у него, такое впечатление, чуточку подрагивали. Лицо исказилось столь жадной и яростной гримасой, что Пушкин невольно коснулся пистоleta под сюртуком.

— Разумеется, — сказал перс, возвращая кольцо. — Перстень с именем Ибн Маджида... одно из тех колец, о которых достоверно известно, что пропали они в Европе. О судьбе других сведений нет. Вы наверняка где-то в Европе его обрели...

— В Италии.

— Понятно... Вам приходилось слышать что-нибудь о Сулеймане Ибн Дауде?

— Конечно, — сказал Пушкин. — Я же читал «Тысячу и одну ночь». Легендарный царь, который упрятывал джиннов в кувшины и запечатывал их своим магическим перстнем.

— Вы, быть может, удивитесь, но этот «легендарный» царь существовал на самом деле в очень давние времена. Сказки Шехерезады — это всего-навсего отзвуки сведений о нем, с течением столетий искажившиеся самым причудливым образом. Быть может, он и в самом деле заточил когда-то пару-тройку джиннов в кувшины... но Сулейман Ибн Дауд их главным образом истреблял. У него было двенадцать витязей, и каждый витязь носил схожее кольцо. Кольцо это — джиннова смерть... если знать, как подойти к делу. Все это произошло очень давно, мы и сами не знаем всего... Главное, жили неутомимые охотники на джиннов, «Сулейманова дюжина». Все они были, конечно же, не бессмертны... а потому те, кто не погиб в схватках,

однажды встретились с Той, что приходит за всеми людьми... Что вам еще рассказать? Многое забывалось со временем, в том числе и у нас. Нас ведь тоже в какой-то степени затронули просвещение и вольнодумство... Традиция прервалась — или стала уделом немногих посвященных — большая часть колец исчезла, иные, как видите, способны обнаруживаться в самых неожиданных местах...

— Что ей здесь нужно?

— Откуда я знаю? Можно с уверенностью сказать одно: ничего хорошего от таких визитеров ждать не приходится. Они появляются среди людей отнюдь не для того, чтобы развлечься и приятно провести время... хотя порой и склонны к этому, конечно. Понимаете, джинны обозлены на род человеческий так, что вы и представить себе не в состоянии. Люди волей Аллаха стали хозяевами там, где джинны чувствовали себя господами неизвестное нам количество лет. Мы их вытеснили. Загнали в темные закоулки, в глухие места, часть их выродилась в примитивную нечисть. Они нашли себе надежного союзника... вы понимаете, о ком я? Вот то-то. Смысл жизни для них в одном-единственном слове: месть. Не отдельно взятому человеку, а всему людскому роду. Поэтому искать их следует там, где происходят эпидемии и бунты, покушения на властителей и непонятные на первый взгляд войны, возникшие, казалось бы, там, где не было для них никаких поводов... Они всегда рядом, всегда за кулисами. Еретические учения и человеконенавистнические общества, тайные союзы, от которых, как у вас выражаются, пахнет серой,

заговорщики и революционеры... Не за в с я к и м мятежом, царевубийством и войной стоят джинны — но они стараются не упускать удобного случая... Господин Пушкин...

— Да?

— Я не о себе, конечно... Вы не согласились бы отдать перстень Ибн Маджида другим? Тем, кто сумеет распорядиться им сноровистее? Я лишь примерно представляю, что там у вас за учреждение, по вашим скудным оговоркам... но все равно ясно, что вы — кучка восторженных любителей, не представляющая, с какой г р о м а д о й вам предстоит схватиться...

Пушкин усмехнулся:

— Положительно, сговорились вы все...

— Кто?

— Это неважно. Простите, но кольца я не отдам. Я настолько глубоко во всем этом увяз, что теперь это м о я война...

— Вы замечательный поэт. Зачем вам это?

— Да оказалось вот, что есть вещи насущнее самой высокой поэзии, только и всего... И я прошу вас, любезный Фируз, не пугайте вы меня неприятностями и смертью. Кое-что испытал.

— Я всего лишь хочу предостеречь, как человек, более умудренный опытом...

— Вздор, — решительно сказал Пушкин. — Вздор. Опыт приходит рано или поздно, это дело наживное... Расскажите мне о кольце. О том, как им пользоваться. Это последнее, о чем я вас прошу, и мысли не допускаю, что вы не знаете этого. Вы обязаны знать... и я тоже. Война продолжается...

Глава третья

УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

Уже смеркалось, и господин Готлиб, прилежный чиновник Министерства финансов, прошел мимо Пушкина и его спутников, не удостоив их и взглядом — вполне возможно, он не знал Пушкина в лицо, хотя немало было домов, где они могли бы-
вать в одно и то же время. Трудно было в единый миг составить мнение о человеке, с которым прежде не сталкивался, и Пушкин суммировал первые впечатления: шагает прямо, словно аршин проглотил, физиономия скучная, как служебная инструкция для полицейских будочников, повадки уверенные и несуетливые. Одним словом, если не знать ничего о связанных с ним странностях, рисуется образ скучного, ничем не примечательного, исправного чиновника, ничем себя не скомпрометировавшего, обремененного лишь мелкими грешками и незначительными пороками. Таких в Петербурге превеликое множество... вот только далеко не всякий ведет себя с т р а н н о...

— Пойдемте, господа? — нетерпеливо спросил Красовский.

Тимоша помалкивал. Эту сторону деятельности тайной полиции — слежка ночной порой — он не-

долюбливал и, хотя деться было некуда, старался не вылезать с инициативами.

— Подождем немного, — сказал Пушкин. — Пусть отдалится на приличное расстояние, будет легче...

Именно ему и пришла в голову простая мысль, до которой не додумался никто другой: следовало попросту послать поручика Навроцкого к немцу, чтобы отдал бумаги в обмен на прощение долга... ну, а далее оставалось лишь посмотреть, что Готлиб станет с бумагами делать. И поступать в зависимости от результата...

Точно было известно, что немец изволит обитать на Моховой — но, получив от Навроцкого сверток, он направился не туда, а без всяких колебаний повернул к Неве, к Адмиралтейской части, что само по себе было достаточно интересно: зачем скучному чиновнику, обремененному немаленьким свертком, отправляться не домой, на ночь-то глядя, не извозчика взявши, к своей охтинской симпатии поехать и даже не в один из тех домов, где обычно играет в карты или ужинает, стремиться? Нет, он, изволите ли видеть, пешком собрался в сторону Адмиралтейства, где делать ему вроде бы совершенно нечего...

— Пора, — сказал Пушкин.

Они двинулись следом на приличном расстоянии, держась с ленивой непринужденностью праздных гуляк, благо немец вел себя, словно и мысли не допускал о пустившихся по пятам соглядатаях: ни разу не обернулся, не ускорил шага и не замедлил, ступая размеренно, будто практиковал систему доктора Лодера...

Наплавной мост на Васильевский остров, тускло-желтые фонари, покачиваясь под стылым ветерком, бросают блики на темную воду. Послышался скрип досок — немец миновал мост той же размеренной походкой. Они, выждав должное время, пошли следом. Впереди светили огни Васильевского. Немец шагал целеустремленно, как человек, имеющий точную цель.

— В эту пору тут мазурики пошаливают, — сказал Красовский вполголоса. — Не дай бог, облегчат немчуру не только от денег, но и от бумаг... Что тогда?

— Вмешаемся, — решительно сказал Пушкин. — Выступим в роли благородных случайных спасителей и удалимся... Что еще остается?

Как известно любому старому петербуржцу, Васильевский остров со старых времен представляет собою примечательное место, где обширные огороды и деревянные домишки перемешаны с солидными кирпичными зданиями в самом причудливом сочетании. Только миновал внушительный особняк, уютно светящийся многочисленными окнами, — как оказался у длиннющего хлипкого забора, за которым тянутся грядки и побреживает мелкая, судя по лаю, собачонка. А там потянулся целый квартал не достроенных по какой-то причине домов: шеренга пустых каменных коробок, зияющих темными проемами окон, кое-где подведенных под крышу, а кое-где таковой лишенных. В таких вот местах и таился отчаянный народ, озабоченный содержимым карманов ближнего своего, порой оттуда явственно доносился тихий свист и перешептывание — так что Пушкин с Кра-

совским держали поближе пистолеты, а Тимоша, избегавший любого рода баталий, ускорял шаг, чтобы не отстать от спутников.

Немец маячил впереди, вышагивая с той же дурацкой размеренностью. Ничто в его поведении не позволяло думать, что он опасается разбойников — то ли храбр был, то ли не принимал в расчет опасностей...

Поначалу решили, что Готлиб свернет к Гавани — но он направился в противоположную сторону, по широкому пустырю — и им пришлось приотстать, чтобы ненароком не попасться на глаза. Еще один недостроенный дом в два этажа, с возведенными уже стропилами, сквозь которые светили звезды. Прибавив шагу, тройца укрылась в его тени...

И вовремя. Немец вдруг впервые за все время остановился и принялся озираться с самым недвусмысленным видом: все говорило за то, что он озаботился возможной слежкой. Не обнаружив, должно быть, ничего тревожащего, он ускорил шаг и подошел к добротному дощатому забору, окружавшему уединенный деревянный домик: виднелась только его крыша с печной трубой. Дом, судя по первым наблюдениям, роскошью не блистал, но был добретен и содержался в порядке, а это свидетельствовало о том, что проживали в нем постоянно: иначе хозяйственный окрестный народ, не обремененный особым почтением к чужой собственности, давно бы, как водится, принялся растаскивать забор на дрова.

— Господа, — сказал Красовский тихо. — А не перебраться ли нам во-он туда, в аллею? Оттуда наблю-

дать будет, ей-же-ей, сподручнее... И нас там никто из дома не углядит.

— Пожалуй, — сказал Пушкин, разглядывая помянутую аллею, порядком запущенную, заросшую диким кустарником. — Нет, подождите...

— Что такое?

— Сдается мне, что кто-то уже пришел к этой мысли раньше нас. Присмотритесь к тому вон дереву, напротив которого вырыта яма...

— Тьфу ты, и правда... — сказал Красовский. — Ишь, притаился...

За деревом прятался человек, судя по его дислокации и позе, терпеливо и пристально наблюдавший за тем самым домом, куда юркнул немец.

— Интересная конкуренция, — сказал Красовский. — Других что-то не видно, он там один... Что будем делать?

— А что прикажете делать с человеком, который пока что никаких противозаконных действий не допускает? — усмехнулся Пушкин. — Вполне возможно, он из воровской шайки, но где к тому доказательства? Не спускайте с него глаз на всякий случай, вот и все...

— Александр Сергеич, немчур! — воскликнул Тимоша.

Действительно, из калитки — которую кто-то невидимый снаружи тщательно за ним затворил — показался немец. Он не сказал ни слова на прощанье, сразу же повернулся к домику спиной и решительно зашагал прочь, в том направлении, откуда явился. На сей раз его шаги были гораздо быстрее, словно он

испытывал нешуточное облегчение — такое впечатление сложилось у наблюдавших.

Времени, чтобы принять какое-то решение, оставалось всего ничего, и Красовский забеспокоился первым:

— Что делать будем?

Пушкин не колебался. Решение пришло внезапно, но не выглядело неосмотрительным...

— Что будем делать... — повторил он. — А сцапаем-ка голубчика за шиворот и расспросим о странностях, в кои замешан. Самое время, когда застигнут ин флагранти...

— Дело, — сказал Красовский. — Благо и время, и место подходящие. Орать может сколько ему угодно, подумают, дело житейское, грабят больного...

— Орать он не должен.

— Понято, Александр Сергеич...

Они, остороженько переступая, укрылись за углом недостроенного дома, мимо которого немец, если решил возвращаться той же дорогой, никак не мог не пройти. Так оно и оказалось: совсем рядом с ними, надежно укрывшимися в тени, выдвинулась из-за угла длинная тень быстрыми шагами спешившего человека...

Они бросились. Красовский, сорвав с себя картуз, надежно зажал им немцу рот, и вдвоем с Пушкиным они поволокли пленника в проем будущей двери. Тимоша суетился возле, делая вид, что принимает самое деятельное участие. Поскольку толку от него было мало, Пушкин распорядился:

— Побудь на карауле снаружи. Поглядывай...

Тимоша кивнул, но наружу не пошел, поместился в проеме, то и дело выглядывая, — ну, что с ним поделать, в баталиях, подобных нынешней, бесполезен...

Немец дрожал крупной дрожью, оттесненный в угол, откуда ему никак было не вырваться мимо двух стороживших его людей, встряхнув картуз перед тем, как вернуть его на голову, Красовский сказал недовольно:

— Ишь, чуть насквозь не прогрыз в ажитации. Ежели каждый так будет, картузов не напасешься...

— Господа, бога ради, не убивайте! — тихонечко взмолился господин Готлиб, прижимаясь к кирпичной неоштукатуренной стене. — При мне есть деньги, часы недурны... Помилосердствуйте!

Охвативший его страх был понятен: в подобных местах ограбленных дочиста частенько находили с рассветом убитыми...

— Убивать мы вас не будем, — сказал Пушкин. — А вот что касается Сибири — боюсь, придется вам пропутешествовать в эти гостеприимные края на казенный счет... Нынче же.

Он видел — глаза привыкли к полумраку, — что немца буквально-таки передернуло судорогой от безмерного удивления:

— Что вы сказали? Да вы кто?

Не было надобности вести с ним хитрые словесные поединки. И Пушкин сказал, не в силах скрыть злорадство:

— Вы, господин Штауэр, в солидных годах, на солидной должности, не из-за рубежей к нам при-

были, а рождены в Российской империи, подданным коей являетесь. А потому не говорите, будто вам не известно смиренное казенное заведение под названием Третье отделение... Есть у нас, уж не посетуйте, дурная привычка законопачивать навечно в Сибирь людишек вроде вас. — Он сделал хорошо рассчитанную паузу, сделавшую бы честь трагическому актеру. — А впрочем, учитывая суть вашего злодеяния, ждет вас не Сибирь, где все же порой солнечно, ландшафты красивы и жизнь сытна... ждет вас, душа моя, Петропавловская крепость и положение безымянного узника наподобие французской Железной Маски...

— Но помилуйте... За что?

— Вы, сударь, по Министерству финансов изволили служить? — Он особо подчеркнул голосом прошедшее время. — Следовательно, обучены считать... Нас здесь трое, значит, глаз у нас шесть. Шесть глаз видели пакет с бумагами, принесенный вами в тот домик... Излишне говорить, что мне известно содержимое оного. Планы Сарского Села, сиречь места жительства российских самодержцев, что предполагает злоумышление на священную особу либо соучастие в таковом...

Красовский вмешался, сказав с непринужденной лютостью:

— Да нет, пожалуй что, злоумышление на высочайшую особу — это даже не Петропавловка, а, свободно может оказаться, расстреляние с барабанным боем... Уяснил, мозгляк? Да как у тебя рука повернулась такие бумаги хапать... Не знал параграфов?

— Господа! Господа! Какие параграфы? В уложениях Российской империи ни строчки...

— Глуп — слов нет... — пренебрежительно, в полный голос сказал Крестовский Пушкину так, словно немца тут не существовало вовсе. — Кто ж такие вещи выносит в официальное уложение? Параграфы о злоумышлении на императорскую особу по секретной части проходят, чтоб карбонарии вроде тебя вернее попадались... В Российской империи обитаешь аль где? Порядков не знаешь? Ты в своем министерстве и слышать не мог о секретных параграфах, охраняющих императорскую фамилию... — Он махнул рукой и продолжал с нескрываемой скукой: — Что с ним лясы точить, господин полковник? Дозвольте, вызову свистком карету — и повезем голубчика в Петропавловку. Не торчать же с ним ночью черт-те где...

— Подождите, — сказал Пушкин, моментально уловивший смысл игры. — Чует мое сердце, что это на заговорщик, а переносчик бумаг, курьер... Может ведь и так оказаться?

— Именно! — горячо воскликнул немец. — Ваше высокоблагородие... Моя роль тут десятая, я и подозревать не мог...

Придвинувшись к нему вплотную, Пушкин сказал ледяным тоном:

— Прикажете верить вашим словам без всяких доказательств? Любезный, мы тут не два года по третьему... Люди в годах и умудрены служебным опытом. Либо вы нам выложите все как на духу и тем избежите помещения на казенные харчи до скончания

вашей бессмысленной жизни, либо участи вашей сибирские каторжники позавидуют... Выбор за вами, не смею принуждать.

— И за откровенность последует прощение?

— Слово дворянина, — сказал Пушкин.

— Бога ради, я готов... — И тут же немец словно бы осекся, убитым тоном протянул: — Но, господа, вы все равно не поверите, хотя я готов поклясться всем святым, что именно так и происходило...

Пушкин наострил уши при этих словах. И сказал обнадеживающе:

— Ваше дело — рассказать всю правду, а уж мы сумеем ее отличить от лжи, ручаюсь... Ну?

— Вы не поверите... — сказал Штауэр безнадежно. — Я бы на вашем месте тоже не поверил... Это не человек, а черт, не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле, руку даю на отсечение...

— Тот, кто потребовал у вас раздобыть бумаги? — наугад спросил Пушкин.

— Он самый...

— Я выразился достаточно ясно, — сказал Пушкин. — Ваше дело — выложить всю правду, а уж мое — оценить сказанное... Не затягивайте, а то этот господин и в самом деле свистнет кучеру, и ничего уже нельзя будет исправить. Дверь перед вами, и вы в нее можете выйти свободным...

— А можно и в Петропавловку, — любезно, как сговорчивый извозчик, предложил Крестовский, зажав трубочку в кулаке чубуком наружу, так что в полумраке вполне могла сойти и за свисток. — Не тяните кота за хвост, сударь, терпение наше на исходе...

— Извольте... — дрожащим голосом начал Штауэр. — Поверите вы или нет, все так и было... Случай меня свел с неким англичанином, господином Гордоном, недавно прибывшим в Петербург... Молод, знатен, любитель прекрасного пола и карт, а я, сознаться, тоже не чужд, при соблюдении приличий... Несмотря на разницу в возрасте и несходство темпераментов, составилаcя дружба...

Торопливо, едва не захлебываясь в словах и поначалу частенько пытаясь клясться всеми святыми (что Пушкин пресек быстро и решительно, потребовав не отвлекаться на побочное), он принялся рассказывать, как недели с две в самом сердечном согласии ездил с молодым англичанином, набитым золотом, по тем домам, где шла серьезная игра, — а также и по тем, о которых, в отличие от игорных, в приличном обществе вслух не говорят, поскольку обитающие там сговорчивые и умелые девицы с точки зрения светских приличий как бы и не существуют вовсе. По ряду намеков выходило, что платил повсюду англичанин, что прижимистый господин Штауэр принимал с величайшей охотой.

Потом началась черная полоса. Как-то так получилось, что немец фатальным образом проигрался совершенно неожиданно для себя — в знакомом доме, с надежными партнерами, которых ни одна живая душа не могла бы заподозрить в нечестности. Роковое невезение — и все тут. Проигрыш превосходил пределы фантазии — именно такое дипломатическое выражение Штауэр употребил.

Английский милорд деньгами его выручил охотно — поначалу без всяких условий, но вскоре условия все же поставил: обыграть в карты превосходно знакомого немцу поручика Навроцкого на сумму, которую тот заведомо собрать не в состоянии, и потребовать в обмен на прощение долга известные бумаги. На робкое замечание немца, что результат зависит от случая, милорд лишь усмехнулся — и назвал сообщнику три карты, способные принести выигрыш, и только выигрыш.

Тогда Штауэр ничего не заподозрил — слухи о подобных верных картах кружили среди игроков испокон веку. К немалому его удивлению, названные карты и в самом деле оказались беспроегрышными, поручик смаху просадил пять тысяч, которые вернуть никак не мог, по крайней мере в ближайшие годы...

Самое время действовать согласно уговору — но тут господин Штауэр затоптался. Подозрительная натура тевтона и старого финансиста форменным образом вопияла. Очень уж все это было странно. И чересчур просто. Более сложная — быть может, даже чуточку дурно пахнущая комбинация его не удивила бы, окажись она какой-то более житейской, что ли. То, что предлагал милорд, выглядело чересчур уж легко и просто — а жизненный опыт приучил господина Штауэра к нехитрой истине: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. К тому же (тут господа из Третьего отделения совершенно правы, как в воду смотрели!) немца смущала принадлежность карт, которые ему следовало истребовать

вместо долга: резиденция императорского семейства, что само по себе наполняет душу трепетом... Вдруг за этим кроется... такое что-нибудь этакое? Что обойдется себе дороже?

Одним словом, состоялось решительное объяснение. Господин Штауэр категорически отказался участвовать в непонятной ему н е г о ц и и. В конце концов, английский милорд был человеком здесь совершенно чужим, заезжим, и на него, если рассудить вдумчиво, не распространялись строгие правила чести касаясь карточных долгов. К тому же беспроигрышные три карты — о чем немец заявил англичанину в глаза — позволяют предположить, что проигрыш господина Штауэра был, как бы это помягче выразиться, следствием процессов, бесконечно далеких от игры случая...

Говоря все это, Штауэр недвусмысленно намекнул, что, учитывая те самые подозрения, получить с него долг по суду, то есть официальным образом, милорду будет крайне затруднительно. Он даже соглашался отдать некоторую сумму, которую был в состоянии выплатить без напряжения, — но их знакомство на этом должно было кончиться.

К некоторому его удивлению, милорд Гордон принял такие новости с поистине британской флегматичностью. Пожал плечами, улыбнулся и откланялся, напоследок любезным тоном попросив обращаться к нему в случае о с о б е н н о й нужды.

В ту же ночь немца схватило. Из-под кровати тянулись черные мохнатые руки, шарили, сдергивали одеяло, гардероб распахивался сам собой, и отту-

да лезли бараньи головы с горящими глазами. Прибежавшая на вопли прислуга не обнаружила ничего постороннего в барской спальне — а после ее ухода вновь начались ужасы. Еще более разнообразные и пугающие. Так что глаз сомкнуть не удалось до утра. На другую ночь все повторилось, дополнившись сюрпризами в виде шлявшихся по спальне покойников, тошнотворно вонявших мертвечиной и норовивших стрести в объятия, мохнатых существ непонятной породы, старательно вносивших свою лепту, а также черных собак и чего-то вовсе уж страшного, о чем немец и рассказывать не стал.

На третью ночь он сбежал в домик своей симпатии на Охте — но достало и там, после чего из дома он был изгнан задолго до рассвета — симпатия совершенно правильно расценила ночные ужасы как следствие визита к ней сердечного друга Готлиба, притащившего за собой эту нечисть.

Пробродив до рассвета по улицам, преследуемый очередными гостеньками из преисподней, Штауэр, сломленный, отправился к милорду. Тот встретил его как ни в чем не бывало, а выслушав рассказ о неприятностях, посоветовал, не мешкая, принести на него, милорда, жалобу в полицию и в суд.

Немец, конечно, хорошо понимал, что обращение его в помянутые учреждения кончится, к гадалке не ходи, заключением в смиренный дом. Положение обозначилось безвыходное, и он, скрепя сердце, согласился выполнить то, что от него прежде требовали, взяв с милорда клятвенное обещание, что тот после забудет о его существовании. Милорд обещал...

— Богом клянусь, чем угодно! — шепотом воззвал немец. — Все так и обстояло! Это — расплата за вольнодумство, господа, никогда не верил в чертей, они и нагрянули...

Пушкин молчал. Он не сомневался, что немец выложил чистую правду, что все рассказанное с ним произошло на самом деле — но ясности это в запутанную историю не прибавляло...

— Ну вот что, господин Штауэр, — сказал он сурово. — По ряду соображений истории вашей я верю. Можете убираться отсюда, но извольте хранить о происшедшем молчание до самой смерти. Потому что черт вас дернул впутаться в такие государственные секреты, о которых вы и представления не имеете...

Ловя его руку с явным намерением облобызать, немец затараторил что-то в том смысле, что он всю жизнь будете считать себя в неоплатном долгу перед «господином полковником», а уста его будут запечатаны печатью молчания на всю оставшуюся жизнь. Так и заявил, орысина, в этих именно выражениях — которые окончательно вывели Пушкина из себя.

— Прочь отсюда! — цыкнул он. — И чтоб я вас больше...

Господин Штауэр, не заставив себя упрашивать, кинулся из недостроенного дома, все еще бормоча слова благодарности, выскочил на улицу и припустил так, словно намеревался до наступления рассвета достичь Москвы. Заполошный топот моментально стих вдали.

Красовский перекрестился:

— Опять началось. Мало нам было весьегонской ведьмы, так еще английский чертов пастух объявился... Что решите, Александр Сергеич? Серебряные пульки у меня вообще-то припасены...

— А ну как не возьмет эту разновидность серебряная пуля? — спросил Тимоша дрожащим голосом. — Мало ли из каких он будет... По-хорошему, уйти бы подобру-поздорову, а утром призвать отца Никодима с соответствующим снаряжением...

Глава четвертая ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

— Отец Никодим — человек, конечно, правильный, — согласился Красовский. — Один из немногих подлинных пастырей, кто меня примиряет с церковью, представленной, увы, теми попами, что более схожи с персонажами мужицких ядовитых сказок... Освятит на совесть, как из пушки жажнет... Только ведь, я так понимаю, нам нужно не прогнать этого... милорда, а докопаться до сути?

— Вот именно, прапорщик, — сказал Пушкин. — Судя по поведению, милорд наш менее всего напоминает классическую нечистую силу, коей по неведомому регламенту положено проваливаться сквозь землю с первым петушиным криком и расточаться в пар при виде креста... Навидался я, судари мои, в Европах созданий, на которых не окажет действия, пожалуй, и пожарная бочка, святой водой наполненная под пробку...

— А посему — на штурм? — понятиво предложил Красовский и принялся сноровисто выбивать из пистолетного ствола пулю с явным намерением заменить ее на серебряную.

— Удивляюсь я вашей безрассудности, господа... — заговорил Тимоша жалобным голосом.

— Дрожишь, — сказал Красовский, орудуя коротким шомполом и даже насвистывая.

— Дрожу! — согласился Тимоша. — Вызнавать, вынюхивать, уволенным за пьянство лакеем прикидываться, носиться по Петербургу ополоумевшим зайчиком, сведения собирая, — с полным нашим удовольствием, мы ж службу понимаем... А вот штурмовать этих самых, не к ночи быть помянуты — простите-с, боязно. Душа в пятках.

— Ладно, трусандецкая твоя душонка, — сказал отставной прапорщик, размеренными ударами шомпола заколотив в ствол сверкавшую в полумраке серебряную пулю и приготовившись проделать то же самое со вторым пистолетом. — Примостись где-нибудь в уголочке и наблюдай издали, как мы бьемся с нечистью, аки святые Георгии... Господи, прости ты меня за дурацкий мой язык, с кем дерзнул свою ничтожную персону сравнивать... Пойдемте, Александр Сергеич? — Он выглянул из-за угла и подался назад. — А этот-то до сих пор там... За деревом который... Бдит, поганец...

Пушкин выглянул. В самом деле, таившийся за деревом незнакомец пребывал на прежнем месте, с величайшим терпением наблюдая за домиком, — кажется, там светилась парочка окон, судя по слабому свету, видимому в узкие щели меж досками забора.

— Александр Сергеич, — сказал Красовский решительно. — Военный опыт учит, что негоже оставлять в тылу как врага... так и неизвестную опасность. Возьмем сначала этого молодчика под белы ручки и попытаем, кто таков?

Пушкин ответил задумчиво:

— Коли уж он, укрываясь, следит за милордом, нам он не враг...

— Как знать, сударь мой, как знать... Враг твоего врага еще не становится всенепременно твоим другом... А впрочем, вот вам простой способ проверить — взять и порасспросить...

— Резонно, — сказал Пушкин. — Вы заходите со стороны Гавани, я пойду аллеей...

— Слушаюсь, — по привычке ответил Красовский, пригибаясь, перебежал на цыпочках широкий пустырь, скудно освещенный половинкой луны, исчез в темноте. Пушкин двинулся в намеченном направлении, так же бесшумно перебегая от дерева к дереву, зорко следя за окружающим, чтобы не наткнуться на возможных сотоварищей неизвестного. Он чувствовал себя легким, как во сне, удивительная раскованность и воодушевление переполняли душу — бывают такие ощущения у человека, идущего по спящему городу к одному ему ведомой цели...

Вскоре он оказался за деревом, соседним с тем, что служило укрытием неизвестному. Тот в расслабленной позе прижался к стволу, держа дулом вверх короткий жилетный пистолет. Держал оружие уверенно, сноровисто. «А молодчик не из тюфяков, — подумал Пушкин мимоходом. — Пальцем спуск с обратной стороны подпирает, чтобы не пальнуть ненароком, ведь курок взведен на два щелчка...»

Сбоку возник Красовский, оба они кинулись на застигнутого врасплох неизвестного и свалили его наземь, выкрутив пистолет из руки. Ошеломленный

внезапный нападением пленник не сопротивлялся, да и не особенно силен был, по первым впечатлениям, щупл, молод...

— Тьфу ты! — вырвалось у Пушкина.

Перед ним был не кто иной, как прибывший из Америки молодой человек по имени Эдгар Аллан По — варварские все же имена у этих заокеанских жителей, непривычно звучащие для привыкшего к мелодичности русского уха...

Глаза давно уже привыкли к полумраку, и он видел, что не ошибся. Должно быть, так же обстояло и с молодым американцем, потому что он, по-прежнему не пытаясь вырваться, воскликнул:

— Это вы?!

— Как видите, любезный господин Эдгар, — сказал Пушкин. — Прелюбопытная встреча, не правда ли? — Он поднял с земли пистолет, держа его указательным пальцем за скобу, и вспомнил ехидного пражского судью. — Насколько подсказывает житейский опыт, этот предмет именуется пистолетом и к поэзии отношения не имеет... Странно вы себя держите для любителя изящной словесности: таитесь в темноте с пистолетом наготове, как разбойник...

— Выбирайте выражения! Собственно, по какому праву...

И вновь ясно было, что долгие словесные игры не приведут к успеху: обстановка не благоприятствовала...

Пушкин сказал:

— Так уж сложилось, что мы с моим спутником принадлежим к... — чтобы не обременять себя поис-

ками соответствующих слов, он взял из французского первое, что пришло на ум, — к тайной полиции Российской империи. У нас, знаете ли, и дворянам на этом поприще порой трудиться не зазорно... Легко догадаться, что субъекты вроде вас, крадущиеся ночью порой с оружием по мирно спящему городу, не могут нас не заинтересовать. Мы здесь уже довольно давно и видели, как долго вы наблюдали за домом мирного обывателя...

— Мирный обыватель, ха! — саркастически ухмыльнулся пленник, которого Красовский все еще предусмотрительно прижимал к земле могучими ручищами.

Что-то в этих словах и той интонации, с какой они были произнесены, заставило Пушкина приглядеться повнимательнее к молодому иностранцу из крохотной, унылой, ничем не примечательной страны, не игравшей никакой роли в мировых делах и большой политике.

— Отпустите-ка его, прапорщик, — распорядился он. — Этот молодой человек мне известен... я хочу сказать, мне известно, где его искать в случае, если он решит скрыться. Нет-нет, пистолет ваш, сударь, я пока что придержу у себя. При первой нашей встрече вы на меня произвели хорошее впечатление, показались приличным и воспитанным юношей. Тем удивительнее вас встретить при подобных обстоятельствах...

Небрежно отряхнувшись, юный Эдгар гордо вздернул голову:

— Я не грабитель!

— Господь с вами, никто вас и не спешит подозревать... — сказал Пушкин успокоительно. — Но такое поведение, согласитесь, вызывает недоумение и вопросы...

— Вы не поймете... Точнее, не поверите.

Пушкин сказал мягко:

— А вы попробуйте объяснить так убедительно, чтобы мы вам поверили...

— Бесполезно, господа. То, что я могу рассказать, совершенно не сочетается с материалистическим взглядом на мир, который сейчас в такой моде... Вы же не поверите, если я скажу, что там, — он указал на погруженный в безмолвие уединенный домик, — расположилось некое создание, имеющее отношение скорее к нечистой силе, нежели к роду человеческому?

— Очень мило, — сказал Пушкин. — А вы, следовательно, нечто вроде рыцаря-любителя, охотящегося за нечистью?

— Охотник — да. Но не любитель. Можете считать меня лжецом или сумасшедшим, господа, но у меня в стране существует нечто вроде тайной полиции, занятой охотой за теми, о ком я только что говорил... Клянусь честью! Что вы смеетесь?

Пушкин едва ли не пополам перегнулся от смеха, который приходилось сдерживать, учитывая близость домика. То же самое происходило и с Красовским, зажимавшим себе рот, чтобы не фыркать.

— Господи ты боже мой, — сказал Пушкин, выпрямившись. — Мы не над вами смеемся, любезный

Эдгар, а над теми ситуациями, которые подбрасывает нам жизнь... Да в том-то и дело, милейший, что мы представляем здесь как раз тот департамент тайной полиции, что занят, вульгарно упрощая, нечислительной силой... Честью клянусь.

— Мы о вас ничего не знали...

— Как и мы о вас, юноша, — сказал Пушкин. — Я подозреваю, в Европе — а может, и не только там? — существует не одна подобная служба, и мы все бродим, как слепые, не узнавая друг друга и не подозревая, что не одиноки...

Хорошо, что здесь нет падре Луиса, подумал он. Был бы лишний повод у надменного иезуита посмеяться над нашей неопытностью, разобщенностью, школярскими манерами...

— А знаете, Александр Сергеевич, — сказал Красовский. — Юноша нам, думается, не врет. Я тут поковырялся с его пистолетиком... Серебряной пулей заряжен, представьте себе.

— В таком случае, думаю, лучше всего будет вернуть молодому человеку оружие, — серьезно сказал Пушкин. — Послушайте, Эдгар... Вы уверены, что на тех, кто сейчас в доме, ваши пули воздействуют должным образом?

— Не уверен. Но попытаться стоит.

— Хвалю, — сказал Красовский. — Лихо сказано... В армии не изволили ль служить?

— Угадали. Именно там мне и было сделано предложение... Понимаете ли, я долго прожил на юге. Я понимаю, вы о нас плохо осведомлены, для Европы Америка — жуткое захолустье... Но на юге

у нас частенько случаются вещи, которые в материалистическую картину мира не укладываются совершенно. Мне доводилось сталкиваться... Потому меня и привлекли, изучив всесторонне, к службе в... собственно, у нас нет названия, господ. Наша служба спрятана в одном из третьестепенных департаментов военного министерства, у нас мало людей, мало денег, но мы стараемся... Собственно, господ, сейчас не существует никакого Эдгара По. В армии я числюсь под именем Эдгара А. Перри и в настоящий момент для всех, кто меня знает, служу в артиллерийской батарее, в форте Моултри неподалеку от Чарлстона — места отдаленные и пустынные, забытые богом и военным начальством... Главный сержант Эдгар А. Перри, честь имею. А на деле... — Он повертел в руках пистолет и сказал с обезоруживающей простотой. — А на деле — вот это...

— И за кем же изволите охотиться? — спросил Красовский с интересом.

— На того, кто, мне точно известно, обитает в этом домишке.

— Уж не английский ли милорд по имени Гордон? — спросил Пушкин. — Не делайте удивленного лица, нам об этой персоне кое-что известно — достаточно, чтобы заинтересоваться...

— Неужели? Тогда вам, может быть, известно, кто он такой?

— Субъект, определенно принадлежащий к нечистой силе, если считать это чересчур общее понятие условным обозначением наших клиентов...

— Нет, — сказал юноша. — Я имею в виду его личность.

— Представления не имею, — честно признался Пушкин.

— Он даже имя не сменил... Вернее, урезал. Гордон... Если точно, Джордж Гордон Байрон. Байрон ведь — не фамилия, это титул — Джордж Гордон, шестой лорд Байрон... Нахальство поразительное. Так вот, это Байрон...

«Вы с ума сошли!» — едва не вырвалось у Пушкина, но он сдержался — сам пережил наяву многое, по поводу чего ему могли сказать то же самое пресловутые «здравомыслящие люди». Записные материалы. Князь Вяземский, к примеру, даром что начальствует над Особой экспедицией и по долгу службы обязан проявлять раскованность фантазии и допускать все на свете, так и не смог до конца поверить в джиннов. То есть, он верит в злокозненную нечистую силу, в то, что Катарина существует, — но честно признался, что ему трудно поверить в неких разумных существ, обитавших на Земле задолго до появления человека, а уж тем более в то, что они до сих пор плетут козни против человечества, пылая жаждой мести...

Пушкин сказал тихо:

— Лорд Байрон умер три года назад и похоронен в Греции. Это был великий поэт, я его безмерно почитал и считал учителем...

— Представьте, я тоже, — сказал молодой американец. И вытянул руки ладонями вверх. — Тем больнее было узнать... Вот этими руками я месяц назад

держал фонарь и лом, когда мы глубокой ночью проникли в фамильный склеп. В церкви Хакнелл Торкард неподалеку от Ньюстеда. Его гроб был помещен на гробницу пятого лорда Байрона... Он был пуст. Ну, не совсем... Там лежала бумага, на которой кто-то довольно мастерски изобразил физиономию, расплывшуюся в довольно гнусенькой ухмылке. Несомненно, это он сам так изволил пошутить. У него было чувство юмора, хотя и весьма своеобразное...

— Вы говорите жуткие вещи, — сказал Пушкин глухо. — В это трудно верить...

— Мне тоже в свое время казалось невозможным поверить... Положа руку на сердце, господин Пушкин, в своей о б ы ч н о й жизни лорд Байрон был человеком весьма и весьма неприглядным. Потрясающий развратник, первый опыт получивший в девять лет со служанкой-шотландкой....

— Вроде там были еще какие-то темные истории с мальчиками... — вмешался Красовский.

— Именно, — сказал По. — Человек, умышленно ставивший себя вне общества и вне морали...

— Он был великий поэт, — повторил Пушкин.

— Кто спорит? Но человек со столь сомнительными моральными устоями, откровенно бравирующий интересом к темным силам, гораздо больше, чем кто-то добродетельный, подвержен риску однажды столкнуться нос к носу с теми, кто придет с т о й стороны и сделает предложение... По-моему, мы даже определили точно, когда э т о случилось. Восемнадцатый год, Швейцария, вилла Диодати... Он там жил с очередной любовницей и друзьями.

— Да, я знаю. Они там писали повести о всевозможной чертовщине: вампирах, привидениях...

— И, судя по всему, то ли сами начали баловать с призывами, то ли те явились сами, считая, что он созрел. Точно утверждать невозможно, но есть веские основания подозревать, что на вилле произошло нечто из ряда вон выходящее. Наш человек собрал немало косвенных свидетельств...

— У меня в голове не укладывается... — сказал Пушкин.

— А отчего же? — пожал плечами Красовский. — Когда человек сам по такой дорожке спешит, случиться может всякое. Вы ж не будете отрицать, Александр Сергеич, что кумир ваш столько мерзостей натворил, что едва ли не с табличкою на груди ходил: «Продам душу»? Стихотворец-то он, может, и впрямь великий, но нужно ж и о душе подумать... Вы ж вот, простите на неудобном слове, после всех юношеских проказ остепенились, да и я, многогрешный, перебившись, стал жизнь свою соразмерять с Библией, насколько удавалось.

— Я сам с ним сталкивался, — сказал По. — Уже после... Понимаете ли, мне совсем юным довелось быть замешанным в одну жуткую историю... Рассказывать о ней подробно нет нужды, да и место самое неподходящее — но так уж случилось, что воочию убедился в реальном существовании нечисти... А там и попал на службу в тот самый не существующий якобы департамент. Как человек, обладающий некоторым опытом. Достаточным, чтобы считаться едва ли не старым служакой: контора наша, признаться,

невелика, деньги выделяются скудные, заведена она недавно, какой там опыт... Делаем первые, едва ли не младенческие шаги. Так вот, в Вирджинии приключилась скверная история. Некий джентльмен, достойный всяческого уважения, выставил свою кандидатуру на губернаторских выборах. Шансы у него были серьезнейшие, и стать бы ему губернатором, не умри он в одночасье при странных обстоятельствах. Нашли его в собственной постели, с раной словно бы от стилета, уже бездыханного. Только вот его камердинер всеми святыми клялся, что стоявшая в спальне хозяина статуя, ландскехт с мечом наголо — пять футов доброй бронзы — на его глазах ожила, сошла с подставки и ткнула джентльмена мечом прямо в сердце... Верили ему плохо: Точнее говоря, не верили совсем — какая может быть вера негритянскому рабу? Его первого и заподозрили. На счастье, наши люди оказались поблизости, и мы к тому времени уже располагали сведениями, что два схожих убийства, недавно происшедших, совершены на тот же манер. Стали искать следы и ниточки... Схватили одного субъекта, а уж он нас вывел прямехонько к «господину Гордону» и порассказал о нем достаточно. Вот только Гордону удалось ускользнуть — при обстоятельствах, уже не оставлявших сомнений, кто он на самом деле...

— Господи ты боже мой, — сказал Пушкин. — У вас то же самое...

— Я отплыл в Европу следом за ним. Мой друг, знавший «Гордона» по Италии, как раз и определил, с кем мы имеем дело...

— И где же ваш друг?

— Он погиб в Венеции, — сказал По. — Тогда мы чуть-чуть его не настигли... но мой друг погиб, а я уцелел чудом. Я его преследовал по всей Италии. Поехал в Англию, и там мы ночью вскрыли склеп, после чего никаких сомнений не осталось. Мне донесли, что его видели во Флоренции. Я бросился туда, но он уже покинул Тоскану. След вел в германские государства, а оттуда я приехал, всегда чуточку отставая, в Петербург. И вот теперь он тут. — Молодой американец указал на освещенные окна невидного домика.

— Ну что ж, в последнем сомневаться не приходится... — сказал Пушкин задумчиво. — И что вы намеревались делать?

— Ничего особенного. Посмотреть, не возьмет ли его серебряная пуля.

— А если — нет?

Юноша упрямо сказал:

— Тогда попробую что-нибудь еще. Нужно же его загнать назад в ту тьму, которая его извергла...

— Вот в этом я с вами совершенно согласен...

— Вы мне верите?

— Мне трудно верить, а это совсем другое... — сказал Пушкин. — Но так уж случилось, что ваш рассказ во многом совпадает с моими собственными приключениями, а это заставляет отнестись к нему серьезно...

Он резко обернулся назад, поднимая пистолет, но тут же опустил его, выругавшись:

— Мать твою в рифму... Тимоша, мог ведь и пулю хлопотать за здорово живешь...

— Простите, Александр Сергеич, — покаянно протянул сыщик. — Только жутко стало торчать там одному, в темноте и совершеннейшем безлюдье, да вдобавок казалось, что по углам кто-то мохнатый шмыгает, и не один, и глаза светятся... Лучше уж я с вами. На миру и смерть красна.

— Ты не накаркай, лампурдос, не накаркай, — сердито сказал Красовский. — Ну что ж, господа? Не будем же мы здесь торчать до рассвета, пусть даже и обмениваясь интересными, согласен, впечатлениями? Не потрогать ли нам черта за хвост? А там уж разберемся, который он по счету лорд, и лорд ли...

Пушкин машинально потрогал кольцо на пальце, как обычно казавшееся самую чуточку теплее, чем ему положено было быть. Сказал раздумчиво:

— Собаки там, по-моему, нет, я не слышал, чтобы брехала, когда немец стучался в калитку...

— Да откуда ж там собака? — сказал Красовский. — Собачки, создания божьи, э н т и х не любят... Не может у него быть собаки, он сам похуже собаки... да и, надо полагать, поопаснее.

— Пойдемте, — сказал Пушкин. — Попробуем пробраться во двор незаметно, а там, осмотревшись, и рискнем, благословясь... — Он обернулся, присмотрелся к самому ненадежному звену в цепочке. — Тимоша, ты уж, мил-друг, изволь оставаться здесь. Толку от тебя там не будет, чувствую, а так, при нужде, хоть полицейских покличешь... хотя и сомневаюсь я, что нам смогут помочь чем-нибудь господа петербургские будочники... Идемте.

Переступая на цыпочках, они двинулись вперед и вскоре достигли забора из скверно оструганных досок. Забор, хотя и сколочен добротнo, все же кое-где зиял щелями. Приложив к одной глаз, устроясь поудобнее, Пушкин увидел небольшой пустой дворик, низкое крыльцо и два окна, от которых на поросшую бурьяном землю ложились два прямоугольника тусклого света. Передвинувшись правее, он достиг калитки, ухватил крайнюю доску тремя пальцами левой руки и тихонечко потянул на себя, молясь в душе, чтобы не скрипнула.

Калитка послушно отошла, почти не производя звуков. Судя по тому, как она подавалась, на другой стороне не имелось ни щеколды, ни крючка, не говоря уж о засове. Обитатели домика проявляли совершенно не свойственную жителям окраин этого города беспечность. Уже сделав шаг во двор, он подумал, что это может оказаться и засадой, но другого выбора не было...

Двигаясь так, чтобы не попасть в полосу тусклого света, он приблизился к окну — чей верхний край располагался низко, на уровне его подбородка — и, пригнувшись, заглянул внутрь. Рядом примостился Красовский, явственно посапывая носом от азарта, а молодой американец встал по другую сторону.

Заглянув внутрь, Пушкин невольно отшатнулся. Сидевший за убогим столом человек был как две капли воды похож на портреты Мрачного Романтика, которого он считал своим учителем в поэзии: то же лицо, поворот головы, кудри...

По обе стороны от него горели свечи в старомодных нечищенных шандалах. На столе перед ним лежали какие-то бумаги, более всего похожие на небрежно выполненные чертежи — ага, те самые, никаких сомнений! — на бумагах, лицом к сидящему, покоился череп — без нижней челюсти, темно-желтый, долго пролежавший, надо полагать, в земле и извлеченный совсем недавно: прекрасно было видно, что бумаги усыпаны землей, кое-где прилипшей комьями к затылку и вискам.

И что-то дымилось тут же в причудливой невысокой курильнице, причем черный дым не растекался по комнате, как ему полагалось бы согласно законам природы, а стоял едва заметно колышущимся столбом, напоминая султан на гусарском кивере. И по стенам маячили странные тени — совершенно непонятно, кто или что их отбрасывает, в комнатухе вроде бы не видно ни одной живой души, кроме сидящего за столом, а впрочем, если поверить господину По, то и двойника великого поэта отнести к живым душам можно исключительно с превеликой натяжкой...

Что-то свисало с потолка на манер то ли толстой паутины, то ли рыболовных сетей — переплетение странной черноты, то ли устойчивый дым, то ли просто клочья мрака, и там, где они пересекались, светился тускло-зеленый гнилушечий свет.

Наклонившись вперед, сидящий за столом громко и внятно произнес что-то — сквозь стекло не удалось расслышать, на каком языке. В ответ ему раздался другой голос, гораздо более высокий, шурша-

щий какой-то, перемежавшийся противными скрипами, словно терлись одна о другую полусгнившие доски. И Пушкин ощутил ледяные мурашки по всему телу, сообразив, что второй голос может исходить исключительно от черепа...

Если по совести, больше всего ему хотелось выскочить в калитку и бежать опрометью с Васильевского острова, пока не окажется среди обычных людей и знакомых зданий. Но он переборол себя, обернулся к спутникам и сделал выразительный жест в сторону крыльца. Они кивнули в знак того, что поняли.

И настал тот миг, когда ничего уже нельзя изменить и приходится, несмотря на страхи, идти в атаку...

Когда он рванул ручку на себя, низкая дверь отчаянно заскрипела, но это уже не имело значения — и Пушкин первым ворвался сквозь низкие темные сени, где по лицу его неприятно погладило нечто невесомое, липковатое, пушистое, свисавшее с потолка, а из-под ног с писком и, кажется, с хрюканьем разбежались по углам какие-то мелкие твари, так и оставшиеся неопознанными.

Ощупью нашарив другую ручку, он рванул ее опять-таки на себя. И оказался в той самой комнате. За спиной что-то шумно грохнуло, послышались чертыханья, и следом ввалились Красовский с американцем. Остановились плечом к плечу, подняв пистолеты.

К своему несказанному удивлению, Пушкин уже не увидел ни странных теней, ни свисавших с потоло-

ка непонятных лохмотьев. Обычная комната, освещенная двумя шандалами, в которых, он зачем-то пересчитал мысленно, горели восемь свечей. Бумаги, правда, остались, и череп на столе — но он не издавал никаких звуков, загадочно уставясь пустыми глазами.

Хозяин комнаты медленно поднялся из-за стола и обернулся к ворвавшимся, опершись рукой на кресло в непринужденной, можно даже сказать, величавой позе, опять-таки знакомой Пушкину по некоторым портретам. Сходство, вынужден был он признать, поразительное...

— Чему обязан, господа? — спросил он без тени страха или неудовольствия, скорее уж с легкой насмешкой. — Вот уж не знал, что в Петербурге в моду вошли столь поздние визиты без всякого предупреждения...

Пушкин, не теряя времени, оглядел комнату. Если не считать стола с колченогим стулом, никакой более мебелировки. Здесь просто негде было бы притаиться кому-то еще — голые стены, штукатурка кое-где осыпалась, и в тех местах видна перекрещенная дранка...

— Господин Гордон? — спросил он неприязненно.

— Господин Джордж Гордон Байрон? — подхватил американец, так и не опустивший пистолета.

Человек у стола молчал, глядя на них с превосходством и откровенной насмешкой. Он пытается с самого начала перехватить инициативу, выставить нас в смешном виде, лишить уверенности, подумал Пушкин. В самом деле, если он будет молчать и

далее, ни во что жуткое не превращаясь и не пугая очередными бесовскими штучками, какими должны быть наши следующие слова? И не придумаешь сходу...

И тогда американец спустил курок. Выстрел оглушительно грянул в небольшой комнатушке, запахло сгоревшим порохом — но хозяин, все так же улыбаясь свысока, стоял у стола, и на его одежде не было следа от пули — хотя выстрел был произведен почти в упор, с каких-то двух шагов.

Потом он поднял руку, продемонстрировав зажатую меж большим и указательным пальцами пистолетную пулю — и небрежно бросил ее на пол. Она прокатилась по темным доскам, тихонько рокоча, скрылась под столом, и вновь настала тишина.

— Вы меня удручаете, господа, — сказал человек у стола спокойно и насмешливо. — Сущее детство, право... Осинового кола у вас, часом, не припасено?

Пушкин узнал этот голос — он уже слышал его в Праге, когда ночью распахнулось окно, и подступили призраки, и та же самая фигура...

— Бросьте, — сказал он, обернувшись к Красовскому, попытавшемуся было размашисто и добросовестно осенить хозяина дома крестным знаменiem. — Бесплезно. Тут что-то другое...

— Вы не потеряли остроты ума, Александр Сергеевич, — отозвался человек у стола. — Только посмотрите, и господин Эдгар Аллан По здесь... Как вам эта сырая и туманная северная столица после великолепного климата ваших родных мест? Если

рассудить, примечательное событие: ночной порой неожиданно сошлись сразу три поэта, можно, пожалуй, устроить поэтический вечер, получится на славу...

— Ах, вот как? — сказал Пушкин, путаясь в мыслях и чувствах. — Значит, вы... это все-таки вы?

— Вы изволите изъясняться несколько коряво, но я прекрасно понял, что вы имеете в виду. Ну что же, я — это я... Ответ исчерпывающий, не правда ли?

— Ну конечно, — сказал американец. — Особенно для человека, который собственными руками снимал крышку с вашего гроба и ничего там не нашел, кроме изображенной на бумаге физиономии с глумливой ухмылкой, в точности такой, как у вас сейчас...

— Фи, как неблагородно! — воскликнул человек, которого, пожалуй, следовало все же именовать теперь не иначе как Байроном. — Любезный Эдгар, вы, юноша из приличной семьи, разоряете по ночам семейные склепы? Какой-нибудь моралист пришел бы в ужас... но я по широте своей натуры на многое смотрю сквозь пальцы, а потому на вас не в претензии. Каждый развлекается, как может. Бьюсь об заклад, вы были настолько глупы, что не заглянули в другие гробы? Зря, мой юный друг. Там было немало драгоценностей, в частности, третий лорд Байрон похоронен с часами, которые ему подарил король Карл Второй... надо полагать, в награду за покладистость, ибо вторая жена лорда была семнадцатой по счету известной истории любовницей короля-изгнанника... Антикварии за эти часы

отсыпали бы вам немало... Что же вы так оплошали, друг мой?

— Скотина! — сказал По в бессильной ярости. — Что же ты болтаешься среди живых? Убирайся...

— ...назад в преисподнюю? — подхватил Байрон. — Соблюдая стиль, следовало бы добавить с напыщенным видом: «В преисподнюю, которая тебя извергла!» У вас что-то похожее на языке? Вы безнадежный романтик, Эдгар. Точнее, устаревший романтик, нельзя же в наши дни пользоваться оборотами, которые были в ходу у наших бабушек... Даже не о бабушках речь. Вы пользуетесь отжившими представлениями, родившимися лет с тысячу назад, во времена всеобщего невежества. Но нынче-то век просвещения и цивилизации... Нет примитивного деления на Свет и Тьму. Кроме Света и Тьмы, есть еще Мир Теней, будем называть его так. Вы образованные люди, но о стольких вещах не имеете представления... Я не черт, господа, я пришел из Тени. Меня однажды позвали туда, и, оказалось, там весьма неплохо. И, между прочим, вас, господа, тоже встретили бы там весьма радушно. И не заставили бы подписывать кровью никаких договоров, это примитивное представление несколько не соответствует истине. Не хотите ли рассмотреть мое предложение? Продление жизни, власть над материальным миром, новые знания, которые вас обогатят так, что вы и представить себе не можете... Быть может, нам поговорить об этом подробно? Какой смысл отказываться, не выслушав предложения до конца?

— Ваша наглость поразительна для человека в вашем положении... — сказал Пушкин, пряча бесполезный пистолет.

С вежливой улыбкой Байрон поправил:

— Во-первых, называть меня человеком будет не вполне правильно. Коли уж речь идет о фактической точности, предпочел бы определение Принц Теней. Там существует своя некая аристократическая пирамида, господа, но основана она не на глупом «праве рождения», а качествах кандидата. Могу заверить, что вы с господином По имеете все шансы попасть в ряды аристократии. — Он глянул на Красовского. — И даже вы, любезный, могли бы получить столько, что были бы удовлетворены...

— Благодарствуйте, — ответил отставной прапорщик. — Мы уж как-нибудь в прежнем своем убогом состоянии перебудем...

— Во-вторых... — произнес Байрон. — Во-вторых, что вы, сударь, подразумеваете под словами «в вашем положении»? Вы считаете, что я сейчас нахожусь в каком-то особенном положении?

— Вы избалованы...

— В чем? — с обаятельной улыбкой спросил Байрон. — В чем же, будьте так любезны объяснить?

Пушкин сердито сдвинул брови:

— Если не играть в слова, как вы это только что делали, не подлежит сомнению, что вы, милорд, — уже не человек...

— Не отрицаю. Ну и что? Неужели вы хотите меня уверить, что законы Российской империи запрещают появляться в ее пределах существам, которые, как

бы деликатнее выразиться... не вполне люди? Что есть законы, предписывающие хватать таких существ и заключать их в темницу? Или рубить голову на площади серебряным топором? Не соблаговолите ли назвать параграфы данных установлений и даты их появления? Молчите? То-то... И наконец, нужно еще доказать, что я — нечто особенное, не имеющее отношения к роду человеческому. Вы уверены, что у вас это получится, Александр Сергеевич? Я безбоязненно появляюсь среди людей при свете солнца, на меня никакого ошеломительного воздействия не оказывают осинового колья, распятия, святая вода и прочие причиндалы убогих мыслью церковников... Бумаги мои в полном порядке. Я британский подданный Джордж Гордон, прибывший в Петербург по собственным делам. У меня есть рекомендательные письма к британскому посланнику, который, смею вас заверить, должным образомотреагирует на попытку причинить притеснения мне, человеку с незапятнанной репутацией.

— Вы не боитесь, что вас опознают? — спросил Пушкин, с неудовольствием ощущая, что инициатива ускользает из их рук.

— Ах, вы об этом... Глупости. Весь образованный мир, все те, кого это интересует, прекрасно знают, что лорд Байрон скончался в Греции от лихорадки и погребен в семейном склепе. Что до некоторого сходства... Британцы, как вы, может быть, слышали, чрезвычайно эксцентричный народ, и нет ничего удивительного — или противозаконного — в том, что некий земляк известного поэта под влиянием любви

к его творчеству придал себе сходство со своим кумиром, тщательно скопировал внешний вид, прическу, манеры... Примеры бывали. Чудаков в Британии предостаточно, и мистер Гордон — один из них... — Он язвительно улыбнулся. — Не смею вам ничего запрещать. Наоборот, я прямо-таки настаиваю, чтобы вы повлекли меня к полицейским чиновникам, к судьям, обвинили громогласно в том, что я — не мистер Гордон, а покойный поэт Байрон, расхаживающий по земле в новом обличье. Что я дружу с джиннами, занимаюсь черной магией... Вы действительно готовы так поступить? Лет триста назад вы встретили бы живейшее понимание у властей, но с е г о д н я, боюсь, любой судья отпустит меня с подобающими извинениями а вам мягко посоветует навестить доктора, специализирующегося на душевных болезнях... — Он коротко, трескуче рассмеялся. — У просвещенных и цивилизованных времен есть свои положительные стороны для таких, как я, вам не кажется?

— Оставьте, — уныло сказал Пушкин Красовскому, видя, что тот сунул руку за отворот фрака. — Вы же видели только что... Оружие на него действия не оказывает...

— Не мешайте человеку потешиться, — сказал Байрон с улыбкой. — Кстати, там, в сених, от прежних хозяев остался топор, вилы, еще какое-то ржавое железо... Не желаете ли развлечься, господин Красовский? Весь дом и все, что в нем есть, — в вашем распоряжении. Что же вы смотрите на меня так зло, все трое? Я в чем-то перед вами виноват?

— Вы погубили моих друзей, теперь в этом нет никакого сомнения, — сказал Пушкин. — В Праге и Флоренции.

— У вас есть доказательства? Вы же не видели этого собственными глазами...

— Вы были в Вирджинии, когда там случилось это загадочное убийство, — сказал молодой американец. — Когда мистер Стайвесант был убит у себя в спальне ожившей статуей ландскнехта...

— Но вы же при этом не присутствовали, верно? — с непринужденной улыбкой сказал Байрон. — Насколько мне известно, полиция и суд пришли к выводу, что названного джентльмена убил его собственный камердинер. То, что ему удалось скрыться с помощью каких-то таинственных сообщников, не меняет дела.

— Хотите, я расскажу о вашей... затрудняюсь, как и назвать — хозяйке, повелительнице? — спросил Пушкин. — Во Флоренции она себя называла графиней де Белотти. Сейчас она именуется венгерской графиней Эльжебет Палоттай и снимает дом на Миллионной...

— В самом деле? — поднял бровь Байрон.

— Она — джинн.

— Так что ж вы медлите? — театрально вскинул руки Байрон. — Исполните же свой гражданский долг, Александр Сергеевич, и вы, мой юный друг Эдгар Аллан! К судье, к полицмейстеру! Заявите под присягой, что в доме на Миллионной поселился джинн! Персонаж из «Тысячи и одной ночи»... генерал-губернатору! Немедленно!

Он с улыбкой наблюдал за собеседниками — невозмутимый, спокойный, уверенный в себе. Пушкин подумал с горечью, что этот субъект и в самом деле неуязвим в нынешние просвещенные времена — официальным порядком прижать его невозможно...

— Теперь вы видите, судари мои, сколь беспомощно выглядите? — спросил Байрон участливо. — А потому не вернуться ли нам к серьезному и подробному разговору о Мире Теней? Где вас готовы принять? Я расскажу вам, какие умения вы можете обрести, какие знания вам откроются...

— Подождите! — воскликнул По.

Он подался вперед, не сводя с Байрона горящего взгляда, весь словно бы светился внутренним воодушевлением...

— Да? — вежливо спросил Байрон.

— Вы хотите сказать, господин Принц Теней, что нынешнее положение сделало вас лучше, совершеннее?

— Вы и не представляете, насколько...

— Прекрасно, — сказал По, загадочно улыбаясь. — В таком случае... Вы были великим поэтом в той, прошлой жизни, я боготворил вас, учился у вас... Не логично ли будет предположить, что способности ваши стократ расцвели в этом вашем Мире Теней? Прочитайте мне какие-нибудь ваши новые стихи, сложенные уже после того, как... Только имейте в виду, что я знаю все, вами опубликованное... Ну что же вы? Это так просто — продекламировать пару строф... Что вам стоит? Убедите меня!

Повисло тяжелое молчание, которое в конце концов нарушил Пушкин, громко ударивший в ладоши.

— Браво, Эдгар! — воскликнул он. — В самую точку! Нечего ему декламировать! Потому что поэтический дар — от Бога, а от Бога эта сволочь отшатнулась... Кое-кто и в самом деле умер — великий поэт, а остался лишь дурацкий фокусник с набором нехитрых магических трюков! Что же вы молчите, сударь? Опровергните нас так, как предлагает этот джентльмен! Я уже не вижу улыбки, и рожа ваша далеко не так самодовольна... Медного гроша не стоит ваш Мир Теней, если он лишает человека того, что даровано Богом...

— А рожа-то покривилась! — злорадно вмешался Красовский. — Что, сударь, в точку?

— Вы плохо кончите, господа, — сказал Байрон уже без тени улыбки. — Я пытался обращаться с вами дружески и сделал все, что мог, чтобы найти взаимопонимание, я предлагал вам целый мир...

— Простите, очень уж там должно быть неудобно, — сказал Пушкин. — Так что мы, с вашего позволения, останемся там, где привычнее и уютнее...

— Интересно, с чего вы решили, что останетесь в нем? — тихо, уже совсем недобро поинтересовался Байрон.

Он поднял правую руку, и все вокруг пришло в движение: стены и потолок заколыхались, словно видимые сквозь дрожащий над костром жаркий воздух, потолочная балка-матица выгнулась вниз, будто щупальце спрута, поднялись, выгибаясь, половицы, че-

реп подпрыгнул на столе, и его пустые глазницы вспыхнули, как раскаленные угли...

— А на это что скажешь, мерзавец? — крикнул Пушкин, сделал шаг вперед и ударил в лоб Принца Теней перстнем с загадочными знаками.

Скрежещущий визг пронесся по комнате, ввинчиваясь под череп нешуточной болью. Стоявший перед Пушкиным человек мгновенно изменил очертания, словно подхваченный ветром кусок плотного тумана, как-то странно расплылся, дернулся — и обернулся полосой тьмы, которая метнулась к окну, моментально просочилась наружу в незаметную шелку...

Пламя свечей дернулось, словно на них дунул кто-то сильный, невидимый, по комнате свистнул порыв холодного ветра.

— Сбежал, — сказал Красовский удовлетворенно. — А здорово вы его, Александр Сергеевич... Слово какое знаете?

— Долго рассказывать, — сказал Пушкин, огляделся, подошел к столу и собрал в кучу разбросанные чертежи, без всякого страха и почтения отложив в сторону череп. — Думаю, делать нам здесь больше нечего, вряд ли он вернется...

Череп легонько колыхнулся — и вдруг произнес тем самым шелестящим, скрипучим голосом:

— Господин Брюс всегда подъезжал со своим камердинером, а нас в помещения не допускали, не могу знать, что там происходило, ваше сиятельство, сделайте милость, отвяжитесь...

— Эт-то еще что? — спросил Красовский, даже отпрыгнув на шаг.

— Спросите что-нибудь полегче, — сказал Пушкин. — Нам пора...

Что-то ударило его по ногам, и он едва не упал. Рядом вскрикнул Красовский. Глянув себе под ноги, Пушкин увидел, что половицы вновь пришли в движение, доски взметнулись вверх, с невероятным проворством и гибкостью изменяя форму, так что напоминали уже живые упругие щупальца. Что-то оглушительно шелкнуло, взметнулись клубы измельченной в порошок штукатурки — это перекрестья дранки оторвались от стен и, опять-таки выгибаясь так, что ничуть не напоминали уже сухие деревянные рейки, неким подобием рыболовной сети попытались накрыть мистера По. Американец отпрыгнул, отбиваясь рукояткой разряженного пистолета.

— Уходите! — крикнул Пушкин.

И без его совета его спутники опрометью кинулись к двери. Стол, обратившись в подобие животного, кинулся наперерез — череп покатился по полу и, кажется, продолжал какие-то свои занудливые жалобы. Дело оборачивалось скверно — дом оживал. Матица с треском лопнула пополам, и обе ее половинки, повиснув едва ли не до пола, обернулись чем-то похожим на безглазых змей с разинутыми зубастыми пастьями. Одна попыталась ухватить Пушкина за локоть, он едва увернулся, услышал треск рукава, почувствовал резкую боль, как от укуса.

Громыхнул выстрел — это Красовский, отбивавшийся ногами от переплетения щупалец, в которые обратились половицы, выстрелил наугад. Подсвечники давно упали, парочка свечей еще догорала на

полу, но в комнате воцарился мрак, в котором что-то не людски посвистывало, шипело, издавало другие звуки, не имевшие соответствия в человеческом языке.

Они едва ли не на ощупь продирались к выходу сквозь что-то, напоминавшее взбесившиеся заросли камыша — живые, упругие, сильные, пытавшиеся оплести, раздавить, стиснуть... Пахло чем-то совершенно непонятным, тоскливо-мерзким.

Пушкин нащупал ручку — тут же со злорадным писком превратившуюся в нечто живое и проворное, выскользнувшее из пальцев. Дверь стала мягкой, напоминала колышущееся одеяло, но он все же налег всем телом, ударил эту строптивую преграду перстнем, но кольцо, очень похоже, с е й ч а с ничем не могло помочь. Дверь охватила его, закутала, от нее пахло не зверем, как логично было бы предположить, а чем-то словно бы химическим, едким, противным...

Воздуха не хватало, и он барахтался, упрямо пробиваясь вперед. Совсем рядом грохнул выстрел, и еще один, в голове туманилось, глаза выкатились из орбит от недостатка воздуха — но он боролся, отчаянно налегая всей тяжестью...

Что-то звонко лопнуло, раздалось, забрызгав его клейким, густым, неприятно пахнущим. Но впереди он увидел звезды, вдохнул влажный сырой воздух — и понял, что прорвался. Выскочил во двор, роняя и рассыпая последние бумаги, — оказалось, он некоторые из них до последнего момента стискивал в кулаке.

Что-то толкнуло его в спину, и он кубарем полетел с крыльца — и тут же кто-то упал рядом, приглушенно чертыхаясь, фыркая, отплевываясь, обеими ладонями стряхивая с себя клейкие поетки. Пушкин сообразил, что это кому-то из товарищей удалось вырваться следом. А там и третий шумно оступился с крыльца, ругаясь так, как может ругаться только живой, уцелевший...

Перед ними продолжались жуткие несуразности — забор, превратившийся в шеренгу отчаянно извивавшихся плоских щупалец, тянулся к лежащим, сиюсь схватить, опутать. Они вскочили, кинулись вперед, усмотрев слабое место: вместо калитки копошился клубок гораздо более мелких живых побегов...

Они рвали одежду, царапали лицо, но Пушкин довольно быстро, с нечеловеческой силой разрывая тянувшиеся к горлу щупальца, выскочил со двора. Тут же вернулся — и принялся руками и ногами выдирать из земли эту гибкую пакость, помогая выбраться остальным. Щупальца — правда, не все — с хрустом лопались под его напором, обрызгивая клейкими фонтанами.

Неизвестно, сколько это продолжалось. В конце концов, они обнаружили себя у деревьев, посередине аллеи, стояли, тяжело дыша, растрепанные и оборванные.

Неподалеку от них содрогался в последних конвульсиях дом. Собственно, никакого дома уже не было и в помине: вместо забора, вместо стен и крыши клубилась темная масса переплетенных щупалец, тершихся друг об друга с сухим деревян-

ным скрежетом, и вся эта вакханалия не распространялась дальше пределов бывшего забора, так что трое обессиленных людей чувствовали себя в безопасности.

Потом над пустырем пронесся длинный тоскливый стон, тусклое зеленое сияние осветило изнутри загадочную кучу, она словно бы опала с противным лопающимся звуком, что-то затрещало, что-то мерзко хрустнуло... и вскоре, благо половинка луны выглянула из-за клочковатых туч, они увидели на месте чертова дома груды словно бы самых обыкновенных ломаных досок и покосившихся стропил.

Проходили минуты, и ничего более не происходило. Если ничего не знать, вполне можно подумать, что это равнодушные мастеровые обрушили очередное обветшавшее строение, чтобы продать его на дрова и расчистить место для новой постройки...

— Тимоша! — опомнившись, крикнул Пушкин.

Молчание. Они кричали и звали, но оставшийся во дворе сотоварищ как сквозь землю провалился.

Только теперь почувствовалась боль во всем теле от бесчисленных ссадин, шипков и, есть сильное подозрение, укусов. Несмотря на полумрак, Пушкин видел, что одежда спутников в самом плачевном состоянии — они напоминали жалких оборванцев, бродяжничавших не один год. Судя по их взглядам, сам он выглядел точно так же.

— Тимоша! — в последней отчаянной надежде воззвал Красовский.

Никакого ответа не последовало, и пропавший не объявился на зов. Стояла тишина, ветер лени-

во перекатывал тучи по небу, то и дело заслоняя ими луну.

Вымученно улыбнувшись, Пушкин сказал:

— Простите уж, господин По, что мы вас так скверно встречаем в Северной Пальмире...

— Не стоит извинений, — серьезно сказал американец. — Я за этим сюда и приехал. Если бы вы были со мной вот такой же поганой ночью в луизианских болотах, когда мы... — он явственно передернулся, — убедились бы, что бывает и похуже...

— Смотрите! — воскликнул Красовский, вытягивая руку.

Они посмотрели в ту сторону. С треском раздвигая доски, из кучи выбралось что-то небольшое, темное, вроде бы мохнатое. То ли присело на корточки, то ли просто сгорбилось — и уставилось на троих желтыми светящимися глазами. К нему присоединилось еще одно, и еще, и еще... Вскоре не менее полдюжины мохнатых недомерков стояли у развалин дома, таращась на людей.

— Пойдемте-ка отсюда, господа, — предложил Красовский, непроизвольно понижая голос и оглядываясь во все стороны. — Кто их знает... Пистолеты разряжены, ни души кругом, и ничегошеньки нам более не сделать, что уж попусту геройствовать...

— Действительно, — сказал Пушкин. — Идемте.

Бдительно оглядываясь — мохнатые создания не проявляли поползновений их преследовать, — они двинулись прочь, в сторону линий. Прошло достаточно много времени, прежде чем По сказал с убитым видом:

— Я и в самом деле считал его учителем...

— Не переживайте, — сквозь зубы сказал Пушкин. — Вашего... и моего учителя уже нет. А эта тварь не имеет к нему никакого отношения — нежить, мертвечина, кадавр...

Глава пятая

ИМПЕРАТОРСКИЙ ГНЕВ

Никак нельзя было назвать это отступлением потерпевшей поражение армии — они брели по темной улице усталые, оборванные, покрытые кровоточащими царапинами, но настроение оставалось победным: как-никак, противник бежал, его логово разрушено, а это все же успех...

Проходя мимо одного из добротных каменных домов, он посмотрел на себя, оказавшись в полосе света от ярко освещенных окон (судя по музыке и прочим звукам, там продолжался средней руки бал), и горестно покачали головами: вид был даже не бродяжничий, мягко сказано, фраки свисали полосами, ленточками, кусками, словно их долго и увлеченно рвала когтями стая ополоумевших кошек.

— Водочки бы сейчас для успокоения расстроенных нервов, — мечтательно сказал Красовский. — Первую рюмку ка-ак шарахнуть, дождаться, пока по жилочкам разбежится теплом, а вторую уже выцедить... И еще налить...

— Что он говорит? — спросил американец. — У него такой одухотворенный вид, словно декламирует стихи...

Пушкин усмехнулся:

— Он говорит, что после таких переживаний не мешало бы выпить чего-нибудь покрепче.

— Это и в самом деле прекрасная идея, — сказал По едва ли не столь же мечтательно.

— По совести, я и сам бы не отказался, — сказал Пушкин. — Но все трактиры давным-давно закрыты согласно полицейским законам...

— Ну что вы, право, Александр Сергеич, как дитя малое, — сказал Красовский, оживившись. — Ежели кабаки положено закрывать в одиннадцать вечера, это еще не значит, что их и закрывают... во всяком случае, не в с е двери. Полиция тоже не прочь финансовое благосостояние улучшить.

— До меня доходили слухи...

— Ну уж, Александр Сергеич, вы как и не петербуржец, — хмыкнул Красовский. — Слухи доходили... Доподлинная правда. Вот, кстати, рукой отсюда подать, на Шестой линии, возле казарм, есть премилое заведение. Именуется «Три якоря», держит его вдова хозяина, женщина предприимчивая и расторопная. Вы у нас человек светский, этикие медвежьи углы не посещаете, а мы-с не привередливы...

— Да и я, признаться, сейчас непривередлив, — сказал Пушкин. — С крючниками под сосной готов выпить.

— Вот и прекрасно. Стопы за мной направляйте, а уж я в плохое место не поведу. Видите, во-он окна зашторенные чуть светятся? Полным-полна коробушка господ завсегдатаев, налившихся с черного хода.

— Подождите, — сказал Пушкин. — Что о нас подумают, если мы заявимся в таком виде? Это, конечно, не ресторация на Невском, но все равно, получится ненужное привлечение внимания...

Красовский растерялся не более чем на секунду:

— И точно... Ага! Да мы просто-напросто скажем, что попали в лапы к разбойничкам и с превеликим трудом от них вырвались — а потому душа жаждет успокоения. Поверят, учитывая, сколько здесь шалит лихого народа. Еще и сочувствовать будут. Наш русский народ склонен сочувствовать как жертве разбойничьих происков, так и самому разбойничку, когда ему, болезному, наконец-то наложат железа и под замок пихнут. Да и знают меня здешние, как человека с л у ж и в о г о... Идемте во-он на то крылечко...

Он поднялся первым и решительно забарабанил в низкую дверь. Она вскоре приоткрылась, и в щель высунулась простоволосая мужская голова, коей Красовский что-то пошептал на ухо. Однако голова — принадлежавшая, как удалось рассмотреть, человеку средних лет, довольно плутоватому на вид — ответила взволнованным шепотом. Не дослушав, Красовский воскликнул:

— Ох ты ж господи... Вперед, господа!

И, распахнув дверь, отпихнув привратника, решительно направился по низкому, скверно освещенному коридору. Пушкин, не раздумывая, двинулся следом, увлекая американца. Они оказались в задней комнате, там о г л у ш и т е л ь н о пахло соленой рыбой и вареной капустой, несколько человек мещанского и простонародного вида смиренно стояли у стен, а посередине бородатый старичок в синей чуйке и здоровенный молодец с закатанными рукавами казинетовой рубахи удерживали на табурете се-

дого человека, который ни за что не хотел сидеть смиренно, а ежеминутно порывался вскочить и кинуться к окну.

— Лампадным маслом помазать, — сказал кто-то из зрителей. — С молитвою.

— Скажешь тоже. Первое дело — водичкой с решета сбрызнуть, очень помогает от помрачения ума...

— И опять-таки с молитвою... Ишь, как его корежит...

— Что ж ты хочешь, кум, я тебе давно толкую, что тут нечисто, а ты мне про электрическую силу... Электрическая сила и нечистая, я тебе скажу, друг другу не мешают...

— К бабке, пусть отчитает...

— Знаешь ты такую бабку?

— Да я-то нет, но, может, знает кто...

Оторопело слушая всю эту белиберду, Пушкин медленно продвигался вперед, раздвигая бормочущих зрителей. Оказавшись близко, он увидел в седом человеке нечто знакомое — а потом с захолонувшим сердцем опознал Тимошу, затравленно озиравшегося вокруг и явно не соображавшего, кто он такой и где находится. Тимоша был лет на пять-шесть старше Пушкина, не более — но сейчас он стал белый, как лунь, и совершенно седые волосы в сочетании с молодой щекастой физиономией производили впечатление, прямо скажем, жутковатое. Присмотревшись, Пушкин обнаружил, что Тимошин сюртук светло-серого цвета сплошь испещрен прожженными пятнышками странной формы, напоминавшими крохотную ручку вроде детской, но —

четырепалую. Да и пальчики эти, есть подозрение, все до единого снабжены коготками...

— Что здесь случилось, объяснит мне кто-нибудь? — спросил Пушкин резко.

Его барский тон произвел должное впечатление: старичок в синей чуйке, не переставая удерживать Тимошу за плечи, вскинул голову и торопливо ответил:

— Непонятно, ваше степенство. Выскочил этот молодец неизвестно откуда, стал в дверь колотиться, как бешеный, и был он в точности в таком виде, как вы его сейчас наблюдаете, то бишь вовсе без ума... Полагали поначалу, что это помрачение от водки, да не похоже что-то...

— Да уж, — негромко сказал кто-то сзади. — Самое время с иконами вокруг дома обойти, чтоб чего не вышло...

Пушкин обернулся к говорившему. Тот попятился, жалобным голосом протянул:

— А я что? Я — ничего... Вот вам крест, барин, ничегошеньки не знаю... Разное люди болтают, вот и все... Неладно, говорят, стало на Васильевском...

Подойдя к Тимоше вплотную, Пушкин потеревил его, встряхнул, но не заметил в сумасшедших глазах и тени здравого рассудка.

— Оставьте вы его, барин, — угрюмо сказал детина с засученными рукавами. — Выпал из ума начисто, сами видите. Связать нужно и по докторам представить...

Горькая ирония судьбы, подумал Пушкин, отступая. В безопасном тылу, который себе Тимоша вы-

брал, оказалось еще опаснее, чем на поле разыгравшейся битвы. Что-то с ним жуткое стряслось, от простых страхов не седеют в мгновение ока...

Горькая ирония была и в том, что окружающие совершенно не обратили внимания на растерзанный вид Пушкина и его спутников — быть может, они уже ни на что подобное не обращали внимания, глаз не сводили с Тимоши, перешептывались с озабоченными лицами, некоторые крестились. Никто из них не удивлен, подумал Пушкин. Испуганы, ошарашены, но не удивлены. Ничего удивительного: как можно понять из долетевших до слуха обмолвок, здешние жители уже давно подметили, что в этих местах не л а д н о. Должно быть, чертова хата, как выражаются мужички, себя оказывала, и это не прошло незамеченным.

Пушкину пришло в голову, что э т и люди насколько не удивились бы, узнай они о его приключениях — и поверили бы всему от первого и до последнего слова. Беда только, что не они определяли пресловутое «общественное мнение» — а люди просвещенные, материалисты, искренне полагавшие, что в век светильного газа, паровозов и электрической силы в мире не осталось ничего сверхъестественного, а прашуры верили во всякую мистику исключительно по дремучему невежеству своему...

Красовский тронул его за локоть:

— Александр Сергеич, пойдемте, нам уж стол накрыли...

— А как же...

— Ничем вы ему сейчас не поможете, — сказал Красовский угрюмо. — Я уж распорядился, дал денег, сейчас свяжут его, бедолагу, полотенцами, извозчика отыщут и к докторам доставят... Авось оклемается. Ох ты ж, господи, хотел в безопасном месте пересидеть...

Тяжко вздохнув от полного бессилия, Пушкин поплелся за ним. В чисто прибранной задней комнатке уже сидел за столом Эдгар Аллан По, с любопытством разглядывая соленые огурцы на тарелке, — ничего подобного, сразу ясно, он прежде не видел. Стояла там еще холодная говядина на обливном блюде, тарелка с ломтями хлеба и дешевая закуска вроде печенки и черной икры с крошеным луком. Трактир был определенно рассчитан на неприхотливую публику.

Красовский, не теряя времени, взял штоф синего стекла и разлил по рюмкам. Руки у него слегка подрагивали, в чем не было ничего удивительного.

— Нуте-с, давайте без тостов, — сказал он, беря рюмку за стеклянную ножку сразу тремя пальцами, чтобы унять дрожь в руках и не пролить. — За успешное завершение дела, за то, что живы ушли, за то, чтоб Тимошке, дураку, оклематься...

И осушил свою рюмку залпом. Выдохнул, поморщился и тут же забросил в рот ломоть хлеба с говядиной. Пушкин выпил не менее сноровисто, а вот с молодым американцем произошла неприятность: он застыл с разинутым ртом, на глаза навернулись слезы, потекли по щекам. Красовский моментально сунул ему огурец на вилке:

— Хрусти-хрусти да прожуй быстренько... Непривычен юнец к расейским нектарам...

Постепенно американец пришел в себя. Дожевал огурец, звучно проглотил и слабым голосом поинтересовался:

— Что это было, господа?

— Натуральнейшая перцовочка, — сказал Красовский. — На испанском перце, действие оказывает ошеломительное, особенно хороша зимою, с мороза, да под кулебяку... Хотя, ручаться могу, в вашем американском захолустье и кулебяки доброй не жевали, и перцовки не пивали. Ну что, еще рюмочку?

Вторая рюмка, что было сразу отмечено присутствующими, прошла у американского гостя гораздо легче — уже точно знал, чего ждать. Он даже порозовел чуточку, вольно откинулся на спинку шаткого трактирного стула и сказал едва ли не расстроганно:

— Вы не поверите, господа, но я чувствую себя умиротворенным, а все пережитые страхи уже выглядят смешными и несущественными...

— Чего ж тут не верить, — сказал Красовский. — Перцовка — вещь полезная. Побудете у нас дольше, все травники с Ерофеичем перепробуете, честью клянусь... — Он замолчал, мгновенно став серьезным. — А что ж дальше, Александр Сергеич? Упорхнула птишка...

— Искать будем, — сквозь зубы сказал Пушкин. — Что ж делать, наше дело служивое... Господин По... Вы, сами сказали, были в Англии. Есть там у них что-то, похожее на наши с вами департаменты?

— Никаких сомнений. Те, кто мне там помогал, говорили об этом однозначно. У меня создалось впечатление, что служба такая у англичан существует самое малое со времен Шекспира, который, судя по некоторым любопытным замечаниям, тоже был не чужд секретным делам. Вот только встретиться с английскими коллегами мне не довелось — невозможно оказалось найти к ним подступы.

— Наша обычная беда, — сказал Пушкин. — Нас мало, и все мы врозь... Сколько трудов положено, чтобы создать «Трех черных орлов», а ведь это, господа, полумера....

— Каких орлов?

— Это просто название... — спохватился Пушкин.

И выругал себя за длинный язык: молодой американец был отличным товарищем в опасном предприятии, они делали одно дело — но беседа свернула туда, где начинались мрачные государственные тайны. Самые тяжелые тайны — потому что их словно бы и не существовало для подавляющего большинства человечества. А потому приходилось молчать. Неужели так и будет продолжаться? — подумал он с горечью. Нас мало, и все мы врозь... Нужно будет доложить графу, а уж он сам решит касаясь официальных связей с внезапно обнаружившимися собратьями по ремеслу из-за океана...

Хлопнув третью рюмку, уже совсем браво, молодой американец захрустел соленым огурцом — покрасневшийся, прибодренный.

— Англичане, нужно отдать им должное, опережают нас, и это понятно, — сказал он. — У них было

достаточно времени, тысячу лет сидели на своем острове, достаточно, чтобы набраться опыта в охоте за нечистой силой. А нам всего двести лет, даже чуточку меньше, мы еще не успели толком разобраться со всем, что таится в болотах, ухает в чащобах... а иногда в обличье истинных джентльменов и прогуливается средь бела дня по улицам. Краснокожие своими секретами делиться не любят... а черные, которые ближе к природе и потому ловчее обращаются с нечистью, с белыми хозяевами опять-таки не склонны откровенничать. Я вам завидую, господа, у вас дело наверняка поставлено так масштабно, как нам, провинциалам, и не снилось, у вас, как-никак, тоже тысячелетняя история за спиной...

— Ну, в некотором смысле... — сказал Пушкин уклончиво.

Не рассказывать же было этому восторженному мальчишке об истинном положении дел? Что людей у них горсточка, что действуют они словно слепые, что некому пока что наладить строго научный подход, с классификацией, обобщениями наподобие Линнеевой системы в ботанике? Что так же обстоит и в других державах, входящих в число Трех Черных Орлов? Просвещение и материализм сыграли злую шутку с нынешним человечеством: оно в массе своей полагает, что врага, за которым охотится Особая экспедиция, не существует вовсе. Даже нынешние мужики, боясь показаться смешными, в жизни не признаются открыто, что всерьез верят в некоторые вещи. Чего же ждать от скептического университетского юноши?

— А вот насчет Шекспира — это вы для красного словца или как? — с любопытством спросил Красовский.

— Насчет Шекспира — чистая правда. Мне рассказали кое-что... и показали. Есть достаточно простой математический ключ к «Гамлету» — в те времена люди все же не умели составлять особенно сложные шифры... во всяком случае, господин Шекспир не умел. Если знать ключ, нетрудно обнаружить, что мы имеем дело не только с великой пьесой, но и с зашифрованным докладом о некоей секретной миссии, касавшейся как раз не вполне обычного противника... Разумеется, расшифровка имеет смысл только в том случае, если иметь дело с оригиналом на староанглийском языке, а не переводами на современное английское наречие. Я не успел, к сожалению, продвинуться дальше десятой страницы, не было времени, но и начало крайне любопытно...

Это надо будет запомнить, подумал Пушкин. Касательно «Гамлета». Тем более что смутные слухи о чем-то подобном ходили давно, их кто-то привез из Англии несколько лет тому...

— Вообще, «Гамлет» напоминает шкатулку с потайным дном, — продолжал раскрасневшийся По. — Если смотреть в корень — это пьеса не о призраке, господи. Это рассказ о том, как человек однажды встретил сатану, прикинувшегося призраком его отца. Не стану отнимать время длинными объяснениями, поверьте на слово: все детали и обстоятельства появления «тени отца Гамлета» для современника Шекс-

пира не составляли сомнения, что речь идет именно о черте из преисподней. Черт, между прочим, сказал принцу датскому чистейшую п р а в д у... но это привело лишь к тому, что пролилась кровь, трупы легли во множестве... Мораль проста: нельзя слушать дьявола, даже когда он говорит правду, и только правду, потому что добром это изначально не кончится...

Пушкин прислушался. Судя по доносившемуся шуму, прибыл наконец с превеликим трудом разысканный посреди ночи на Васильевском «ванька», и отчаянно сопротивлявшегося Тимошу препровождали в экипаж. До чего нелепо и грустно...

— Господа, — сказал он решительно. — Нам, пожалуй, пора. До рассвета осталось не так уж много, и хороши же мы будем в таком виде на людных улицах... Нужно еще придумать что-нибудь убедительное для господина Эдгара, чтобы в гостинице не понесла ущерба его репутация... а впрочем, советую держаться первоначального рассказа о нападении разбойников. Это правдоподобнее всего... Пойдемте?

Красовский с сожалением глянул на опустевший лишь наполовину штоф, протянул умоляюще:

— Александр Сергеич, а на посошок? После всех переживаний...

— Ну, разве что... — сказал Пушкин без особого сопротивления.

Опрокинув по последней рюмке, они вышли в коридор. Стояла тишина, дом казался вымершим: вероятнее всего, местные жители, знающие больше, чем им хотелось бы показать, потихонечку разошлись, чтобы оказаться подальше от нехороших

сложностей. Только старичок в чуйке, бесшумно двигаясь вдоль стен, гасил свечи — из чего следовало, что он имеет прямое отношение к трактирной прислуге.

— Увезли бедолагу, — сказал он, держась вполоборота к выходящим. Не мог не видеть плачевного состояния их одежды, но притворялся, будто ничего не замечает. — Не извольте сомневаться, доставят... Грехи наши тяжкие... И то сказать, дернуло ж поселиться неподалеку от Брюсовой избы...

Пушкин моментально остановился, крепко взял старичка за чуйку и развернул лицом к себе:

— Какой еще избы?

Красовский поддержал зловещим тоном:

— Ты уж, старче божий, язычок-то развяжи, когда тебя вежливо спрашивает господин из прекрасно тебе известного департамента... Одно такое здание в Петербурге высокое — из какого окна ни глянь, Сибирь видно во всей перспективе...

— Да что я знаю...

— При чем тут Брюсова изба? — спросил Пушкин. — Где она? Разве Брюс здесь бывал?

— Кто говорит — бывал, кто говорит — сказки...

Он принял тот хитровато-глупый вид российского простолюдина, который свойственен людям, твердо намеренным не сболтнуть и полсловечка лишнего. Оставил гореть одну свечу и демонстративно нацелился на нее палкой с жестяным колпачком на конце, давая понять, что пора и честь знать.

— Старче! — угрожающе возвысил голос Красовский. — Ты меня давно знаешь, осерчать могу... Не

дите малое, должен понимать, когда можно шуткануть, а когда шутки кончились...

— А что я? Мое дело — трактир, и не более того. Мало ли что болтают.. А болтают иные, что неподалеку отсюда, у Гавани, с незапамятных времен стоит Брюсов домик, где он занимался сами понимаете чем...

Он показал, если прикинуть, как раз в ту сторону, откуда Пушкин со спутниками и появились... А значит, дальнейшие расспросы не имели никакого смысла: домик на их глазах перестал существовать и вряд ли с рассветом волшебным образом восстановится в прежнем виде...

— Пойдемте, — сказал Пушкин. — Это бессмысленно.

Красовский, пришедший, должно быть, к тем же выводам, что и он только что, кивнул, и они втроем вышли под мрачное ночное небо, где туч сегодня было больше, чем звезд, а луна уже исчезла.

— Я и не знал, что Брюс бывал на Васильевском, — сказал Красовский.

— Это еще не аксиома, — ответил Пушкин. — Народ наш с именем Брюса связывает все, что угодно, чисто собирательная фигура получается, этакое олицетворение российского волшебства...

Обратная дорога, как случается, показалась гораздо короче. Они давно уже перестали на всякий случай оглядываться — и ускорили шаг, чтобы побыстрее добраться до противоположного берега, пока не рассвело и не появились первые прохожие.

Тусклые редкие фонари на понтонном мосту раскачивались — ветер свирепствовал всюду, разыграв-

шись не на шутку, выл и свистел так, что в его гуле чудились членораздельные выкрики и стоны.

— Как бы не к наводнению, — сказал Красовский, придерживая полы фрака, лишившегося пуговиц во время баталии в домике. — Нагонит воду этак-то...

— Не накаркайте, — сказал Пушкин сквозь зубы. — Если даже...

Что-то мокрое, скользкое, ужасно цепкое ухватило его за лодыжку, он пошатнулся и едва не упал. Глянул вниз и вскрикнул: из воды торчала темная ко-рявая конечность, стиснувшая его ногу словно тис-ками. Рядом появилась вторая, уцепилась за край дощатого настила, вынырнула темная макушка, по-ходившая на смоляной шар, облепленный мелкими веточками.

В ноздри ударил омерзительный запах гнили, про-тухшей рыбы и еще чего-то затхлого. Красовский оглушительно выругался — сразу несколько рук, сма-хивавших на длинные головешки, вцепились в его ноги и полы фрака, а молодого американца сгребла под коленки еще одна пара черных конечностей и пыталась уронить на помост. Над водой торчали чер-ные головы, издававшие что-то вроде издевательско-го фыркания, черные фигуры лезли через перила, не-уклюже, но целеустремленно...

Пушкин что было сил ударил свободной ногой, угодив каблуком меж светившимися тускло-синим щелями, больше всего похожими на глаза. Хрустну-ло так, словно он наступил на кучу сухого хвороста, хватка слегка ослабла — и он, выхватив разряженный пистолет, принялся с яростью лупить рукояткой по

высунувшейся меж низкими хлипкими перилами и помостом башке. Рядом ожесточенно отбивались спутники.

Еще один удар — и пальцы-сучки разжались, черная фигура, жалобно постанывая, подалась назад, и Пушкин, собрав все силы, ударом ноги сбил непонятное создание в воду. Булькнуло, по темной воде пошли круги. Он бросился на выручку Красовскому, под его ударами хрустели, переламывались корявые руки. Уже вдвоем они кинулись помогать американцу — его уже свалили несколько пар черных рук и, вцепившись в ворот фрака, в волосы, головой вперед тащили в воду. Сорвав ближайший фонарь, Красовский принялся охаживать им по головам черных тварей, словно булавой действовал. Свеча тут же погасла, отставной прапорщик лупил так, будто сваи забивал — и понемногу им удалось освободить товарища.

Не мешкая, они кинулись бежать к близкому берегу. Скрипели скверно прилаженные доски, мост раскачивался, а вокруг стоял форменный кошмар: с обеих сторон им наперерез высовывались длинные черные руки, в которых, кажется, суставов было больше, чем у обычного человека, растопыренными пятернями старались ухватить за ноги, повалить... До конца моста оставалось совсем немного, когда очередное чудище выползло на помост с невероятной быстротой и, стоя на четвереньках, загородило дорогу.

Памятуя прежние успехи, Пушкин, едва оно поднялось на дыбки разъяренным медведем, ударил его

в лоб кулаком, норовя попасть арабским перстнем промеж глаз-щелочек.

Бесполезно. Только руку отбил, будто ударил от всей души по хворостяному забору. Набежавший Красовский по всем правилам московской драки зацепил мыском башмака ногу чудища и сильным ударом в грудь лишил равновесия. Водяная тварь налетела спиной на перила, звучно проломила их и плюхнулась в воду, подняв брызги выше человеческого роста.

Они выскочили на набережную и пробежали еще несколько саженей, прежде чем осмелились остановиться и оглянуться. На мосту более не было ничего пугающего, не от мира сего — только дощатый помост, качавшиеся под разгулявшимся ветром фонари и темная вода, на которой качались обломки перил.

— Дожили, — сплюнул Красовский. — По Петербургу уже не пройдешь спокойно... Как себя чувствуете, любезный Эдгар? Не кажется ли вам, что у нас чересчур шумно и оживленно по ночам?

— Ну что вы, — вежливо сказал молодой американец. — Видывал я места и оживленнее, когда в лунную ночь по болоту... Но это не самая веселая история, господа, я ее расскажу как-нибудь в другой раз, с вашего позволения...

Красовский вдруг разразился столь громким и веселым хохотом, что Пушкин забеспокоился за его рассудок, торопливо спросил:

— Что с вами?

— Со мной-то? Да ничего. Просто пришло вдруг в голову, что совсем неподалеку отсюда, рукой по-

дать, расположена Академия Наук, чуть ли не прямо под ее окнами эти водяные нас пытались стащить с моста в реку. А ведь наши высокоумные академики все до единого считают то, с чем мы имеем дело, побасенками невежественных мужиков... Что бы кому-то из них стоять сейчас у окна, страдая бессонницей, и своими глазами понаблюдать нашу баталию с этими тварями...

Пушкин сказал грустно:

— У меня есть сильные подозрения, что господа академики, даже увидев что-то подобное своими глазами, объявили бы это обманом зрения и галлюцинациями...

Они шли вдоль боковой стены Адмиралтейства. Справа на гранитной скале вздыбил коня Медный Всадник, который десяток лет простиравший руку к Неве. Мельком оглянувшись на него, Красовский фыркнул:

— Как там у вас, Александр Сергеич? Отсель грозить мы будем шведу... Мне вот пришло в голову: а не грех бы поставить этакий межевой знак, в честь того, что мы за нечисть взялись со всем азартом, да так и написать на нем: отсель грозить вам будем денно и ночью, мохнатые...

— Не поймут нас с вами, — серьезно сказал Пушкин. — Образованное и просвещенное общество в умалишенные запишет. И потом, государственная тайна...

— Да понимаю я. Но все же...

Протяжный металлический скрип раздался справа, совсем близко, они обернулись туда — и тут уж остолбенели напрочь.

Медный Всадник на глазах изменял позу, оживал, шевелился — покрытый зеленым окислом конь коснулся передними ногами гранитной скалы, приняв позу, в какой его не видел никто и никогда, повернул к ним голову, повинувшись жесту императорской руки. А вслед за тем к ним повернулось зеленое лицо самодержца с пустыми, неподвижными, выкаченными глазами — и явственно исказилось гримасой лютой злобы. Правая монаршая рука была уже вытянута в их сторону жестом угрожающим и непреклонным, показалось, что сейчас раздвинутся бронзовые губы и послышится хриплый клекот: «Палача сюда!»

В следующий миг конь с поразительной легкостью взмыл в воздух и, миновав решетку, приземлился на все четыре копыта, звонко ударившие о камень мостовой, так что взлетели искры и повалил черный дым.

Бронзовое лицо обратилось в их сторону, и губы, Пушкин хорошо видел, раздвинулись в жестокой усмешке, и словно бы клыки из-под них показались...

Все это было настолько дико и невероятно, что Красовский в совершеннейшем ошеломлении взмахнул обеими руками, словно загонял на двор сбежавшую курицу, закричал недоуменно и сердито, с командирскими нотками в голосе:

— Ты что это... Порядок нарушать... На место пошел, кому говорю! Живо!

На оживший монумент это не произвело никакого впечатления — зеленые руки подобрали бронзовые

поводья, разворачивая прямо на застывших в ужасе людей оскалившего зубы жеребца, копыта гулко ударили в камень, раздался трескучий скрежет, весьма напоминавший ржанье, — и Медный Всадник ринулся вперед, вперед, вперед...

Они так и не успели подумать ничего вразумительного — ноги сами понесли прочь. Все трое неслись, как зайцы, мимо длинного забора, ограждавшего незавершенный Исаакиевский собор, перепрыгивали через валявшиеся повсюду бревна, кучи досок и прочий хлам — а сзади надвигался, наплывал гулкий топот копыт, напоминавший гром набатного колокола...

Послышался отчаянный вопль. Повернув голову, Пушкин увидел, как бронзовый всадник, ухвативший Красовского за ворот фрака, поднял его в воздух, так что голова отставного прапорщика оказалась вровень с оскалившейся безжизненной физиономией давным-давно почившего самодержца... Крик оборвался — истукан, встряхнув схваченного, как английский терьер — пойманную крысу, широко размахнулся и бросил. Тело Красовского с неопишуемым звуком грянулось на брусчатку, перекатилось и осталось лежать неподвижно.

Американец споткнулся, Пушкин успел подхватить его в последний миг, потащил за собой. Они бежали по площади вдоль нескончаемого фасада Адмиралтейства, сверху послышалось нечто напоминавшее клекот — и Пушкин, подняв голову, увидел, что скульптурная группа морских нимф, несущих небесную сферу, ожила, ближайшая, выпустив земной шар,

попыталась достать его рукой, но располагалась слишком высоко и потому не дотянулась...

Грохот копыт накатывался сзади, как девятый вал.

— Оставьте меня, спасайтесь... — прохрипел американец, едва волочивший ноги.

— Э нет... — еле выговорил Пушкин, подхватывая его и принуждая бежать. — Умирать так умирать, дело служивое...

Он повернул под арку Адмиралтейства — остатки здравого смысла, не парализованные страхом, подсказывали, что шанс на спасение следует искать именно там. На обширной площади, тянувшейся до Зимнего дворца и Главного штаба, бронзовый всадник их без труда настигнет и затопчет, а во дворе Адмиралтейства стоят здания, протекает канал, есть где укрыться...

Грохот стал нестерпимым — Медный Всадник ворвался под арку, не отставая, в этот момент По запынулся и упал во весь рост, на него повалился и Пушкин, гром копыт надвинулся... И стало ясно, что это смерть, особенно нелепая оттого, что никто не будет знать правды и никто не поверит...

Потом обрушилась нежданная тишина. Тянулись мгновения, а он был все еще жив и понимал, что остается на этом свете...

Упираясь ладонями в холодный камень, Пушкин кое-как поднялся на ноги, выпрямился, пошатываясь. Под аркой было совсем темно, но он различал зеленоватый силуэт, расположившийся буквально в паре шагов от него, нависший всей громадой. Отчетливо было видно слабо светившееся зелено-фос-

форическим сиянием лицо императора, пустые мертвые бельма были устремлены прямо на Пушкина, руки теребили широкие бронзовые поводья, но конь, поматывая головой, стоял на месте, даже копытами не бил...

Ум был обострен смертельной опасностью, и он сразу вспомнил то, что совсем недавно произошло во Флоренции. Истерически хохоча, сделал шаг вперед, подняв руку с перстнем, словно бы светившимся в темноте мягким алым сиянием.

Конь попятился, звучно ударив копытами о камни, задел крупом противоположную стену, отчего брызнул сноп искр и повалил черный дым. Пушкин сделал еще шаг, стиснув пальцы так, словно в руке был меч, взметнул руку еще выше — и увидел, вот чудо, с т р а х на бронзовой физиономии, подвижной, но, разумеется, неживой...

— Ах, вот как... — процедил он сквозь зубы, охваченный той бравадой, что заставляет атакующих очертя голову мчать галопом прямо на палящие пушки. — Вам тоже это не по нраву, ваше императорское величество? На вас это действует точно так же, как на флорентийскую свинью? На жалкую флорентийскую хавронью, как выразился бы мой покойный друг, настоящий гусар, а не дрянь? Пошел вон! Назад в свою преисподнюю!

Не было ни страха, ни колебаний, он наступал, охваченный нешуточной яростью, перстень распространял алое сияние — и бронзовый всадник, не выдержав этого напора, круто повернул коня, с оглушительным скрежетом задев каменную стену,

так что взлетело облачко тяжелой пыли. Звонко ударили копыта, монумент вылетел из-под арки на площадь. Пушкин бежал следом, как в горячке, холодный ветер обдал его секущими порывами, студил разгоряченное лицо, трепал лохмотья рубашки. Он остановился, пошатываясь, — и видел, как жуткий всадник ровным аллюром направляется к пустому постаменту, выглядевшему дико, непривычно, так, как никто никогда его не видел, кроме современников воздвижения...

Услышав стон за спиной, он вернулся под арку — алое сияние уже погасло, и двигаться приходилось едва ли не ощупью — приблизился к спутнику, опустился на колени. Американец нашел в темноте его руку, стиснул, быстро, горячечно заговорил на родном языке. Он походил на бредившего, хотя Пушкин не понимал ни слова по-английски.

Чувствуя невероятную слабость, боясь, что сам упадет рядом при попытке встать, Пушкин закричал что было мочи:

— Люди! Кто-нибудь! Люди!

Эхо метнулось под темными сводами, отдаваясь таким диким отзвуком, что он замолчал. Перед глазами плыли цветные пятна, из самых темных углов вроде бы выползли на четвереньках длинные мохнатые создания и стали к нему приближаться, опасливо, с пакостным, трусливым воодушевлением, и он уже не понимал, то ли чудится, то ли нагрянула очередная нечисть.

Сбоку появилось пятно тусклого света, и поначалу в его расстроенном сознании промелькнуло: вот и

костлявая явилась... Прошло какое-то время, и Пушкин, заботливо державший на коленях голову американца, все же опамятовался настолько, чтобы сообразить — это не более чем фонарь в руке кого-то приближавшегося не особенно торопливо, и эта фигура, судя по распространявшемуся вокруг явственному резкому аромату водки и лука, принадлежит все же к числу самых пошлых земных существ, а не посланцев преисподней.

Фонарь замер поодаль, оттуда окликнули боязливо:

— Кто будете? Смотри, будочника кликну...

— Кликни, милый, кликни, — сказал Пушкин слабым голосом. — Кого угодно кликни, я тебя душевно умоляю... Сторож?

— Сторож, — опасливо подтвердили оттуда.

— Помоги, — сказал Пушкин. — Мы люди приличные... С нами стряслось... Стряслось с нами...

Он замолчал, прекрасно понимая, что настоящую причину открывать не следует. Сторож наконец riskнул приблизиться, охнул:

— Кошки вас драли, что ли? А этот, что ж, убрался?

— Кто? — вяло спросил Пушкин, уже понимая, что имеется в виду.

— Известное дело, кто... Опять бродит, надо полагать... Да ты, я вижу, барин, хоть и прямиком из переделки...

— Посвети, — сказал Пушкин.

Сторож наклонил фонарь. Глаза американца были закрыты, он, мотая головой, бормотал что-то непо-

нятное, мокрые от пота волосы — хотя стоял промозглый холод — прилипли ко лбу. В зыбком свете скверного фонаря его лицо казалось старым, изможденным, принадлежавшим совсем другому человеку, за чьими плечами годы странствий и страданий...

Сторож просеменил к выходу из-под арки, побыл там короткое время, вернувшись, присел на корточках рядом с Пушкиным и тихонько сказал:

— Стоит на законном месте, все, как положено, рукою изволит простирасть... Барин будто мертвый на площади... Лежит, храни господь его душу...

— Я знаю, — мертвым голосом сказал Пушкин. — Он был с нами...

— Значит, опять бродил... Знаем-с, насмотрелись, а сказать кому — не поверят, решат, допился... Кто ж поверит, сам не видевши... Барин, а барин...

— Да?

— Прости ты меня на худом слове... да как вы живы-то остались? Не припомню я что-то, чтобы выпадало людям такое везение, когда этот скачет по площади в такие вот ночи... Бог вас хранит, точно...

Эдгар Аллан По бормотал и бормотал что-то несвязное, то выкрикивая нечто наподобие воинских команд — по тону чувствуется, — то тихонько, душевно, словно бы беседуя с приятным ему человеком. Слова чужого языка звучали странно под темными сводами.

Пушкин ощутил невероятную слабость, кружилась голова, слабость разливалась по всему телу, а голова словно бы стала совершенно пустой, и в ней стек-

лянно что-то позвякивало, жар распространялся от колотящегося сердца до кончиков пальцев, и он совершенно точно знал, что вот-вот провалится в беспамятство.

— Позови кого-нибудь, — сказал он, собрав последние силы. — Людей, полицию, докторов... полицию зови... Третье отделение собственной его величества... Третье отделение... Я из Третьего отделения, уяснил ты? Что стоишь? Немедленно...

И обрушился в совершеннейшее небытие.

Глава шестая

ИМЕНЕМ СУЛЕЙМАНА, СЫНА ДАУДА...

— Ну что же, как гласит французская поговорка, все хорошо, что хорошо кончается, — сказал граф Бенкендорф. — Вы еще послужите Отечеству, друг мой, доктора клянутся, что худшее позади, и, собственно, нет никаких оснований ждать чего-то плохого. Банальное перенапряжение сил, и не более того...

Он говорил чрезмерно участливо, чрезмерно бодро, чрезмерно гладко, как всегда почему-то принято изъясняться у постели больного, и Пушкину эти интонации были крайне неприятны. Сам он чувствовал себя не то что больным, но разбитым, что и проверил незамедлительно, приподнявшись в постели, а там и вовсе в ней усевшись. В голове, правда, чувствовался легонький шум, а во всем теле — некоторая слабость, но все это было даже менее того, что порой приходится испытывать утром после веселой ночи. Доктор Арендт, бдительно выдвинувшийся было из дальнего угла при первом его резком движении, присмотрелся, с благодушным почти видом покивал головой и, умиротворенно бормоча что-то под нос, сел на свое место.

Они все были здесь — и князь Вяземский с неизменной сигарой, кою на сей раз вертел в руках незажженной, и Леонтий Васильевич Дуббельт, въедли-

вый и способный мастер сыскного ремесла. Он и подал Пушкину чубук в узорчатой бисерной оплетке, когда тот попросил. Голова приятно закружилась от первой затяжки.

— Сколько... это продолжалось? — спросил он, с удовольствием выпуская дым.

— Менее суток, к счастью, — сказал граф уже другим голосом, лишенным неприятного сюсюканья. — Действительно, ничего страшного. Вы чересчур много на себя взвалили, Александр Сергеевич, и много в короткое время перенесли... Вашему американскому спутнику пришлось значительно хуже. Господа эскулапы за его жизнь, в общем, ручаются, но в один голос уверяют, что в беспамятстве и бреду ему пребывать не менее двух недель, и то при самом оптимистическом прогнозе. Юноша чрезвычайно впечатлителен, слаб душевной конституцией, для него все это оказалось чересчур сильным ударом, вот и... Между прочим, в бреду он говорит прелюбопытнейшие вещи. Даже с поправкой на его болезненное состояние, не подлежит сомнению, что в Америке существует родственная нашей организация...

— Да, он мне говорил, — сказал Пушкин, грустно кривя губы. — И в Великобритании тоже. Нас чертовски мало, и мы врозь, врозь... А что с монументом?

— Которым?

— С Медным Всадником, — сказал Пушкин твердо. — Можете не верить, господа, но на нас напал именно он. Именно он швырнул Красовского на мо-

стовую, а потом преследовал нас с Эдгаром до арки Адмиралтейства. Вы вправе не верить...

— В это трудно верить, конечно, — сказал Бенкендорф и, увидев изменившееся лицо Пушкина, быстро продолжил с неожиданной для него мягкостью: — Не волнуйтесь, голубчик. Я всего-навсего сказал, что верить трудно... но приходится. Леонтий Васильевич, — он сделал жест в сторону наклонившего голову Дуббелта, — предпринял срочные и энергичные разыскания. Предстоит еще много копания в архивах, содержащихся, как это у нас, увы, водится, в беспорядке, но некая суть обрисовалась уже сейчас... Теперь вы, быть может, не поверите, Александр Сергеевич, но первые известия о том, что монумент напал на ночь на прохожих, появились еще при государыне Екатерине. Правда, в отличие от вашего случая, это происходило, как правило, поздней осенью, в особо темные ночи, а также зимой, в метель. Если верить иным рассказам, существуют даже документы полицейских расследований, и, если они не сожраны мышеядью, Леонтий Васильевич их разыщет... Приходится верить. Еще и оттого, что я под предлогом неких государственных необходимостей касаемо возможной реставрации отправился к памятнику сам. И при подробнейшем осмотре извлек застрявшие меж пальцев бронзовой руки крохотные кусочки бархата того же цвета и сорта, из коего был сшит воротник фрака несчастного Красовского. — Он помолчал и сказал, отводя глаза: — Не скажу, что мне приятно было это проделывать, хотя на дворе стоял белый день. Со-

зерцание лица монумента вблизи... В общем, это тот самый бархат.

— И что теперь? — спросил Пушкин.

— А что теперь? — как печальное эхо, повторил Вяземский. — Красовский признан жертвой разбойничьего нападения. Сторож Адмиралтейства, можете себе представить, в ту же ночь ударился в бега и не разыскан до сих пор. Ох, не случайно... как не случайно и воинский караул в Адмиралтействе не предпринял ни малейших попыток покинуть свое помещение. Многие многое знают, да помалкивают. Ну, а что касается нас... Не прикажете же предъявлять монументу обвинение в убийстве?

— Обвинение, конечно же, предъявлять нелепо, — тихонько сказал Дуббельт. — А вот снять я бы его с гранита снял — и поместил куда-нибудь подальше от набережной, в глухое местечко, откуда ему не так просто выбраться...

— Леонтий Васильевич, вы в уме? — мягко спросил граф.

— В том-то и штука, ваше сиятельство, что — в здравом и подозрительном. До Зимнего всего-то несколько сот шагов. Государь император порой прогуливается в тех местах и ночами, и поздней осенью, и зимой. Я вас умоляю осмелиться и предположить возможную вероятность... Родственные отношения, сдается мне, в этом случае не сыграют никакой роли. У оживающих монументов, одержимых к тому же не самыми добрыми помыслами, попросту нет и не может быть родственников в мире живых...

— Леонтий Васильевич!

— Я понимаю щекотливость разговора, ваше сиятельство. Но вы-то сами, положи руку на сердце, рискнете исключить....

Граф молча понурил голову. Это его угрюмое молчание выглядело хуже любого разноса.

— Теперь постарайтесь понять и меня, — сказал он наконец. — Предположим, я отправляюсь к государю и прошу его снять памятник Петру Великому по причине его опасности для неосторожных прохожих и, возможно, самого самодержца... Не услышу ли я в ответ просьбу подлечить здоровье — подольше и подальше от Петербурга? Его величество проявил широту ума, когда поддержал идею создания Особой экспедиции... но в самых общих чертах. Боюсь, для него это будет чересчур... Кто-нибудь из присутствующих рискнет составить соответствующий доклад на высочайшее имя?

Воцарилось долгое молчание.

— Вот то-то, господа, — сказал граф без тени триумфа. — Бездна выведет предприятие...

Он стоял посреди комнаты, сложив руки на груди, хмурый и печальный — герой двенадцатого года, увешанный орденами храбрец, никого и ничего не боявшийся в привычном мире. Молчание затянулось.

— А что с тем домиком на Васильевском? — спросил Пушкин.

— Груда обломков, как вы и рассказывали в полубреду. Что бы это ни было, восстановиться своими силами оно то ли не в состоянии, то ли не имеет такого желания. Я послал туда рабочую команду... с

отцом Никодимом. Все будет собрано до малейшей щепочки и сожжено где-нибудь подальше... а с тем местом отец Никодим проведет должные... Это все, что мы можем сделать. Все. Я навел справки о господине... давайте по-прежнему называть его Джорджем Гордоном. Он преспокойно квартирует на Моховой, ведет оживленную светскую жизнь, принят во многих респектабельных домах — ну как же, джентльмен из Англии, приехавший к нам по каким-то делам, связанным с нашей Академией художеств... и он действительно располагает рекомендательными письмами из Англии, на хорошем счету у британского посланника. В случае, если мы попытаемся что-то против него... предпринять, нам опять-таки придется иметь нелегкую беседу с посланником, который, конечно же, обратится к государю с просьбой защитить своего соотечественника от вопиющего произвола.

— Но в Британии есть соответствующая служба... — сказал Пушкин.

— Вам известны лица, в ней состоящие? Вы имеете возможность с ними снестись и попросить помощи? То-то. И уж совсем нелепо выглядели бы действия против мадьярской дворянки госпожи Палоттай... Вы хотите что-то сказать?

— Они зачем-то слетелись сюда, в Петербург, — сказал Пушкин. — Я никогда не поверю, что ими движет лишь желание увидеть наши достопримечательности. Что-то они замышляют... А эти господа не из тех, кто балуется мелочами.

— Что именно?

— Не знаю. Не могу сказать... точнее, никак не могу свести всё в единую картину. Смысл ускользает, не переходит в слова. Иногда кажется, что вот-вот удастся понять... Нет. Я не могу сложить мозаику.

— Вот видите, — сказал Бенкендорф. — Нам не остается ничего другого, кроме как держать этих... субъектов под самым пристальным наблюдением и надеяться, что мы сможем что-то наконец понять. — Его осунувшееся лицо на миг показалось совсем старым. — Ничего больше мы не в состоянии сделать, господа. Либо ожидание, либо подозрения в нашей умалишенности... Нет у нас другого выбора. Лежите уж, Александр Сергеевич, набирайтесь сил. Авось...

Когда за выходящими мягко затворилась дверь, Пушкин еще долго сидел, уставясь в одну точку, с зажатым в руке погасшим чубуком. Никого из ушедших он ни в чем не винил, они не могли прыгнуть выше себя и взять препятствия, которые взять для человека невозможно. Винить следовало в первую очередь себя — свою полнейшую неспособность соединить в одно непонятно куда и откуда ведущие ниточки. Собственные тупость и бессилие сводили с ума.

Он перевел взгляд на перстень Ибн Маджида — сердоликовое кольцо сохранилось в неприкосновенности. О разговоре с Мирзой Фирузом он ничего не сказал только что ушедшим — потому что возникло ощущение, что с какого-то момента началась его собственная война, на которой он уже

потерял двух друзей, а потому жаждал мести. В конце концов, никто ничем не мог ему помочь, а следовательно, не стоило и отягощать лишними заботами начальство...

Через три четверти часа на улицу вышел известный поэт Александр Сергеевич Пушкин — в однобортном сюртуке синего цвета с бархатным воротником (того же цвета, как и предписывает светская мода), безукоризненных палевых панталонах, глазетовом жилете и белоснежной рубашке из английской шелковой материи в узенькую полоску. Шейный платок, светлее фрака, был повязан опять-таки безукоризненно, а сапоги начищены до блеска. Он небрежно помахивал своей всегдашней тяжелой тростью, но на сей раз пистолетов при нем не было — поскольку оказались бы совершенно бесполезны.

Все встретившиеся ему по дороге знакомые, раскланявшись, делали вывод, что Александр Сергеевич, судя по всему, пребывает в самом беспечном, даже веселом настроении, поскольку именно такое впечатление он производил даже издали. Должно быть, дела его, следовал отсюда вывод, идут успешно, и для огорчений нет ни малейшего повода.

Мнения эти не так уж и расходились с истиной. Он чувствовал разлившийся по всем жилочкам злой и веселый, пьянящий азарт б о я. Не было ни страха, ни сомнений. Слишком хорошо помнил, что даже у себя дома, во Флоренции, эти существа не смогли причинить ему н а с т о я щ е г о вреда — тем более не стоило опасаться всерьез едва шагнувшего в первую половину дня Санкт-Петербурга.

Он прекрасно знал этот особняк, сто раз проходил мимо — хотя внутри бывать не доводилось, хозяева постоянно сдавали его внаем, и среди наемщиков ни разу не оказалось знакомых Пушкина, знакомых его знакомых, словом, никого из тех, к кому он мог бы прийти в гости или по делам.

Сейчас ему пришло в голову, что это, пожалуй, неспроста. Добрый десяток лет дом сдавался людям, жившим словно бы отдельно от светской жизни Петербурга, людям, которых, если вдуматься, никто не знал: нелюдимый помещик из какой-то далекой губернии, ни у кого не бывавший и у себя не принимавший, отставной полковник (опять-таки из забытого Богом гарнизона, черт побери!), столь же мизантропически настроенный. Чудаковатая старая барыня, спавшая днем и бодрствовавшая ночью — с теми же свойствами характера. Непонятный иностранец, тихий, как мышка. И вот теперь, в полном соответствии с традицией...

Нет, на сей раз традиция вроде бы нарушилась: очаровательная мадьярская графиня вовсе не вела жизнь затворницы. Но, учитывая все предыдущее, начинаешь всерьез подозревать, что все эти годы в самом центре Петербурга благоденствовало гнездо — надежно защищенное писаными и неписаными законами цивилизованного общества...

Взбежав по ступенькам, он решительно позвонил в колокольчик. Дверь отворилась практически мгновенно, будто кто-то стоял при ней неотлучно. Перед Пушкиным оказался картинный, прямо скажем, субъект — красавец гвардейских статей, облаченный

в венгерский кафтан из зеленого бархата, расшитый на груди на манер гусарского ментика золотыми шнурами. Черные усы были длиной чуть ли не с локоть, кудри и бакки тщательно завиты, а на поясе красуется самая настоящая сабля, обложенная золотом и украшенная самоцветами. Удивительное дело, но этот молодец вовсе не производил впечатления ряженого, как это случается сплошь и рядом с гайдуками и лакеями, по прихоти хозяев вынужденными наряжаться гусарами Фридриха Великого, эфиопскими принцами или польскими шляхтичами времен турецких войн Речи Посполитой. Красавец выглядел так, словно носил это платье с раннего детства, непринужденно и даже гордо...

— Месье? — вежливо, выжидательно спросил субъект в венгерском кафтане.

Это обращение оказалось в столь вопиющем противоречии с его старинным обликом, что Пушкин едва сдержал улыбку. И сказал с непринужденностью светского петербуржца:

— Я хотел бы засвидетельствовать свое почтение графине Паллоттаи. Это возможно?

— Позвольте узнать ваше имя...

— Александр Пушкин.

Не изменившись в лице, нисколько не медля, красавец ответил с белозубой улыбкой:

— Вас, Александр Сергеевич, графиня готова принять в любое время. Прошу.

И посторонился, плавным жестом предлагая пройти вперед. При этом сабля на его боку колыхнулась так с т е п е н н о, что не осталось никаких сомнений:

она настоящая, тяжелая, боевая. Придется следить, чтобы не получить этой саблей по темечку — в доме, подобном этому, такие предосторожности вовсе не выглядят пустыми страхами... Иные магические предметы, как выяснилось на собственном опыте, способны надежно защитить даже от серьезной нечисти, но падающая на затылок сабля — предмет насквозь материальный, если можно так выразиться, житейский, и от него не спасешься ни молитвами, ни оберегами...

Памятуя свои прошлые приключения в Новороссии, он улучил момент, чтобы посмотреть на провожавшего его по анфиладе великолепно обставленных комнат человека к р а е ш к о м глазу — что порой позволяет увидеть скрытую за маской истинную личину...

Не отшатнулся, ничем не выдал своих чувств. Скорее уж ощутил нечто вроде удовлетворения: ну да, надо было предполагать...

Остались и кафтан, и сабля — но вместо человеческого профиля он увидел нечто, не имеющее с таковым ничего общего: низкий скошенный лоб, вытянутое вперед рыло, полное отсутствие подбородка, красноватый отблеск выпученного глаза, вроде бы белый кривой клык. Не из простых свиней эта свинья, господа мои, стоит остерегаться. Зря, пожалуй, оставил дома пистолеты, ну да сделанного не воротишь...

Наглость, конечно, неопиcуемая: прикинувшиеся людьми непонятные твари средь бела дня, в центре Санкт-Петербурга... а впрочем, как неопровержимо

явствует из пережитого недавно, то же самое происходит не в одной европейской столице, притом — которую сотню лет.

На миг в душе ворохнулся гаденький, неправильный, липкий страх: можем ли мы в этих условиях победить? Или, по крайней мере, поставить дело так, чтобы эти создания снова, как обстояло в незапамятные времена, прятались по диким, необитаемым местам? Ногой не ступая в человеческие города? Не обернется ли цивилизация, материализм, вольномыслие против человечества?

Он вздрогнул и пошел дальше, решительно ставя ногу, — нельзя было даже и в мыслях поддаваться слабости, кто знает, как и что о н и способны чутя. Рассказывал же Мирза Фируз про одного из двенадцати витязей Сулеймана, который в решительный момент на один-единственный миг дрогнул — и поплатился жизнью, несмотря на кольцо...

Анфилада закончилась высокой дубовой дверью, покрытой великолепной резьбой, показавшейся Пушкину совсем непохожей на обычную петербургскую, пусть и искусную работу — было в этих узорах нечто, вовсе не отвратительное, не пугающее, но настолько иное привычному людям искусству... Да и позолоченная ручка казалась сделанной не для человеческой руки, а для чего-то совершенно иного...

«Мадьярец» распахнул дверь, склонился в поклоне — не почтительном лакейском, не учтивом дворянском: низко-низко, на тот манер, что принят был в царствование, скажем, Иоанна Грозного свет Васильевича, коснулся ковра кончиками пальцев. Оста-

лись подозрения, что сделано это было исключительно в целях насмешки. Или они настолько уверены в собственных силах, что деликатничать не видят смысла? Не стоит ломать над всем этим голову. Нужно помнить о главном, что рассказал Мирза Фируз: при всех своих сверхъестественных способностях джинны начисто лишены возможности предвидеть будущее, даже самое близкое, в чем, несомненно, кроется их ахиллесова пята...

За дверью, надо же, обнаружилась ничем не выдающаяся гостиная, роскошно обставленная, но смахивавшая на десятки своих товаров в богатых, со вкусом устроенных домах.

— Прошу вас, дражайший Александр Сергеевич, — проговорил «мадьярец» уже с несомненной насмешкой в голосе, видя, что Пушкин задержался на пороге. — Вы у друзей, вам совершенно нечего опасаться, наоборот, окажись я, недостойный, на вашем месте, почитал бы себя счастливецом...

Пушкину пришла в голову неожиданная идея. Запустив руку в жилетный карман, извлек в целях научного эксперимента серебряный рубль и протянул его провожатому, сказав небрежно, тем тоном, каким и обращаются к л ю д я м:

— За труды, голубчик...

И ощутил разочарование: «мадьярец» от серебра не шарахнулся, не отдернул лапу. Преспокойно взял серебряный кругляк с двуглавым орлом, подбросил его на ладони и опустил в карман черных панталон, заправленных в высокие сапоги. Сказал почтительнейше:

— Премного благодарны, ваша светлость-с, в кабаке пропьем непременно и нынче же, а как же... Ну как, идете?

И ослабился, в человеческом облике, конечно — но ухмылка все равно была самая гадостная. Пушкин переступил порог, сделал пару шагов по великолепному ковру, покрытому теми же странными узорами, лежащими где-то вдалеке от человеческого искусства...

Яркое солнце ударило ему в лицо, а под ногами вместо ковра оказалась высокая трава неправдоподобной зелени и яркости, будто светящаяся изнутри... Да нет, не под ногами, она достигала щиколоток, а в некоторых местах поднималась еще выше. Вокруг вздымались столь же неправдоподобно зеленые и яркие деревья, ничуть не похожие на все, что ему доводилось видеть в жизни, словно бы и не деревья вовсе, а папоротниковые кусты, только исполинские, вздымавшиеся на невероятную высоту, если сравнивать с домами, то этажей выйдет не менее двадцати, пожалуй что, и крест Исаакия окажется пониже разлапистых вершин...

Солнце стояло слева — явственно отливавшее лазурью, голубизной, казалось больше и ярче обычного, сиявшего над тем миром, где он родился и прожил всю сознательную жизнь. Что-то летучее стремительно проносилось в вышине — ничуть не похожее на птиц, с длинными прозрачными крыльями, вспыхивавшими мириадами радужных вспышек. Пушкин, присмотревшись, стал подозревать в этих существах самых обычных стрекоз — но размеры, размеры! Эта-

кая, не особенно и утруждаясь, слету подхватит и унесет барана...

Он почувствовал влажную, жаркую духоту — и это были не его собственные ощущения, вокруг и в самом деле сгустилась влажная жара, словно в натопленной бане, где уже щедро выплеснуто несколько ковшей кваса на раскаленные камни.

Это был другой мир, совершенно чужой — и даже окружающая тишина казалась не то чтобы зловещей, а и н о й...

Протяжный звук, нечто среднее меж ревом и мычанием, пронесся справа, заставив вздрогнуть. Исполинские папоротники, росшие не особенно густо, едва заметно покачивали под ветерком изящными листьями, под каждым из которых, пожалуй, мог без тесноты и толкучки разместиться конный эскадрон.

Страху не было — только безмерное удивление перед этим загадочным местом.

Потом впереди, меж двумя изящно-великанскими деревьями показалось что-то белое, стало приближаться.

Очень быстро он узнал Катарину, она шла в высокой траве неторопливой, спокойной походкой, поступью х о з я й к и, на ней было непривычное платье — короткое, едва прикрывавшее ноги, открывавшее плечи и грудь, но не похожее на наряд древнегреческих вакханок, каким его представляют художники и скульпторы: простенькое и вместе с тем таившее непонятную вычурность, словно белоснежное облако каким-то чудом превратилось в трепетавшую вокруг стройной фигуры материю из ска-

зок. Она уже не была темноволосой — вновь на плечи падали золотистые кудри, и солнечные лучи играли в них золотисто-синими искрами. Голубые глаза... У него не было слов. Она была сейчас столь пленительной, словно соединила в себе красоту всех женщин мира, глядя на нее, хотелось плакать и смеяться одновременно, она была, как музыка, как волшебная песня...

Она была уже совсем близко — и, увидев его, улыбнулась с такой искренней радостью, какой и не должно было существовать на земле...

То, что он намеревался сделать, ради чего пришел, показалось вдруг настолько подлым, грязным, позорным, что Пушкин буквально сотрясся в корчах от презрения к самому себе...

И взял себя в руки величайшим усилием воли. Заставил себя вспомнить, что все, от чего расплывается в умиленной улыбке лицо и поет сердце — наваждение, морок, коварство, что перед ним не пленительная женщина из плоти и крови, а невероятно древнее существо, не имеющее никакого отношения к роду человеческому, наоборот, пылающее к людям злобой и ненавистью, которые они не в состоянии осознать...

И стал все же чуточку трезвее, холоднее, исполнился прежней решимости — но некая часть сознания оставалась во власти наваждения. Не настолько, впрочем, чтобы перебороть прежнего господина Пушкина, прилежного сотрудника известной экспедиции...

Катарина остановилась перед ним, подала руку — и, как ты себя ни настраивай на трезвомыслящий

лад, невозможно отделаться от впечатления, что держишь в ладони теплые, тонкие, изящные девичьи пальчики, и хочется приложить их к щеке, к губам, а далее поднять руку несмело, как мальчик, одними кончиками пальцев коснуться золотистой пряди, шеи, плеча...

Перед глазами у него встало лицо графа Тарловски, насквозь пронзенного острием, — удивленное, без гримасы боли. И взгляд Алоизиуса — остановившийся, мертвый, но все равно упрямый...

И наваждение, охватившее его сладкими волнами, рассеялось едва ли не вовсе. Вернулась яростная злость.

— Я так рада, что вы пришли, милый Саша... — сказала она, открыто и улыбочиво глядя в глаза.

Шагнув назад, Пушкин вырвал руку из ее пальцев и спросил неприязненно:

— Что это за место?

— О, это прекрасное место... — отозвалась она, полузакрыв глаза. — Это место из тех времен, когда на Земле еще не было никого из вас, да и времен не было — а вот мы уже владели всем миром...

— Ностальгия? — насмешливо поинтересовался он.

— А что в этом преступного? — Катарина пожалала плечами. — Я рада, что ты пришел. И рада, что у тебя все хорошо. До меня доходили слухи, что ты угодил в неприятности...

— Которыми ты же и руководила?

— Милый, что за беспочвенные подозрения! Вовпервых, у меня нет времени руководить проказами и будничными хлопотами моих мелких... а во-вто-

рых, что гораздо важнее, я подобными убогими и проказами не занимаюсь, для меня это чересчур низко. Ты же не чистишь сам себе сапоги? Вот видишь... И наконец, самое важное: я ни за что не стала бы причинять тебе вред. Потому что все еще надеюсь увидеть тебя здесь. — Она грациозным жестом обнаженной руки обвела окружающую местность. — Ты понимаешь, о чем я?

— Понимаю, — сказал он угрюмо. — И есть у меня сильные подозрения, что все истории о рыцарях, влюблявшихся в наяд, дриад и прочих русалок с феями берут основание не на пустом месте...

— Ну разумеется, — кивнула она с обворожительной улыбкой. — И что в том плохого, если речь идет о самой пылкой и романтической любви?

— Все эти истории плохо кончались.

— Признай, что далеко не все... Ведь правда?

— Не отрицаю, — сказал Пушкин. — Дела это не меняет ни в малейшей степени...

Катарина заглянула ему в глаза:

— Ты держишься так, словно я в чем-то перед тобой виновата...

— Ну разумеется, — сказал он твердо. — Ты убила моих друзей. Там, в Праге, я тебя ни разу не видел, вообще не знал еще, что ты существуешь, но без тебя, конечно, не обошлось...

— Тебе не кажется, что называть их друзьями было бы чересчур поспешно?

— У нас был общий враг. А это уже кое-что...

— Брось, — сказала Катарина, казавшаяся сейчас олицетворением задушевности и простоты. — Тебе

вовсе не обязательно продолжать эту глупую войну, потому что лично к тебе я...

Он ощущал в себе достаточно сил, но все же не на шутку боялся, что может дрогнуть, поддаться наваждению. И потому, старательнейшим образом повторив в памяти все, полученное от Мирзы Фируза, поднял сжатую в кулак руку с кольцом на пальце, обратив вырезанные на перстне знаки прямехонько в ее сторону. Воскликнул:

— Агузу би-ллахи мин аш-шайтан ар-раджим!

Не только лицо Катарины, но и вся окружающая местность исказились гримасой, взвыл необычно могучий, тугой ветер, раскачавший исполинские папоротники так, что вершины иных гулко хлестнули по земле.

Теперь главное было — не сбиться, иначе живым отсюда уже не выйдешь... И Пушкин старательно, громко повторял, уже из Корана, как полагалось:

— И есть среди нас предавшие себя Аллаху, и среди нас есть отступившие; а кто предал себя, те пошли прямым путем, а отступившие — дрова для геенны...

Ветер выл, свистел, ревел, с оглушительным треском рушились папоротники, Пушкина едва не накрыла огромная ветвь, шлепнувшая по земле совсем рядом, но он стоял, расставив ноги, покрепче упершись ими в землю, продолжал:

— А если бы они устояли прямо на пути, мы напоили бы их водой обильной, чтобы испытать их об этом; а кто отвращается от поминания Господа своего, того введет Он в наказание тягостное... Места

поклонения — для Аллаха, поэтому не призывайте с Аллахом никого!

Вокруг происходило что-то странное — равнина, покрытая поваленными папоротниками и высокой травой, стала словно бы таять, как дым или туман, сквозь нее просвечивала обстановка той самой роскошной гостиной, с коврами и золоченой мебелью, с высокими малахитовыми вазами в углах. И вскоре равнина стала отдельными о б р ы в к а м и, плававшими в воздухе, как куски кисеи, их становилось все меньше и меньше, они таяли, таяли, таяли...

Невероятно стройная женская фигурка в невесомом белом платье, стоявшая перед Пушкиным, менялась на глазах. Кожа ее становилась все более белой, а там и прозрачной, словно эта самая красивая на свете женщина была отлитой из стекла и наполнена чем-то темным, колышущимся — а потом стало ясно, что это пламя, жарко заблиставшее в глазницах, в ноздрях, во рту, рвавшееся наружу...

Невероятно тонкие световые фигуры, повторявшие рисунки знаков, метнулись из кольца, ослепительным пучком вонзились в невыразимо прекрасную стеклянную маску, освещенную изнутри переливами ало-желтого огня. И тогда он закричал последнее, главное:

— Ты, существо, сотворенное не из глины звучащей, а из огня знойного! Умри, во имя Сулеймана Ибн Дауда, исчезни во имя Аллаха!

Нечеловеческий визг, от которого, казалось, рассекается череп, наполнил комнату. На месте Катарины, на месте налитой огнем стеклянной фигуры взметну-

лись языки пламени — сначала ослепительно белые, потом алые, желтые и, наконец, черные. Пушкин в жизни не подумал бы, что огонь может быть черным — но именно черные языки, неописуемо прекрасные, метались перед ним, играя тысячами оттенков, всеми цветами, какие только есть на свете...

И все кончилось. Что-то белое упало перед ним на ковер, смятаясь, превращаясь в комок — легкое, невесомое на вид. Он наклонился, без малейшей брезгливости ухватил, поднял.

Это было что-то вроде легчайшей, будто пух, оболочки, в точности повторявшей человеческое тело — и черты лица тоже. Оно ничуть не походило на куклу, содранную кожу — из продолговатого кома вдруг проглянулось совершенно живое, казалось бы, лицо Катарины, разве что застывшее без выражения, с провалами вместо глаз...

Пушкин, вскрикнув, отбросил это — и оно стало рваться, обратившись словно бы в стайку белоснежных мотыльков или вихорек поднятых порывом ветра клочков легчайшей белой бумаги, а потом растаяло, как снег на шубе вошедшего в жарко натопленную переднюю человека.

Вокруг тоже что-то происходило. Тихие шорохи превратились в громкое неприятное хлюпанье, хлопотанье, раздавались там и сям звонкие шлепки, словно с потолка падали огромные капли чего-то жидкого, но липкого и тяжелого, тяжелее воды.

Гостиная обращалась во что-то омерзительное. Прекрасные малахитовые вазы превратились в оплывшие комья ядовито-зеленого цвета, на глазах осе-

давшие, растекавшиеся, золоченая мебель приобрела уродливые формы, таяла, будто брошенный на раскаленную плиту кусок воска, пушистые ковры под ногами покрылись ширившимися дырами, словно их с невероятной быстротой пожирала стаи невидимой моли... Все вокруг распадалось, таяло, оплывало, растекалось, воняло гнилью и падалью, хлюпало и булькало, со стен ползли серые потоки чего-то совершенно уже непонятного — исчезали обои и картины в золоченых рамах.

Дубовые двери ходили волнами, вспучиваясь и содрагаясь, испугавшись, что стихия разрушения, распада увлечет за собой и его неведомо в какие грязные пропасти, Пушкин кинулся прочь. Ручка, за которую он ухватился, уже не была золоченой бронзой — она скорее напоминала корчившееся змеиное тело. Но открыть дверь все же удалось, он выскочил и кинулся сломя голову бежать по анфиладе... по анфиладе, напоминавшей бесконечный темный тоннель, где по стенам сползали бурлящие серые потоки. Ноги по щиколотку увязли в жидкой грязи. С потолка уже лились струи, пахнувшие затхло и незнакомо.

Звонко зашлепали шаги. Два мохнатых, скрюченных тела, с невероятной быстротой передвигавшиеся на четвереньках, обогнали его, шумно расплескивая грязь, — а потом с налету врезались мордами в стену, даже не попытавшись выскочить в дверной проем, упали, корчась, шипя, жалобно визжа...

Не обращая на них внимания, Пушкин пробежал мимо. Темнота сгущалась, он буквально проламывал-

ся сквозь льющиеся с потолка толстенные струи густой грязи и бившие из-под ног фонтаны чего-то тяжелого, липкого. Нога, задевшая твердое препятствие, выворотила из грязи человеческий череп, Пушкин запнулся о него, удержал равновесие...

Сбоку сквозь грязевой ливень проломилась непонятная и несуразная, но, несомненно, человеческая фигура, кинулась к нему, уцепилась за рукав. Пушкин едва не отшвырнул ее ударом кулака, но каким-то наитием опознал в этой перепачканной грязью физиономии лицо человека, которого менее всего ожидал здесь увидеть — незадачливого кукольника Руджиери, бездарного продолжателя династии алхимиков и чернокнижников. Итальянец что-то подвывал, совершенно не владея собой, — и Пушкин поволок его к дверям, пожалуй, не из человеколюбия, а чисто машинально.

Вокруг окончательно разладилось, как будто с гибелью хозяйки дом был не способен существовать самостоятельно — широкая лестница, по которой они бегом спускались в вестибюль, сохранила форму и твердость — поскольку принадлежала все же нашему миру — но оказалась покрыта скопищем чего-то напоминавшего мокрые мелкие косточки, россыпью то ли больших ракушек, то ли крохотных черепов неведомых тварей, ноги скользили и вязли в этом месиве. То, что прежде было огромной вычурной люстрой, обратилось в громадный, порхавший под потолком скелет непонятно кого: торчат десятки костяков птичьих крыльев, переплетаются ажурные шары, опять-таки сплетенные

из непонятных костей, высовываются повсюду длинные зубчатые черепа наподобие рыбьих, и эта фантазмагория в человеческий рост плавает под потолком, с которого льет дождь огромных, звонких капель серого цвета...

Растопыренной ладонью Пушкин с размаху ударил в высокую входную дверь, почувствовал под рукой живое, подавшееся, мохнатое и омерзительно холодное — но в глаза ему ударил солнечный свет, он сбежал по ступенькам, таща за собой кукольника, остановился на нижней, прислонясь к знакомому мраморному льву, не потерпевшему, конечно же, никаких метаморфоз. Огляделся в совершеннейшей растрепанности чувств.

Мир вокруг был самым обычным — петербургская улица, сколько-то часов пополудни. Прохожих немного, как обычно здесь в это время дня, так что никто не обращал на них внимания.

Оглядев себя, Пушкин с изумлением обнаружил, что его платье, лицо и руки совершенно чисты, как будто и не было долгого бега чуть ли не по пояс в грязи, как будто и не было студнеподобного ливня. Оглянулся. Дом выглядел как всегда — не особенно и роскошный трехэтажный особняк, невысокие колонны, поддерживавшие фронтон, два мраморных льва по сторонам парадной лестницы — не особенно и большие, изваянные уж явно не Микеланджело. Тишина. То, что происходило внутри, вроде бы не собиралось выплеснуться наружу. Трудно сейчас гадать, но, вероятнее всего, те, кто войдут вскоре в дом, обнаружат там не скопище непонятной грязи и

уж безусловно не заросшие диковинными растениями равнины — спорить можно, увидят всего-навсего невероятно захламленные покои, в которых несколько десятков лет люди не жили вовсе...

Он разделался с гнездом, никаких сомнений. Вот только радости от победы не чувствовалось совершенно — еще и оттого, что смутно подозревал: это еще не победа...

Спohватившись, посмотрел себе под ноги. Руджиери — на котором тоже не усматривалось ни малейших следов грязи и мусора — полусидел-полулежал у низкого постамента, на котором помещался лев. Лицо кукольника Пушкину крайне не понравилось — оно на глазах заливалось нездоровой синюшной бледностью, Руджиери тяжело дышал, пытаясь правой рукой расслабить галстук, устремленные в небо глаза казались лишенными всякого выражения.

Не было времени на сочувствие, жалость, простое человеческое участие. Склонившись, Пушкин бесцеремонно ухватил итальянца за лацканы темно-красного сюртука, потряс и закричал ему в лицо:

— Что вы тут опять замышляли, скотина этакая?!

Лицо итальянца было отрешенным, как у глухого.

— И посыплутся короны, как осенние листья... — пробормотал он, заводя глаза под лоб. — И посыплутся короны... Вы их все равно не остановите, Алессандро... — И он разразился тоненьким, противным смехом сумасшедшего. — Вы, слабые людишки, бессильны перед древностью...

— Что ты здесь делал, мерзавец? — закричал Пушкин ему в лицо. — Ты ведь не мог сюда попасть случайно? Они тебя зачем-то привезли, ты им был нужен...

— Освобождение, — внятно выговорил Руджиери.

— Что? — недоумевающе спросил Пушкин.

Хихикая, итальянец отпустил галстук, поднял правую руку, суя ее чуть ли не под нос Пушкину. Присмотревшись, тот увидел на пальце кукольника перстень — вот только красный камень в оправе, державшийся, оказалось, на тонком золотом шпенечке, был сдвинут в сторону, и под камнем открылось крохотное углубление. Классическая, оваянная веками итальянская традиция — тайник в перстне, как правило, предназначенный для...

Вновь опустившись на корточки, Пушкин пригляделся. В правом углу рта итальянца, по-прежнему ухмылявшегося конвульсивно и зло, вздувались ярко-зеленые пузыри — и тут же лопались.

— Освобождение, — повторил Руджиери, изображая цепенеющим лицом подобие улыбки. — И провалитесь вы все в преисподнюю, дайте несчастному человеку покоя... черт бы побрал ваши сложности и хитросплетения... я всего-то-навсего хотел жить покойно и в достатке, и не более того... не нужны мне были никакие грандиозности... и джинны... и ты тоже, щенок... я хотел жить спокойно и богато, а вы все мне мешали, чума на ваши...

Его губы дрогнули и застыли, лицо оцепенело окончательно. Из рта с шумом вырвался последний вздох, голова упала на плечо, и Руджиери устался

остекленевшими глазами куда-то сквозь Пушкина. Все было бесполезно, ускользнул, поганец...

Что-то потянуло правую руку к земле нешуточной тяжестью. В первый миг Пушкин дернулся, как от удара, показалось, что отзвуки только что завершившейся битвы достали его и на улице. Но очень быстро отыскал причину.

Сердоликовое кольцо Ибн-Маджида изменилось. Исчезла полупрозрачная теплота камня, перстень стал и на вид и на вес отлитым из чугуна — неприглядный темный обруч, неприятно давивший на палец, так что и в самом деле не мудрено было подумать в первый миг, что руку словно гирей отяготили. На месте искусно вырезанной надписи — щербинки и ямки, не имевшие ничего общего с письменами.

Он почувствовал грусть и нешуточную обиду, словно кто-то его жестоко обманул. Так не должно было быть — но случилось. Почему? Оттого, что кольцо исполнило свое назначение? Оттого, что Пушкин был другой веры, не той, что витязи Сулеймана? Кто бы мог объяснить...

Пора было уходить, пока не появились первые любопытные, не столпились зеваки, не получилась излишняя огласка и прочие хлопоты. Делать здесь более совершенно нечего.

Оглядев себя и приведя в порядок сбившийся шейный платок, Пушкин пошел прочь походкой никуда не торопившегося человека, чувствуя томительную тоску, от которой никак не мог отделаться: перед глазами с невероятной четкостью стояло лицо

Катарины. Он понимал, что это существо не имело человеческого имени, что у него вообще не было ничего общего с человеческим родом, что красота была не более чем иллюзией из огня знойного — все он понимал, но поделаться с собой ничего не мог, тоска не проходила, и он боялся, что придется жить с ней все оставшиеся дни. Разум оказался на одной стороне, а сердце — на другой. Он твердо знал, что никогда в жизни не увидит ничего более прекрасного, чем очаровательная женщина в белом платье, идущая по диковинной равнине, по зеленой траве несуществующих теперь времен. В голове стало что-то складываться. Иллюзии угодны сердцу... Нет. Иллюзии душе угодны, хоть отвратительны уму. А вот это уже было гораздо лучше. Итак... Иллюзии душе угодны, хоть отвратительны уму, а далее... Поневоле напрашивается рифма «благородны», но это чересчур банально, скорее уж «черты несходны»... и побуждения несходны ...

Нет, он не мог сейчас думать о стихах. Терзался загадкой: он кого он уже слышал в свое время эти слова — касаясь королевских корон... или просто корон, уподобившихся осенним листьям? А ведь это было совсем недавно...

Глава седьмая БРОНЗОВЫЙ КОНДОТЬЕР

Сам по себе Илларион Дмитриевич Ласунов-Ласунский был личностью бесцветнейшей — ни злодей, ни добряк, ни острослов, ни зануда, одним словом, субъект, прямо-таки блиставший совершеннейшим отсутствием как грехов, так и добродетелей. Страстей в его размеренной жизни не было никаких, кроме одного-единственного п у н к т и к а. Во времена оны совсем тогда молодому поручику Ласунову-Ласунскому выпало три года прослужить одним из адъютантов светлейшего князя Потемкина незадолго до его кончины — и с тех пор он полагал, что его долгая, не лишенная приключений и наград, опасностей и приятностей жизнь была всего-навсего обрамлением этого самого трехлетнего адъютантства при человеке, коего отставной полковник полагал великим...

Портретов светлейшего в доме Ласунова-Ласунского было — не перечесать. Бюстов — аналогично. По стенам кое-где висели положенные под стекло и вставленные в золоченые рамки непритязательные бумажки с парой строк, собственноручно начертанных кумиром, — правда, общеизвестно, что с красотою почерка у Потемкина обстояло далеко не лучшим образом, как и с грамотностью, так что это не на всякого производило впечатление.

Не перечесть, сколько денег выманили у старика многочисленные проходимцы, выдававшие себя за впавших в бедность побочных внуков светлейшего, а то и троюродных племянников. Равно как несказанно обогатились и иные беззастенчивые антиквари, приносившие Иллариону Дмитриевичу те или иные вещицы, принадлежавшие якобы Потемкину (подлинность подавляющего большинства из них истинные знатоки держали под крепким сомнением, но в доме Ласунова-Ласунского о том и заикнуться не смели, чтобы не быть изгнанными за порог). Свои обширные воспоминания о службе при светлейшем бывший адъютант давненько уж грозился явить миру, но бесконечно их переписывал, расширяя и обогащая очередными скучнейшими подробностями, неинтересными никому, кроме него самого — а потому книгоиздатели доселе могли спать спокойно. Бывать у Ласунова-Ласунского оказывалось, как легко догадаться, сущим мучением: приходилось выслушивать нескончаемые монологи о былых временах, знакомые уже, как «Отче наш», от сих и до сих — и добро бы интересные, но касавшиеся опять-таки скучнейших, ничем не примечательных будней (так уж сложилось, что в свое время адъютант занимался при светлейшем делами третьестепенными, не способными привлечь даже честолюбивых молодых историков, по недостатку свершений и неопытности кидавшихся на всякие исторические пустяки).

Ну кому, скажите на милость, интересна сейчас фамилия интендантского майора, ведавшего достав-

кой в Новороссию соли, уксуса и табака? При том, что интендант этот — ворюга, конечно, как испокон веков за этим племенем водилось — жил удивительно скучно и казнокрадствовал так же, без малейшей фантазии, да вот поди ж ты, частенько бывал в канцелярии у Ласунова-Ласунского, являлся за распоряжениями светлейшего, курил с адъютантом чубуки, играл в шахматы, благодаря чему и стал неотъемлемой частью неизданных мемуаров.

Кому интересны ныне подробности и детали отправки в Аккерман бревен для строительства, а в Одессу — тесаного камня? Опять-таки лишенные интересных подробностей и примечательных исторических анекдотов. Но в свое время именно Ласунов-Ласунский по поручению светлейшего занимался этим предприятием — а потому любил его живописать подробнейшим образом.

Но одно примиряло со всеми неудобствами — знаменитые обеды Ласунова-Ласунского — как легко догадаться, построенные на вкусах светлейшего. Воспроизводить их в точности бывшему адъютанту было, конечно, не по силам и средствам: и поваров таких уже не сыщешь, и серебряного сервиза весом в пуды уже не заведешь, и рецепты иные утрачены. И все же в Петербурге только у Ласунова-Ласунского можно было отведать иные любимые Потемкиным блюда вроде ухи из аршинных стерлядей и кронштадтских ершей (хотя и готовилась она уже не в чане на двадцать ведер жидкости, как когда-то у светлейшего). Или увидеть подаваемую на стол свинью, одна половина которой была зажарена, а другая, благодаря ис-

кусству повара — сварена. Или поесть гусиной печенки, которую на манер Потемкина размачивали в меду и молоке, после чего размеры она приобретала невероятные. А была еще похлебка из рябчиков с пармезаном и каштанами, и телячьи хвосты по-татарски, и голуби по-станиславски, и телячьи уши крошенные, и бекасы с устрицами. Правда, далеко не всем приходились по вкусу говяжьих глаза в соусе, во времена Потемкина именовавшемся «поутру проснувшись». Злые языки передавали, что и сам гастроном-хозяин кушал последнее яство с глубокой внутренней неохотой — но чего не сделаешь ради поклонения кумиру, господи мои... Зато говяжья небная часть в золе, гарнированная трюфелями, а также горлицы а-ля Ноялев и гато из зеленого винограда были, безусловно, хороши.

Пушкин был завсегдатаем этих обедов — не только из-за хорошего стола, но еще из-за того, что там всегда можно было встретить Наталью Кирилловну Загремскую, дочь последнего гетмана Малороссии Разумовского, свидетельницу шести царствований, начиная от Елизаветы Петровны и включая нынешнее. Истинная барыня давно ушедшего времени, дама своеобразнейшая, пребывавшая, несмотря на годы, в здравом рассудке и твердой памяти, она была источником бесценных исторических сведений.

А также — единственной, кто мог сейчас за столом перечить Ласунову-Ласунскому и поправлять во всем, что касалось до светлейшего князя Потемкина — потому что была старше хозяина на чет-

верть века, а в обществе вращалась в несравнимо более высших кругах, нежели когда-то скромный поручик, пусть и адъютант князя. Его еще и на свете-то не было, а Натали Разумовская уже блистала при дворе...

Князь Вяземский именовал ее «обольстительною владычицей» и сравнивал с пышным старинным портретом. Пушкин любил часами ее слушать — но не сейчас. Сейчас он сидел, полностью погруженный в собственные мысли, вяло ковырялся в поданных блюдах, частенько совершенно не слышал разговоров. Забота была прежняя: кусочки мозаики вертелись и плясали, не желая укладываться в целостное изображение, ну, а поскольку речь шла не о детской головоломке, которую в любой момент можно забросить навсегда...

Он встрепнулся, поднял голову, услышав имя Брюса.

За столом ему досталось место справа от Загремской (как бы он за такой случай благодарил Фортуна в другой раз!), а слева от нее помещался Грановский, ровесник Пушкина, делавший быструю карьеру по Министерству иностранных дел — молодой человек, как нынче водится, самых материалистических взглядов. Он-то и послужил объектом ворчания старухи.

— Вы, сударь мой, молодые вольнодумцы имеете право думать о Брюсе что вам угодно, в соответствии с вольтерьянством и этим, как то бишь его... атмосферным электричеством, — говорила она своим обычным тоном столичного генерала, ревизую-

щего захоластный гарнизон. — Но уж и нам, ранешним, позвольте свое суждение иметь... Кузьма мне доложил утром, что ночью на Васильевском произошло странное событие — развалился в доски и щепу домик Брюса возле Гавани. И слава богу, долго ж его терпела на этом свете небесная канцелярия...

— Как же, наслышан, — сказал Грановский тем светским тоном, в коем насмешка не выражается явно, но прекрасно видна. — Тот самый домик, где он из букетов цветов делал натуральных девиц, золото из свинца изобретал, а также переговаривался с селенитами посредством волшебного утюга...

— Насчет селенитов и золота из свинца — врать не буду, не слышала. О девках из цветов полагаю, что это сплошная басня: Яков Вилимович Брюс, как все заграничные немцы, был человеком расчетливым и вряд ли стал бы тратить время и цветы на изготовление девок — этого добра и так хоть завались... о чем вы с Сашкой Пушкиным прекрасно осведомлены, хоть он и уткнулся в тарелку, делая вид, будто увлечен Музою... А вот про статуи, господа мои, говорили всерьез...

— Про какие статуи? — не вытерпел Пушкин, включаясь в беседу.

— А разве ты меня не расспрашивал?

— Не припомню, чтобы речь шла об этом...

— И зря, — сурово сказала Загремская. — Надобно вам знать, господа молодые насмешники, что Брюс обладал умением оживлять статуи... не в людей их превращать, а именно что оживлять на

время, я имею в виду. И речь шла опять-таки не о прозаических девках, а о более серьезных... и жутких делах. При государе Петре Великом все, кто был от него поблизости, людьми были наперечет умнейшими, крупными, государственного размаха и полета... вот только они еще при этом были в полной мере подвержены влиянию порочных страстей. И предавались им, в соответствии со своей личностью, с небывалым размахом. Не чураясь того, за что людишкам помельче лоб клеймят и посылают за казенный счет в Нерчинск... Александр Данилыч Меншиков крал. Миллионами. Такой уж у них, судари мои, был размах и полет — красть, так уж круглыми миллионами, швырять людишек в медвежью яму — так по дюжине зараз, в карты дуться — так уж не на прозаические монеты, а на кучки брильянтов, как я своими глазами видывала при дворе матушки Екатерины. — Она обвела взглядом стол, у которого ножки ломились от блюд. — Кстати сказать, матушка кулинарные изыски откровенно недолюбливала и предпочитала блюда самые простые: разварную говядину с соленым огурцом да соус из вяленых оленьих языков. Но вот в карты играть предпочитала отнюдь не на медные гроши... Так о чем я? Ага, о Брюсе и роковых страстях человеческих... Про это уже все забыли, но в той самой избушке на Васильевском Брюс и производил свои чернокнижные практики над статуями. И не только там, но еще и в Сарском Селе, которое в те поры было простой отдаленной мызой, не имевшей никакого отношения к

августейшей фамилии. Говорят, что там, в Сарском, он и закопал однажды те самые свои бумаги, коих после его смерти так и не нашли, хотя было доподлинно известно, что бумаг от него осталось не менее чем полвоза...

— В Сарском? — вырвалось у Пушкина. — А место?

— Кто ж его знал, место... Искали многие, да поди найди... Есть замороженные клады — на десятого человека, на заклятье или, скажем, на ведро сосновых шишек, каковое следует высыпать в яму. Так ведь это обычные клады, денежные, разбойничьи, а вы представьте, каков зарок на Б р ю с о в о м кладе. А кому попало не откроется, да кто попало и не сунется, если здравомыслящ... Так вот, о статуях. Брюс их оживлял, как хотел и когда хотел, но на его мраморных или там бронзовых болванов была наложена о г о в о р к а — выполнить они могли одно-единственное поручение, после чего окаменевали вновь, на сей раз вроде бы уже навсегда. Почему положена такая оговорка, мне неизвестно, но подозреваю, все дело в том, что Господь наш все же не всепрощающ и разгуляться в в о л ю нечисти не дает... Короче говоря, такая на них была оговорка положена, и преступить ее они не могли. Сделал что-то р а з — и опять забронзовел, как приличной статуе и положено испокон веков.

— Наталья Кирилловна, — проникновенно сказал Грановский. — При всем моем к вам уважении и почтении, рискну предположить, что сами вы оживших Брюсовых статуй не видывали, потому что по-

мер фельдмаршал Брюс за многие годы до вашего появления на свет...

Старуха спокойно ответила:

— А разве я тебя, сокол мой, уверяю, будто сама видела? Бог миловал, иначе, глядишь, и удар хватил бы в полном расцвете лет... Зато прекрасно я знала человека, который с Брюсовыми статуями столкнулся, можно сказать, воочию. Жил в старые времена отставной генерал Кузьма Петрович Иевлев, большой приятель и картежный партнер моей тетушки. И хоть мне тогда такие вещи были неинтересны, но в девятнадцать лет я своими ушами слышала, как старик тетушке рассказывал про Брюсовы статуи... Давным-давно, когда он еще совсем зеленым поручиком служил в семеновцах, был у него друг, Степа Карабанов, опять-таки поручик, и тоже семеновский. И дернула однажды нелегкая Степу Карабанова отбить симпатию у самого Якова Вилимовича Брюса, человека, соответственно эпохе, золопамятного и божьих заповедей насчет подставленной другой щеки не признававшего. Ну, что тут долго рассказывать? Однажды темной грозовой ночью явилась в избушку, где поручики квартировали, мраморная статуя в виде античного воина и проткнула мечом Степу насквозь, так что он тут же и отдал Богу душу. Иевлев ее видел так же отчетливо, как я вас сейчас... но никто ему, конечно же, не верил, и была у него масса неприятностей. Из-за того, что убиение Карабанова полагали делом его собственных рук. Потом он как-то от этого подозрения очистился, повезло, а может, Бог помог..

— Ну разумеется, — сказал Грановский. — Ночь просто-таки обязана была быть грозовой, жуткой, с полыхающими на полнеба перунами — как в древнегреческой трагедии или готическом романе. В и н ы е ночи ожившим статуям, надо полагать, появляться прямо-таки и неприлично даже...

— Ну, я уж не знаю, положено или не положено, но все так и было.

— Это сам Иевлев рассказывал?

— А кто ж еще?

— Будучи, таким образом, единственным источником сведений о сей дивной истории...

Старуха выпрямилась, поджала бледные губы:

— Петька! Надобно тебе знать, что Кузьма Петрович Иевлев повсеместно имел репутацию человека правдивого и честного, турысы на колесах ради забавы не подпускал и баек не плел. Я бы тебе и свидетелей такой его репутации представила в достатке, да вот беда — кроме меня, и не осталось тех, кто его знал...

— Веселы ж были, надо полагать, те времена, — сказал Грановский, — Статуи делали променады, как последние чухонские мужики с Охтинской стороны...

— Что было — то уж было, — отрезала старуха. — Тогдашние люди, между прочим, вашего вольтерьянского скепсиса были лишены напрочь и к иным вещам относились крайне серьезно. Вы мне опять не поверите, Сашка с Петькой, какой от вас толк с вашим электричеством, но во времена матушки Екатерины при Тайной экспедиции

был вовсе уж тайный стол, который как раз и занимался всякой чертовщиной — с целями не научными, а самими что ни на есть практическими. Ловил всевозможных поганцев, знавших то, что богобоязненному человеку знать и уметь не след, и терялись потом их тропки, как не бывало. И уж касаясь этого попрошу без ухмылок! Столона-чальника означенного стола, Гаврилу... — Она спохватилась, помолчала. — В общем, я его знала. Так уж случилось, что знакомство наше было самое тесное. И слышала я от него немало — про то, как он на законном основании вздергивал на дыбу кудесников, колдунов и прочую нечисть.

— Это на каком же законном основании? — с искренним удивлением спросил Грановский.

— Воинский артикул государя Петра Великого! — торжествующе отрезала старуха. — Законоустановление, сударь мой, не правда ли? Отрицать, чай, не станете? И есть в том артикуле карательный параграф касаясь именно что колдунов и прочей подобной публики... Законнее основания и не бывает.

«Она совершенно права, — смятенно подумал Пушкин. — Воинский артикул Петра Великого... и сегодня не отмененный, так что сохраняющий юридическую силу! А мы-то голову ломали в поисках законных обоснований, кои невозможно обычным путем внести в уложение о наказаниях... Между тем законное основание все эти годы было под рукой, в полном распоряжении... И ведь мы ничегошеньки не знали о своих предшественниках, этом

самом столе при Тайной экспедиции — а ведь они, никаких сомнений, занимались тем же самым. И ведь архивы вполне могли сохраниться, пылятся сейчас, малость побитые мышами, в каких-нибудь подвалах... Ну почему я никогда прежде не затрагивал с Натальей Кирилловной э т о й темы? Ведь могло случиться так, что...»

Он замер, и выпавшая из пальцев массивная серебряная вилка с гербом Ласуновых-Ласунских звякнула о тарелку с очередным яством по вкусу светлейшего — правда, так тихо, что внимания это не привлекло.

Сейчас он чувствовал себя, как человек, пораженный молнией.

Р а з г а д к а ослепительно полыхнула в голове, как та самая пресловутая молния — ошеломив, подавив, удивив... у ж а с н у в. Все разрозненные обрывки, все кусочки, что ранее никак не укладывались не то что в единое целое, но хотя бы во что-то отдаленно осмысленное, внезапно сложились наконец в законченную картину: непротиворечивую, связную, все вмещавшую в себя...

Ж у т к у ю!

Он вскочил, задев локтем поднос в руках у лакея — тот, в жизни не видывавший подобного выхода из-за стола, не успел, несмотря на всю свою вышколенность, отстраниться или что-либо предпринять. Поднос тяжело ухнул на пол под жалобный дребезг хрусталя и звон рассыпавшихся серебряных ложек, коими надлежало отведывать очередной кулинарный изыск былых времен.

Ни на что, ни на кого не обращая внимания, Пушкин выскочил из столовой, прогрохотал каблуками по лестнице, выхватил у оторопевшего лакея свою шляпу и трость. Выбежал на улицу — и только там спохватился, чтобы не привлекать внимания, остановился и попытался обдумать все трезво.

Наверху, в столовой, все еще царило недоуменное молчание, даже вышколенный лакей до сих пор стоял столбом, плохо представляя, что ему теперь делать.

Наконец Загремская покачала головой:

— Что-то совсем наш Сашка сбился с катушек. Этакою бомбою вылететь... Ведь окажись кто на дороге, с ног бы перевернул! Видывала я поэтическую рассеянность, но такого... Как, бишь, это у англичан называется, Петька?

— Эсцентричность, — охотно подсказал Грановский, все еще растерянно смотревший вслед убежавшему приятелю.

— Вот-вот, она самая... А по-русски это будет проще и без прикрас: дурь. Дурит Сашка в последнее время вовсе уж ошеломляюще, куда там англичанину с его... ну, как ее там...

— Следствие несомненной житейской несерьезности, — елейным голоском ввернул некий статский советник, Пушкина откровенно не любивший. — Перед молодым человеком открывалась блестящая карьера — после Лицея был приписан к Министерству иностранных дел, великолепный почин... Нет, предпочел вертопрашничать и забавляться рифмами... Необходимо строгое вразумление

или по крайней мере женитьба на особе, способной решительно...

— Вы мне, сударь, Сашку не полощите тут, — неожиданно резко сказала Загремская. — Видывала я, как из вертопрахов почище в генералы выходили. При всей своей поэтической дури мóлодец тем не менее дельный... Мало ли что у человека могло случиться? Мало ли о чем пришлось неожиданно вспомнить? — И, обернувшись, к застывшему лакею, царственным тоном произнесла: — Что стоишь, болван? Убери с пола, живо. Александр Сергеич вспомнил о срочном деле, из-за чего был вынужден покинуть общество, так что не торчи ты мне тут с таким видом, будто у бога теля съел...

...Спрыгнув с извозчика и велев дожидаться, Пушкин, конечно, уже не влетел в дом Башуцкого — но поднялся по ступенькам достаточно быстро для обычного визитера, заявившегося из чистой любезности. Лакей растерянно пролепетал:

— Барин в кабинете и принимать не велели...

Он и сообразить ничего не успел, как оказался неведомой силой отброшен в угол. Хорошо знавший расположение комнат, Пушкин и без него моментально нашел дорогу.

Ничуть не походило, что Башуцкий занят серьезной работой — он попросту сидел за столом и с мечтательной улыбкой перекладывал какие-то листы так, словно никак не мог решить, как им предстоит лечь окончательно. Подняв голову на шум распахнувшейся двери, он особого раздражения не выразил:

— Александр Сергеич... Какими судьбами? Я, кажется, велел не впускать... А впрочем... — он пожал плечами, улыбаясь еще мечтательнее и шире, поднял над столом правую руку с бриллиантовым перстнем, — а впрочем, есть повод оторваться от работы... Знаете ли, все это так неожиданно... Государь соизволил отметить мои скромные заслуги касаясь поездки в Италию, статуи ему пришлось по душе... А не приказать ли шампанского?

— Матвей Степанович, — сказал Пушкин как только мог терпеливее. — Сложилось так, что я к вам по делу... Касающемуся именно этих статуй. Не расскажете ли подробнее, каковы они и где размещены? Ведь они уже размещены, я полагаю?

— Да, разумеется, буквально только что... Но я плохо понимаю, признаться... Какие тут могут быть дела?

— Это пари, — в приступе озарения сказал Пушкин. — Речь идет о моем добром знакомом, я не могу называть имен сейчас... Но поверьте, в случае проигрыша последствия могут быть самыми плачевными...

— Да полно, полно, успокойтесь! — добряк Башуцкий замахал руками. — Можно подумать, я не был молодым... Все я понимаю: эти ваши затеи, пари на английский манер... Что, высоки ставки?

— Речь может даже идти о человеческой жизни, — сказал Пушкин.

— Ну, коли так... в чем там дело, что стряслось?

— Я вижу, у вас рисунки... — сказал Пушкин, указывая на стол. — Это они и есть, те статуи, я полагаю? А где они размещены? Вам известно?

— Помилуйте, как это может быть неизвестно? — сказал Башуцкий горделиво и даже приосанился. — Я, некоторым образом, причастен... Со мной советовались, разумеется...

— И что же?

— Извольте. — Он потащил из-под бумаг длинный рулон веленовой бумаги, привычно развернул. — «Дриада» — вот она, на рисунке — у грота в Екатерининском парке. «Сатир», как ему и подобает — на дорожке за Арсеналом, в чащобе, так сказать, хе-хе... «Крестьянки», как им опять-таки более всего приличествует — у Эрмитажной кухни. «Грация с...»

— Подождите, — сказал Пушкин, довольно бесцеремонно вытягивая из стопы один рисунок (Башуцкий страдальчески и удивленно поднял брови, но смолчал). — Вот это кто?

Определить величину изображенной на рисунке фигуры, а также материал, из которого она создана, не представлялось возможным — но выглядела она, Пушкину показалось, как-то з л о в е щ е. По сравнению с идиллическими крестьянками, глуповатым сатиром и прочими безобидными персонажами: человек в кирасе, с непокрытой головой и длинной прической рыцарских времен, с лицом злым, хищным, крючконосым. В руке он держал внушительный длинный меч, выставив правую ногу вперед с таким видом, словно намеревался решительно нанести удар, без оглядки на последствия.

— Ага, вкус у вас есть, и чутье тоже... Бронзовый кондотьер, предположительно работы кого-то из учеников Леонардо. Полагают также, что это не отвле-

ченная абстракция, а точный портрет знаменитого Пьетро ди Чирозе по прозвищу «Кабан», который в четырнадцатом столетии...

— Где он установлен? — совсем невежливо прервал Пушкин.

— Это и есть предмет пари?

— Матвей Степанович!

— Ну ладно, ладно, я же вижу, вы сам не свой, что-то серьезное среди ваших молодых друзей затеялось... Кондотьера установили у Руины. Не возле кухни — Руины, а возле Фельтоновской Руины, являющей собой умышленное подобие развалин готического замка... Ну да вы знаете, вы же лицеист, что вам рассказывать про Сарское... У Фельтоновской Руины, аккурат посередине меж нею и чугунными воротами, у дорожки...

— Излюбленное место вечерних прогулок государя... — сказал Пушкин медленно, чувствуя, как внутри все холодеет.

— Именно, — кивнул Башуцкий. — Государь лично одобрил это место для статуи, синьор кондотьер ему определенно пришелся по душе. Да и господин Гордон приложил усилия...

— Как о й еще Гордон? — спросил Пушкин стеклянным голосом.

— Вы разве не знакомы? — удивился Башуцкий. — А он о вас отзывался в самых превосходных выражениях, так, как говорят о хорошо знакомом человеке, вот я и решил... Англичанин. Мистер Джордж Гордон, из Королевской академии наук. Приехал к нам изучать архитектурное дело и ландшафтные парки...

а впрочем, оказалось, что он сам достаточно поднаторел в этих делах, и его, как-то очень быстро так получилось, привлекли к планировке и размещению... Государь им доволен, он и сейчас в Сарском... Александр Сергеич!

Пушкина уже не было в кабинете. Снова шляпа и трость буквально выхвачены из рук лакея, снова он выскочил на улицу и опомнился, увидев мирно шествовавших прохожих, ни о чем не подозревавших.

Мысль работала лихорадочно. Граф Бенкендорф? Там же, в Сарском Селе, он должен уже приехать. Вяземский отправился в Москву по своим собственным делам. Дуббельт... а чем, собственно, может с е й ч а с помочь Леонтий Васильевич? Вместе ужаснуться, вместе броситься в Сарское... Нет времени!

Извозчик выжидательно поглядывал с облучка. Прыгнув в хлипконькую пролетку, так, что она отчаянно накренилась и не сразу выправилась, Пушкин распорядился:

— Гони на Гороховую, к дому Красинского!

— Где эскадрон расквартирован? — невозмутимо поинтересовался «ванька».

— Именно, — нетерпеливо сказал Пушкин. Не вытерпев, взмыл с сиденья и ткнул извозчика кулаком в жирный загривок: — Гони, кому говорю! Душу выну!

— Так бы сразу и говорили, барин... — протянул извозчик, подхлестывая лошадку и горяча ее какими-то особыми кучерскими словечками, имевшими хо-

дение лишь среди этой разновидности человеческого рода, а прочим абсолютно непонятных. — Сделаем в лучшем виде...

Расквартированный на Гороховой жандармский эскадрон как раз и был выделен в распоряжение Особой экспедиции — и состоял, как легко догадаться, из людей п о н и м а ю щ и х. Поскольку Особая экспедиция не вчера была учреждена и кое-какие дела, неизвестные остальному миру, за ней числились, все в эскадроне, от командира до последнего нестроевого служителя, прекрасно знали, в чем тут секрет. К тому же — как давно уже с удивлением и некоторым стыдом открыл для себя Пушкин — рядовые, самое что ни на есть простонародье, к и н ы м вещам и явлениям относились не в пример серьезнее, нежели те самые образованные, материалистически настроенные люди из общества...

Часовой при будке его прекрасно знал, а потому пропустил без малейших придиорок. Атмосфера на обширном дворе царила самая умиротворяющая: стояла тишина, в глубине, в конюшне, иногда всхрапывали лошади, у крыльца сидел толстый серый щенок, не видно было ни души, тянуло свежим навозом и другими запахами, неотрывно связанными с конюшней, служащими обычно приметой самого мирного времени.

Пушкин пересек двор, свернул направо, поднялся по ступенькам в квартиру ротмистра Чаруты. На сунувшегося было что-то спросить денщика он рыкнул так, что бедный малый отпрянул в угол. Рванул дверь без всяких церемоний.

Ротмистр Чарута (греческого происхождения, в сражениях двенадцатого и последующих лет неоднократно отмечен, удивляться чему бы то ни было на свете решительно неспособен) поднялся ему навстречу из-за шаткого стола, высокий, с усами и кудрявыми бачками, румяный и невозмутимый.

А впрочем, невозмутимость его была напускной: присмотревшись, Пушкин увидел, что ротмистр встал так, чтобы заслонить спиной стол с черной высокой бутылкой, уже откупоренной, и фруктами на белой тарелке.

На румяной физиономии тут же отобразилось нешуточное облегчение, Чарута шумно вздохнул:

— Александр Сергеич... Слава те господи. А я уж, услышав в сенцах львиное рыканье, решил сгоряча, что нагрянула какая-нибудь инспекция. Наше столетие прямо-таки помешалось на инспекциях, вам не кажется? Если так обстоит в первую треть, которая еще и не закончилась, то что же будет к концу века, подумать страшно. Не слышали о полковнике Ставронском? Бедолага. Сидит вот так же, как я сейчас, полагая себя по причине отдаленности от начальства в полнейшей безопасности, не ждет подвоха от судьбы — как вдруг, без колокольчика и огласки, объявляется... Ай, да что это я? Не угодно ли стаканчик нектара? — Он сделал шаг вперед, присмотрелся. — Александр Сергеич, у вас такое лицо... Что, служба?

— Служба, — сказал Пушкин.

— Привезли какой-нибудь приказ?

— Нет, — сказал Пушкин. — Мне всего лишь требуется содействие...

— Ну, это извольте, — с заметным облегчением сказал Чарута. — В соответствии с циркуляром — чего ваша душенька желает.

— Мне срочно нужно в Сарское... Верхового коня, из лучших.

— У нас все лучшие, сами знаете, одров не держим-с, не какой-нибудь Мелитопольский драгунский...

— Коня, немедленно... и двух-трех жандармов. На всякий случай, могут понадобиться...

— Извольте, — сказал Чарута, вышел в сенцы, и слышно было, как он непререкаемым тоном отдает распоряжения, сопровождая их истинно кавалерийскими фиоритурами. Вернувшись, ротмистр сказал чуточку покровительственно: — Как видите, все устроилось в лучшем виде, уже через пару минут... Что стряслось, могу я знать, или...

— Собственно говоря, ничего еще не стряслось, — сказал Пушкин, от нетерпения переступая на месте. — Но, возможно...

Он решился — показалось, что, произнеся это вслух, сможет снять с себя хоть чуточку тяжелой ноши. И закончил со спокойствием, поразившим его самого:

— Возможно покушение на государя...

— Так-так-так, — сказал Чарута, не изменившись в лице, разве что самую малость щурясь. — По нашей, стало быть, линии?

— Похоже.

Совсем уж тихо Чарута спросил:

— Может, весь эскадрон поднять в седла?

— Вряд ли, — сказал Пушкин. — Это... это бессмысленно, соль тут не в количестве людей...

— Маслом каши не испортишь.

— Нет, — сказал Пушкин. — Может случиться все же, что мы будем выглядеть смешно, глупо, нелепо... Ага, я слышу, все готово? Извините, ротмистр, не до разговоров, нужно успеть, вдруг я все же угадал правильно...

Ротмистр Чарута не пошел вслед за ним сразу, но через некоторое время отворил дверь и направился из дома, бормоча себе под нос:

— Это светский франтик может бояться выглядеть смешным, глупым и нелепым, а хороший жандарм таких глупосте в опасаться не должен...

Постояв все же на крылечке в задумчивости, он в конце концов тряхнул головой, словно бросаясь в воду, перегнулся через перила и крикнул подчаску:

— Сафронов! Ну-ка, ко мне живенько! — И, когда тот подбежал, распорядился словно бы даже с лентой, совершенно невозмутимо: — Кликни-ка, голубь, нашего Моцарта, пусть бежит с трубой со всех ног, и боевую тревогу по эскадрону!

Не прошло и минуты, как сигнальная труба завела пронзительную, чистую, тревожную трель.

Еще примерно через четверть часа некий светский франт, чье имя для Большой Истории несущественно, округлив глаза в восторженном ужасе, живописал двум добрым знакомым, точно так же одетым, словно лондонские дэнди:

— На сей раз, господа, Александр Сергеевич Пушкин в своих проказах определенно перегнул

палку и хватил через край. Боюсь даже думать, чем дело может кончиться. Можете себе представить, что я только что собственными глазами видел на Гороховой? Верхом на коне, во всю прыть, безудержным галопом, как какой-нибудь дикий башкир, несется Александр Сергеевич — шляпу потерял, немилосердно понукает бедное животное. А следом, в погоню — трое жандармов в полной форме, не только с саблями, но и с карабинами у седла... Да-с, именно так и обстояло, это еще не все. Я сам глазам своим не поверил... *Ma parole*, через самое короткое время вслед устремившейся за Пушкиным погоне несутся еще жандармы, и тоже верхами, числом не менее эскадрона, и вид у них самый решительный, можете себе представить... Это что же нужно такое натворить? Для ареста генералов, говорят, посылают менее, а тут — не менее эскадрона по следам Пушкина...

К Пушкину он относился самым что ни на есть доброжелательным образом, и потому повествовал без малейшего злорадства, с робким, о г л я д ч и в ы м сочувствием. Его собеседники ахали и тоже круглили глаза. Как это всегда случается в этом городе, по секрету, являющем собою не Северную Пальмиру, а большую деревню, рассказ о небывалом происшествии начал моментально распространяться, обрастая новыми живописными и достоверными подробностями, изумившими бы тех, кто слушал его первыми, не говоря уж о самом очевидце...

...Постройки, где квартировали лейб-гусары, остались позади. Кони неслись, не сбавляя аллюра, и

кто-то шарахнулся с дороги, вскрикнув сердито и недоуменно, кто-то прижался к стене — подобные бешеные кавалькады здесь были редкостью невиданной. Не обращая внимания на переполох, разгоравшийся вокруг, Пушкин нахлестывал коня, и следом грохотали копыта: двое жандармов держались за ним, а вот третий что-то отстал...

Свернув к Старому саду, он с уверенностью долго здесь жившего человека направил коня к однотипным «кавалерским домикам». С горьким неудовольствием успел подумать, что этот мерзавец, то ли оживший труп, то ли непонятно кто, вдобавок ко всем наглостям обосновался там, где когда-то проживал знаменитейший историограф Карамзин...

Натянул поводья так резко, что конь, храпя и разбрасывая пену, взмыл на дыбы. Спрыгнув с седла, Пушкин, не теряя времени, кинулся на крыльцо, навалился на дверь, она оказалась незапертой, и он, ворвавшись в переднюю, едва не растянулся.

Из угла выдвинулся лакей — судя по сонному виду и какой-то особой печати российской расхристанности, не имевший никакого отношения к этим, а представлявший собой типично отечественное произведение. Кинувшись к нему, Пушкин без всяких церемоний сграбастал его за ворот незастегнутого архалука и рывкнул шепотом:

— Барин где? Англичанин?

— Где ему быть... — сказал слуга равнодушно, подавляя зевок. — В кабинете изволят архитектуру изучать...

Он невольно показал рукой направление, и Пушкин бросился в ту сторону. За спиной убедительно грохотали сапоги жандармов. Дверь, еще дверь...

Большая комната, почти пустая, напоминала мастерскую или студию архитектора: она была свободна от мебели, почти все ее пространство занимал большой стол на козлах из неоструганных досок, и на нем красовался искусно выполненный макет обоих дворцов, Екатерининского и Александровского, с прилегающими ландшафтами. Сделано все было с большим изяществом и точностью — дворцы из раскрашенного картона, куски синего стекла, повторявшего формой пруды и все прочее — но разглядывать эту красоту было некогда. Мистер Джордж Гордон, склонившийся над макетом, с видом сосредоточенным и отрешенным водил висевшим на веревочке просверленным черным камнем над тем участком у большого пруда, где сразу угадывалась и Руина, и Готические ворота, и Пирамида. Напрягая зрение, Пушкин рассматривал там крохотную, не больше половины мизинца, темную куколку, как две капли воды похожую на виденный им рисунок, на...

Одним ударом плети, все еще зажатой в руке, он смахнул и куколку, и разлетевшиеся с сухим деревянным стуком копии парковых сооружений, распались малюсенькие палочки с верхушками из крашенной в зеленоватый, изображавшей деревья. Прежде чем англичанин успел пошевелиться, что-то сказать или сделать, Пушкин вырвал у него веревоч-

ку с камнем, швырнул в угол и с превеликим наслаждением сграбастал мерзавца за глотку, отметив, что схватил не какую-то эфемерную субстанцию, из дыма сотканную, а нечто вполне материальное. Полное ощущение, что он держал за горло нормального человека — ни трупного холода не ощущалось, ни окоченелости...

— Александр Сергеевич? — непринужденно, с таким видом, словно это были забавы двух близких приятелей, произнес Байрон, не делая ни малейших попыток высвободиться. — Вы так взволнованы, уж не случилось ли чего?

Свободной рукой Пушкин взмахнул плетью и для надежности в три удара превратил в мешанину бумаги и дерева тот участок макета, над которым англичанин только что производил свои манипуляции — вряд ли с благими целями.

Тяжелые шаги жандармов послышались рядом.

— Возьмите его, — сказал Пушкин, не оборачиваясь.

Отступил, чтобы не мешать, и с удовольствием смотрел, как господин Байрон, неведомо что из себя представлявший, оказался в цепкой хватке голубых мундиров, словно простой смертный.

— Однако, господа... — сказал англичанин, не вырываясь. — На каком основании?

— Насколько я помню, у вас, британцев, всё судопроизводство держится не на писаных законах, а на прецедентах? — спросил Пушкин ядовито. — У нас обстоит несколько наоборот. Есть один старый закон семьсот шестнадцатого года, вообразите себе,

не отмененный до сих пор... Так что основание нашлось.

— Ну что же, — сказал Байрон. — Давайте присядем и побеседуем об этом, думаю, я все же имею право получить некоторые объяснения?

Он был странно, нехорошо спокоен, мало того, на его породистом лице играла триумфальная — несомненно, триумфальная! — улыбка, которую он, видимо, не мог скрывать. И это было чертовски неправильно, учитывая происходящее...

— Господи ты боже мой! — охнул Пушкин. — Если вы так скалитесь... Я что, опоздал?

Он выбежал из дома и опрометью бросился по аллее, огибавшей большой пруд и Адмиралтейство. Чесменская колонна... Турецкая баня... Люди шаркались от него, как от безумного, в висках стучала кровь, и он повторял про себя, как заведенный механизм: «Только бы не опоздать, только бы...»

Кажется, где-то поблизости скакали всадники. Кажется, слева тревожно залился военный рожок. Он бежал, не разбирая дороги. Налетев на лейб-гусарского офицера — судя по мундиру, возвращавшегося с дежурства, не раздумывая, выхватил у него из ножен саблю и понесся с ней дальше.

— Александр Сергеич! — недоуменно возопил за спиной лишившийся оружия.

Голос определенно был знакомым, да и лицо тоже, но Пушкин сейчас не мог думать о постороннем. Он миновал Готические ворота и по земляной насыпи побежал вверх к Фельтеновской Руине, башне с якобы полуразрушенной временем беседкой наверху.

Человек в раззолоченной ливрее камер-лакея, увидев обнаженную саблю, отскочил с дороги, крича жалобно и тоненько. Если он был здесь, это означало...

Ага! Бронзовый кондотьер, высотой почти в полтора человеческих роста, возвышался на низеньком каменном пьедестале. И перед ним стоял человек, в котором даже со спины нетрудно было узнать государя. Пушкин бежал. Оказалось, что шлем кондотьера сияет белизной — определенно посеребрен.

«Белая голова!» — пронеслось у него в мыслях, но он не замедлил бега. Он был уже совсем близко — и прекрасно видел, как изваяние, тяжело, неуклюже колыхнувшись, сделало шаг и сошло с пьедестала на землю. Видел, как лицо императора исказилось даже не в страхе — в нешуточном изумлении, и Николай Павлович, отступив на шаг, воскликнул сердито:

— Что за беспорядок? Марш на место!

Это было первое, что у него вырвалось — а в следующий миг Пушкин, оказавшись рядом, без малейших церемоний схватил императора за обшлаг семеновского мундира и что было сил отшвырнул в сторону, с пути неотвратимо приближавшейся бронзовой фигуры. Лицо кондотьера казалось подвижным, пластичным, живым, на нем медленно проявилась совершенно человеческая улыбка — злобная, хищная.

Меч взлетел — и со звоном скрестился с гусарской саблей Пушкина, так, что искры брызнули веером...

— Государь, бегите! — отчаянно закричал Пушкин, стараясь краем глаза удержать в поле зрения переме-

щения императора и вовремя заслонить его от лезвия, выглядевшего острым и ярким.

Клинки звенели. Монумент напирал, действуя старинным мечом с быстротой обыкновенного человека — и сыпавшиеся удары нисколько не походили на то современное фехтование, которому Пушкина немного учили, это была с т а р а я манера боя, забытая сотни лет назад. А потому приходилось прилагать нешуточные усилия, чтобы отводить удары — и в то же время оттеснять статую от императора, так и остававшегося на месте, несмотря на крики Пушкина. «Он попросту н е у м е е т спастись бегством! — в приступе отчаяния подумал Пушкин, чувствуя ползущую по шее теплую кровь, свою собственную. — Это настолько не гармонирует с его положением и воспитанием... Императоры не бегут... Что ж делать?»

Он мог только отбивать удары — пару раз угодил концом клинка в лицо и шею ожившего монумента, но это, как и следовало ожидать, никакого урона противнику не нанесло. Кондотьерский меч метался перед глазами, падая, казалось, с нескольких сторон сразу, теперь обожгло и правое плечо...

Схватка продолжалась. Какой-то частью сознания Пушкин, бешено вертевший саблей, ухитрялся слышать посторонние звуки — совсем уже близкое тревожное пение рожка, барабанную дробь, возникшую в нескольких местах парка, конский топот и крики. Удастся выбить меч, или он составляет с монументом одно целое? Ну конечно, не выбьешь...

Бросив взгляд через плечо, он с радостью увидел, что император все же переместился на несколько

шагов от места боя, повелительно машет рукой, что-то кричит появившимся из-за деревьев людям в военном и придворном платье...

Он не понял в первый миг, что произошло. Клинок прямого кондотьерского меча оказался прямо перед его лицом, упал чуть пониже, вошел в грудь на добрую половину длины...

Не было боли, просто-напросто показалось сначала, что к груди приложили кусок невероятно холодного льда, между ребрами возникло томительное неудобство и тут же исчезло — клинок отделился, Пушкин, охваченный странной беспомощностью, увидел, как монумент, уже гораздо медленнее, принимает прежнюю позу, ту самую, в которой он стоял, а потом, потеряв равновесие, заваливается затылком вперед, потеряв равновесие оттого, что под ногами уже не постамент, а неровная истоптанная земля...

Это вновь была старинная статуя, и не более того. В голове пронеслось, что Загремская оказалась права, Брюсовы фокусы были и впрямь рассчитаны на одно действие...

Опустив руку с саблей в приступе слабости, Пушкин обернулся — хотел быстро, а получилось почему-то очень медленно, словно тело отказалось повиноваться. Он увидел все происходящее вокруг — показавшееся среди деревьев множество всадников в синей жандармской форме, ружья в руках бегущих отовсюду солдат (превеликое множество, откуда ни возмись, набегало народу!), застывшее в тягостном недоумении лицо императора, целого и невредимого, а значит, все было не зря...

Потом окружающий мир раздернулся, как театральный занавес, и Пушкин увидел совершенно иное место: узенькую тропинку, упиравшуюся в какой-то странный горбатый мостик, серые деревья вокруг, низкое хмурое небо, а главное, впереди, у самого входа на мост, бок о бок стояли граф фон Тарловски и барон Алоизиус, совершенно такие, какими он их помнил живыми, и на лице графа была памятная грустно-ироническая улыбка, а Алоизиус, словно бы протестуя, выставил руку, преграждая Пушкину путь к мосту над спокойной темной водой, словно бы и не текущей вовсе, и чем дальше, тем больше таяли, расплывались, исчезали аллеи с несущимися по ним всадниками, деревья парка, блестящие штыки, тем четче, выразительнее, яснее проступала обсаженная серыми деревьями тропинка и две фигуры у горбатого моста, к которым Пушкин, кажется, приближался, хотя не чувствовал, что шагает, не чувствовал ног, ничего не чувствовал вовсе...

Потом окружающее переменилось настолько, что для этого не было слов в человеческом языке. Все кончилось.

Эпилог

— В другое время я сказал бы, что нас можно поздравить, господа, — тихим, невыразительным голосом произнес граф Бенкендорф. — Трудно судить, как обстоят дела во всех странах, где существуют аналогичные нашему департаменты, но, тем не менее, ситуация не из заурядных: государь в о-о-очию убедился, что иные вещи существуют в реальности. И со свойственной ему энергией принял незамедлительные меры... Государь, как известно всем присутствующим, требует порядка во всех областях жизни, и, с его точки зрения — которую обязаны принимать мы с вами — существование наших... подопечных выглядит вопиющим беспорядком. Требуящим энергичнейшего пресечения. — Он положил руку на лежащую перед ним бумагу. — Финансовые суммы, ассигнованные Особой экспедиции, превышают все, о чем мы могли мечтать. Дела экспедиции будут отныне под личным патронированием государя. Это достижение... хотя и полученное излишне дорогой ценой. Бедный Александр Сергеевич... Но это ведь война, не так ли? И каждый выбирает свою дорогу...

Какое-то время царило напряженное молчание. Граф опустил взгляд в бумагу с таким видом, словно внимательно ее штудировал, хотя двое остальных по-

нимали, что это совсем не так. Одна из свечей в правом канделябре чадила, но никто не потянулся за щипцами.

— Как государь? — негромко спросил князь Вяземский.

— Государь не из тех людей, на кого подобное может оказать... неприглядное действие. Полон энергии и нынче же ждет нас с подробнейшим докладом, — ответил Бенкендорф. — Так что следует подготовиться, господа. И вот еще что. Я прекрасно понимаю владеющие вами чувства, мне самому искренне жаль Александра Сергеевича, ценнейшего сотрудника и талантливого поэта... но эту историю следует немедленно закончить подобающим образом.

— Простите? — поднял брови Дуббельт.

— Секретность остается секретностью, — сказал Бенкендорф, отстраненно, без всякого выражения выговаривая слова. — Необходимые меры в Сарском уже приняты, все свидетели будут молчать. Будут, — повторил он твердо и убежденно. — Меж тем... Смерть столь заметнейшей личности, каковой был Александр Сергеевич, должна быть в самое короткое время убедительно объяснена обществу. Я повторяю — убедительно. То есть, мы обязаны, сохранив в тайне подлинную правду, немедленно, нынче же, сейчас найти некое объяснение его смерти, не выходящее за пределы... — Он помолчал и с горькой улыбкой закончил: — обыкновенного состояния умов. Материализма, будь он проклят. Иначе... Нам попросту не поверят, и могут возникнуть самые дурацкие пересуды. Ничего этого не существует, госпо-

да, — ни Особой экспедиции, ни заграничных миссий Александра Сергеевича, ни происшедшего сегодня в парке. Ничего. Из этого и следует исходить. У кого-то есть соображения?

Теперь чадили сразу три свечи. Царило молчание.

— Разбойники? — предположил вслух Вяземский. — Грабители с Васильевского острова?

Граф поморщился:

— Это, конечно, материалистично, но все же... Как-то не так все должно было кончиться, князь...

— Вам еще и толику романтики подавай, Александр Христофорович? — не без язвительности спросил Вяземский.

— Петр Андреич...

— Простите, ваше сиятельство. Нервы...

— Я понимаю. Но, видите ли... Любой, конечно, может стать жертвой ночных грабителей, и все же при этом варианте сохраняются слухи, сплетни, пересуды... Необходимо что-то более убедительное... я не в состоянии это сформулировать точнее... Убедительное и... естественное, если можно так выразиться.

— Дуэль, — сказал Дуббельт, ни на кого не глядя.

— Леонтий Васильевич?

— Вот именно. Дуэль. Учитывая репутацию Александра Сергеевича, будем откровенны, изрядного бретера, задиры, имевшего множество поединков, общество ни на миг не усомнится...

— Как вы это себе представляете?

— Очень просто, ваше сиятельство. Александр Сергеевич в последнее время ухаживал за Катишь

Черновой, о чем втихомолку судачил весь Петербург. Его нешуточным соперником в этом предприятии был некий французский хлыщ, совершенно незначительная личность, не имеющий здесь связей и особых знакомств, зачисленный в кавалергарды исключительно благорасположением государя... приемный сын французского посланника...

— Да-да, что-то такое припоминаю, — кивнул Бенкендорф, заметно оживившийся. — Геккерен... Сам-то он, этот юнец, зовется как-то иначе, в голове вертится... Совершенно варварского звучания имя, напоминающее кличку персонажа комической оперы... Дандас... Дондоз...

— Д'Антез, — сказал Вяземский хмуро.

— Вот именно, Д'Антез... Леонтий Васильевич, продолжайте...

— Дуэль — это убедительнейшее объяснение, с которым мгновенно и без малейшего внутреннего сопротивления согласятся все до единого, а также не усмотрят в том ничего необычайного, — сказал Дуббельт. — Дуэли преследуются законом, а значит требуют тайны... У Пушкина была дуэль с заезжим французским хлыщом Д'Антезом, в результате которой Александр Сергеевич получил смертельную колотую рану. Вот в этом случае легко будут объяснимы все слухи, несообразности и недоумения. Дело, можно сказать, житейское.

— А что сам французик? — уже менее колко поинтересовался Вяземский.

— О, в этом я особых сложностей не вижу, — сказал Дуббельт. — Речь, в конце концов, идет о

субъекте крайне незначительном, явившемся к нам на ловлю счастья и чинов. Нетрудно будет поговорить с ним убедительно, объяснить перспективы, выдвинуть причины, по которым он, сам того не зная, в одночасье потерял расположение императора, а потому обязан подчиниться. Объяснить, что на свете существуют как золото, так и Сибирь... Я уверен, мне удастся...

— Вот и приступайте немедленно, — сказал Бенкендорф. — К завтрашнему утру все должно быть улажено, и именно эта версия событий — распространена в публике. И не смотрите на меня так, Петр Андреевич, я вынужден...

— Я понимаю, — кивнул Вяземский все с тем же хмурым видом.

— Такова жизнь, — сказал Бенкендорф чуточку мягче. — Иногда приходится прославлять героев, а иногда — их прятать, и никуда от этого не уйти. Служба такова, господа...

И на какое-то время его лицо, выдав обычные человеческие чувства, стало растерянным и горестным, ничуть не приличествующим ни ловкому царедворцу, ни герою двенадцатого года. Он сказал совсем тихо, словно извиняясь перед кем-то, кого больше не было:

— Кто же виноват, что нам выпала именно такая война...

И тут же стал прежним, холодным, жестким.

Красноярск, июнь 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

ТРИ ЧЕРНЫХ ОРЛА	5
-----------------------	---

Глава первая

ТРОЕ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ	5
----------------------------	---

Глава вторая

ЧЕЛОВЕК С МАРИОНЕТКАМИ	35
------------------------------	----

Глава третья

НОЧЬ В ГОСТИНИЦЕ	64
------------------------	----

Глава четвертая

ТЕНИ ПРОШЛОГО	83
---------------------	----

Глава пятая

О ПОЛЬЗЕ САМОКРИТИЧНОСТИ	104
--------------------------------	-----

Глава шестая

БЕШЕНАЯ КАРЕТА	120
----------------------	-----

Глава седьмая

БУМАГИ ИЗ ПРОШЛОГО	137
--------------------------	-----

Глава восьмая

НАСЛЕДСТВО КЕСАРЯ РУДОЛЬФА	164
----------------------------------	-----

Глава девятая

КАРЛОВ МОСТ НА ЗАКАТЕ	198
-----------------------------	-----

Глава десятая

ШПАГА И ДОБРОЕ СЛОВО	220
----------------------------	-----

Часть вторая

ОЧАРОВАНИЕ ДРЕВНИХ КАМНЕЙ 234

Глава первая

В ВИХРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ЗНАКОМСТВ 234

Глава вторая

ЛЮДИ ИЗ НАСТОЯЩЕГО И БУМАГИ

ИЗ ПРОШЛОГО 272

Глава третья

ГРОБОКОПАТЕЛИ 288

Глава четвертая

ПЕРСТЕНЬ ИЗ СКЛЕПА 309

Глава пятая

ЧЕРНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ 330

Глава шестая

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 353

Глава седьмая

МАСКАРАД ПО-ФЛОРЕНТИЙСКИ 393

Глава восьмая

БЕССЛАВНЫЙ ФИНАЛ 418

Часть третья

ПРОХЛАДА НЕВСКОГО ГРАНИТА 429

Глава первая

ЧЕЛОВЕК ИЗ-ЗА МОРЯ 429

Глава вторая

ПЕРСТЕНЬ ИЗ ПРОШЛОГО 448

Глава третья

УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 463

Глава четвертая

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 479

Глава пятая

ИМПЕРАТОРСКИЙ ГНЕВ	513
--------------------------	-----

Глава шестая

ИМЕНЕМ СУЛЕЙМАНА, СЫНА ДАУДА.....	539
-----------------------------------	-----

Глава седьмая

БРОНЗОВЫЙ КОНДОТЬЕР	567
---------------------------	-----

<i>Эпилог</i>	598
---------------------	-----

Официальный сайт Александра Бушкова <http://www.shantarsk.ru>

Литературно-художественное издание

Бушков Александр

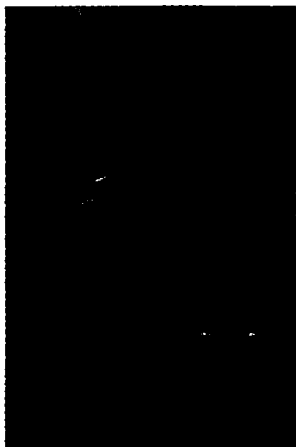
А. С. Секретная миссия

Ответственный за выпуск *Д. Хвостова*
Художественный редактор *А. Гладышев*
Технический редактор *Н. Ремизова*
Компьютерная верстка *Е. Митрофановой*
Корректор *Н. Стронина*

Подписано в печать 27.07.06.
Формат 60×90 1/16, Бумага офсетная.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 38,0. Тираж 65 000 экз.
Изд. № 06-8334. Заказ № 4615.

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»
129075, Москва, Звездный бульвар, 23
Издательство «ОЛМА-ПРЕСС»
входит в группу компаний ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»

Полиграфическая фирма «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
127473, Москва, Краснопролетарская, 16



«Супер-серия» — это книги в которых есть все: лихо закрученный сюжет, сильные характеры героев, конфликты интересов, любовь и ревность, зависть и ненависть, верность и предательство...

«Супер-серия» — это лучшие романы самых ярких и талантливых авторов, пишущих в жанре остросюжетной прозы:

Б. Акунина, А. Бушкова, А. Константинова, С. Алексеева, О. Маркеева.

Некоторые из произведений, входящих в «Супер-серию» уже экранизированы, а по другим ведутся съемки.

А. Бушков

«Пиранья. Охота на олигарха»

А. Бушков

«А. С. Секретная миссия»

А. Бушков, А. Константинов

«Второе восстание Спартака»

А. Бушков

«Охота на Пиранию»

А. Бушков

«Пиранья против воров»

А. Бушков

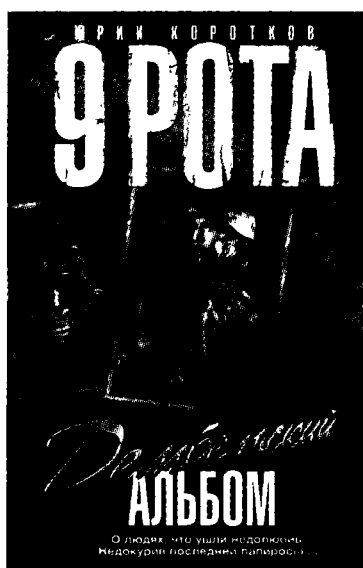
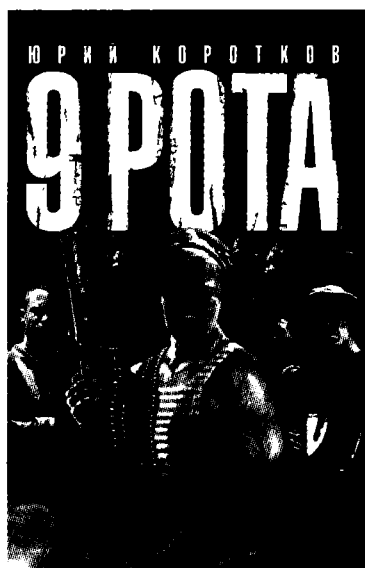
«Крючок для Пирании»

А. Бушков

«Пиранья. Первый бросок»



В 2006 году в издательстве «ОЛМА-ПРЕСС» в рамках проекта «Русский сериал» выходят литературные версии самых известных и популярных российских телесериалов!



История «Девятой роты» не закончена!

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС» предлагает вашему вниманию продолжение «Девятой роты»!

Следите за приключениями **Олега Лютаева** в очередных книгах серии:

Девятая рота. Дембельский альбом
Девятая рота. Ангел Лютый

Кинохиты не возникают пустом месте. Как и в случае сотворения мира, в кинематографе все начинается со слова. Вначале должен появиться творец с талантом рассказчика и хорошим воображением. Это он придумывает захватывающую историю, вдыхает жизнь в рожденных им героев и... пропадает из виду!

К счастью, в случае с Юрием Коротковым это правило не сработало. Давно не тайна, что литературной основой таких замечательных фильмов, как «Авария, дочь мента», «Попса», «Кармен», «Девятая рота» и многих других послужили умные, лаконичные и остросюжетные повести Юрия Короткова.

У вас есть шанс пополнить число фанатов этого замечательного писателя. Читать его книги — одно удовольствие еще и потому, что это делает нас участниками описываемых событий, а не только их зрителями.



Александр Бушков вот уже много лет самый известный и самый любимый писатель России. Общий тираж его книг превысил 17 миллионов экземпляров. Невероятная эрудиция и потрясающая фантазия автора, не умежаются в рамки одного литературного направления, поэтому Бушков творит в трех — остросюжетный роман, фэнтези и историко-документальная литература, причем в каждом направлении он совершил переворот. Каждая его книга — это событие в литературном мире России.

Достоверно известно, что у А. С. Пушкина был золотой перстень с сердоликом. Поэт считал этот перстень своим талисманом, о чем написал несколько стихотворений, в том числе знаменитое «Храни меня, мой талисман». Александр Сергеевич не расставался с перстнем, запечатывал им письма. На камне была надпись на древнееврейском языке. После смерти Пушкина перстень пропал бесследно.

На известном прижизненном портрете работы В. А. Тропинина Пушкин изображен с двумя перстнями. На большом пальце — сердолик

Официальный сайт А. Бушкова
www.shantarsk.ru



ISBN 5-373-00652-1



Книжные новинки,
конкурсы и розыгрыши
на сайте www.olma-press.ru

А. БУШКОВА

«Супер-серия» — это книги, в которых есть все: лихо закрученный сюжет, сильные характеры героев, конфликты интересов, любовь и ревность, зависть и ненависть, верность и предательство...

«Супер-серия» — это лучшие романы самых ярких и талантливых авторов, пишущих в жанре остросюжетной прозы: Б. Акунина, А. Бушкова, А. Константинова, С. Алексеева, О. Маркеева

Некоторые из произведений, входящих в «Супер-серию», уже экранизированы, а по другим ведутся съемки.

Официальный сайт А. Бушкова

www.shantarsk.ru



ОЛМА
МЕДИАГРУПП

ISBN 5-373-00652-1



9 785373 006521

Книжные новинки,
конкурсы и розыгрыши
на сайте www.olma-press.ru